

**НОВЫЙ
МИР**

2

1934

Н О В Ы Й

М И Р

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И**

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

В Т О Р А Я

Ф Е В Р А Л Ь

М О С К В А

1 . 9 . 3 . 4

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1934 г.

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НОВЫЙ МИР

(10-й год издания).

РЕДАКЦИЯ:

- А. И. Безыменский,
- Ф. В. Гладков,
- В. В. Григоренко.
- И. М. Гронский (отв. редактор).
- Л. М. Леонов,
- А. Г. Малышкин,
- В. П. Ставский.

В 1934 году в „НОВОМ МИРЕ“ БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ:



М. ШОЛОХОВ — Поднятая целина, роман, кн. 2-я.
 Ал. ТОЛСТОЙ — Петр Первый, роман, кн. 2-я.
 Вс. ИВАНОВ — Факир подходит к цирку, повесть.
 А. НОВИКОВ-ПРИВОЙ — Цусима, роман, кн. 2-я.
 Л. ЛЕОНОВ — Новый роман.
 Вл. ЛИДИН — Кризис, роман.
 Ал. МАЛЫШКИН — Тридцатые годы, роман.
 Бор. ПИЛЬНЯК — Известия ЦИК СССР и ВЦИК, роман.



В. ЗАЗУБРИН — Горы, роман, кн. 2-я.
 Л. СЕЙФУЛЛИНА — Страна, роман.
 П. НИЗОВОЙ — Недра, роман.
 П. СЛЕТОВ — Равноденствие, роман.
 А. КАРЦЕВ — Магистраль, роман.
 Н. ЗАРУДИН — Нас было много, роман.
 А. ЯКОВЛЕВ — Мгла, роман.
 Федор ГЛАДКОВ — Рассказы.
 Мариятта ШАГИНЯН — Второй закон термодинамики, повесть.

А. ВОРОНСКИЙ — Повесть о Владимире Сарматове.
 И. ЛЕЖНЕВ — Записки современника.
 К. ГОРБУНОВ — Новая повесть.
 И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ — Рассказы о Севере.
 Макс ЗИНГЕР — Огни, повесть.
 Н. ОГНЕВ — Литературная биография.
 Л. НИКУЛИН — Новеллы.
 Л. ФАРИД и Бор. ПИЛЬНЯК — Записки уполномоченного, художественные очерки.

БУДУТ ПОМЕЩЕНЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:

АРТЕМА ВЕСЕЛОГО, А. ГАРРИ, Н. ЕВДОКИМОВА, В. КИРШОНА, П. ПАВЛЕНКО, А. ПЕРЕГУДОВА, Ф. РАСКОЛЬНИКОВА, П. ШИРЯЕВА, К. ФИННА, Р. ФАТУЕВА, М. ЧУМАНДРИНА, И. ЭРЕНБУРГА и др.

Для обеспечения аккуратной доставки «НОВОГО МИРА» журнал будет в 1934 г. рассылаться всем подписчикам непосредственно экспедицией Главной конторы Издательства ОТДЕЛЬНОЙ БАНДЕРОЛЬЮ О НАКЛЕЕННЫМ ПЕЧАТНЫМ АДРЕСОМ.

ПОДПИСКУ на журнал

„НОВЫЙ МИР“

С ДАВАЙТЕ ПОЧТЕ,

письмоносцу, сборщику подписки и уполномоченным „ГУДКА“ на транспорте.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

1 ГОД — 30 РУБ.
 на 9 м. — 22 р. 50 к.
 на 6 м. — 15 р. — к.
 на 3 м. — 7 р. 50 к.
 на 1 м. — 2 р. 50 к.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

ЖУРНАЛА **Н О В Ы Й М И Р**

В целях обеспечения СВОЕВРЕМЕННОГО и БЕСПЕРЕБОЙНОГО получения журнала с АПРЕЛЯ с. г.,—все подписавшиеся на журнал «Новый Мир» только на ПЕРВЫЙ квартал (январь — март) должны НЕМЕДЛЕННО ВОЗВРАТИТЬ СВОЮ ПОДПИСКУ на ВТОРОЙ квартал (апрель — июнь) и следующие месяцы 1934 года. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ВЫПИСКУ ЖУРНАЛА НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МЕСЯЦА!

Главная контора Издательства „ИЗВЕСТИЯ ЦИК СССР и ВЦИК“.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Г. СТРЕЛЬЦОВ. — С'езд победителей 5
2. АЛ. ТОЛСТОЙ. — Петр первый, роман, книга 2-я, продолжение 21
3. Л. ФАРИД и БОР. ПИЛЬНЯК. — I. Хлебная революция.
II. Осень в Кулябе. *Записки уполномоченного* 39
4. МАКС ЗИНГЕР. — Огни, повесть, окончание 60
5. П. СЛЕТОВ. — Равноденствие, роман, продолжение 89
6. А. ГАРРИ. — Ключи города, рассказ 138
7. ПАВЕЛ НИЗОВОЙ. — Недра, роман, продолжение 153
8. И. ЛЕЖНЕВ. — Записки современника, продолжение 186

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

9. М. РОММ. — Восхождение на пик Сталина 224

ЗА РУБЕЖОМ:

10. Проф. М. НЕМЕНОВ. — Из впечатлений о Германии 248

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

11. А. СТАРЧАКОВ. — Тарас Шевченко 252

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

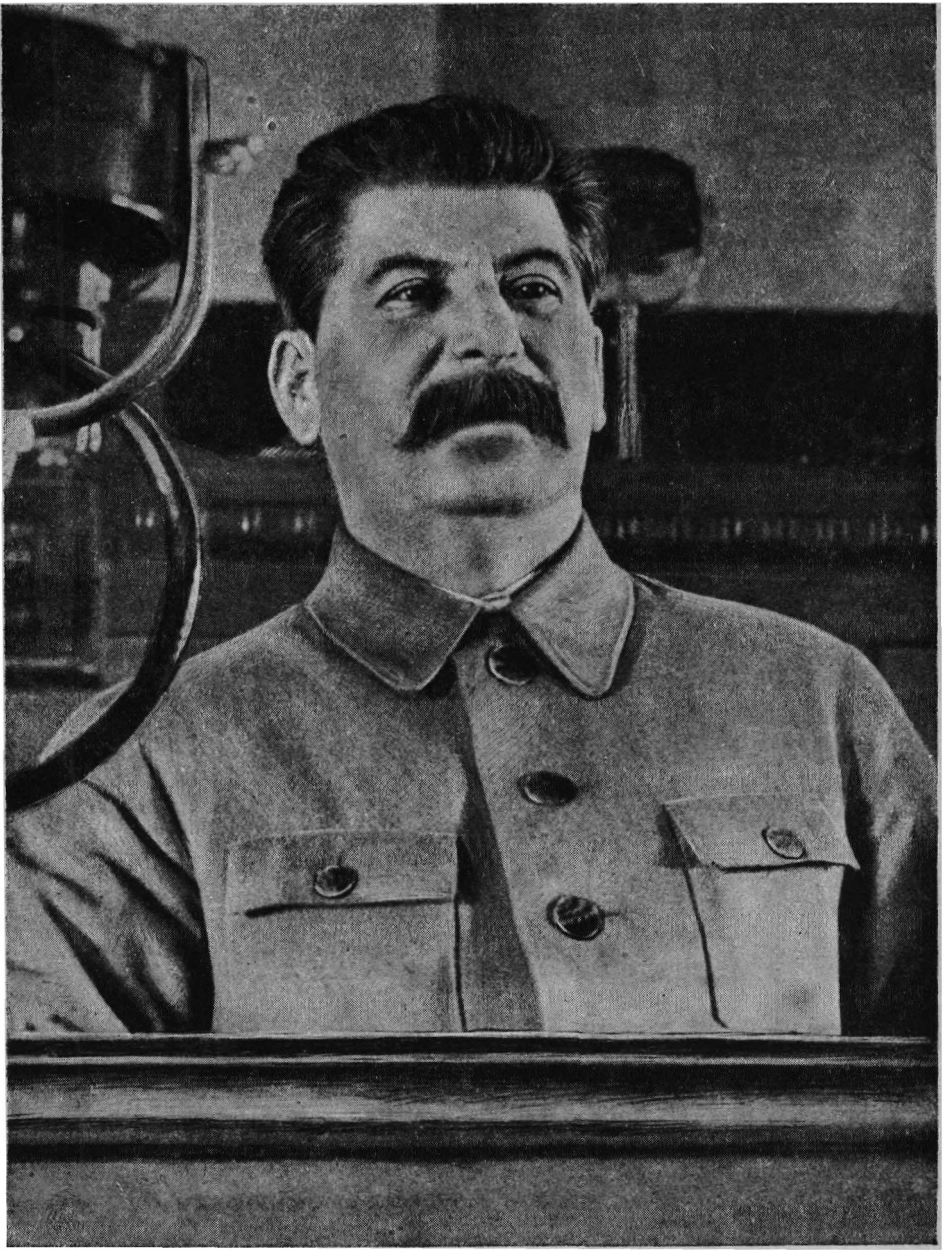
ИВАН СКЛЯРОВ. — С. Третьяков «Тысяча и один трудодень».

- А. Яковлев «Огни в поле» 269
- М. ПОЛЯКОВА. — Ф. Раскольников «Рассказы мичмана Ильина» 270
- МАКС ЗИНГЕР. — Леонид Улин «Нэн» 271

Статформат В/5. 176 × 250.

Уполн. Главл. В—70105. Объем 17 н. л. по 64.000 знам. Техн. ред. В. Белогонь. Зак. 416. Тир. 40.000

Тип. им. тсв. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.



Тов. СТАЛИН
на трибуне XVII с'езда ВКП(б).

Фото М. Галашникова.

С'езд победителей

Г. СТРЕЛЬЦОВ

Маркс и Энгельс закончили «Коммунистический манифест» следующими замечательными словами: «Пусть господствующие классы содрогнутся перед коммунистической революцией. Пролетарии могут потерять в ней только свои цепи. Приобретут же они целый мир».

Рабочему классу не удалось еще завоевать весь мир и установить свое господство во всех странах. Но ему, в лице своего передового отряда—рабочего класса СССР, уже удалось установить свое господство на одной шестой части земного шара и не только удержать это господство, но и добиться гигантских побед в деле построения социализма. Эти великие победы со всей силой и убедительностью были продемонстрированы перед всем миром на XVII съезде Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).

XVII съезд занял в истории международного рабочего движения совершенно исключительное место. Это был съезд партии, которая практически осуществила то, о чем мечтали лучшие умы человечества в течение сотен лет, за что гибли лучшие люди рабочего класса на протяжении всей истории рабочего движения.

Это был съезд партии, которая построила фундамент социалистической экономики в СССР и поставила перед собою как практическую задачу построить в течение второй пятилетки бесклассовое, социалистическое общество. Это был съезд, который вошел в славную историю большевистской пар-

тии под гордым и заслуженным названием с'езда победителей.

Вспомним не столь отдаленные времена — 1917 год. Незадолго до Октябрьского переворота кадетская газета «Речь» писала:

«Лучшим способом на долгие годы освободиться от большевизма, извергнуть его, было бы вручение его вождям судеб страны... Первый день их окончательного торжества был бы и первым днем их стремительного падения»¹⁾.

Аналогичные пророчества о неизбежной гибели большевиков делались нашими врагами не раз и после захвата власти пролетариатом. И все эти пророчества рассыпались в прах перед лицом всемогущего факта: большевики победили. Этот факт не пытаются оспаривать ныне даже наши самые ожесточенные враги.

Вспомним острейшие периоды внутривластной борьбы — с «левыми» коммунистами, рабочей оппозицией, с троцкизмом. Разве не предрекали все эти антипартийные силы неизбежность гибели советской власти и партии, если она, партия, не встанет на путь, предлагаемый этими оппозициями, — путь, который, как это видно теперь всякому, привел бы к действительной гибели диктатуры пролетариата в нашей стране?! Разве не предрекали троцкизм и троцкистско-зиновьевская оппозиция неизбежность столкновения рабочего класса с крестьянством и разве не навязы-

¹⁾ Цитирую по Ленину, т. XXI, стр. 248, 3-е изд.

вали они партии свою контрреволюционную теорию, взятую из меньшевистского арсенала, о невозможности победы социализма в одной стране? Все эти пророчества и теории были полностью опрокинуты жизнью. Восторжествовала теория Ленина — Сталина о том, что победа социализма в одной, отдельно взятой, стране возможна.

«Перед лицом сотен миллионов трудящихся всего мира впервые в истории человечества на деле доказана возможность построения социализма в одной стране». (Из резолюции XVII съезда о втором пятилетнем плане).

Вспомним наконец бешеные атаки правых оппортунистов против линии партии на индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства и их вопли о неизбежности немедленной гибели советской власти, если партия не встанет на их путь, означавший реставрацию капитализма в нашей стране. Партия разбила правых и обеспечила победу своей генеральной линии. В результате этой победы:

«Героической борьбой рабочего класса уже за годы первой пятилетки построен фундамент социалистической экономики, разгромлен последний капиталистический класс — кулачество, а основные массы крестьянства — колхозники стали прочной опорой советской власти в деревне. СССР окончательно утвердился на социалистическом пути». (Из резолюции съезда о второй пятилетке).

Партия победила и теоретически, и практически. XVII съезд был съездом величайшего торжества непобедимого учения Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, величайшего торжества генеральной линии нашей партии и ее практической работы. И не случайно, что даже бывшие лидеры разбитых вдребезги оппозиций вынуждены были перед всем миром расписаться в собственном политическом банкротстве, капитулировать перед партией, принести ей повинную и признать полное торжество ее линии, величие и мудрость ее руководства, ее учителя и гениального вождя тов. Сталина.

XVII съезд был первым съездом, на котором партия продемонстрировала свое исключительное единодушие и небывалую сплоченность, на котором не было никаких оппозиций, фракций или группировок.

«Если на XV съезде приходилось еще доказывать правильность линии партии и вести борьбу с известными антиленинскими группировками, а на XVI съезде — добывать последних приверженцев этих группировок, то на этом съезде и доказывать ничего, да, пожалуй, и бить некого. Все видят, что линия партии победила». (Из доклада тов. Сталина XVII съезду. Подчеркнуто мною. — Г. С.)

Эта «необычайная идейно-политическая и организационная сплоченность рядов нашей партии» (Сталин) достигнута партией отнюдь не ценою гнилого компромисса или соглашения, — Ленин и Сталин всегда были непримиримыми врагами единства, достигнутого такой ценой. Принципиальная политика есть самая правильная политика, — учили они партию не раз.

Единство нашей партии достигнуто на строго принципиальной основе, на основе генеральной линии партии, в борьбе со всякими антиленинскими уклонами, пытавшимися не раз под прикрытием разговоров о единстве проташить свои антипартийные, враждебные ленинизму взгляды. Партия добилась именно такого подлинного и полного большевистского единства, которого страстно добивался Ленин и которое является залогом еще более успешной и победоносной борьбы за разрешение стоящих перед партией задач.

Особенность XVII съезда состоит еще в том, что он сочетал решение величайших задач, какие когда-либо ставило перед собой человечество, с самой детальной разработкой всех тех методов и способов, при помощи которых эти задачи могут быть решены. Эту особенность съезда чрезвычайно метко охарактеризовал тов. Л. М. Каганович в выступлении на московском партактиве, посвященном итогам XVII съезда:

«... От момента открытия до самой последней минуты работы съезд олице-

творял, отражал под'ем, уверенность и силу победивших и побеждающих миллионных рабочих и крестьянских масс. В то же время сезд был исключительно деловым. Никогда у нас с такой мерой глубины, серьезностью, деловитостью и знанием дела; никогда еще так не разрабатывались вопросы государственного, хозяйственного и культурного строительства, как на XVII с'езде, с'езде победителей». («Правда», 18 февраля).

XVII с'езд отражает собою целую эпоху в развитии первого в мире пролетарского государства. От XVI до XVII с'езда партии прошло только три с половиной года. Однако не было ни в истории человечества, ни в истории нашей революции столь короткого по времени и столь богатого по содержанию периода, как период между XVI и XVII с'ездами. Это — период гигантских переворотов и преобразований в экономике и классовой структуре нашей страны, в корне изменивших лицо Советского Союза. С другой стороны, это период жесточайшего экономического кризиса и вызревания революционного кризиса в капиталистических странах. Все эти перевороты, преобразования и изменения блестяще показаны в отчетном докладе тов. Сталина XVII с'езду. Этот доклад, полный теоретической глубины и практической мудрости, является крупнейшим документом нашей эпохи.

«Всемирно-историческое значение доклада тов. Сталина на XVII с'езде состоит именно в том, что это был отчет о руководстве величайшим переворотом, какой только знала история человечества, переворотом, сломавшим старый экономический уклад и создавшим новый, колхозный строй на базе социалистической индустриализации нашей страны.

Это был отчет о руководстве движением миллионов лучших, передовых представителей человечества в их борьбе за полное и окончательное освобождение от старого мира и за победу нового, социалистического общества». (Л. М. Каганович. Доклад XVII с'езду).

Подводя блестящие итоги пути, пройденного партией после XVI с'езда, на-

метив программу будущей работы партии, тов. Сталин подверг глубокому теоретическому анализу целый ряд актуальнейших вопросов социалистического строительства, по которым имеется путаница или непонимание у некоторых членов партии. Таковы вопросы о построении бесклассового, социалистического общества, вопрос о сельскохозяйственной артели и сельскохозяйственной коммуне, о марксистском понимании равенства и уравниловке, о лозунге «сделать всех колхозников зажиточными», национальный вопрос, вопрос о роли и значении советской торговли и денег в нашей экономике. Все эти вопросы имеют не только теоретический, но и огромный практический интерес.

Тов. Сталин показал, что путаница в этих важнейших вопросах является доказательством того, что «остатки идеологии разбитых антипартийных групп имеют довольно большую живучесть», и призвал партию к еще большему усилению идейно-политической работы среди членов партии и беспартийного актива, к систематическому разоблачению идеологии и остатков идеологии враждебных ленинизму течений.

Чрезвычайно интересной является постановка тов. Сталиным вопроса о главной опасности на текущем этапе. Тов. Сталин дал замечательную формулу: «Главную опасность представляет тот уклон, против которого перестали бороться и которому дали таким образом разрастись до государственной опасности».

В своем докладе тов. Сталин поставил целый ряд новых практических вопросов и задач, требующих своего решения в течение ближайших лет второй пятилетки. К их числу относятся задача превратить Кузбасс во второй Донбасс, вопрос об использовании местных видов топлива, об организации новых районов угледобычи, о развитии местной промышленности, об образовании больших массивов зерновых культур в районах потребительской полосы, о борьбе с засухой в Заволжье и т. д.

Нет буквально ни одного участка теоретической и практической работы партии, по которому партия не получила бы

точных и ясных указаний своего великого вождя.

С гигантской вышки коллективного опыта миллионов людей, борющихся за новый общественный строй, тов. Сталин не только подвел итоги пройденного пути, но и осветил на ряд лет вперед дальнейший путь борьбы партии и рабочего класса. И недаром XVII съезд партии вместо обычных резолюций по политическому отчету Центрального Комитета предложил всем партийным организациям руководствоваться в своей работе положениями и задачами, выдвинутыми в докладе тов. Сталина, сделав тем самым доклад тов. Сталина законом партии, программой ее будущей работы. В этом акте отразилось то безграничное доверие, которое партия питает к своему великому учителю и вождю, приведшему партию и рабочий класс в обстановке величайших трудностей к побед.

Тов. Сталин подверг блестящему анализу состояние современного капиталистического хозяйства, обострение всех противоречий империализма и взрывание нового революционного кризиса на почве обострения этих противоречий. Показав, что буржуазия ищет выхода из создавшегося положения в подготовке новых империалистических войн, с одной стороны, и в усилении открыто террористических методов своего господства — с другой, тов. Сталин показал, что пролетариат ищет выхода из кризиса в революции.

«Народные массы не дошли еще до того, чтобы пойти на штурм капитализма, но что идея штурма зреет в сознании масс, — в этом едва ли может быть сомнение». (Подчеркнуто мною. — Г. С.).

Прошло лишь несколько дней, как были произнесены эти пророческие слова, и разразились знаменитые события во Франции и Австрии, где рабочий класс открыто выступил против растущей фашистской реакции. Эти события — яркая иллюстрация к тем оценкам международного положения и прогнозам, которые сделал тов. Сталин на XVII съезде.

Перейдя к анализу внутреннего положения СССР, тов. Сталин развернул величественную картину непрерывно растущей мощи страны Советов, картину непрерывного под'ема ее хозяйства и ее культуры. При этом важно отметить ту мысль тов. Сталина, что:

«Под'ем этот был не только простым количественным накоплением сил. Под'ем этот замечателен тем, что он внес принципиальные изменения в структуру СССР и коренным образом изменил лицо страны».

Какие это изменения?

Стоит только сопоставить две характеристики, чтобы увидеть, чем была недавно и чем стала теперь наша страна. В 1921 году Ленин писал:

«Посмотрите на карту РСФСР. К северу от Вологды, к юго-востоку от Ростова-на-Дону и от Саратова, к югу от Оренбурга и от Омска, к северу от Томска идут необ'ятнейшие пространства, на которых уместились бы десятки громадных культурных государств. И на всех этих пространствах царит патриархальщина, полудикость и самая настоящая дикость. А в крестьянских захолустьях всей остальной России? Везде, где десятки верст проселка — вернее, десятки верст бездорожья — отделяют деревню от железных дорог, то-есть материальной связи с культурой, с капитализмом, с крупной промышленностью, с большим городом, — разве не преобладает везде в этих местах тоже патриархальщина, обломовщина, полудикость?»

Да, такой именно была наша страна всего лишь двенадцать лет тому назад. А теперь, после блестящего завершения первой пятилетки, вдохновителем и душой которой был тов. Сталин, облик нашей страны совершенно иной.

«СССР за этот период преобразился в корне, сбросив с себя обличье отсталости и средневековья. Из страны аграрной он стал страной индустриальной. Из страны мелкого единоличного сельского хозяйства он стал страной коллективного крупного механизированного сельского хозяйства. Из страны темной, неграмотной и некультурной он стал — вернее, становится — страной грамотной

и культурной, покрытой громадной сетью высших, средних и низших школ, действующих на языках национальностей СССР». (Из доклада тов. Сталина на XVII съезде).

Столь резкое изменение лица нашей страны объясняется тем, что партия, следуя ленинским заветам, создала, вопреки, мощную, технически передовую промышленность, способную перевооружить все отрасли народного хозяйства и обеспечить страну всеми необходимыми средствами обороны; создала, вторых, самое крупное в мире механизированное сельское хозяйство, осуществляя на базе индустриализации страны политику сплошной коллективизации и ликвидации на ее основе кулачества как класса.

Вот некоторые данные, рисующие рост нашей промышленности. По сравнению с 1929 г наша промышленность выросла более чем вдвое (на 101,6%), а по сравнению с довоенным уровнем — почти вчетверо (на 291,9%). Значение этих данных станет особо наглядным, если принять во внимание, что промышленность важнейших капиталистических стран находится ниже уровня 1929 г.: САСШ — 64,9% уровня 1929 г., Англия — 86,1%, Германия — 66,8%, Франция — 77,4%. Отметим далее, что промышленность Англии и Германии не достигла еще довоенного уровня и перешагнули этот уровень в ничтожной мере лишь САСШ и Франция.

Ярким показателем индустриализации нашей страны являются приведенные тов. Сталиным данные об изменении удельного веса отдельных отраслей промышленности в общем выпуске промышленной продукции. Так например, удельный вес машиностроения, этого важнейшего рычага реконструкции народного хозяйства, вырос с 11% в 1913 г. до 26,1% в 1933 г. Заметим, что ни в одной стране мира машиностроение не занимает такого места в выпуске промышленной продукции, как у нас.

В течение первой пятилетки в промышленности было создано огромное количество новых предприятий, которые уже теперь дают большой эффект и

роль которых колоссально возрастет в ближайшем будущем, когда мы овладеем проектными мощностями этих предприятий. В 1930 г. по кругу предприятий, охватывающих 87% продукции, из 7,6 млрд. руб. старые заводы дали 6 млрд., или почти четыре пятых всей продукции. В 1933 г. из 14 млрд. руб. старые заводы дали менее трех миллиардов, тогда как новые и заново реконструированные заводы дали продукции на 10,8 млрд. руб. Однако, так называемая проектная мощность наших новых заводов, как показывает опыт, не является зачастую показателем их действительной мощности. При лучшей работе, при лучшей организованности наши новые заводы могут давать еще больше продукции, чем они дают теперь. Это прекрасно показал в своем выступлении на съезде тов. Орджоникидзе. Вот красочная выдержка из его речи:

«Проектная мощность автомобильных и тракторных заводов, которую перекрыли, рассчитана на семь часов работы, а работают пять часов, и все же ее перекрыли. Или эта проектная мощность ни к черту не годится, или какое-нибудь чудо. Но чудес не бывает. Дело в том, что наши проектные мощности преуменьшены. Рассчитаны они в 1928—29 году, причем исходя из следующего: если например американский рабочий может сделать за 4 рубля, то русский рабочий за то же время сделает на рубль, то есть работоспособность американского и русского рабочего 1 : 4. Ну, — скажите сами, почему американский рабочий должен работать у «Дженераль-Моторс» или у Форда лучше, чем наши рабочие в своей стране при диктатуре пролетариата?»

Я уверен, что если мы прямо, по-большевистски, поставим этот вопрос перед рабочими, то наши рабочие будут работать на себя, на свое государство много лучше, чем работают за границей рабочие на капиталистов». (Аплодисменты. Голоса: «Правильно»).

Без всякого преувеличения можно сказать, что СССР является теперь единственной страной, идущей по пути технического прогресса. Проклятиям по адресу науки и техники, раздающимся

открыто в так называемых «цивилизованных» странах, у нас противостоит массовый поход за овладение техникой, то самое соединение науки и техники с массовым объединением сознательных работников, о котором говорил в свое время Ленин и которое творит подлинные чудеса.

Мы строим самые крупные предприятия в мире и устанавливаем в них самые крупные машины. Средняя мощность наших электростанций выше, чем в Германии и Америке. Средний объем доменных печей, которые мы строим за последние годы, значительно выше, чем в Америке. Самая большая домна в Европе, на заводе «Геш» (Дортмунд), имеет объем в 914 куб. метров. Наши новые домы имеют объем 930, 1.008 и даже 1.250 куб. метров. Наши машиностроительные заводы, как Крамшазавод, Уралмашзавод, Челябинский тракторный и другие, не имеют себе равных в мире.

Одним словом, Советский Союз является страной самой высокой в мире концентрации мощностей. И это не случайно, ибо это вытекает из социалистической природы нашего хозяйства. Это вытекает из того, что:

«Пролетариат представляет и осуществляет более высокий тип общественной организации труда по сравнению с капитализмом. В этом суть. В этом источник силы и залог неизбежной полной победы коммунизма». (Ленин. «Великий почин», т. XXIV, стр. 336).

Мы отмечаем все эти факты не только из чувства законной гордости за нашу великую страну, но чтобы подчеркнуть, что раз мы становимся технически передовой страной, страной самой высокой концентрации мощностей, — значит, мы получаем возможность работать во много раз лучше, чем работаем до сих пор, то-есть давать продукции больше, дешевле и самого лучшего качества в мире. И XVII съезд партии, который прошел под знаком решительного улучшения качества всей нашей работы, заострил вопросы качества продукции особенно

резко. Тов. Сталин в своем докладе подчеркнул «совершенно недопустимое отношение к вопросу об улучшении качества продукции» и потребовал:

«Улучшить качество выпускаемых товаров, прекратить выпуск некомплектной продукции и карать всех тех товарищей, невзирая на лица, которые нарушают или обходят законы советской власти, о качестве и комплектности продукции».

Мы должны со всей энергией взяться за выполнение этого указания нашего вождя, ибо на плохом качестве продукции народное хозяйство несет потери, измеряемые сотнями миллионов руб. Мы должны «воспитать уважение к своей продукции и своему труду» (Орджоникидзе). Мы должны добиться того, чтобы марка на изделиях СССР была самой почетной маркой в мире.

Трудно исчерпать в рамках статьи все те достижения, которые имеет СССР в деле создания своей промышленности и которые красочно описал тов. Сталин в своем докладе XVII съезду. Отметим в заключение исключительно быстрые темпы индустриализации нашей страны, невозможные и бессмысленные ни в одной капиталистической стране. Соединенным Штатам, чтобы повысить добычу угля с 45 млн. до 76 млн. тонн, понадобилось 9 лет, Германия повысила добычу угля с 47 до 73 млн. тонн за 13 лет; Советскому Союзу для повышения добычи угля с 48 до 74 млн. тонн понадобилось только три года. Для удвоения продукции машиностроения Германии потребовалось 13 лет, а Советскому Союзу — три года.

Но особенно замечательные успехи мы имеем в сельском хозяйстве. Здесь дело сводится не только к тому, что в 1933 г. значительно выросли посевные площади и повысилась урожайность по сравнению с 1930 г. Дело сводится прежде всего к тем качественным изменениям, которые произошли в нашей советской деревне в результате осуществления плана сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как

класса, проведенного по инициативе и под руководством гениального стратега большевизма — тов. Сталина.

Число колхозов (в тыс.)	57,0	85,9	211,1	211,05	224,5
Число хоз в в колхозах (в млн)	1,0	6,0	13,0	14,9	15,2
% коллективизации крест. хозяйств	3,9	23,6	52,7	61,5	65,0

Теперь ясно для всякого, что колхозы победили окончательно и бесповоротно. А это значит, что в нашей стране окончательно подорвана база, рождающая капитализм, что и в деревне уничтожена основа для эксплуатации человека человеком, для «трудовое крестьянство, наше советское крестьянство скончательно и бесповоротно стало под красное знамя социализма» (Сталин).

Столь быстрые темпы коренной переделки сельского хозяйства стали возможны только на базе индустриализации. Роль нашей социалистической промышленности в переделке сельского хозяйства видна из того огромного количества машин и тракторов, которые были отправлены в деревню за последние три года. В 1929 г. в сельском хозяйстве было 34,9 тыс. тракторов мощностью в 391,4 тыс. лош. сил; в 1933 г. их насчитывалось уже 204,1 тыс. шт., мощностью в 3.100 тыс. лош. сил. В 1930 г. в МТС и совхозах было: комбайнов 8,7 тыс. шт., 1,4 тыс. сложных и полусложных молотилок, 2,3 тыс. грузовых и 135 штук (да, только сто тридцать пять штук) легковых машин. А в 1933 г. стало 25 тыс. комбайнов, 58 тыс. молотилок, 24,4 тыс. грузовых и 4.690 шт. легковых машин.

Но дело решили не только машины, но и люди. Ведущая, организующая роль социалистического города в отношении деревни сказалась в том, что в деревню было послано огромное количество людей — лучших сынов партии и рабочего класса. На этот раз в деревню пришли не утописты-народники, проповедывавшие «хождение в народ», пытавшиеся добиться для крестьянства «лучшей жизни» на почве сохранения крестьянской общины. На этот раз в деревню пришли посланцы партии, имевшие за собою всю мощь великой партии

Вот цифры, показывающие рост коллективизации по сравнению с периодом XVI съезда:

1929 г.	1930 г.	1931 г.	1932 г.	1933 г.
57,0	85,9	211,1	211,05	224,5
1,0	6,0	13,0	14,9	15,2
3,9	23,6	52,7	61,5	65,0

и рабочего класса, вооруженные передовой техникой, для того, чтобы коренным образом перестроить старую деревню на новый, социалистический лад. Об этой замечательной странице в работе нашей партии по созданию нового общественного строя красочно рассказали гг. Сталин и Каганович в докладах на XVII съезде.

За время от XVI съезда Центральным Комитетом партии было направлено в деревню 23 тысячи коммунистов. За это время деревня получила 111 тысяч инженерно-технических и агрономических работников. Особенно замечательным мероприятием партии, инициатором которого был тов. Сталин, является создание политотделов МТС и совхозов. Организация политотделов — поистине гениальная идея, оправдавшая себя целиком и полностью и уже давшая колоссальные результаты при проведении посевной и уборочной кампаний 1933 г. В политотделы МТС и совхозов было направлено 18 тысяч работников. Это — большая цифра, ибо деревня никогда не получала в короткий срок такого большого количества первоклассных работников, какими являются работники политотделов. Но вместе с тем это и маленькая цифра, если принять во внимание гигантские размеры нашей страны и миллионные массы колхозников, среди которых должны были работать политотдельцы. И тем не менее именно этим 18 тысячам политотдельцев, отобранных Центральным Комитетом и лично тов. Кагановичем, мы обязаны тому перелому, который произошел в деревне в 1933 г. Этот факт говорит лишь о том, какой огромной силой является подлинный большевик-организатор, выполняющий директивы своей партии и умеющий объединить вокруг себя огромные массы людей.

Велики наши достижения в сельском хозяйстве, но есть в нем и чрезвычайно слабые стороны, со всей остротой вскрытые в докладе тов. Сталина. Мы имеем в виду отмеченный тов. Сталиным упадок поголовья скота. Тов. Сталин со всей резкостью осудил работников земельных органов, которые «не только не поднимают тревогу по поводу тяжелого положения животноводства, а, наоборот, стараются замазать вопрос, а иногда в своих докладах пытаются даже скрыть от общественного мнения страны действительное положение животноводства, что совершенно недопустимо для большевиков». За решение проблемы животноводства должна будет взяться вся партия, ибо «проблема животноводства является теперь такой же первоочередной проблемой, какой была вчера разрешенная с успехом проблема зерновая». (Сталин). И нет сомнения в том, что партия решит эту проблему так же победоносно, как она решала не одну сложную проблему нашего строительства.

Таковы, кратко, сдвиги, происшедшие в промышленности и сельском хозяйстве, во всей экономике нашей страны. Свое наиболее концентрированное выражение эти сдвиги нашли в коренном изменении в соотношении между различными общественно-экономическими укладами, а отсюда — в классовой структуре нашей страны.

Как известно, Ленин, характеризуя при введении нэпа экономику нашей страны, отметил наличие в ней следующих пяти общественно-экономических укладов: 1) патриархальное (в значительной мере натуральное) хозяйство; 2) мелкотоварное производство; 3) частно-хозяйственный капитализм; 4) государственный капитализм; 5) социализм. Какова судьба этих укладов теперь?

«Мы можем теперь сказать, что первый, третий и четвертый общественно-экономические уклады уже не существуют, второй общественно-экономический уклад отнесен на второстепенные позиции, а пятый общественно-экономический уклад — социалистический уклад — является безраздельно господ-

ствующей и единственно командующей силой во всем народном хозяйстве» (Сталин).

И в самом деле, в области промышленности социалистическая система хозяйства занимает ныне 99%, в сельском хозяйстве — 84,5% посевных площадей зерновых культур приходится на совхозы и колхозы, а на единоличные хозяйства только 15,5%.

Таким образом, в итоге мы имеем: «Окончательную победу на основе этого подъема социалистической системы хозяйства над системой капиталистической как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, превращение социалистической системы в единственную систему всего народного хозяйства, вытеснение капиталистических элементов из всех сфер народного хозяйства» (Сталин).

Изменилась не только экономика нашей страны, в гигантской мере выросла ее культура, повысился материальный и культурный уровень трудящихся масс. Численность рабочих и служащих возросла с 14,5 млн. в 1930 г. до 21.883 тыс. в 1933 г. Фонд заработной платы рабочих и служащих вырос с 13 миллиардов 597 миллионов руб. до 34 миллиардов 280 миллионов руб. Фонд социального страхования достиг в 1933 г. огромной суммы в 4,6 миллиарда руб. «Исчезла безработица — бич рабочего класса... у нас нет больше рабочих, которые бы не имели работы и заработка» (Сталин). Добавим к этому такое завоевание рабочего класса, как семичасовой рабочий день, 90% грамотного населения в стране против 67% в 1930 г., 26,5 млн. учащихся в школах всех ступеней против 14,3 млн. в начале первой пятилетки, 600 высших учебных заведений в 1933 г. против 91 в 1914 г. — и мы получим картину действительно баснословного роста, возможного только в стране, сбросившей с себя навеки удушающее ярмо помещичье-капиталистического угнетения и создающей новый, более высокий общественный строй.

Таким образом, за каких-нибудь три с половиной года, отделяющих нас от XVI съезда партии, страна сделала

стремительный скачок вперед. Этот скачок произошел отнюдь не в порядке самотека. Тов. Сталин, отвечая на вопрос: «Как создавалась эта победа, как она добывалась на деле, какой борьбой, какими усилиями», сказал:

«Некоторые думают, что достаточно выработать правильную линию партии, провозгласить ее во всеуслышание, изложить ее в виде общих тезисов и резолюцией и проголосовать ее единогласно, чтобы победа пришла сама собой, так сказать, самотеком. Это, конечно, неверно. Это большое заблуждение. Так могут думать только неисправимые бюрократы и канцеляристы. На самом деле эти успехи и победы были получены не в порядке самотека, а в порядке ожесточенной борьбы за проведение линии партии. Победа никогда не приходит сама, — ее обычно притаскивают».

Движущей силой этого стремительно-го движения вперед нашей страны является пролетарская диктатура и ее направляющая сила — великая большевистская партия. Вдохновителем и организатором наших побед является наш великий вождь тов. Сталин, который, по меткому слову тов. Орджоникидзе, «был душой нашей политики». Именно благодаря тов. Сталину СССР выситя сейчас, как гордый, неприступный утес, в океане капиталистической стихии, способный отразить нападки всех враждебных ему сил.



XVII с'езд подвел славные итоги выполнения первой пятилетки и утвердил план второй пятилетки. Этот план открывает перед СССР действительно захватывающие перспективы невиданного до сих пор роста. Эти перспективы показаны в докладе тт. Молотова и Куйбышева, в решении с'езда о втором пятилетнем плане.

Даже беглое сравнение второго пятилетнего плана с первым показывает, какой колоссальный опыт мы приобрели, борясь за выполнение первой пятилетки. Значение этого опыта не поддается простому количественному учету, однако

он является несомненно одним из мощных факторов, определяющих успех второй пятилетки. Этот опыт сказался в речах всех ораторов, выступавших на XVII с'езде. В этих речах звучит основанная на глубокой теоретической убежденности и колоссальном практическом опыте спокойная и полная уверенность в том, что задачи второй пятилетки будут выполнены.

Вторая пятилетка преследует разрешение трех основных задач:

Первой и вместе с тем основной политической задачей является — «окончательная ликвидация капиталистических элементов и классов вообще, полное уничтожение причин, порождающих классовые различия и эксплуатацию, и преодоление пережитков капитализма в экономике и сознании людей, превращение всего трудящегося населения страны в сознательных и активных строителей бесклассового, социалистического общества» (XVII партконференция).

«Вторая задача — дальнейший подъем благосостояния рабочих и колхозных масс и повышение уровня потребления трудящихся в 2½—3 раза.

Третья задача — завершение технической реконструкции всего народного хозяйства, промышленности, транспорта, сельского хозяйства» (Молотов. Доклад на XVII с'езде).

Эти три задачи, как подчеркнул т. Молотов, «неразрывно связаны между собой и определяют существо социалистического строительства в период второй пятилетки».

Остановимся прежде всего на некоторых количественных показателях; они сразу дадут представление о том, с каким гигантским объемом работы предстоит нам иметь дело во второй пятилетке.

Уже из третьей задачи — завершение технической реконструкции народного хозяйства — вытекает, что вторая пятилетка будет пятилеткой грандиозного технического перевооружения всех отраслей народного хозяйства. Об этом говорит колоссальный рост основных фондов народного хозяйства, объем которых возрастает с 85,2 млрд. руб. в 1932 г. до 195,2 млрд. в 1937 г. При-

рост основных фондов во второй пятилетке в три раза выше прироста основных фондов в первой пятилетке.

Объем промышленной продукции будет возрастать ежегодно в среднем на 16,5% и достигнет к концу второй пятилетки 92,7 млрд. рублей против 43 млрд. в конце первой пятилетки. О таких темпах роста не может мечтать ни одна капиталистическая страна.

Важно отметить, что при среднегодовом приросте промышленной продукции в 16,5%, ежегодный прирост производства предметов потребления намечен в 18,5% против 17% в первой пятилетке. Более быстрый рост производства предметов потребления целиком вытекает из установки второй пятилетки повысить уровень потребления трудящихся масс в 2½—3 раза. В связи с этим продукция легкой промышленности будет утроена. Реальная заработная плата будет повышена в 2,1 раза путем снижения розничных цен на 35—40% в государственной-кооперативной торговле, снижения цен на колхозных базарах в 3—4 раза, увеличения фонда культурно-бытового обслуживания больше чем в два раза и т. д.

Из всех отраслей промышленности особенно бурно будет расти советское машиностроение, продукция которого должна возрасти в 1937 г. до 19,5 млрд., что составляет 207% уровня 1932 г. Столь быстрый рост вытекает из той огромной роли, которую машиностроение будет играть во второй пятилетке, — роли ведущего звена в завершении технической реконструкции народного хозяйства. «Сохранить за машиностроением его нынешнюю ведущую роль в системе промышленности» — одна из очередных задач, поставленных тов. Сталиным перед партией в докладе на XVII съезде.

В результате намеченного роста индустрии ее удельный вес в общей продукции народного хозяйства возрастает с 76,8% в 1932 г. до 79,5% в 1937 г. Это значит, что по уровню индустриализации СССР будет стоять рядом с самыми высокообразованными промышленными странами мира — САСШ и Германией.

Ярким показателем технического перевооружения народного хозяйства является запроектированный рост механизации. Мы знаем, что в связи с жесточайшим экономическим кризисом в капиталистических странах, невозможностью для буржуазии использовать наличный производственный аппарат капиталистическая техника в ряде отраслей шагает вспять, машинный труд заменяется ручным. Противоположная картина у нас. XVII съезд дал директиву завершить к концу второй пятилетки механизацию всех трудоемких процессов: по каменному углю повысить механизацию зарубки до 93%, довести механизацию выплавки чугуна до 80%, механизировать добычу торфа до 70%, строительные работы до 80%, и т. д.

Даже в сельском хозяйстве, где не столь давно преобладал ручной труд, будет осуществлена широчайшая программа механизации. Во второй пятилетке исчезнет пахота сохой, пахота конным плугом понизится с 89,2% в 1928 г. до 20% в 1937 г., а пахота тракторным плугом возрастет с 1% в 1928 г. до 80% в 1937 г. Уборка зерновых серпом и косой, занимавшая в 1928 г. 44,4%, будет прекращена вовсе; зато уборка тракторным инвентарем повысится до 60%, в том числе уборка комбайнами до 30%.

Резолюция XVII съезда подчеркивает, что «осуществление задач технической реконструкции промышленности требует успешного освоения новой техники и новых производств, что должно найти свое выражение в значительном росте производительности труда и серьезном снижении себестоимости». В связи с этим рост производительности труда в промышленности запроектирован на 63% против 41% в первой пятилетке.

Что решающим условием достижения столь высокого уровня производительности труда является освоение новой техники и новых предприятий, говорят следующие цифры: в то время как в 1930 г. старые заводы давали 79,1% всей промышленной продукции, в 1937 г. они дадут всего лишь 20%, а остальные 80% падают на новые и за-

ново реконструированные предприятия, техникой которых нужно овладеть.

Чтобы закончить с промышленностью, отметим еще колоссальный размах промышленного строительства во 2-й пятилетке. Общий объем капитальных работ промышленности определен на второе пятилетие в размере 69,5 млрд. руб. против 25 млрд. руб. за первую пятилетку. Во второй пятилетке мы должны построить 45 новых доменных печей, 152 мартена, мы должны установить 107 прокатных и трубопрокатных станков. Устанавливаемое в металлургии оборудование является самым передовым с точки зрения современной техники.

Во 2-й пятилетке мы должны построить 175 машиностроительных заводов, 248 каменноугольных шахт, 79 районных электростанций, 25 заводов цветной металлургии, 313 крупных предприятий легкой промышленности и 350 крупных предприятий пищевой промышленности.

Наконец во второй пятилетке будут осуществлены значительные работы по созданию новой энергетической базы для завершения реконструкции всех отраслей народного хозяйства. По абсолютным масштабам электрификации СССР займет во второй пятилетке второе место в мире, уступая первое место САСШ, по техническому же уровню электроэнергетической базы СССР займет первое место в мире. Во второй пятилетке «создаются величайшие в мире электроэнергетические системы, представляющие собою звенья будущей единой высоковольтной сети СССР. Самая крупная в мире система—Ниагарская—дала в 1930 г. выработку в 6,9 млрд. квтч. в год. Создаваемая во второй пятилетке Днепровско-Донбасская система будет иметь годовую производительность в 9 млрд. квтч. в год. Две трети всей выработки энергии в СССР будет сосредоточено в крупнейших энергетических узлах с выработкой в 1 млрд. квтч. в каждом» (К у й б ы ш е в).

Огромный размах получает во второй пятилетке и сельское хозяйство. Его продукция должна возрасти вдвое—с 13,1 млрд. руб. в 1932 г. до 26,2 млрд. руб. в 1937 г. Особое вни-

мание план второй пятилетки обращает на поднятие урожайности, серьезное расширение технических культур и в особенности решительный подъем животноводства.

С'езд подчеркнул, что «намеченный прирост продукции сельского хозяйства может быть достигнут лишь на основе полного завершения коллективизации и осуществления технической реконструкции всего сельского хозяйства». С этой целью с'езд наметил целый ряд мероприятий, в том числе увеличение количества МТС с 2.446 в 1932 г. до 6 тысяч в 1937 г., увеличение тракторного парка с 2.225 тыс. лошадиных сил до 8.200 тыс. сил, парка комбайнов до 100 тыс. и автомобильного парка в сельском хозяйстве до 170 тыс. штук, завершение в основном механизации сельского хозяйства и т. д.

Из числа важных народнохозяйственных проблем, над которыми мы должны особенно упорно работать во второй пятилетке и которые выдвинул в своем докладе тов. Сталин, отметим следующие.

Во-первых, это—ликвидация отставания черной металлургии и упорядочение дела цветной металлургии. Эти отрасли, имеющие в своем развитии немало достижений, систематически не выполняют своих планов, хотя они вооружаются самой передовой техникой. «Если они будут и впредь отставать, они могут превратиться в тормоз для промышленности и в причину ее прорывов» (Сталин).

Для ликвидации отставания черной металлургии от общих темпов развития народного хозяйства намечено удвоить за годы второй пятилетки мощность металлургии, ликвидировать разрыв между мощностью доменных и отстающих от них сталеплавильных и особенно прокатных цехов, реконструировать железорудную промышленность и т. д. Самым важным средством для ликвидации отставания металлургии является освоение новой техники. Эта задача, имеющая огромное значение для всех отраслей, особенно актуальна в металлургии в виду сложности установленной в ней богатейшей техники.

Во-вторых, развертывание товарооборота между городом и деревней. Тов. Сталин, посвятивший большое внимание этому вопросу в своем докладе, самым резким и беспощадным образом разоблачил левацко-мелкобуржуазную болтовню о том, что советская торговля — это пройденная ступень, что необходимо, вместо торговли, переходить к прямому продуктообмену, что деньги должны быть скоро отменены и т. п. Тов. Сталин показал, что «продуктообмен может притти лишь на смену и в результате идеально налаженной советской торговли, чего у нас нет и в помине», что «деньги останутся у нас еще долго, впредь до завершения первой стадии коммунизма, — социалистической стадии развития».

«Чтобы экономическая жизнь страны могла забить ключом, а промышленность и сельское хозяйство имели стимул к дальнейшему росту своей продукции, надо иметь еще одно условие, а именно — развернутый товарооборот между городом и деревней, между районами и областями страны, между различными отраслями народного хозяйства. Необходимо, чтобы страна была покрыта богатой сетью торговых баз, магазинов, лавок. Необходимо, чтобы по каналам этих баз, магазинов, лавок безостановочно циркулировали товары от мест производства к потребителю. Необходимо, чтобы в это дело были вовлечены и государственная торговая сеть, и кооперативная торговая сеть, и местная промышленность, и колхозы, и единоличники крестьяне.

Это и называется у нас развернутой советской торговлей, торговлей без капитализма, торговлей без спекулянтов» (Сталин).

В-третьих, необходимость решительно подтянуть все виды нашего транспорта, который «является тем узким местом, о которое может споткнуться, да, пожалуй, уже начинает споткаться, вся наша экономика и прежде всего наш товарооборот» (Сталин). Работа нашего транспорта, в особенности железнодорожного, получила резкую и заслуженную критику со стороны тов. тов. Сталина. Кагановича,

Ворошилова. Главное в улучшении работы транспорта — это ликвидация канцелярско-бюрократического метода руководства, устранение функционалки, изжитие обезлички и уравниловки, которые свили себе прочное гнездо на транспорте.

Таковы, кратко, хозяйственные задачи, стоящие перед нами во второй пятилетке. В результате осуществления этих задач «СССР превращается во втором пятилетии в технико-экономически независимую страну и в самое передовое в техническом отношении государство в Европе». (Из резолюции съезда). Это видно из следующей интересной таблицы, взятой нами из доклада тов. Молотова (см. стр. 17).

Как указано выше, основной политической задачей второй пятилетки является построение бесклассового, социалистического общества в нашей стране.

Уже в результате выполнения первой пятилетки социально-экономическая структура нашей страны изменилась коренным образом. После выполнения второй пятилетки страна изменится в еще большей мере.

В результате выполнения второй пятилетки в СССР будет уничтожена полностью и навсегда частная собственность на средства производства, служившая основой существования человечества в течение тысячелетий и причиной, порождавшей классовые различия и эксплуатацию человека человеком.

Будет уничтожена многоукладность Советского Союза. Социалистический способ производства, ныне преобладающий, станет единственным способом производства в нашей стране.

Наконец, выполнив вторую пятилетку, «СССР осуществляет крупный шаг вперед в деле изживания вековой противоположности человеческого общества — противоположности между городом и деревней и создает все необходимые предпосылки для уничтожения этой противоположности» (Из резолюции о второй пятилетке).

По своей общественной форме сельское хозяйство становится однотипным с промышленностью, а сельскохозяй-

Место СССР в продукции мировой промышленности

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ	1913 г. 1928 г.		1932 г. ¹⁾		1937 г. ¹⁾	
	Во всем мире		Во всем мире:	В Европе	Во всем мире:	В Европе
Вся продукция	—	5	3	2	2	1
Электроэнергия	15	10	7	4	2	1
Каменный уголь	6	6	4	3	4	3
Торф	—	—	1	1	1	1
Нефть	2	3	2	1	2	1
Чугун	5	6	5	4	2	1
Сталь	5	5	5	4	2	1
Общее машиностроение	4	4	2	1	2	1
Сельскохозяйственное машиностроение	—	4	2	1	2	1
Тракторы	—	4	2	1	2	1
Комбайны	—	—	2	1	2	1
Автомобили	—	12	7	5	5	3
В том числе грузовики	—	11	6	4	2	1
Медь	7	9	9	2	3	1
Алюминий	—	—	11	9	2	1
Цемент	—	8	7	5	2	1
Фосфорные удобрения (суперфосфат)	—	18	9	6	2	1

ственный труд превращается в разнообразность индустриального труда.

XVII съезд потребовал от всех членов партии большевистской борьбы за победу великого плана второй пятилетки. Этот план уже стал программой не только нашей партии, но и программой миллионов масс трудящихся Советского Союза. В этом—залог его несомненной и полной победы.

«Беспощадно громя контрреволюционные вылазки классового врага и сплачивая ряды ударников социализма для победоносного выполнения второго пятилетнего плана, рабочий класс вместе с колхозными массами, под руководством партии, ведущей неуклонную борьбу со всяким сппортунизмом, преодолет все и всякие трудности на пути строительства социализма». (Из резолюции съезда о второй пятилетке).

Каковы же эти трудности, которые мы должны преодолеть и несомненно преодолеем, чтобы еще более успешно двинуть вперед дело социалистического строительства? Ответ на этот вопрос дан в отчетном докладе тов. Сталина, в блестящем докладе тов. Л. М. Кагановича и наконец в решении

XVII съезда по организационным вопросам.

«Эти трудности являются трудностями нашей организационной работы, трудностями нашего организационного руководства. Они гнездятся в нас самих, в наших организациях, в аппаратах наших партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных, комсомольских и всяких иных организаций» (Сталин).

Тов. Сталин показал в своем докладе особенность текущего этапа, делающую организационный вопрос решающим вопросом в нашей работе. Особенность эта состоит в том, что:

«После того, как правильность политической линии партии подтверждена опытом ряда лет, а готовность рабочих и крестьян поддержать эту линию не вызывает больше сомнений, роль так называемых объективных условий свелась к минимуму, тогда как роль наших организаций и их руководителей стала решающей, исключительной. А что это значит? Это значит, что ответственность за наши прорывы и недостатки в работе ложится отныне на

¹⁾ 1932 и 1937 гг. по сравнению с производством в капиталистических странах в 1929 г.

девять десятых не на «объективные» условия, а на нас самих, и только на нас». (Подчеркнуто мною.—Г. С.)

Решают сейчас люди и правильная их организация. Именно от этого зависит успех второй пятилетки. Вот почему XVII съезд уделил такое огромное внимание организационным вопросам. Вот почему решения XVII съезда по этим вопросам самым тесным образом связаны с решениями съезда о второй пятилетке и являются по существу ключом к разрешению задач второй пятилетки.

Резолюция XVII съезда и доклад тов. Кагановича по организационным вопросам являются замечательными документами нашей эпохи. В них вобран весь тот богатейший опыт руководства миллионными массами, который имеет наша большевистская партия. Необычайно четкий и ясный анализ существующего состояния организационной работы партии, четкий и ясный ответ на вопрос, что именно и как нужно делать, — характерная черта обоих документов, делающая их острым оружием партии в борьбе за успешное разрешение второй пятилетки.

Основной смысл решений съезда по организационным вопросам состоит в том, чтобы устранить отставание организационно-практической работы партии от требований политических директив, «поднять организационное руководство до уровня политического руководства; добиться того, чтобы организационное руководство полностью обеспечивало проведение в жизнь политических лозунгов и решений партии» (Сталин).

Тов. Сталин прекрасно показал, какую колоссальную роль играет соответствие между правильной политической линией и хорошо поставленной организационной работой.

«Хорошие резолюции и декларации за генеральную линию партии — это только начало дела, ибо они означают лишь желание победить, но не самую победу. После того, как дана правильная линия, после того, как дано правильное решение вопроса, успех дела зависит от организационной работы, от организации борьбы за проведение в

жизнь линии партии, от правильного подбора людей, от проверки исполнения решений руководящих органов. Без этого правильная линия партии и правильные решения рискуют потерпеть серьезный ущерб. Более того: после того, как дана правильная политическая линия, организационная работа решает все, в том числе и судьбу самой политической линии,—ее выполнение или ее провал». (Подчеркнуто мной.—Г. С.)

Тов. Каганович чрезвычайно красочно показал в своем докладе многообразную организационную работу, проделанную Центральным Комитетом и вождем партии тов. Сталиным, обеспечившую замечательные победы партии в период между XVI и XVII съездами, показал особенности стиля работы ЦК и тов. Сталина, отличающегося необычайной конкретностью и оперативностью. От знаменитых решений ЦК об угольной промышленности и железнодорожном транспорте до решений о советской литературе, об учебниках — так широкий размах организационной работы Центрального Комитета. Вместе с тем тов. Каганович на основе богатейшего собранного им фактического материала из различных отраслей народного хозяйства показал огромное количество недостатков в работе различных руководящих органов, в особенности в органах Наркомзема и Наркомсовхозов. Какие это недостатки?

Это — канцелярски-бюрократический метод руководства, когда живое и конкретное руководство подменяется болтовней о «руководстве вообще».

Это — функциональное построение аппарата и отсутствие личной ответственности. Не может быть хорошей работы, живого, конкретного руководства, ответственности за порученное дело там, где, как, например, в Наркомземе СССР, существовало 202 различных сектора, каждый из которых «руководил» по всему Советскому Союзу. Зато функционалка открывает широчайшее поле для процветания бюрократизма и волокиты.

Это — обезличка в работе и уравниловка в зарплате; отсутствие системати-

ческой проверки исполнения, боязнь самокритики. Вот те крупнейшие недостатки в нашей работе, за скорейшее изжитие которых надо вести самую решительную борьбу.

В докладе тов. Кагановича и в решениях съезда намечена широкая программа всесторонней перестройки способов и методов руководства, осуществление которой является необходимым условием выполнения задач второй пятилетки. Перестройка должна быть произведена не только в органах советского и хозяйственного аппарата, но и в органах партийных и профсоюзных организаций. Коренной перестройке подвергнуты и органы контроля.

Тов. Сталин назвал гениальной мысль Ленина о том, что главное в организационной работе — это подбор людей и проверка исполнения. Эта мысль Ленина особенно актуальна теперь, когда для решения величайших задач требуется единство слова и дела, единство решения и исполнения, хорошо налаженная проверка исполнения принятых партией и правительством решений.

«Правильная организация проверки исполнения имеет решающее значение в деле борьбы с бюрократизмом и канцеляришней. Проводятся ли решения руководящих организаций, или кладутся под сукно бюрократами и канцеляристами? Проводятся ли они правильно, или извращаются? Работает ли аппарат честно и по-большевистски, или вертится на холостом ходу, — обо всем этом можно узнать во-время лишь в результате хорошо поставленной проверки исполнения. Хорошо поставленная проверка исполнения — это тот прожектор, который помогает освещать состояние работы аппарата в любое время и выводить на свет божий бюрократов и канцеляристов. Можно с уверенностью сказать, что девять десятых наших прорех и прорывов объясняется отсутствием правильно поставленной проверки исполнения. Не может быть сомнения, что при наличии такой проверки исполнения прорехи и прорывы были бы наверняка предупреждены».

Именно для достижения такой проверки исполнения, о которой говорит тов. Сталин, для обеспечения единства решения и исполнения, для еще большего укрепления партийной и советской дисциплины XVII съезд постановил ликвидировать Наркомат РКИ как уже сыгравший свою положительную роль и преобразовать Комиссию Исполнения при СНК СССР в Комиссию Советского Контроля при СНК СССР, а ЦКК преобразовать в Комиссию Партийного Контроля при ЦК ВКП(б).

Из решений съезда по организационным вопросам необходимо особо отметить необычайную требовательность, предъявляемую сейчас к каждому работнику, в особенности к руководителю. Знать до тонкости свое дело, уметь отвечать за него, руководить не «вообще», а конкретно, на основе знания дела — вот что требуется теперь от каждого работника, от каждого руководителя.

Особенно высокие требования предъявляются теперь к коммунисту — члену великой большевистской партии. «Главный признак партийности большевика — роль авангардного бойца за социалистическое отношение к труду, роль организатора социалистического способа производства в промышленности и в сельском хозяйстве» (Каганович).

Эти неизмеримо повысившиеся требования к члену партии зафиксированы в новом уставе партии, утвержденном XVII съездом как необходимые условия большевистской партийности. В уставе сказано, что каждый член партии обязан:

«а) соблюдать строжайшую партийную дисциплину, активно участвовать в политической жизни партии и страны, проводить на практике политику партии и решения партийных органов;

б) неустанно работать над повышением своей идейной вооруженности, над усвоением основ марксизма-ленинизма, важнейших политических и организационных решений партии и разъяснять их беспартийным массам;

в) как член правящей партии в советском государстве быть образцом со-

блюдения трудовой и государственной дисциплины, овладеть техникой своего дела, непрерывно повышая свою производительную, деловую квалификацию».

Таковы, кратко, задачи, поставленные съездом перед партией во второй пятилетке, и способы решения этих задач, указанные в решениях съезда и в докладах тт. Сталина и Кагановича. Блестящие успехи истекших лет могут вызвать у некоторых товарищей зазнайство, рассуждения «нам все ни почем», «мы теперь все можем», а отсюда—самоуспокоение и демобилизационные настроения. Тов. Сталин со всей силой предостерег партию от опасности такого рода настроений. Победа второй пятилетки придет не в порядке самотека, а в борьбе за преодоление больших трудностей.

«Значит, не убаюкивать надо партию, а развивать в ней бдительность, не усыплять ее, а держать в состоянии боевой готовности, не разоружать, а вооружать, не демобилизовывать, а держать ее в состоянии мобилизации для осуществления второй пятилетки» (Сталин).

XVII съезд—съезд великой партии— принял решения всемирно-исторического значения. Эти решения определяют не только судьбу Советского Союза. Они имеют колоссальное международное значение. Остается одно: каждому, на каком бы участке он ни стоял, маленьком или большом, засучив рукава необходимо со всей силой и энергией взяться за выполнение этих решений, обеспечивающих построение бесклассового, социалистического общества в нашей стране.

Петр Первый

Роман

АЛ. ТОЛСТОЙ

(Продолжение ¹)

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Жара. Безветрие. Черепичные крыши Константинополя выщвели. Над городом — марево зноя. Нет тени даже в бурых, пыльных садах султанского дворца. У подножия крепостных стен, на камнях у зеркальной воды, спят оборванные люди. Город затах. Только с высоких минарétов начинают кричать протяжные голоса, — скорбным напоминанием. Да по ночам воют собаки на большие звезды.

Миновал год, как великий посол Емельян Украинцев и дьяк Чередеев сидели на подворьи в Перу. Созваны были двадцать три конференции — но ни мы ни назад, ни вперед, ни турки ни назад, ни вперед. На-днях прибыл гонец от Петра с приказом: свершить мир спешно, — уступить туркам все, что возможно, кроме Азова, о гробе господнем лучше совсем не поминать, чтобы не задирать католиков, и, уступив, уже на сей раз быть крепко.

На двадцать гретей конференций Украинцев сказал: «Вот наше последнее слово... Жития нам осталось в Цареграде две недели... Не будет мира — сами на себя пеняйте: флот у великого государя не в пример прошлому году... Чай, слышали...» Для устрашения великое

посольство перебралось с подворья на корабль. «Крепость» стоял так долго в бездействии, — плесенью заросли борта, в каютах завелись тараканы и клопы, капитан Памбург совсем обрюзг от скуки.

Украинцев и Чередеев просыпались до света, почесывались и кряхтели в душевной каюте. Надевали прямо на исподнее татарские халаты, выходили на палубу... Тоска, — над темным еще Босфором, над выжженными холмами разливалась безоблачная заря, таящая зной. Садилась закусывать. Квасу бы с логребницы... Какой чорт! — ели вонючую рыбу, пили воду с уксусом, — все без вкуса. Капитан Памбург, пропустив натошак чарку, прохаживался в одних подштанниках по рассохшейся палубе. Выкатывалось оранжевое солнце. И скоро нестерпимо было глядеть на текучую воду, на лениво колыхающиеся у берега лодки с арбузами и дынями, на меловые купола мечетей, на колющие глаз полумесяцы в синеве. Доносился шум голосов, крики, звонки продавцов из узких переулков Галаты.

— Емельян Игнатьевич, ну, что тебе пользы от меня, — говорил дьяк Чередеев, — отпусти ты меня для бога... Пешком уйду...

— Скоро, скоро — домой, потерпи, Иван Иванович, — отвечал Украинцев, закрывая глаза, чтобы самому не видеть опостылевшего города.

¹) См. «Новый мир», кн. 1 с. г.

— Емельян Игнатьевич, на одно бы согласился: в огороде, в лебеде, в прохладе полежать... (И без того длинное, узкобородое лицо Чередеева совсем высохло от жары и тоски, глаза завалились.) У меня в Суздале домишко... на огороде две березы старых, — во сне их вижу... Утречком встанешь, пошел скотинку взглянуть, ан ее уже выгнали на луг... Пойдешь на пасеку, трава — по пояс, роса... На речке мужики идут бреднем... Бабы стучат вальками приветливо...

— Ай, ай, ай, да, да, да, — кивал морщинистым лицом великий посол.

— На обед — пирог с соминой...

Украинцев, — покачиваясь, не открывая глаз:

— Сомина — жирновато, Иван Иванович... По летней поре — ботвинью... Квасок — мятный...

— Хороша уха из ершей, Емельян Игнатьевич...

— И его чистить нельзя, ерша, как есть, сопливого надо варить... Сварил — долой и туда — стерлядь...

— Какое государство, боже мой! Ну, а здесь, Емельян Игнатьевич... Истинно — басурмане. Так, марево какое-то, не жизнь. И гречанки здесь — истинно со суд мерзостей...

— Вот этого тебе бы надо избегать, Иван Иванович.

У Чередеева на большом носу, как просо, проступал пот. Глаза глубже завалились. От берега к кораблю шел шестивесельный сандал, покрытый ковром. Капитан Памбург вдруг закричал хрипло:

— Боцмана, свистать всех наверх! Давай трап!

На сандале подплыл, торопливо шлепя туфлями, взобрался по трапу Соломон, один из подъячих великого визиря, — быстрый в мыслях и в движениях тела, — с воспаленным от бритья скуластым лицом, приплюснутым носом. Живо обшарил глазами корабль, живо ладонь — ко лбу, к губам, к сердцу, заговорил по-русски:

— Великий визирь просит спросить про твое здоровье, Емельян Игнатьевич... Боится, что тебе тесно на корабле. С чего разгневался на нас?

— Здравствуй, Соломон, — ответил Украинцев как можно неспеша, — скажи и ты про здоровье великого визиря... Все ли у вас слава богу? (При сих словах приоткрыл острый глаз.) А нам и здесь хорошо. По дому соскучились. Всего дому-то здесь — пятьдесят футов под ногами.

— Емельян Игнатьевич, можно в сторонку?

— Отчего же, можно и в сторонку. — Кашлянув, сказал Чередееву и Памбургу: — Отойдите от нас. — И сам отступил в тень паруса. Соломон улыбкой открыл корявые десны:

— Емельян Игнатьевич, я — ваш истинный друг, врагов ваших по пальцам знаю... (Замелькал перстами перед носом Украинцева, — тот только: «Так, так».) Над их происками смеюсь... Не будь меня, Диван бы и говорить с вами перестал... Удалось мне повернуть дело, — великий визирь хоть завтра подпишет мир... Бакшиш надо дать кое-кому...

— Вот как? — повторил Украинцев. Все теперь было понятно. Один грек, состоявший у него на жалованьи, вчера донес, что в Константинополь вернулся из Парижа французский посол, и было собрание Дивана, — султанских министров, — и они получили большие подарки. Емельян всю ночь, мучаясь от жары и тараканов, думал: «К чему бы сие? Не иначе, как снова втравляют турок в войну с австрийским цезарем. А посему туркам надо развязывать руки с московскими делами...»

— Что же, бакшиш — дело десятое... Ты вот что скажи великому визирю: «Ждем-де мы только попутного ветра. Будет мир — хорошо, не будет — еще нам лучше... А миру быть так... (Твердо из-под седатых бровей стал глядеть на Соломона.) Днепровские городки мы разорим, как уговорились... Но, взамен, вокруг Азова быть русской земле на десять дней верховного пути. Это твердо...»

Соломон, испугавшись, как бы совсем бакшиш не ушел от него, — русские, видимо, знали больше, чем надо, — схватил великого посла за рукава. Начал спорить. Пошли в каюту. Памбург, зная, что много глаз глядят в подзор-

ные трубы на «Крепость», послал матросов на мачты — готовить паруса к походу. Емельян на минуту показался из каюты: «Иван Иванович, приберись, в город поедем». И скоро сам вышел при парике и шпаге. Соломон подхватывал его за локти, когда спускались по трапу в сандал.

После полудня впервые за много дней лениво плеснулся узкий вымпел на корабле. Далекие холмы стало затягивать бесцветной мглой. Синева неба будто насыщалась пылью. Заволакивало город. Начал дуть ветер из пустыни.

На другой день был подписан мир.

2

Иван Великий гудел над Москвой, — двадцать четыре молодца-гостинодворца раскачивали его медный язык. Шло молебствие о даровании победы русскому оружию над супостаты. Сегодня, после обедни, думный дьяк Прокофий Возницын по древнему обычаю — в русской шубе, в колпаке меховом, в сафьяновых сапожках — вышел на постельное крыльцо (уже зараставшее крапивой и лопухами), внятно множеству сбежавшегося народа прочел царский указ: итти на свейские города ратным людям войною. Быть на коне всем стольникам, стряпчим, дворянам московским и жильцам и всем чинам, писанным в ученье ратного дела.

Давно ждали этого, и все же Москва всколыхнулась до утробы. С утра, пылью застилая улицы, проходили полки и обозы. Солдатские женки бежали рядом, взмахивали отчаянно длинными рукавами... Посадские люди, во множестве, жались к заборам от прыгающих по бревенчатой мостовой пушек. В раскрытые двери из древних церквочек громогласно вопиали дьякона: «... победы...» Распахивались ворота боярских дворов, выскакивали всадники, — иные, по старинному, в латах и епанчах, — горяча коней, врзались в толпу, хлестали по головам нагайками. Сталкивались телеги, трещали оси, грызлись, взвизгивали кони.

В Успенском соборе в огнях множества свеч слабый телом патриарх Адри-

ан, окутанный дымами ладана, плакал, воздев ладони. Бояре и за ними плотной толщей именитые купцы и лучшие гостиной сотни стояли на коленях. Все плакали, глядя на слезы, текущие по запрокинутому к куполу лицу владыки. Архидьякон, разинув пасть, надув жилы на виках, возгласами победы, подобно трубе страшного суда, покрывал патриарший хор. Черна была мантия патриарха, черны лики святителей в золотых окладах, — золотом и славою сиял храм.

Купечество в таком множестве в первый раз допускалось в Успенский собор, — в твердыню боярскую, — Бурмистерская палата пожертвовала на сей случай двадцать пять пудов восковых свеч да многие именитые поставили отдельно свечи — кто в полпуда, а кто — и в пуд. Дьяконов просили не жалеть ладана.

Иван Артемич Бровкин, сопя от слез, повторял одно: «Слава, слава...» По одну его сторону президент Митрофан Шорин самозабвенным голосом подпевал хору, по другую Алексей Свешников цыганскими глазами так жадно ел золото иконостаса, риз и венцов, будто вся эта мощь была его делом... «Победы...» — взревел, потрясая своды, пышно облаченный архидьякон, — красные розы, вытканые на ризе его, затянуло клубами.

Пошли к кресту. Первым — тучный, седой князь-кесарь, Федор Юрьевич, с минуту целовал крест, вздрагивая дряхлыми плечами. За ним — князья и бояре, один старее другого (молодые все уже были на службе и в походе). Истоиво двинулось купечество. Церковному старосте, державшему большой поднос, бросали со звоном червонцы, перстни, жемчужные нитки. Выходили из собора, подняв головы. Еще раз перекрестясь на огромный лик над входом, встряхивали волосами, надевали шапки и шляпы, шли через плешивую, поросшую травкой площадь в Бурмистерскую палату, — бойко стучали каблуками, хозяйственно поглядывали на толпы простого народа, на окна приказов.

Ивана Артемича при выходе схватили за бархатные полы десяток чер-

ных, корявых рук: «Князь, князь... Копеечку... Кусо-о-чек» — вопили косматые, беззубые, голые, гнойные... Ползли, тянясь, трясли лохмотьями: «Князь, князь...» Ужасаясь, Иван Артемич оглядывался: «Что вы, дураки, нищие, какой же я князь...» Выворотил оба кармана, кидал копейки... Плешивый юродивый задрезжал кочергами, взвыл нечеловечьим голосом: «Угольков хочу горяченьких...»

Тут же, посмеиваясь щелками глаз, шипля бороденку, стоял Васька Ревякин. Оторвав кое-как полы, Иван Артемич — ему:

— Не твое ли это войско, купец? Ты бы лучше лоб перекрестил для такого дня...

— Мы с миром, Иван Артемич. — Приложив к животу руки, Ревякин поклонился. — С миром смиряемся... Мир убог, и мы у бога...

— Тфу! Пес, начетчик... Чистый пес. — Иван Артемич пошел прочь, вдогонку ему козлом заблекотал юродивый.

3

Солдатам то и дело приходилось, навалясь, вытаскивать из грязи телеги и пушки. Много дней дул ветер с запада, куда медленно, растянувшись на сотню верст, двигались войска генералов Вейде и Артамона Головина. (Репнинская дивизия никак не могла еще тронуться из Москвы.) Шли сорок пять тысяч пеших и конных и тысяч десять телег.

Студеные туманы волоклись по верушкам леса. Дождь сбивал последние листья с берез и осин. В синеватой грязи разезженных дорог колеса увязали по ступицу, кони ломали ноги. По всему пути валялись раздутые чрева, задранные ноги конской падали. Люди молча садились на гребни канав, — хоть убивай его насмерть. Особенно оказались нежны иностранные офицеры, — давно послезали с седел, в мокрых плащах, в мокрых париках дрожали среди рухляди, под рогожными верхами повозок.

Из Москвы войска выходили наряженными, в белых чулках, к шведской границе подходили босыми, по шею в гря-

зи, без строя. Когда огибали Ильмень-озеро, вздутые воды хлынули на луговой берег, потопило много обозных гелег. От великого беспорядка обозы не попевали, путались. На стоянках нельзя было разжечь костров: сверху — дождь, снизу — топь. Хуже злого врага были конные сотни дворянского ополчения, — как саранча, растаскивали с'естное из окрестных деревень. Проходя мимо пеших, кричали: «С дороги, сиволапы!» Алексей Бровкин — капитан в передовом полку фон-Шведена — лаялся и не раз дрался гростью с конными помещиками. Трудов и тяготы было много, порядка мало.

Передовое войско вышло из грязи только у реки Луги — близ границы — и здесь стало лагерем, поджидая обозы. Разбили палатки, кое-как сушились. Солдаты вспоминали азовские походы, некоторые ратники помнили походы Василия Голицына в Крым. Сравнить нельзя — итти ли вольными степями на теплый юг... С песнями, помнится, шли... А это что за земля? Болота угрюмые, тучи да вегер. Много слез придется пролить — воевать эту голодную землю.

Едко дымил костры у палаток. Солдаты латали одежонку, спускались по скользкому обрыву к речке — стирать. Казенные башмаки у всех развалились к чорту, — хорошо, кто добыл лапти с онучами, другие обматывали ноги тряпьем. Тут и без войны к ноябрю месяцу ляжет половина народу. Конные иногда приводили на аркане чухонца, — языка. Обступали, спрашивали его по-русски и по-татарски — как здесь живуг? Глупый был народ чухонцы, — только моргал коровьими ресницами. Вели в палатку к Алексею Бровкину — на допрос. Таких языков отпускали редко, связав, отсылали в обоз, продавали за три четвертака — иных, очень здоровых, и дороже — маркитанам, а эти перепродавали в Новгород, где сидели приказчики военных поставщиков.

Алексей Бровкин строго вел ротное хозяйство. Солдагы его были сыгы, — зря не обижал, ел из солдатского котла, но баловства, оплошностей не слукал: каждый день кричал кто-нибудь кверху голой задницей под палками у

его палатки. Среди ночи просыпался, сам проверял дозоры. Однажды, неслышно подойдя к лесной опушке, стал слушать: не то дерево поскрипывало. не то скулил зверь какой-то. Негромко окликнул. Смутно виднелся сидевший на пне солдат, — обхватил ствол ружья, прижался головой к железу. Алексей — ему:

— Кто на дозоре?

Солдат вскопчил, — чуть слышно:

— Это я...

— Кто на дозоре? — гаркнул Алексей.

— Голиков Андрюшка.

— Ты скулил?

Солдат, — глядя в лицо:

— Не ведаю...

— Не ведаю. Эх, великопостник...

Побить бы надо его конечно... Алексею вспомнилось летящее выше леса пламя над рухнувшей церковкой, над заживо сгоревшими, и — на озаренном снегу — это, заламывающий руки. Тогда Алексей велел его взять вместе с бешеным мужиком и старцем Нектарием. По дороге Нектарий ушел, — чорт его знает, как — ночью, когда стояли под елями. Андрюшка Голиков лежал в саях под рогожей, — без памяти, не ел, не говорил. В повенце, в земской избе, когда на допросе пригрозили кнутом, вдруг сорвался: «За что мучаете? Уж мучали... Таких мук нег еще...» — и стал рассказывать все (подъячий не успевал макать перо), сорвав подрясник, показал язвы от побоев. Алексей увидел — это человек не обыкновенный, грамотный, велел обстричь ему космы, вымыть в бане, определить в солдаты.

— Разве воину полагается скулить... Нездоров, что ли?

Голиков, не отвечая, стоял, вытянувшись, прилично. Алексей погрозил тростью, пошел прочь. Голиков, — отчаянно:

— Господин капитан...

У Алексея от этого голоса из темноты что-то даже дрогнуло, — сам был такой когда-то. Остановился. Сурово:

— Ну. Что тебе еще?

— В тьме страшно, господин капитан: ночной пустыни боюсь. . . Хуже

смерти — тоска... Зачем нас сюда пригнали?

Алексей так удивился, — опять пошел к Голикову:

— Как ты можешь рассуждать, гулять? За такие речи — знаешь?

— Убейте меня сразу, Алексей Иванович... Сам я себе — хуже врага... Так жить, — скотина бы давно сдохла... Мир меня не принимает... Все пробоval, — и смерть не берет... Бессмыслица... Возьмите ружье, колите багнетом...

В ответ Алексей, сжав зубы, ударил Андрюшку в ухо, — у того мотнулась голова, но не ахнул даже...

— Подыми шляпу. Надень. В последний раз добром с тобой говорю, беспоповец... У старцев учился... Научили тебя уму... Ты — солдат. Сказано итти в поход, — иди. Сказано умереть, — умри. Почему? Потому так надо. Стой тут до зари... Опять заскулишь, — услышу, — остерегись...

Алексей ушел, не оборачиваясь. В палатке прилег на сено. До рассвета было еще далеко. Промозгло, но ни дождя, ни ветра. Натянул попону на голову. Вдохнул. «Конечно, каждый из них молчиг, а ведь думают... Эх, люди...»

Сутулый солдат, Федька Умойся Грязью, мрачно подавал из ковшика на руки, — Алексей фыркал в студеную воду, вздрагивал всей кожей. Утро было холодное, на прилегшей траве — сизый иней, под ботфортами похрустывала вязкая грязь. Дымы костров поднимались высоко между палатками. Непроспанный прапорщик Леопольдус Мирбах, в бараньем кожана, накинутаю перех военного кафтана, кричал что-то двум солдатам, — они стояли, испуганно задрал головы:

— Пороть, пороть! — повторял он осипшим голосом. — Пфуй! Швинь. — Взял одного за лицо, сжав, пхнул. Поправляя на плече кожана, пошел к палатке Алексея. Давно небритое лицо надута, глаза опухшие:

— Горячий вод — нет... Кушать — нет... Это — не война... Правильный

война — офицер доволен... Я не доволен... У вас паршивый зольдат...

Алексей ничего не ответил, зло тер щеки полотенцем. Крякнув, подставил Федьке спину в грязной сорочке: «Вали...— тот начал колотить ладошами, — крепче...»

Из леса в это время выехала тяжелая повозка с парусиновым верхом на обручах. От шестерни разномастных лошадей валил пар. Позади — десяток всадников в плащах, залепленных грязью. Повозка, валясь на стороны по истоптанному жнивью, шагом направлялась к лагерю. Алексей схватил кафтан, от торопливости не попадал в рукава, подхватив шпагу, побежал к палаткам:

— Барабанщики, тревогу!

Повозка остановилась. Вылез Петр — в круглой шапочке с наушниками, в коротком полшубке. Путаясь звездчатыми шпорами, вылез Меншиков в малиновом широком плаще на соболях. Всадники спешились. Петр, морщась, глядел на лагерь, засунул красные руки в карманы. В прозрачном воздухе запела труба, затрещали барабаны. Солдаты слезали с возов, выбегали из палаток, застегивались, накидывали портупей. Строились в карею. Вдоль линии рысцою шли прапорщики, тыча тростями, ругаясь по-немецки. Алексей Бровкин — левая рука на шпаге, в правой шляпа — остановился перед Петром. (Парика влопыхах не нашел.)

Петр, — смотря поверх его вихрагой головы:

— Покройся! В походе шляпы не снимать, дурак! Где ваш пороховой обоз?

— Остался на Ильмень-озере, весь порох подмочен, господин бомбардир.

Петр перекатил глаза на Меншикова. Тот лениво перекосился выбритым лицом.

— Извольте ответить, — сказал он, так же глядя поверх Алешкиной головы, — где другие роты полка? Где полковник фон-Шведен?

— Ниже по реке вразброс стоят, господин генерал.

Меншиков с той же кривой усмешкой покачал головой, Петр только насупил-

ся. Оба они — саженого роста — пошли по колеям жнивья к выстроенной карее. Не вытаскивая рук из карманов, Петр будто рассеянно оглядывал серые, худые лица солдат, исковерканные непогодой скверно сваленные шляпы, потрепанные кафтаны, тряпки, опорки на ногах. Одни только прапорщики-иноземцы вытягивались молодцевато.

Так стояли долго перед строем. Петр, — дернув вверх головой:

— Здорово, ребята!

Прапорщики яростно обернулись к линии. По рядам пошло нестройно: «Желаем здравия, господин бомбардир!»

— У кого есть жалобы? — Петр подошел ближе. Солдаты молчали. Прапорщики (рука — на отнесенной вбок трости, левый ботфорт — вперед) воткнулись глазами в царя. Петр повторил резче: «У кого жалобы, выходи, не бойся». Кто-то вдруг глубоко вздохнул всхлипом (Алексей увидел Голикова: у него мушкет ходил в руках, но оправился, смолчал).

— Завтра пойдем на Нарву. Трудов будет много, ребята! Сам свейский король Каролус идет навстречу. Надо его одолеть. Отечества отдать нам не мочно. Здесь — Ям-город, Иван-город, Нарва, вся земля до моря — наше бывшее отечество. Скоро одолеем и скоро отдохнем на зимних станах. Понятно, ребята?

Строго выпучился. Солдаты молча глядели на него. Чего уж понятнее. Один мрачный голос из рядов прорипел: «Одолеем, на это людей хватит». Меншиков сейчас же шагнул вперед, всматриваясь — кто сказал? (У Алексея упало сердце: сказал это Федька Умойся Грязью, самый ненадежный солдатешка.)

— Господин капитан... (Алексей подскочил.) За порядок в роте благодарствую тебя... В остальном — не виноват. Извольте выдать людям по тройной чарке водки.

Петр пошел к повозке, опустив голову. Меншиков моргнул Алексею (на этот раз изволил признать старого друга), выпростал из мехового плаща холеную руку, похлопал Алешку и, — нагнувшись к уху:

— Петр Алексеевич, ничего, доволен. У тебя не то, что у других... Отличись под Нарвой—в полковники маханешь... Ивана Артемича видел в Новгороде, приказал тебе кланяться...

— Спасибо вам, Александр Данилович.

— Счастливо... — Подхватив спереди плащ, Меншиков рысью догнал Петра. Сели в повозку, поехали берегом туда, где река, отражавшая холодное небо, загибалась за еловый лес.

Верстах в двух от Нарвы по течению реки, через два рукава Наровы, огибающие длинный и топкий остров Кампергольм, был наведен пловучий мост. По нему прошли конные полки Шереметьева и двинулись на ревельскую дорогу—чинить над неприятелем промысел. За ними на левый берег перешли части дивизии Трубецкого. В версте перед каменными бастионами Нарвы они огородились обозом. Нарвский гарнизон не препятствовал переправе, — видимо, за малочисленностью боялся выйти в открытое поле.

Двадцать третьего сентября все головное войско, свернув с ямгородской дороги, вышло на холмистую равнину и в виду приземистых, поросших травой башен Иван-города, — бывшей некогда твердыни Ивана Грозного, — и голубоватых — за рекой — островерхих кирок и черепичных крыш Нарвы двинулось к острову Кампергольм и начало переправу по зыбким мостам через мутную и быструю реку.

День был тихий. Солнце — не яркое, скудное. На кирпичных церквях Нарвы и Иван-города дребезжали набатные колокола.

К мостам по широко раз'езженной песчаной дороге валили без строя солдаты; стрельцы в ненавистных Петру колпаках с лисьими опушками; изломанные, кое-как связанные телеги с боченками, кулями, ящиками, с прозеленевшими караваями хлеба; мужики-возчики, вконец оборванные за дорогу, хлестали по тощим лошаденкам, влезавшим через силу в мочальные хомуты; проплывало знамя, прикрученное к древку, или значок на пике, или банник на пле-

че у пушкаря, потерявшего свою часть; постукивая тростью по головам, протискивался верховой офицер, закинувший плащ за плечо; с гиком проскакивал боярский сын в распахнутой шубе поверх дедовской кольчуги, и за ним подпрыгивали на клячах его люди, как бочки, в кафтанах из стеганого войлока, с татарскими луками и саадаками за спиной...

Все, проходя, оборачивались к лысому бугру, — в стороне от дороги, — на бугре на серой лошади сидел царь, в железной кирасе, смотрел в подзорную трубу, о стремя с ним на вороном коне подбоченился Меншиков, — поглядывал весело, ветер играл перьями его золоченого шлема.

Войска располагались полукругом — в расстоянии пушечного выстрела — перед крепостью, опираясь флангами о Нарову: выше города по течению реки стали части дивизии Вейде, в центре, — у подножия лесистого холма Германоберг, — дивизия Автамона Головина, на левом фланге — у моста через остров Кампергольм — семеновцы, преображенцы и стрелецкие полки Трубецкого. Здесь же был разбит шатер герцога фон-Круи, ехавшего при войске как высший советчик. Петр и Меншиков остановились на самом острове, в рыбацкой избе.

По всей линии начали рыть глубокий ров с люнетами, реданами и басгионами, обращенными к внешней стороне — на случай подхода шведов по ревельской дороге. Перед бастионами Нарвы возводились редуты для установки ломовой артиллерии. Осадными работами руководил инженер Галларт. С верхов крепости отрывались клубы дыма, свирепо в осенней сырости рывкали пушки, высоко забиравшимися, дымящими дугами неслись бомбы, падали, рвались близ телег, палаток, во рвах, откуда выскакивали солдаты. От бомб запылало несколько мыз среди садов и огородов. Дым от пожарищ и множества костров тянуло седьмй тучей на город, откуда вспыхивали огненные языки пушечных выстрелов. Нарвским комендантом был опытный и отважный воин полковник Горн.

Петр с инженером Галлартом, пробираясь верхами под защитой садов и строений, осматривали бастионы, — Фома, Глория, Кристеваль, Трицмор. Иногда приходилось под'езжать так близко, что в амбразурах видны были суровые лица шведских пушкарей. Не суетясь, но живо накатывали, наводили пушку, зорко ждали. Огонь. Ядро, неумолимо нажимая воздух, с шипом пронеслось над головами. У Петра расширились глаза, взбухали желваки на скулах, но ядрам не кланялся. Инженер Галларт, человек бывалый (деловитый, спокойный, фкучный) во-время трогал шпорами коня, от'езжал в сторону. Роскошный Меншиков — по нему-то каждый раз и целились — только встряхивал перьями шлема, хвастливо «кричал пушкарям: «Плоховато, камрады», хлопывал по шее танцующего жеребца. Полсотни драгун, усатых и рослых, недвижимо ожидали, в кого шлепнет черный мячик.

Крепостные стены были высоки. Бастионы, выступавшие полукружьями, сложены из валунного камня, столь крепкого, что чугунное ядро разлетается об него, как орех. В башенные щели и амбразуры высовывались тяжелые пушки, — их в крепости было не менее трехсот, гарнизона — тысячи две: пелоты, конницы и вооруженных граждан. Врали разведчики, что Нарву можно было взять сналету.

Петр слезал с лошади, присев на барабан, раскладывал на коленях лист бумаги. Мишка-денщик подавал чернильницу. Галларт присаживался на корточки около, — расстояние прикидывал на глаз. Большая рука Петра, державшая гусиное перышко, осторожно проводила дрожащие линии. Меншиков прохаживался перед полукружьем сидевших на конях драгун.

— На каждый бастион — по пятнадцать ломовых орудий, всего для прорыва нужно шестьдесят сорокавосьмифунтовых медных орудий, — говорил Галларт ровным, скучным голосом. — Сто двадцать тысяч ядер, на плохой конец...

— Здорово! — сказал Петр.

— Для зажигания пожаров в городе перед штурмом потребуется не меньше

сорока мортир и по тысяче бомб на каждую...

— Вот они в Европе как рассуждают, — сказал Петр, помечая цифры.

— Десять больших бочек уксусу для охлаждения орудий... Только непрерывною стрельбой, сушим адом всех батарей сокрушается твердость осаденных, — учит маршал Люксамбур... Нужно пятнадцать тысяч ручных гранат. Тысячу осадных двадцатиаршинных лестниц, столь легких, чтобы каждую могли нести бегом два человека. Пять тысяч мешков с шерстью...

— А это еще зачем?

— Для защиты воина от мушкетных пуль. При осаде Дюнкирхена маршала Вобану, заграждаясь таковыми мешками, удалось подойти вплотную к воротам, сколь ни была жестока стрельба, ибо пуля легко запутывается в шерсти...

— Ладно, — неуверенно сказал Петр, помечая на листке. — Данилыч, шерсти требуется пять тысяч мешков...

Меншиков, опершись о раздвинутые голени, нагнулся над трепещущей от ветра бумажкой. Покрутил губами:

— Баловство, мин герц! Да и шерсти совсем не достать. (Галларту.) Под Азовом с одними шпагами на стены лезли, а добыли город.

Позади, в ряду драгун, забилась лошадь, глухо вскрикнул человек. Обернулись. Сивая лошадь у одного, подбирая ноги, слепо вздергивала башкой, — выше ноздрей у нее била струю в палец черная кровь. Усатые драгуны, дичась, косились в сторону кустов, оттуда шагах в ста выпыхивали дымки. Петр, как поднял руку с пером, так и застыл, сидя на барабане.

Незаметно, за грохотом стрельбы, из ворот крепостной башни (отсюда незидимой 'за выступом бастиона Глория) вышел отряд егерей и перебежал за плетнями огородов. Вслед за ними на тяжелых рыжих лошадях вылетели полсотни рейтар в железных кирасах, низко надвинутых касках. Подняв палаш, они скакали, растянувшись по вересковому полю, — в обход слева.

Александр Данилович секунду — не более — глядел широко разинутыми

глазами на диверсию неприятеля и кинулся к вороному жеребцу, отстегнув, швырнул плащ, вскочил в седло: «Шпаги — вон!» — заорал, багровея. Выдернул шпагу, впился звездчатыми шпорами, упал на шею вставшему на дыбы жеребцу, толкнул его с места во весь мах: «Драгуны, за мной!» — И все, — Меншиков и драгуны, — огибая стоящего около барабана Петра, поскакали наперерез рейтарам, уже начавшим осаживать и псоворачивать.

Галларт, озабоченно поджав тонкие губы, подвел Петру его серую с черной гривой, беспокоящуюся кобылу: «Прошу вас выйти из поля обстрела, ваше величество!» Петр запрыгал на одной ноге, садясь в седло, глядел, как сближались драгуны и рейтары. Наши скакали плотной кучей, впереди подпрыгивали перья на сверкающем шлеме Алексашки, шведы далеко растянулись по полю, и сейчас фланговые, круто повернув, шпорили и били шпагами коней. Но сбиться не успели. Петр видел, ворванной жеребец Алексашки ударил грудью рыжую лошадь, рейтар завалился, хватаясь за гриву... Красные перья заметались среди железных касок. Но уже налетели всею лавой драгуны и, не задерживаясь, продолжали скакать (будто шутя, размахивали шпагами). За ними на поле оставались лежащие люди: один мотал опущенной головой, силится приподняться, другой гдрагивал заданными коленями. Несколько порожних лошадей испуганно скакали по полю.

Галларт упорно тянул за узду: «Ваше величество, здесь опасно». Серая кобыла приседала, вертела задом. Петр ударил ее пятками. Отъехав, продолжал оборачиваться. Рейтары теперь изо всей силы уходили от русских: справа, преграждая им дорогу в город, скакали через бурные полосы жнивья, с татарской удалью размахивали кривыми саблями, пестрые, разномастные всадники — несколько сотен дворянского иррегулярного полка. Из-под дощатого навеса на крепостной стене трещали по ним частые выстрелы.

Въехали в березняк, Петр вздохнул всем ртом. Пустил кобылу шагом. «Да,

не легко будет» — ответил своим мыслям. Галларт сказал:

— Могу вас поздравить, ваше величество, у вас отличные кавалеристы!

— Что же из того, — это еще полдела... Осерчать, скакать, рубить... Этим одним крепость не возьмешь...

Поднялся на бугор, натянул поводья и долго, морща лоб, глядел на растянувшуюся верст на семь линию войск и обозов. Повсюду из рвов лениво летели комья земли. Крики, ругань. Люди какие-то без дела у костров, у распряженных телег. Стреноженные тощие лошаденки. Тряпье на кустах. Казалось, вся эта громада войск движется и живет неповоротливо, с великой неохотой.

— Раньше ноября и думать нечего, — сказал Петр. — Покуда мороз не хватит, ломовых пушек не подвезем. Одно на бумаге, одно на деле.

Снова, тронув шагом, стал спрашивать Галларта о походах и осадах знаменитых маршалов Вобана и Люксамбура — творцов военного искусства. Расспрашивал об оружейных и пушечных заводах во Франции. Дергал тонкой шеей, туго перетянутой полотноным галстуком:

«Само собой... Там все налажено, все под руками... У них дороги или у нас дороги...»

Перемахивая через рвы, подскакал Меншиков, весь еще горячий, весело оскаленный, с дикими глазами... На шлеме торчало только одно перо, на медной кирасе — следы ударов. Осадил тяжело поводящего пахами коня:

— Господин бомбардир... Враг отбит с уроном, — рейтар едва половина ушла от нас... (Сгоряча приврал, конечно.) наших двое убитых да есть поцарапанные...

У Петра от удовольствия глядеть на Алексашку наморщился нос. «Ладно, — сказал, — молодец».

Вечером в шатре у герцога фон-Круи собрались генералы: напыщенный, весьма суровый Автамон Головин (первый соиздатель потешного войска); князь Трубецкой, — любимец стрелецких полков, — дородный, богатый боярин; ко-

мандир гвардии Бутурлин, знаменитый громopodobной глоткой и тяжелыми кулаками, и совсем больной, желтый, как пергамент, плешивый Вейде, дрожавший в бараньем тулупе. Когда пришли Петр, Меншиков и Галларт, герцог просил за стол отужинать по-походному. Были поданы редкие и даже невиданные кушанья (нарочный герцога добыл их в Ревеле), в изобилии разносили французские и рейнские вина.

Герцог чувствовал себя, как рыба в воде. Приказал зажечь много свечей. Разводя длинными, костлявыми руками, рассказывал о знаменитых сражениях, где он, стоя на холме, опираясь о разбитую пушку, отдавал приказания: кирасирам — прорвать жаре, егерям — опрокинуть фланги. Топил в реке целые дивизии, сжигал города...

Русские, хмуро опустив глаза, ели спаржу и страбургские паштеты. Петр рассеянно глядел герцогу в длинноносое лицо с мокрыми усами. Принимался барабанить по столу или вертел лопатками, будте у него чесалось. (С начала похода замечен был у Петра Алексевиича этот рассеянный взор.)

— Нарва, — восклицал герцог, протягивая денщику пустую чашу, — Нарва! Один день хорошей бомбардировки и — короткий штурм южных бастионов... На серебряном блюде ключи от Нарвы — ваши, государь. Оставить здесь небольшой гарнизон и всеми силами, развернув на флангах конницу, обрушиться на короля Карла. Сочельник будем встречать в Ревеле, — мое честное слово...

Петр поднялся от стола, пошагал, нагибаясь, чтобы не задевать головой за полотнище шатра, поднял с пола соломинку, прилег на герцогскую кровать (принесенную с ближней мызы). Поковырял соломинкой в зубах:

— Галларт дал мне роспись, — сказал, и все обернулись к нему, оставили еду. — Будь у нас все, что сказано в росписи, Нарву мы возьмем. Нужно шестьдесят ломовых орудий... (Сев на кровати, выгалил из-за пазухи смятый листок, бросил на стол — Головину.) Прочти... У нас, пока что, ни одной доброй пушки на редутах. Репнин с осад-

ными орудиями бьется в грязях под Тверью... Мортиры — сегодня узнал — застряли на Валдае... Пороховой обоз по сю пору на Ильмень-озере... Что вы думаете о сем, господа генералы?

Генералы, передвинув свечу, склонились головами над росписью. Один Меншиков сидел поодаль, со злой усмешкой перед полным кубком.

— Не лагерь, табор, — помолчав, опять сурово, не торопясь, заговорил Петр. — Два года готовились... И ничего не готово... Хуже, чем под Азовом. Хуже, чем было у Васьки Голицына... (Алексашка зазвенел шпорой, до ушей осканился, — зловерный.) Лагерь! — солдаты шатаются по обозам... Баб, чухонок полон обоз... Гвалт... Беспорядок... Работают лениво, — плюнуть хочется, как работают... Хлеб — гнилой... Солонина в некоторых полках — только на два дня... Где вся солонина? В Новгороде. Почему не здесь? Пойдут дожди — где землянки для солдат?

В шатре только потрескивали свечи. Герцог, плохо понимая, о чем речь, с любопытством переводил глаза с Петра на генералов.

— Два месяца идем от Москвы, не можем дойти. Поход. Известно вам, король Карл принудил Христиана к позорному миру, принудил уплатить двести пятьдесят тысяч золотых дублонов контрибуции. Ныне Карл со всем войском высадился в Пернове и маршем идет на Ригу... Если теперь же он разобьет под Ригой короля Августа, в ноябре надо его ждать сюда, к нам... Как будем встречать?

Старший по чину, — Автамон Головин, — встав, поклонился, навесил седые брови:

— Петр Алексеевич, с божею помощью...

— Пушки нужны, — перебил Петр, жила вздулась у него на лбу. — Бомбы. Сто двадцать тысяч ломовых ядер. Солонины, старый дурак...

Снова неделя на две зарядили дожди, потянули с моря неспростветные туманы. Солдатские землянки заливало, шатры протекали, — от сырости, от ночной стужи некуда было укрыться. Весь ла-

герь стоял по пояс в болоте. Люди начали болеть понёсами, открылась горячка, — каждую ночь на десятках телег увозили мертвых в поле.

С крепости по осаждающим, не переставая, били из пушек и мелкого ружья. На рассвете, чаще всего, бывали вылазки, — шведы снимали сторожевых, подползали к землянкам, забрасывали спящих ручными гранатами. Петр ежедневно объезжал всю линию укреплений, — в мокром плаще, в шляпе с отвисшими полями, молчаливый, суровый, появлялся на серой кобыле из дождевой завесы: остановится, поглядит стеклянным взором и — шагом дальше по изрытому полю в туман.

Обозы подошли медленно. С пути доносили, что вся беда с подводами: у мужиков все взято, приходится брать у помещиков и в монастырях. Лошаденки худые, корма потравлены, и — что ни день — тяжелее от превеликих дождей и разбитых дорог. Был слух, что Петр у себя в рыбацкой избе на острове собственноручно избил до беспамяти генерала-провиантмейстера и помощника его велел повесить. С пищей будто стало немного лучше. И порядка в лагере прибавилось. Плохи были командиры: русские — медлительны, приучены жить по-старинке, многоречивы и бестолковы. Иностранцы только и знали — пить водку от сырости да хлестать по зубам за дело и не за дело.

Подлинно стало известно: король Карл, высадившись в Пернове, повернул к Риге, одним появлением своим привел в смирение ливонских рыцарей и оттеснил войска короля Августа в Курляндию. Сам Август сидел в Варшаве среди взбудораженного раздорами панства и оттуда гнал гонцов к Петру, — просил денег, казаков, пушек, пехоты... Под Нарвой понимали — шведов надо ждать с первыми заморозками.

Шереметьев с четырьмя иррегулярными конными полками, посланный для промысла над неприятелем, дошел до Везенберга и счастливо побил было шведский заградительный отряд, но внезапно отступил к приморскому теснинум Пигаюки — верстах в сорока от Нарвы — и оттуда писал Петру:

«... Отступил не для боязни, но для лучшей целости... Под Везенбергом — топи несказанные и леса превеликие. Кормы, которые были не токмо тут, но и около, все потравили. А паче того, я был опасен, чтобы нас не обошли к Нарве... А что ты гневен, что я селения всякие жгу и чухонцев разбиваю, то будь без сомнения: селений выжжено немного и то для того только, чтобы неприятелю не было пристанища. А ныне приказал, отнюдь без указа, чтобы край не разорять. Где я стал под Пигаюками, неприятелю безвестно, мимо пройти нельзя, далее отступать не буду, здесь и положим животы свои, о том не сомневайся...»

Наконец — на счастье ли, на беду — ветер подул с севера. В день разогнало мокрую мглу, низкое солнце скупое озарило утопавший в грязях лагерь, в городе на церковном шпиле золотом загорелся петушок. Землю схватило морозом. Стали подходить обозы с огневыми припасами. На быках — по десяти пар на каждую — подвели две знаменитых — весом по триста двадцать пуд — пищали, Лев и Медведь, отлитые сто лет тому назад в Новгороде Андреем Чоховым и Семеном Дубинкою. Как черепахи, ползли гаубицы на широких и низких колесах, короткие мортиры, бросающие трехпудовые бомбы. Все войска стояли под ружьем, все конные полки — о конь, с голыми шашками на случай вылазки шведов.

Двести человек, подхватив канатами, втащили Льва и Медведя на средний редут против южных бастионов крепости. На батареях всю ночь устанавливали гаубицы и мортиры. В крепости тоже не спали, готовились к штурму, — по стенам ползали огоньки фонарей, перекликались часовые.

На рассвете пятого ноября Петр с герцогом и генералами выехал на холм Германсберг. Дул колючий ветер. Лагерь был еще покрыт сумраком, красный свет солнца лег на острые кровли города и зубцы башен. Внизу вспыхнули длинные огни, сотрясая равнину, ухнули, рывкнули пушки, — искривными дугами понеслись бомбы в город. Дымом затянуло и лагерь, и стены, Петр опустил

подзорную трубу, раздув ноздри, кивнул Галларту. Тот подехал, пощелкал языком:

— Плохо. Недолеты. Порох никуда не годится...

— Сделать что? Немедля...

— Прибавить заряд... Только бы выдержали орудия...

Петр спустился с холма, через подемный мост и ворота из дубовых бревен проскакал на частокол и рогатки. На средней батарее пушкарки обливали водою с укúсом длинные стволы Льва и Медведя. Командир батареи, голландец Яков Винтершиверк, низенький, старый моряк с бородой из-под воротника, подождая к Петру, сказал хладнокровно:

— Это никуда не годится. Этим порохом только стрелять по воробьям: один дым и одна копоть...

Петр сбросил плащ, кафтан, засучился, взял банник у пушкаря, сильными движениями прочистил закопченное дуло... «Заряд!..» Из погреба батареи пошли кидать из рук в руки пачки пороха в серой бумаге. Он надорвал одну пачку, высыпал порошок на ладонь: только фыркнул, как кот, злобно. Вбил в дуло шесть пачек... «Это будет опасно» — сказал Яков Винтершиверк. «Молчи, молчи... Ядро!..» Подкинул на руках пудовый круглый снаряд, вкатил в дуло, налегая на банник, плотно забил. Присел над прицелом, вертел винт: «Фитиль... Отойти всем от орудия!..»

Надрывая уши, Медведь изрыгнул огонь, тяжело дернулся взад чугунными колесами, зарылся хоботом... Ядро понеслось уменьшающимся мячиком, — на башне бастиона Глория брызнули камни, обвалился зубец... «О, это неплохо» — сказал Яков Винтершиверк...

— Так стрелять!..

Накинув кафтан, Петр поскакал на гаубичную батарею. Был дан приказ по всем батареям. — увеличить заряд в полтора раза. Снова от грохота старьцати орудий задрожала земля. Страшное пламя вылетало из торчком стоящих мортир. Когда разнесло тучи дыма, увидели — в городе пылало два дома. Второй залп был удачен. Но скоро узнали: на западной батарее разорвало две гаубицы, отлитые недавно на

тульском заводе Льва Кирилловича, у нескольких орудий треснули оси на лафетах. Петр сказал: «Потом разберем... Найдем виноватых... Так стрелять!..»

Так началась бомбардировка Нарвы и длилась без перерыва до пятнадцатого ноября.

Царский повар Фельтен, бубня себе под нос, жарил на шестке на лучинах яичницу. С трудом достали десяток яиц, — кухонный мужик верхом прогнал чуть не до Ямбурга, — все оказались тухлые...

— Чего ты бормочешь, ты их перцем покрепче, Фельтен...

— Слышу, ваше величество... Перцем.

Петр сидел около горячей печки. Тут только и было тепло. (В чулане за чергородкой, где они спали с Алексашкой, дуло сквозь стены.) Сейчас, в полночь, было слышно — вой ветра да скрипели крылья ветряной мельницы, рядом с домиком, на острове. Хорошо потрескивали березовые лучинки. Королевский, сердитый Фельтен разложил на шестке припасы и все нюхал, на мясистом носу его гневно пылали отсветы.

— А ну, как тебя шведы в плен возьмут, — что тогда, Фельтен?

— Я слушаю вас, ваше величество...

— Ага, скажут, царский повар. Да и повесят за ноги...

— Ну и повесят... Я свой долг знаю...

Он накрыл чистым полотенцем шатающийся дощатый столик. Поставил глиняную сулею с перцовкой, тоненькими ломтями нарезал черный черствый хлеб. Петр, слабо попыхивая трубкой, посмотривал, как ловко, мягко, скоро двигается Фельтен в валенках, в ватной куртке, подпоясанной фартуком.

— Я про шведов не шучу... Хозяйство свое ты прибрал бы...

Фельтен искоса взглянул, понял: не шутит. Подал с жару сковородку с яичницей, налил из сулеи в оловянный стаканчик:

— Пожалуйте к столу, ваше величество...

Домишко весь сотрясся от ветра. Заколебалась свеча. С улицы шумно вошел Меншиков: «Ну, и погода...» Морщась,

развязывал узел на шарфе. У шестка над лучинками стал греть руки.

— Сейчас придёт...

— Трезвый? — спросил Петр.

— Спал. Я его — не долго — с кровати...

Алексашка сел напротив. Попробовал — крепко ли стоит стол. Налил, выпил, замотал башкой. Некоторое время ели молча. Петр, — негромко:

— Поздно... Больше ничего не поправишь...

Алексашка. — с трудом глотая:

— Если он в ста верстах, да Шереметьев его не задержит, послезавтра он — здесь... Выйти в чистое поле, — неужто не одолеем, конницей-то? (Расстегнул воротник, обернулся к Фельтену.) Щец у тебя не осталось? (Налил вторую чарку.) У него всей силы тысяч десять, только, — пленные на евангелии клянутся... Неужто уж мы такие сивалапые... Обидно...

— Обидно, — повторил Петр. — В два дня людям ума не прибавишь. Учinitся под Нарвой нехорошо, — будем задерживать его в Пскове и в Новгороде.

— Мин херц, грешно и думать об этом...

— Ладно, ладно...

Замолчали. Фельтен, присев, дул в угли, — грел пиво в медном котелке. Под Нарвой было нехорошо. Две недели бомбардировали, взрывали мины, подходили апрошами, — стен так и не проломили и города не подожгли. На штурм генералы не решились. Из ста тридцати орудий разорвало и попортило половину. Вчера стали подсчитывать, — пороху и бомб в погребках осталось на день такой стрельбы, а пороховые обозы все еще тащились где-то под Новгородом.

Шведская армия скорыми маршами подходила по ревельской дороге, и сейчас, может быть, уже билась в пигаинокских теснинах с Шереметьевым. Русские оказывались, как в клещах, — между артиллерией крепости и подступающим Карлом.

— Нашумели много... Это — можем... — Петр бросил ложку. — Воевать еще не научились. Не с того конца взя-

лись... Никуда это дело еще не годится. Чтоб здесь пушка выстрелила, ее надо в Москве зарядить... Понял?

Алексашка сказал:

— Сейчас еду, в первой роте у костра солдаты разговаривают. Шведов ждут, весь лагерь гудит... Честят генералов, — ну, ну!.. Один — слышу: «Прапорщику, говорит, первую пулю...»

— Генералы!.. (У Петра замерцали глаза.) С хоругвями по стенам ходить! — воеводы... Старые дрожжи...

Тогда Алексашка сказал осторожно, — запустил глазом:

— Петр Алексеевич... Отдай войско мне на эти три дня... Ей-ей! А?

Будто не расслышав, Петр полез в карман за кисетом. Сопя, уминал пальцем крошки табаку:

— Главнейшим начальником с завтрашнего дня имеет быть герцог фон-Круи. Дурак изрядный, но дело знает по-европейски, боевой... И наши иностранцы при нем будут бодрее... Ты соберись, слышь... До свету поедем...

Сопел. Придвинув свечу, раскуривал.

Алексашка спросил тихо:

— Петр Алексеевич, куда поедем?

— В Новгород.

Петр взглянул наконец в раскрытые чрезмерным изумлением прозрачно-синие глаза Алексашки. Вдруг густо начал багроветь. (Надулась жила поперек вспотевшего лба.) И, — сдерживая гнев:

— Тому мальчишке терять нечего, а мне есть чего... Думаешь — под Нарвой начало и конец? Войне начало только... Должны одолеть. А с этим войском — не одолеем... Понял ты? Начинать надо с тылу, с обозных телег... Скакать со шпагой — последнее дело... Дура, — храбрее Карла хочешь быть? Опустить глаза! (Бешенство метнулось по лицу его.) Не моги смотреть на меня!

Алексашка не послушал, не опустил глаз, — от жгучего стыда наливались слезы, капля поползла по натянутой щеке. Петр, расширив зрачки, впился в него. Оба не дышали. Петр вдруг усмехнулся. Отвалясь к стене, глубоко засунул руки в карманы.

— «Мин херц!» — передразнил Алексашкиным голосом. — Сердешный друг...

За меня стыдно стало? Подожди, еще чего случится, — все морду отворгят. Карла испугался! Войско бросил... В Новгород ускакал, все равно, как тогда — к Троице... Ладно... Вытри личико... Поди, встретить, — господа генералы пожаловали...

Окрики часовых. Топот подков по мерзлой земле. За окном — свет факелов. Звеня шпорами, вошел герцог и генералы, — красные от ветра, встревоженные, — что случилось в такой поздний час?.. Петр кивнул им, подойдя к герцогу, обнял. Показал Меншикову — взять свечу — и пошел за дощатую перепорку в чулан.

Здесь Меншиков поставил свечу на столик, заваленный бумагами, засыпанный табаком. Все стояли. Петр сел, взял листок, шевеля губами, строго перечел про себя присыпанные золой, исчерканные строки. Кашлянул, и, — ни на кого не глядя:

— Ин готс нам, во имя божье, — начал читать суровым, твердым голосом. — Понеже его царское величество ради нужнейших дел отъезжает от войска, того ради вручаем мы войско его княжеской пресветлости герцогу фон-Крун по нижеследующим статьям... (Герцог, стоя у самого стола, задергал ляжкой. Петр посмотрел на его тощую ляжку в белой лосине, потом — на сухие руки, обхватившие золотую рукоять сабли.) Первая статья: его пресветлейшество имеет быть главнейшим начальником... Второе: все генералы, офицеры, даже и до солдата, имеют быть под его командой, как самому его царскому величеству... Третье (поднял голос): добывать немедленно Нарву и Иван-город всячески... Четвертое... За послушание генералов, офицеров и солдат чинить над ними расправу, яко над подданными своими, даже и до смерти...

Мимо герцога стал смотреть на генералов, — Вейде соглашательно кивал, князь Трубецкой вспух вспотевшим лицом, у Бутурлина седые стриженные волосы задвигались над низким лбом, Автамон Головин низко опустил голову, будто позор и беда уже легли на его плечи.

— Так же его пресветлейшеству зело проводывать про шведский секурс. Когда подлинно уведомится о пришествии короля Каролуса и если оный нарочито силен, оното накрепко стеречь, чтобы в город Нарву не пропустить, и поиск над оным с божьей помощью искать... Но лучше обождать, буде возможно, до прибытия подмоги... (Опустил листок и — герцогу.) Репнин и гетман с казаками, и огнеприпасные обозы в немногих днях пути... (Головину.) Садись, перебели...

В дверь из сеней постучали. Меншиков озабоченно пропискался на кухню. Кто-то вошел, — в раскрытую дверь с шумом ветра донеслись отдаленные крики множества голосов. Петр, оттолкнув кого-то, шагнул в кухню. «Что случилось?» — крикнул страшно. Перед ним стоял юноша, — осунувшееся, розовое, как у девушки, лицо, вздернутый нос, смелые глаза, над ухом русые волосы запеклись кровью...

— Павел Ягужинский, поручик при Борисе Петровиче Шереметьеве, — быстро сказал Меншиков.

— Ну?

У того задрожало лицо. Подняв нос к Петру, справился:

— Борис Петрович послал, государь, спросить — куда стать полкам?

Петр молчал. Генералы испуганно теснились в дверях чулана. Меншиков, — торопливо надевая полшубок:

— Бежали без чести от самых Пигаюк... Шапки побросали... Дворяне...

Иррегулярные пскы дворянского ополчения утром семнадцатого ноября, узнав от сторожевых, что шведские разезды за ночь прошли берегом моря в тыл на ревальскую дорогу, смешались и, не слушая Бориса Петровича Шереметьева, поспешно стали уходить от Пигаюк — в страхе оказаться отрезанными от главного войска. Он подокакивал к расстроенным сотням, сверху хватал за поводья, сорвав голос, бил нагайкой по лошадям и по людям, — задние напирали, конь его вертелся в лапе отступавших. Ему только удалось собрать несколько сотен, чтобы остеречь тыл и спасти часть воинского обоза от шведов, появившихся

с восходом солнца — в железных кирасах и ребрастых касках — на всех скалистых холмах. Шведы не преследовали. Дворянские полки уходили вскачь. Ночью они появились под палисадами нарвского лагеря. Сторожа на валу, в темноте приняв их за врага, открыли стрельбу. Всадники отчаянно кричали: «Свои... свои...» Пробудился и загудел весь лагерь.

За палисады пустили — поручика Павла Ягужинского, он поскакал к царю. Бушевал ледяной ветер. Служилые люди, сойдя с коней, стояли по ту сторону рва у поднятых мостов. С палисадов кричали им: «Помещики, чего скоро прибежали?.. В осаду хотите, сердешные?» По всему лагерю начали бить барабаны, поплыли огоньки, поскакали всадники с фонарями. В полках и сотнях, под знаменем, читали царский указ о вручении войска преславному и непобедимому имперскому герцогу фон-Круи. Войска молчали, пораженные изумлением и страхом. Скоро летучей молвой побежал слух, что царя уже нет в лагере и швед всю силой стоит в пяти верстах.

Никто не спал. Зажигали костры, — их разметывал ветер. Под утро конницу Шереметьева отвели на правый фланг. Не заходя за палисады, она стала на самом берегу, там, где Нарова, выше города, бешено ревела между островками на порогах. Рассвело, шведов не было видно. Посланные дозоры нигде вблизи врага не обнаружили, хотя шереметьевцы и божились, что он висел у них на хвосте от самых Пигаюк.

Под хриплые вопли медных рожков герцог, в пышном плаще, с маршалским жезлом, упертым в бок, и за ним — позади на пол лошадиного корпуса, — генералы: Головин, Трубецкой, Бутурлин, царевич Имеретинский и князь Яков Долгорукий, объезжали лагерь. Герцог, взбодря висячие усы ребром перчатки, кричал солдатам: «Здорово, молоци! Умрем за батушку-царя!» Во всех полках под барабанный бой был читан приказ:

«... Ночью половине войска стоять под ружьем... Перед рассветом раздать солдатам по двадцать четыре патрона с пулями. На восходе солнца всей армии

выстроиться, и по трем пущенным сигналам — музыке играть, в барабаны бить, все знамена поставить на ретраншементе. Стрелять не прежде, как в тридцати шагах от неприятеля...»

Ночью ветер повернул на запад, — с моря. Потеплело. В темноте шведский генерал-майор Риббинг с двумя рейтарамии, — приказав обернуть войлоком конские копыта, — тайно под'ехал к самым палисадам, измерил глубину рва и высоту раскатов.

Алексей Бровкин, голодный, как чорт, насквозь продутый ветром, ходил на валу, — три шага вперед, три назад, — около ротного значка. Вал тянулся на семь верст, солдаты стояли редко друг от друга. Рожки протрубили, барабаны протрещали. Пушки, мушкеты заряжены, фитили дымились. Ветер трепал полотнища знамен на ретрашементах. Было одиннадцать часов утра...

Алексей со всей силы подтянул кушак. Новый главнейший начальник обо всем позаботился, только забыл накормить. Который день солдаты — и офицеры строевые — жевали заплесневелые сухари, вытряхивали крошки из сумок. В эту ночь и сухарей не выдали. Солдаты вороньими пугалами торчали на валу (из роты Бровкина осталось восемьдесят здоровых). Было время, Алексей, ох, как ждал сразиться — повести роту в пушечном дыму, самому схватиться за древко неприятельского знамени... («Спасибо, Алексей, жалую тебя в полковники!..») Сегодня одного хотелось — залезть в теплую вонь землянки, похлебать из котелка жидкой каши, чтоб обожгла глотку...

Хмурясь от ветра, Алексей крикнул ближайшему, Голикову: «Чего рот разинул? Стоять бодро!» Тот не услышал, подняв рваные плечи, устал востроносое лицо, будто увидал смерть... И другие солдаты, как ошестиненные псы, глядели в сторону холма Германсберг. Над ним в стремительно летящих тучах показывалось, заволакивалось невысокое солнце. Между пней и мотающихся голых берез двигались тяжело навьюченные люди, — все больше их выходило из лесу. Они скидывали с плеч мешки и вьюч-

ки, перебегали вперед, строились в широкие, плотные колонны. Шестерными упряжками выезжали пушки, одни — вниз, прямо к среднему реду, другие — на рысях через ручей — к сильным укреплениям Вейде, третьи вскачь мчались направо по равнине. Шесть пеших колонн выстраивалось на холме Германсберг. Двойными тускло-железными рядами выезжала из леса конница.

Алексей не своим голосом закричал: «Барабанщики, боевая тревога!» На вал выскочили усатые унтер-офицеры, надвигали треуголки, чтобы не унес ветер. Затрещали барабаны. Леопольдус Мирбах, неизвестно чему радуясь, указывал пальцем, кричал Алексею: «Глядите, вот тот на коне, это — король Карл!» Колонны шведов, страшные своей правильностью, порядком, — будто не люди, бесчувственные, бессмертные, — поколыхиваясь черно-синими рядами, ползли с холма... Там, на высоком месте стояло пять-шесть всадников и один тоненький впереди: помахивал рукой, к нему подскакивали верховые и мчались вниз.

Ветер гнул древки знамен и значков на валу, надрывая душу, трещали барабаны. Свинцово-снежная туча поднималась со стороны моря, быстро накрывала небо. Четыре орудийные запряжки подскочили — шагах в двухстах от рва против места, где стояла рота Бровкина, — с хода завернули, снялись передки, подскочили зеленые зарядные ящики, завернули. Соскочили крепкие люди в темно-синих мундирах, стали у пушек. Бегом, не расстраивая правильного ряда, подошла пехотная колонна, вперед ее выскочили несколько человек с белыми отворотами. При взмахе блеснувших шпая ряды шведов сдвоились, развернулись по сторонам батареи, припали, полетели комья земли...

Алексей, приложив ко рту руки, перекрикивал ветер: «Господа прапорщики... Передайте унтер-офицерам... Передать солдатам... Без приказа не стрелять за страхом смерти...» Леопольдус Мирбах побежал в длинных ботфортах по валу, крича по-немецки, прозя тростью... Федька Умойся Грязью (бородатый, грязный, чистое пугало) осканился, как со-

бака, — Леопольдус ударил его по башке... Ветер рвал полы кафтанов, высоко полетела чья-то шляпа...

Алексей оборачивался к нашей батарее: «Да ну же... Скорее!..» Наконец тяжело рвануло уши: «Дьяволы, стрелять не умеют!» В ответ четыре шведских пушки, отокочив, плюнули огнем... В полуверсте, особенно и важно, пропрохотали Лев и Медведь... «Ох, наши — лениво!» Четыре запряжки снова подскакали, подцепили пушки, подвезли ближе к валу. Пушкари догнали бегом, прочистили, зарядили, отскочили — двое к колесам, третий присел с фитилем. Человек с белыми отворотами поднял шпая... Залп... Четыре ядра ударили в сосновые бревна палисада, рвануло железным визгом, полетели щепы. Алексей попятился, упал. Вскочил... Мельком, но страшно ясно (запомнил потом на всю жизнь) увидел: по кочковатому полю — близко вдоль рва — скачет на сивой лошади прямой, тонкий, как палец, юноша в маленькой треуголке, из-под нее подскакивает на задривке кожаный мешечек, ноги его не по-русскому вытянуты вперед, засунуты в стремя до каблука, узкое лицо насмешливо обращено к стреляющим с палисада, за ним десятка два вздвоенных ровных рядов кирасир на очень костлявых конях скачут голова в голову... «Господи, помилуй!» — донесся отчаянный вскрик Голикова...

Низкая туча стремительно закрывала все небо. День быстро темнел. Пеленою снега затягивало лагерь, ряды скачущих кирасир,двигающиеся шведские колонны. В вое ветра рывкали пушки, — пламя их вспыхивало мутными сияньями. Трещало, рвало палисад. Ядра свирепо прошипывали над головой. Закружилась метель, косой колючий снег бил в лицо, залеплял глаза. Не было видно ни того, что впереди, — по ту сторону рва, — ни того, что уже с четверть часа началось в лагере.

На Алексея налетел — бегущий без памяти, согнувшись, — солдат не из его роты... Алексей схватил его за бока. Солдат истошно зорал: «Продали!..», вырвался, исчез в метели... Только тогда Алексей заметил, как из крутящейся пелены стали валиться в ров будто бы

вязанки хвороста. Сдирая с лица снег, закричал: «Огонь!.. Огонь!..» Во рву уже копошились проворные люди...

... (Шведские гренадеры, коим снег бил в спину, подбежав, стали забрасывать ров фашинами, и по ним без лестниц полезли на палисады)...

... Алексей увидел еще: выстрелил Голиков, пятясь, пихал перед собой багинетом.. Большой, засыпанный снегом, человек перемахнул ноги через палисад, схватился рукой за багинет, Голиков тянул мушкет к себе, тот — к себе... Алексей завизжал, тыкая его, как свинью, шпагой. Еще, еще переваливались люди, будто пнала их снежная буря... и Алексей колот и мимо, и в мягкое... Брызнула боль из глаз, череп, все лицо плющилось от удара...

... Голиков не помнил, как скатился со рва... Полз на четверинках, — гнал его звериный ужас... Мимо, размахивая руками, пробежал кто-то, — за ним с уставленными багинетами — двое шведов, яростные, широкие... Голиков прилег, как жук... Ох, какие люди!.. Поднял голову, — снегом забило рот... Вскочил, шатаясь, тотчас наткнулся на двоих... Федька Умойся Грязью лежал животом на Леопольдусе Мирбахе, добирался пальцами до его горла... Леопольдус рвал Федькину бороду... «Врешь, сатана!» — хрипел Федька, навалился плечами... Андрей побежал... «Ох, какие люди!..»

Главная колонна шведов — четыре тысячи гренадер — всею фурией бросилась на дивизию Автамона Головина... Четверть часа длился бой на палисадах, — русские, ослепляемые метелью, истощенные голодом, не веря командирам, не понимая, зачем нужно умирать в этом снежном аду, отхлынули от вала... «Ребята, нас продали!.. Бей офицеров!..» Беспорядочно стреляя, — бежали по лагрю, давили друг друга в занесенных рвах и на турах батарей... Смяли и увлекли за собой полки Трубецкого. Тысячами бежали к мостам, к переправе...

Шведы недалеко преследовали их, страшась самим затереться в метели среди столь огромного лагеря... Хриплые трубы повелительно звали — назад, на вал... Но часть гренадеров наткнулась

на рогатки, — за ними стояли обозы... Гренадеры закричали: «Мит готс хильп! во имя божье!..» — и штурмом взяли обоз. Здесь, под занесенными рогожами, нашли бочки с тухлой солониной и боченки с водкой. Более тысячи гренадер так и осталось до конца боя у разбитых боченков... Русских, метавшихся меж телег, одних перекололи, других просто прогнали прочь.

Вслед за пехотой в лагерь через разломанные ворота ворвалась конница, — прямо на главный редут. Пищали Лев и Медведь взяты были в конном строю, прислуга порублена, командир Яков Винтершверк, раненый в голову, отдал шпагу. Пищали повернули на восток и стали бить по укреплениям Вейде. Шведы здесь встретили упорное сопротивление, — Вейде поставил всю дивизию на палисады, в четыре ряда, тесно, сам офицерским копьем сбивал шведов, лезущих на тыл. Солдаты позади заряжали мушкеты, передние стреляли бегло... Весь ров был завален убитыми и ранеными. Когда стали долетать ядра с главного редута и опознали голоса Льва и Медведя, Вейде верхом поскакал по валу: «Ребята, стойте твердо!..» Под конем его рвануло бомбу, видели, в летящем снегу, в дыму конь его встал на дыбы, опрокинулся...

Конные полки Шереметьева стояли, припертые к реке, между палисадами Вейде и лесом. В лицо неслись снежные вихри, позади ревела Нарова. Страшно шумел лес. Стояли, ничего не видя, не понимая. Справа, издалече все чаще били пушки... Совсем близко, на палисадах, началась мушкетная пальба, крики, смертные вопли такие, — волосы зашевелились под мурмолками у детей боярских...

Борис Петрович был на холме посреди своего войска. Подзорную трубу спрятал в карман, — едва можно было различить уши коня... Непонятно, что делалось в нашем лагере. Тщетно ждал приказа командующего. Но он либо забыл о дворянской коннице, либо ее не могли отыскать, либо случилось нехорошее...

Стрельба послышалась с левого крыла, должно быть, из леса. Борис Петро-

вич слушал, привстав на стременах. Позвал молодого князя Ростовского: «Возьми, батюшка, четыре сотни, скачи в лес, выбей-ка оттуда неприятеля... С богом!..» Князь, окоченевший в кольчуге и железном колпаке, невнятно что-то ответил, с'ехал с холма... А из леса рявкнула пушка. Чей-то голос затынул смертную жалобу. И сразу — справа, слева, спереди — захлестали мушкетные выстрелы. Борис Петрович оглядывался, чтобы приказать: «Сабли вон, вперед, с богом!..» Но приказать было некому: на холм пятились конские зады... «Пропали, пропали, уходит через реку!» — закричали тысячи голосов. Борису Петровичу оставалось одно, — чтобы не смяли, — самому повернуть коня: зажмурился, заплакал, рвя уэду...

Рев, дикое гиканье... Колыхающаяся лава конских заданных голов, косматых грив, епанчей, спин, осыпанных снегом, мчалась к реке. Берег был крут, лошади с'езжали на задах, утрались, — задние врезались в них вскачь, перескакивали через падающих... В желтой воде под пеленой метели закрутились конские морды, захлебывающиеся человеческие лица, из водоворотов показывались руки, судорожно цепляя воздух... Новые и новые сотни всадников бросались в Нарову, — плыли, бились на струях, тонули...

Добрый конь под Борисом Петровичем выбрался на островок посреди реки, постоял, поводя боками, осторожно опять вошел в воду, оскалась, плыл, вынес на тот берег...

(Продолжение следует)

Хлебная революция

Записки уполномоченного

Л. ФАРИД и БОР. ПИЛЬНЯК

(Продолжение ¹)

Письмо первое
1/X—1930 г

Дорогой друг!

Зайдите ко мне, — сказал сегодня секретарь комитета. — Вы по постановлению комитета едете в Ура-Тюбе. Это один из самых хлебных округов. Люди там не понимают этого, хлеб нужно взять во что бы то ни стало и взять до начала массовых хлопкозаготовок. Это вытекает из того, что у нас хлеб поспел раньше, чем в центральных районах Союза. Там затруднения, и мы должны своим хлебом обеспечивать хлопкоробов в первый период кампании

В чем особенность Ура-Тюбинского района? Там нет хлопка, мало поливных земель, и поэтому центральное внимание сельского хозяйства направлено на развитие богары, то-есть не поливных, а зерновых посевов пшеницы. Пшеница там замечательная! — сказал секретарь, — замечательная! Но и кулак, бай там тоже силен.

— Почему?

— Потому что мы его там не трясли еще. Земельная реформа богарных районов еще не коснулась, и нынешние хлебозаготовки будут только первой встряской. На вас возложено осуществить через массовую работу и нажим на кулака наши мероприятия по хлебу.

Я собрался уходить.

— Погодите, — остановил меня секретарь. — Вы давно просили меня о

поездке в Америку. Выполните к 1 ноября план, поедете за границу на два месяца.

— Хош! — сказал я.

И в этот же день я выехал в Ура-Тюбе.

Ура-Тюбе — один из 7 таджикских округов.

Станция Урсатевская — узел, откуда идут дороги на Фергану, на Самарканд, на Большак, в мой Ура-Тюбинский округ. Окружкомовские гнеды коняки в несколько часов покрывают 30 километров от станции к городу, раскинувшись на склонах больших богарных сопок. Сады, сады и сады. Чинары, карагачи, тополя. Узкие улочки базаров, почти высохшая речка, мосты через нее, парикмахеры, кухонными ножами бреющие голову, оживленная, бестолковая суетня восточного городка, когда-то бывшего большим и крупным, одним из центральных среднеазиатских базаров, как и многие другие, оставшимся в стороне от больших торговых путей после проведения железной дороги.

В бюро окружкома:

— Почему не выполняете план?

Заворг:

— План не реален.

— Почему?

— Вот посмотрите хлебо-фуражный баланс.

Смотрю: план — полмиллиона, потребность на прокорм населения — 400 тысяч, на прокорм скота — 200 тысяч, на обсеменение — 100 тысяч, остает-

¹) См. «Новый мир», кн. 1 с. г.

ся от валового сбора 500 тысяч, страховой запас — 200 тысяч, итого можно заготавливать 200 — 250 тысяч пудов.

Кто составлял этот баланс?

— Экономист окрисполкома.

— Давайте его сюда. Ваша фамилия?

— Игнатьев.

— Вы где учились?

— В институте имени...

— Это меня не интересует. Вы что поставили себе целью сорвать хлебозаготовки?

— Почему?

— Что это за филькина грамота? Вы отвечаете за эти цифры?

— Нет, цифры конечно приближительныс.

— Какую научную и практическую ценность представляет весь баланс?

— Это прогноз и ориентировка.

— Можно им руководствоваться?

— По-моему, можно.

— Я предлагаю немедленно выгнать в шею этого экономиста. Это — вредитель, — говорю я предокрисполкома.

Толстый председатель пыхтит и говорит:

— Ты не горячись, баланс мы составляли вместе. Он писал это по моему заданию.

— Тогда надо и тебе по шее надавать вместе с ним. Давайте считать тут же. Валовой сбор у вас — 1,5 миллиона, а не миллион двести — это же ваши цифры, присланные в край. На пропитание населения, вы говорите, 400 тысяч? Давайте 400 тысяч. На скот, вы говорите, 150 тысяч? Давайте 150 тысяч. На семена, вы говорите, 100 тысяч? Это уже превысило 15 пудов на га. Что за чепуха. Хватит 50 тысяч, 7,5 пудов — самый большой высев пшеницы. Наконец страховой запас — 100 тысяч. У вас же не бывает неурожая. Итого 800 тысяч. Остается 700 тысяч. Это уже не 200 тысяч, а 700 тысяч. Кроме того, вы не учли 700 тысяч, находящихся в ямах. Сколько у вас было заготовок в прошлом году?

— Сто тысяч.

— Сто тысяч. А урожай в прошлом году?

— Такой же, еще лучше.

— Лучше? Ну вот, где же остальной хлеб? Ну, предположим, половину продали. Где же остальной? — повторяю я вопрос.

— В ямах остальной, — раздается голос сзади.

— Это кто говорит?

— Я, — говорит смуглый таджик в чалме и неловко поднимается.

— Как ваша фамилия?

— Мирашуров,

— Где вы работаете?

— Я — председатель батрачкама.

— Ага, так, вы говорите, в ямах?

— Конечно в ямах. Возьмите в Шахристане Мирза-Ахундова. У него наверняка тысячи три пудов закодано в землю. Отрежьте мне голову и язык. если это не так.

— Ну вот, — говорю я, — значит. надо считать 600 тысяч пудов в ямах.

— 600 тысяч много, — вставляет заворг.

— Ну, возьмем 500, — уступаю я. — И тогда ваш план хлебозаготовок преуменьшен больше чем вдвое.

Собрание застыло от неожиданности. Тишина. Муха не пролетит. Разговор принял совершенно непредвиденный оборот.

— Это чепуха, — сказал заворг и обозлился.

— Как чепуха? Я принял все ваши цифры и ни одной не взял с потолка. Во всяком случае это более реально, чем ваш баланс.

— Это чепуха, — повторяет заворг.

— Почему чепуха? Чем ты можешь подтвердить это свое умозаключение? Я принял все ваши цифры. Принял твою скидку на 100 тысяч против находящегося в ямах хлеба, и получается 1200 тысяч свободного товарного хлеба, который можно и который нужно взять. Вы что, не знаете телеграммы центра? Я требую, чтобы ее тут же зачитали. Секретарь окружка читает:

— «ЦК требует строжайшей экономии хлеба. Предупреждает, что сверх лимита ничего не даст, и включает в лимит по снабжению хлопкоробов Средней Азии полностью ваш план заготовок».

— Я вношу предложение увеличить план, то-есть заготовить 1200 тысяч.

— Я против, — вскакивает заворг.
 — Я тоже против, — говорит секретарь окружкома.
 — Я — за, — раздается голос сзади.
 Я оглядываюсь. Это Мирашуров. Беру телефонную трубку и звоню в край:
 — Дайте секретаря! Это вы? Я предлагаю увеличить план Ура-Тюбе.
 — Не надо, не надо, — кричит заворг.
 — Не надо! Давайте оставим старый план.
 — Хорошо.
 Я кладу трубку.
 — Ну, что он сказал?
 — Он сказал, что на моё усмотрение.

Письмо второе

3 октября 1930 г.

Дорогой друг!
 Распределяем людей. Волости:

Дальяны — Мирашуров,
 Шахристан — Али,
 Басманда —

Кого бы послать в Басманду?

— Абдула, ты поедешь?

Я собираю ребят.

— Товарищи, положение для нас безвыходное. К 1 ноября план должен быть выполнен на сто процентов, иначе мы оставим без хлеба хлопковые районы и Фергану. Вы — большевики! Перед вами стоит задача показать настоящую, боевую, большевистскую работу. Выдержите или нет? Кто боится, что не выдержит, что сдаст, — пусть сейчас скажет. Лучше не ехать, чем потом вредить. Есть такие?

Из двадцати присутствующих такого не нашлось ни одного.

ПИСЬМО ВСЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
 ПО ХЛЕБОЗАГОТОВКЕ, ВСЕМ ВОЛ-
 КОМАМ, СЕЛЬСОВЕТАМ, ПРАВЛЕНИЯМ
 ШИРИКАТОВ.

Предлагается вам немедленно проверить:

1) известно ли широким массам декханства о том, что волость, первую выполнившая план хлебозаготовок, получает в виде премии образцовую школу (будет выстроена в том сель-

совете этой волости, который первым в ней выполнит план хлебозаготовок),

2) что сельсовет, первым по Ура-Тюбинскому округу выполнивший план хлебозаготовок, получит в премии бесплатный трактор,

3) что первый ширикат получает бесплатный триер,

4) что первые три кишлака, выполнившие до 1 октября план хлебозаготовок, получают бесплатно по веялке

5) и что первый колхоз, выполнивший план заготовок, получит плуг и борону.

Также необходимо проверить, что сделано кишлачными тройками, ширикатами и вами самими, чтобы планы хлебозаготовок непременно выполнить до 1 ноября полностью. Об этом нужно широко объявить по кишлакам.

Одновременно сообщаем, что 10 процентов всего хлеба, заготовленного в Ура-Тюбе, будет продаваться бедноте и батракам по цене ширикатов, а также 25 процентов хлеба, купленного у баев под давлением масс, должны быть оставлены в общественном амбаре того кишлака, откуда этот бай происходит, и ширикат их должен продавать бедноте и батракам этого кишлака.

На вас возлагается ответственность следить за тем, чтобы планы кишлаков выполнялись возможно быстрее. Нужно организовать помощь бедноте и безлошадным сдатчикам хлеба по перевозке его на скуппункт.

Необходимо также изыскивать помещения, куда бы можно было ссыпать хлеб около ссыпункта, и тем самым освобождать мешки. Вам поручается организация на месте возможного транспорта (арб, ишаков, верблюдов, лошадей) для переброски хлеба на склады Азияхлеба в Ура-Тюбе, чтобы быстрее оборачивались мешки.

Обращаем ваше внимание на то, чтобы в процессе хлебозаготовок беднота и середняки были едины в давлении на бая, чтобы он продавал свой хлеб.

Для того, чтобы выполнить план к 1 ноября, необходимо, чтобы каждую пятидневку он выполнялся по волостям следующим образом: Шахристан — 12 тысяч пудов, Басманда — 12 тысяч пудов, Дальяны — 16 тысяч пудов, Ганча — 14 тысяч пудов, Ура-Тюбе — 6 тысяч пудов.

Обеспечьте в каждую пятидневку такое поступление, и ни пудом меньше. Настоящим объявляется строгий выговор работникам Ура-Тюбе и Ругунда за недопустимо слабое выполнение плана (в Ура-Тюбе 17 процентов сентябрьского плана, а в Ругунде 22 процента). Каждые три дня посылайте информацию.

Ответственный секретарь
окружкома — —

Председатель хлебного
совещания — —

Уполномоченный Эжосо
по хлебозаготовкам — —

Совещание уполномоченных продолжается:

— Партия умеет бить. Партия умеет миловать и награждать, имейте это в виду, — говорю я. — Единственно, что ценит партия, — это боевую работу и успешное выполнение ее заданий. Единственно, чего не терпит партия и за что бьет, — это за срыв ее заданий. Понятно?

— Понятно, — говорит Мирашуров.

— Давайте поговорим по душам, — говорю я. — Мирашуров, пусть скажет каждый из вас, о чем он сейчас в жизни мечтает.

— То-есть как это? — задает кто-то недоуменный вопрос.

— Ну что вам хочется больше всего в жизни в настоящее время?

— Выполнить план, — говорит Мирашуров.

— Нет, не об этом, а еще, кроме плана?

— Я все ночи мечтаю о Свердловке. Ах, говорят, хорошо там!

— Говори, Али.

— У меня чахотка, хочу подлечиться, чтобы лучше работать.

— Абдула?

— Разрешите жену из Сталинабада

привезти. Наркомздрав не отпускает ее, а мне трудно на два дома жить.

— Так вот, товарищи, выполните план к 1 ноября. Кроме того, что почет получите, как лучшие большевики и коммунисты, я вам от имени крайкома обещаю: тебе, Мирашуров, — поездку в Свердловку, будешь учиться там. Свердловка — хороший университет, я сам там учился. Там станешь еще более крепким большевиком.

Глаза Мирашурова засветились радостью.

— Пошлем тебя в Ялту, Али.

— Хош! — ответил он.

— Жену отпустим из Сталинабада, Абдула.

— Хош! — сказал Абдула.

— А если кто из вас план к 1 ноября не выполнит, тогда ему не видать не только Свердловки, не только Ялты, не только жены из Сталинабада, но и партии.

— Хош! — хором сказали ребята и пошли седлать коней.

— погоди, Мирашуров! Ты всех баев знаешь в районе?

— Нет крупного бая в районе, у которого бы я не работал.

— Составь мне список, потом дай список батраков по каждой волости.

По всем кишлакам понеслись уполномоченные, развернули работу. Центральным лозунгом всей работы стало — давать 80 тысяч пудов в день. Мы определили, какой кишлак, когда, в каком часу, на какой пункт должен привезти хлеб. Мы подсчитывали, сколько каждый кишлак даст. Если у нас нехватало 10 — 15 тысяч пудов, мы ходили в отстающие кишлаки, нажимали на них и предлагали им во что бы то ни стало вывезти сегодня до 12 часов ночи. Мы дрались зубами за то, чтобы цифра 80 тысяч в день выдерживалась. Это была единственная возможность выполнить план к 1 ноября, выполнить задание ЦК и крайкома.

Хлеб пошел. Не стало хватать мешков. Вызываем Веревкина, представителя Азхлеба.

— Почему нет мешков?

— Мешков нет нигде. Во всей Средней Азии нет мешков.

— Пойдем смотреть склады.

Пошли. В огромном сарае целый угол занят какими-то тюками.

— Дайте нож!

Разрезали тук — новые, хорошие, пеньковые мешки. Разобрали угол — 10 тысяч мешков.

В газете, по радио, через джарчей на базарах, оторванных от своих обычных будничных объявлений о пропавшем петухе, пошла по кишлакам весть: уполномоченный Средазхлеба Веревкин, обманувший партию и советскую власть, скрывший 10 тысяч новых пеньковых мешков, вышиблен с позором из партии.

Стало нехватать складов. Оппортунистическое руководство — и Веревкин, и Игнатьев — ориентировалось на 200—250 тысяч пудов, а мы начали брать миллион. Уже на третий день в складах ощущалась теснота. Места тут гористые. Дождей можно было ждать здесь раньше, чем в Ферганской долине или в соседнем Ходженге, и хлеб, сваленный на брезенты, мог гнить.

— Спасайте хлеб! — бросили мы лозунг. — Ищите склады! Занимайте все помещения, какие возможно!

Ночью мы на гнедой паре окружковских коней, птицей носивших нас по всему округу, прилетели в Дальяны. Чайхана. Булканье воды в кальяне, из которого по очереди затягиваются присутствующие. Очередная чашка кокчая, из уважения налитая на половину пиалы. Генеральный совет. Надо спасать хлеб. Где найти помещения?

Мирашуров, сдвинув чалму на лоб и взяв в руки голову, сидит на ковре, поджав под себя ноги, и качается из стороны в сторону, точно молится.

— Надо заставить везти хлеб на станцию.

— Это нельзя, — говорит Мирашуров. — Тогда мы оторвем людей и не управимся к 1-му.

— Тогда построить сарай.

— Это долго, — возражает кто-то, — сарай поспеет только к 15 ноября.

— Надо... — начинает кто-то и не кончает, убедившись, видимо, в том, что его предложение нереально.

— Занять школу? — Нельзя. Больницу? — Тем более.

Мы сидим в чайхане, и сквозь открытую дверь видны фонарики у огромной старинной дальянской мечети. Мечеть обнесена широкими террасами. Зазеленена карагачами. Со двора виден кусочек звездного неба и полумесяц над крышей мечети.

— Надо занять мечеть, — строго говорит Мирашуров.

— Правильно.

— Раис, — обращается он к председателю совета. — Беги к мулле.

Дряхлый старик-мулла приходит в чайхану. Мы усаживаем его. Кто-то протягивает ему кок-чай. Он удивлен вниманием и подозрительно оглядывается по сторонам. Кругом столпилось чело-век 50 деххан.

— Домулло, — обращается раис к мулле. — Ваш коран говорит, что труд — это самое великое дело на земле. Результаты труда, следовательно, тоже находятся под охраной аллаха. У нас много хлеба. Будет еще больше. К 1 ноября мы выполним план. Хлеб девать некуда. Разреши нам ссыпать его на террасы мечети.

Деххане, затаив дыхание, слушают, что скажет мулла.

— Харашо, — после длительного молчания отвечает домулло. — Займите террасы мечети, но только отремонтируйте потом то, что ломаете.

— Хош! — сказал Мирашуров.

— Иккиле бошь, — сказал раис. — Все-му бывает конец!

И широким потоком золотистая ур-тубинская драгоценная пшеница полилась на террасы мечети, складской кризис был разрешен до конца.

Письмо третье

Друг!

Однажды мы вдруг сразу снизили темпы и дали только 60 тысяч. Ночью прискакал из Дальян Мирашуров.

— Слушай, рафик, — шептал он мне. — Из дальянских кулаков половина живет в Ура-Тюбе. Сеют им хлеб батраки. Они же убирают. А когда все кончено, хозяин приезжает из города и забирает хлеб к себе — в Ура-Тюбе. Услышав про заготовки, эти дальянские,

шахристанские и басмандинские кулаки повезли огромное количество хлеба сюда, в Ура-Тюбе. Я сам видел, как один из баев привез одну арбу, три верблюда и много, много ишаков пшеницы. Надо потрясти город.

Утро в окружке. Заворг.

— Слушай, Синицын, — говорю я ему. — Давайте проводить хлебозаготовки также и в городе.

— Это глупости, — говорит он. — Какие заготовки могут быть в городе Ура-Тюбе? Тут торговцы одни, и ты с них ничего не возьмешь.

— Давайте соберем бюро и обсудим этот вопрос, — говорю я. — Я настаиваю, чтобы хлебозаготовки проводились также и в городе.

Мирашуров уже выполнил план по Дальяну. Мы перебросили его в Ура-Тюбе. Он во главе огромной команды в 100 батраков-комсомольцев трясет байские рундуки, копает ямы во дворах и торжественно на байских же верблюдах вывозит выкопанную пшеницу на пункт. В ночь, когда мы начали «трясти» городских кулаков, мы дали 60 тысяч пудов.

Заворг ходил и хватался за голову.

— Ах, как я проглядел!

— Да, ты все дождался синицы в небе, когда у тебя журавль в руках был, — шутит над ним Мирашуров.

Кони пылят по узкой кишлачной улице. Мы везаем во двор. Здесь ищут хлеб.

— Где спрятан? — спрашиваем бая.

— Нет у меня хлеба. Я такой бедный, что от меня даже блохи убегают, меня вши не трогают, им не за что меня укусить. Меня клопы не едят, потому что у меня нет крови, и они умирают с голода. А ты говоришь, — у меня хлеб. У меня нет хлеба, рафик уполномоченный. Я беден, как крыса в мечети.

— Врет, — говорит Мирашуров.

— Врет, собака, — поддерживает его коммунист, секретарь кишлачной партийной ячейки Сабиров. — С одного меня он выпил за зиму бочку крови, а сейчас хочет воевать с советской властью. Разве может этот бай убить советскую власть, спрятать от нее хлеб в землю? Советская власть видит сквозь землю, —

говорит раис сельсовета. У хокумата (центральная власть) зоркий глаз.

— Давайте рыть, — распоряжается Мирашуров отрядом батраков, прибывших с лопатами.

Начинают рыть. Сперва в доме. Посредине, под очагом, через полметра, обнаруживают доски. Роют. Вытаскивают доски. Опускают фонарь. Большая яма, полная золотистой пшеницы.

— Прошлогодний урожай, — говорит раис, пересыпая на руке полное зерно.

Бай говорит:

— Это последнее, что у меня есть, больше у меня нет хлеба. Я хотел сохранить его, чтобы зиму питаться.

— А где же нынешний урожай?

— Он погиб у меня. Муха была Саранча поела, град побил.

— Врешь, не было града в этом году, — уличает его раис.

— Врешь, — говорит Сабиров и уверенно идет к уборной, выстроенной в углу.

— Копайте тут, — говорит он.

— Зачем, Сабиров? — спросил я удивляясь.

— Сейчас увидишь.

Стучат лопатой. Железо. Под уборной врыт огромный чугунный котел. В него попадали нечистоты. Осторожно вынимают котел. Вонючая жидкость с червями течет под гору. Под котлом яма, в яме пшеница.

— Прошлогодний урожай? — говорит раис.

Целый день батраки насыпают мешки и вешают на десятичных весах, поставленных посредине двора. И не только из ямы в доме, и не только из ямы под нужником, но еще из четырех ям, скрытых в конюшне, в ичкари (женская половина дома), под дувалами.

Три тысячи пудов золотистой пшеницы выкопано было у этого бая. Кроме того, восемьсот пудов оказалось закопано от третьегодичного урожая и целиком погнило. Образцы этой гнилой пшеницы мы раздали уполномоченным всего округа, секретарям ячеек, коммунистам. Мы кричали на весь округ о том, что бай Сулейман сгноил восемьсот пудов хлеба и, кроме того, спрятал

три тысячи. Мы кричали батракам, беднякам, середнякам:

— Открывайте байские ухищрения, добывайте хлеб! Борьба за хлеб—борьба за советскую власть! Борьба за хлеб—борьба за социализм! Борьба за хлеб — борьба за воду, которой у вас так мало и которую отнимают у вас баи! Выгнать баев из сельсоветов! Выгнать баев из кооперации, из исполкомов! Посадить туда наших людей, выдвинувшихся на хлебозаготовках! Кто помогает советской власти добывать хлеб, тот друг советской власти! Кто прячет байский хлеб, тот враг советской власти! Батрак Ата-Назаров в Шахристанской волости спрятал часть байского хлеба! Позор Ата-Назарову! Он байский лизоблюд, он паршивая байская собака! Он опозорил почетное звание батрака, он враг наш, враг советской власти!

Кишлаки бушевали, туфельная восточная почта — узункулак — не успевала передавать слухи, распускаемые байскими прихвостнями. По мечетям начались подозрительные собрания. Из Басманды донесли о какой-то группе. В кишлаке Чумак-Тепе на собрании одна байская женщина выступила так:

— ... Все люди равны, должны иметь право присутствовать на собраниях. Советская власть сеет ссору между декханами. Часть призывает на собрания, часть прогоняет. Мы должны здесь вынести постановление, чтобы всех, лишенных избирательных прав, восстановили.

Баи начали нажимать через жен, пытаясь взбунтовать их против хлебозаготовок.

Именно в разгаре хлебозаготовок по всей Средней Азии усиление нажима на бая очень выразительно отразилось в характере байского противодействия. Это была своего рода положительная оценка классово-линейной нашей партии со стороны байства, со стороны кулачества, со стороны неразоблаченных еще басмачей, бывших эмирских чиновников, реакционного духовенства и их компании. Привлечение батраков в низовой аппарат, сдвиги в качестве низового со-

ветского аппарата проявлялись в том, что количество низовых работников, ставших жертвой баев, выросло.

Мы сидим в чайхане. Я читаю Миращурову и другим товарищам, приехавшим из кишлаков, отрывки из брошюры Ильича: «Товарищи рабочие, идем в последний, решительный бой!».

Кули переводит. Все присутствующие в чайхане притихли. Мысли Ильича, слово за словом, вслед за русским текстом, переводятся на узбекский и таджикский языки:

«Кулак бешено ненавидит советскую власть и готов передуть, перервать сотни тысяч рабочих. Если бы кулакам удалось победить, мы прекрасно знаем, что они беспощадно перебили бы сотни тысяч рабочих, входя в союз с помещиками и капиталистами, отменяя восьмичасовой рабочий день, возвращая фабрики и заводы под иго капиталистов».

«Кулак... бешеный враг советской власти, либо кулаки перережут бесконечно много рабочих, либо рабочие беспощадно раздавят восстание кулацкого, грабительского меньшинства народа против власти трудящихся. Середины тут быть не может. Миру не бывать: кулака можно, и легко можно, помирить с помещиком, царем, попом, даже если они поссорились, но с рабочим классом никогда!»

Сегодня красный обоз.

В огромном дворе приемного пункта поставлено шесть или семь гигантских весов. По краям разостланы ковры, разложены угощения для приезжающих декхан — дыни, лепешки; дымятся самовары, взятые из всех чайхан города. И заваривается чай-кабут—зеленый чай.

Приближение обоза слышно еще издалека. Огромные тучи пыли стоят над ним.

Ту-ту-ту!—гудят огромные, длинные, по два метра, деревянные трубы. Перед передней арбой скачут и пляшут несколько танцоров. Люди выдвывают ногами крендели, размахивают руками, приседают. Вслед за ними, между двумя белыми верблюдами, протянут огромный плакат:

«Зиндабот куистон Таджикостон сурх!» — «Да здравствует красный горный Таджикистан!»

Вслед за ним арба с красным флагом, полная зерна. Вслед за ней караван верблюдов, нагруженный по четыре мешка пшеницы на каждом. Потом обоз арб, потом ишаки, множество ишаков, до тысячи.

— Ой, мать, ой, отец! — кричит Миращуров. — Сто верблюдов, а может быть, и двести!

Во дворе скуппункта — суматоха. Ни черта не поймешь. Смешались верблюды, кони, люди. Миращуров носится за ними, наводит порядок. Его халат и голубая чалма мелькают то там, то тут. Халат развевается. Он знает почти всех дехкан по имени, хлопает одного по плечу, другой хлопает его по плечу, с кем-то он целуется, с кем-то перекидывается шуткой, на кого-то орет на весь двор.

Чтобы лучше видеть всю картину сыпки, я и секретарь окружкома Синицын взбираемся на крышу сарая. Мы видим, как быстро снимают с возов, сыпают в высокую кучу пшеницу. Мы видим, как какой-то дехкан пытается надуть весовщика и второй раз поставить на весы тот же мешок, чтобы ему засчитали большую сдачу, и посылаем Миращурова наладить лучше контроль, чтобы после весов мешок снова не шел на весы.

У самоваров оживление. Каждый сдатчик получает лепешки, дыни, кокчай, чай-кабут. Шутки, смех. Рыжие бороды, черные, как смоль, бороды, разноцветные чалмы, яркие халаты, рыжие пехи на ногах.

Тут же мы вручаем премии.

Дальянская волость получает в виде премии новую школу. Она должна кончиться постройкой через два месяца. Радостный гул идет по толпе дальянцев.

Колхоз имени председателя ЦИК Таджикистана, первый выполнивший в округе план заготовок, получил трактор. Тракторист-таджик перед всей толпой проделявает опыт — связывает десять

арб друг с другом, впрягает фордзончик в них, и, с невероятным скрипом и грохотом, мимо пятнадцатитысячной толпы, трактор тянет арбы, пугая верблюдов, ишаков, оглашаемый радостными криками удивления, восторга и приветствий. Впереди трактора прыгают и кувыркаются клоуны и пляшут танцоры, а еще впереди них идут два белых верблюда, косясь назад, и между ними протянут плакат: «Зиндабот куистон Таджикостон сурх!»

Когда обоз разехался по домам, я вдруг обнаружил, что врученная кишлаку премия — веялка — не взята и стоит посредине пожарной площади. Я долго ломал голову над причиной этого, пока мне не обьяснили. В кишлаке нет колхоза, и, поднесенная всему кишлаку, она не считается собственностью ни одного из единоличников-крестьян, — поэтому никто эту премию не захотел взять. Так она и осталась.

— Вы не организатор, а трепло, — кричу я на заворга по поводу веялки.

Тот обиженно дует губы и говорит: — Чепуха.

Письмо

Дорогой друг!

Уже час ночи. Только-что вернулся из объезда двух волостей. Масса интересных впечатлений, которыми хочется сейчас же поделиться с тобой. Объезжаю районы верхом или на окрисполкомовском фаэтоне с кучером Абдургимом. Абдургим рассказывал:

— И вот, понимаете, товарищи, захотел я поступать в партию. Иду к секретарю ячейки (имя рек), а он, сволочь, с меня за вступление в партию требует бутылку водки.

Он долго ворчит, вертится на козлах, а потом продолжает:

— Так и не поступил. Я ему полбутылки давал, не сошлись.

Этот случайный разговор помог нам раскрыть целую байскую группировку в одном из кишлаков и сделать там решающий перелом по хлебу.

У меня болят зубы. Зубы болят совсем некстати. Иду в окружную больницу. Врачиха подолгу ковыряется, наконец вытаскивает щипцы и начинает тянуть больной зуб. Она пробует тянуть его два часа под ряд. Кровь. Врачиха обессилела.

— Слушайте, поезжайте немедленно в Ташкент. Я ничего не могу сделать, у вас не зубы, а кессоны какие-то. У вас может быть заражение крови. Надо немедленно в Ташкент.

— Что вы, с ума сошли! У меня план выполнен только на 80 процентов.

— Тогда у вас будет заражение.

— Не могу же я без разрешения уехать.

— Слушайте, у вас будет заражение.

— Вот не было печали, зубы накачали, — ворчу я.

И верхом, наскоро дав задания Миращурову и другим, я скачу на станцию. Ветер гудит в ушах. Голова моя завязана двумя чалмами, чтобы не застудить зуб. Щека распухла. Я спешу на поезд, потому что, если я опоздаю, придется ждать сутки. Сменив лошадей на полпути, я как-раз успеваю к поезду и несусь в Ташкент.

В купе встречаюсь со старым товарищем.

— Расскажите про Рамзи.

Тот говорит:

— Рамзи ставил своей целью дискредитировать колхозы не тем, чтоб не допустить их, а тем, чтоб захватить влияние в них в свои руки и сделать их своим оплотом.

Поезд несется к Ташкенту. Осенний пейзаж. На меня находит лирическое настроение. У меня болят зубы.

Я думаю о тебе и пишу, придумываю стихи.

Не страшна нам осень буйными ветрами.

Коль горят деревни нашими огнями.

Вечер. Я в Ташкенте. В общежитии. Открываю дверь, за столом секретарь.

— Кто вам дал право приехать?

— Зубы болят.

— Что же вы не могли там вылечить?

— Мне нужно срочно выдернуть, а то будет заражение.

— Как хлеб?

— 80 процентов.

— Плохо. Сегодня 28-е, значит в 1-го не кончите.

— Кончим 1-го.

— Смотрите.

Ночь. Синий свет абажура. Врач дергает мне совсем легко и без всякой боли уже расшатанный врачихой корень. Сразу облегчение.

— Ну, внутренний враг ликвидирован, — шутит дантист. — Желаю успеха в борьбе с врагом внешним.

Я снова дома.

Друг Вася говорит мне:

— Вы слишком жмете, смотри, у тебя будет восстание.

— Что же ты хочешь? Чтобы хлеба не было? Спасовать перед кулаком?

— Нельзя, — говорит он, — надо осторожнее, будет восстание.

— Если кулак восстанет, мы его побьем, но мы сумеем и предупредить восстание.

— Нельзя так нажимать, — говорит он.

— Вася, мне не нравятся твои настроения. Это — троцкизм, это на тебя влияет Ванька. Это не твои мысли. Что же, теперь отказаться от хлеба? Ведь хлеб — база нашей борьбы.

Звонок.

Секретарь:

— Вы еще не уехали?

— Я прошу разрешения задержаться до утра.

— Смотрите! — голос сердитый. — Каждый отвечает сам за себя.

— Хош! — говорю я. — Сейчас выезжаю.

Снова поезд. Снова скачка. Опять Ура-Тюбе.

Через два дня кончим план!

Мы в окружке. Входят уполномоченный Дятлов.

— Ты почему тут? — накидываюсь я на него. — Как ты смел уехать из кишлака без разрешения?

— Я не могу выполнить план, мне надо дать скидку в 10 тонн.

— А сколько у тебя весь план?

— 30 тонн.

— Ты просишь скидки 33 процента?!

— Нет, я прошу скидки 10 тонн.

— Ты просишь скинуть 33 процента плана?

— 10 тонн, — упорно повторяет Дятлов.

— Когда ты поедешь обратно в свой кишлак?

— Послезавтра.

— Поезжай сейчас же.

— У меня есть дела тут.

— Где ты работаешь?

— Секретарь оика.

Я предлагаю собрать экстренное бюро и обсудить вопрос о его пребывании в партии.

Предокрисполкома жметяся. Через полчаса собирается бюро. Докладывает секретарь.

— Мы уже имеем в результате нажима большие результаты. 80 процентов хлеба собрано. Надо нажать еще, и план будет выполнен. И в это время уполномоченный Дятлов, секретарь окрисполкома, вместо того, чтобы браться за план, приехал просить скидки. Это есть правый оппортунизм на практике. Вместо выполнения плана он занялся подсчетом, как бы план не выполнить. Предлагаю его исключить из партии.

Дятлов возмущен. Как это так, о нем, о Дятлове, об активисте, так стоит вопрос?!

— Я настоящий большевик, — говорит он.

— Ты дурак, — кричу я ему, обозленный до крайности. — Кто хочет выскаться? Председатель, ты скажешь?

— Что же говорить?

— Дайте мне. Выходит, значит, так, — назираю я на председателя, — представитель центра злой, а мы добрые. Мы против исключения. Исключим только потому, что он предлагает. Не хотим ссориться со своим. Это называется примиренчество к правому оппортунизму на практике.

— Дайте слово, — кричит председатель. — Дятлов совершил преступление. Он когда-то хорошо работал, но он совершил преступление и должен быть исключен из партии.

Дятлов исключается из партии. Когда кончается заседание, я говорю:

— Можно не записывать, но дать ему кишлак самый трудный. Если он

там вытащит, то после выполнения плана поставить вопрос перед контрольной комиссией о возможности оставления его в партии.

Газеты, радио, джарчи кричат:

«Секретарь окрисполкома Дятлов за правый оппортунизм, за борьбу против хлебозаготовок, за кулацкую линию с позором выгнан из партии».

Все уполномоченные в кишлаках по телефону, через посланного, через джарчи, через газету получают это решение. Народ подтягивается, подбирается. Новая волна хлеба поднимается по округу. Через два дня закончится план.

Но над Ура-Тюбе собираются тучи. Странные явления наблюдаю я. С рынка прогало подковное железо. В далеком Матчинском ханстве, по донесению наших людей, днем и ночью работают кузнецы, делая огромное количество подков. Уже 5 тысяч подков отправлено в Ура-Тюбе и Локай. Потрепанные нами баи Басмандинской волости пытаются сгруппироваться и создать басмаческую шайку. Терроризируя округ, они хотят сорвать хлебозаготовки. Кто-то помогает им изнутри. Пороху накопилось много.

— Достаточно появиться шайке в 5—10 человек, — говорит мне секретарь окружка, — чтобы сейчас же к ней примкнуло несколько десятков обиженных нами баев.

— Нельзя допустить до этого. Нашей боевой задачей является предотвратить осложнения по этой линии. Что же делать? Я зову Мирашурова и советуюсь с ним. Мирашуров, этот незаметный, скромный окружной работник, председатель батрачкама, превращается в центральную фигуру. В ходе хлебозаготовок он сам собой выдвигается на первый план.

— Мирашуров, — говорю я ему, — в Матче куют подковы.

— Знаю. А в Гандже шьют уздечки, — говорит он. — Баи, которых потрясали, собирают шайку, — добавляет он. — А хлеб нужно взять во что бы то ни стало. А хлеба еще много. Что план! Мы можем еще два плана таких дать. Надо только зажать баев.

Мы всю ночь сидим с секретарем окружкома Синецыным и Мирашуровым, обсуждая план борьбы с басмаческой шайкой, которую хотят организовать баи. Рано утром в кибитке Мирашурова собирается человек двадцать молодых ребят и человек пять стариков.

— Вас, наиболее честных батраков, — говорит секретарь окружкома, — и наиболее преданных коммунистов и комсомольцев, мы вызвали, чтобы дать вам серьезнейшее боевое задание. С сегодняшнего дня вы все — басмачи.

Крик возмущения вырывается у присутствующих:

— Как басмачи? Почему? Кто вам сказал? Мы честные батраки, мы любим советскую власть, мы комсомольцы и коммунисты. Кто сказал, что мы басмачи? Какая гнилая собака сказала это?

— Успокойтесь, — говорит Мирашуров. — Но с сегодняшнего дня вы будете ими.

— Мы не хотим быть басмачами!

— Тише, черти!

Мирашуров рассказывает, в чем дело. С зарей из Ура-Тюбе, в разные концы, держа в поводу хороших, породистых коней, двадцать пять человек расходятся в разные концы, чтобы собраться где-то на Матчинской дороге к вечеру того же дня.

Золотое зерно спелой пшеницы течет в пункты. Ломятся склады. Гудят автомобили, и течет золотая пшеница к Урсатевской на злых крикунах-верблюдах.

Вечер. Кричат в положенное им время здешние пегухи — ослы. Ишак — это местный петух. Кричит он, подобно петуху, в одно и то же время.

Мы, усталые и разморенные от томительной верховой поездки, полулежим на корре и наслаждаемся отдыхом, лепешками, терпким зеленым чаем.

Рядом со мной разговор. Трое русских крестьян из Голодной степи. Старик — молодым:

— Что ж теперь делать, куда податься?

Я с огромным, нечеловеческим волнением, с замиранием сердца прислушиваюсь к разговору.

— Подаваться тебе, дядя Иван, сейчас некуда. Один путь — в колхоз итти.

Вечером, в Шахристане, телеграфист тихо дергает меня, спящего, за ногу и зовет на почту. Прихожу.

— Алло, — кричат из Ура-Тюбе. — Несчастье!

— В чем дело?

— В Басманде появилась шайка в двадцать пять человек. Ограблен колхоз имени Зеленского. Забрали коней. Наши баи седлают своих скакунов, чтобы ехать в шайку. Что делать? В каждом кишлаке выдвигаем охрану. Хотим создать отряды самообороны.

Голос предокрисполкома тревожный, непонимающий.

— Ничего, подождем до утра.

— Слушайте, бездействие тут будет преступлением!

— Ничего, до утра потерпим.

— Я тогда предприму самостоятельные действия и вышлю туда отряд добровольцев.

— Я вам запрещаю это делать, это предательство.

— Осторожно! Вы что, забываете, с кем вы разговариваете?

— Утром я буду в Ура-Тюбе и все сделаю.

— Я вызываю из Ташкента кавалерийский полк.

— Слушайте, не устраивайте паники, тут полку нечего делать. Тут нечего делать взводу, не то, что полку. Мы сами справимся с этой бандочкой.

По базарам, в кишлаках, в Ура-Тюбе катятся слухи: в Басманде — басмачи. Банда шныряет из кишлака в кишлак. Она не грабит. Она собирает декхан, агитирует против хлебозаготовок и тут же вбирает в себя всех, поддерживающих ее. К ним присоединилось уже сорок человек, то-есть все ядро шайки, которую готовили басмаческие баи.

Мы отправили вслед за шайкой два отряда самообороны. Командирам была дана инструкция во что бы то ни стало не догонять «басмачей».

К вечеру 31 октября все сорок басмачей сидели в домзаке, а двадцать пять комсомольцев и коммунистов разошлись по своим местам. Колхоз имени Зеленского получил обратно своих коней и благодарил представителя Красной ар-

мии, выручившего ему отбитое у басмачей тягло.

По всему округу катилась волна ликования. Декхане радовались такой быстрой энергичной борьбе с басмачами. Шайка была ликвидирована, выявлены пособники. Байский бунт против хлебозаготовок был срезан на корню и не удался. Мы взяли полностью пять тысяч новых подков, изготовленных машинскими пособниками басмандинского басмачества.

Мирашуров докладывает на бюро окружка эту операцию. Председатель окрисполкома, красный и злой, жалуется, почему ему не сказали об этом.

— Чудак,—говорит секретарь окружка,—если бы мы тебе сказали, весь округ знал бы об этом на другой день.

Окружком постановил объявить благодарность всем участникам операции и запретить им рассказывать кому бы то ни было о ней.

Утром 1 ноября мы приняли последние обозы последних 30 тысяч пудов золотой пшеницы.

Весь город во флагах. Опять кричат верблюды, орут трубы, пляшут танцоры. Опять большие самовары, дыни, лепешки, кок-чай и веселые толпы раз'езжающихся после сдачи хлеба декхан, у некоторых за чалму заткнуто ламповое стекло, точно перо у какого-нибудь шотландского стрелка.

На митинге представители края вручают окружкому и окрисполкому премию — новенький легковой форд. Ура-Тюбинский округ первым в Средней Азии закончил план. Задание секретаря выполнено.

Но маленькая шаечка в десять человек в Басманде все-таки появилась. И вот вчетвером заворг Сеницын, Мирашуров и два чекиста отправляются на машине туда. Несется новенький фордик. Поворот. Пятнадцать всадников. Басмачи. Щелкают маузеры наших. Щелкают их мултуки, карабины, винчестеры. Они удирают от машины прямо по полю. Форд несется вслед. Машина опрокидывается, ребята выскаки-

вают, ставят ее обратно. Машина подсакивает на каком-то камне. Сирена замыкается и начинает непрерывно гудеть. Кони не выдерживают и в страхе несутся прочь. Всадники уже не могут управлять ими. Наши снимают с седел басмачей одного за другим.

Возвращаются назад. Впереди, немного поарпанутый, с разбитым боковым стеклом фордик. Сзади шесть верблюдов с десятью басмаческими трупами. Еще сзади — кони. После Мирашурову рассказывали, что оставшиеся басмачи заночевали в каком-то кишлаке и ночью, когда закричал ишак, им показалось, что это сирена нашей машины. Они вскочили, поседлали коней и удрали в горы.

Так наша премия за успешное выполнение плана заготовок в первый же день ее вручения получила боевое крещение в борьбе с остатками ура-тюбинского байства. Так Сеницын заслужил глубокое уважение всех нас.

Ташкент. Газеты кричат:

«Учитесь у ура-тюбинцев! Берите пример с ура-тюбинцев!»

Заворг окружка Сеницын идет со мной. Его встречают с почетом.

— Здорово мы организовали работу,—говорит он знакомым ребятам.

— Нельзя так нажимать,—ворчит на меня друг Василий.

— Но дело не в нажиме,—говорю я,—мы выполнили план потому, что по-большевистски организовали работу.

— Правильно,—поддерживает меня, останавливаясь у входной двери, секретарь крайкома и выходит на террасу.

Я, полный радости от сознания победы, одеваю новый костюм и спешу в театр на гастроль московского театра оперетты. Идет «Роз-Мари». Приятно после утомительных и долгих странствований послушать музыку и эти до-вольной-таки пустые, но импонирующие арии.

Я сижу в партере театра, переделанного из цирка. Зал переполнен. Рядом со мной прекрасная молодая девица. Я наслаждаюсь музыкой, девицей, победой.

Осень в Кулябе

Ноябрь 1930 г

Любимая!

Я на тарантасе проезжаю через Пайтук. В колхозе у арыка на разостланном брезенте делят муку; приемщик хлопка в хороших, смазанных сапогах щупает привезенный в огромных мешках сырец и быстро определяет сорт.

Мы лежим на кошмах скуппунктвской чайханы. Ноябрьский ветер рвет в клочья и носит по небу куски облаков. На пойме Кзыл-Су слышен многоголосый гам гусей. В громкоговорителе кричит чей-то звонкий голос:

— К первому декабря дать 90 процентов хлопка!..

Ибрагим балует, и многие уполномоченные ночью боятся ночевать в кишлаке — ночуют в колхозах; председатели ходят обвешанные патронами и с винтовками.

— Взять хлопок во что бы то ни стало. Взять хлопок!

Блохи тут, как говорит Шир-Али, величиной с воробья. Малярия. Ох, как мучаются люди от них. Как грязно, как некультурно живут...

Сегодня один декхан на мой вопрос, почему нет хлопка, ответил:

— Небо плохое, вода скупая, земля яман... — и угостил нас грецкими орехами.

Решил об'ехать все важнейшие кишлаки. Снова верхом, у меня брюки галифе, швы трут ноги, надо было бриджи одеть, — большое это искусство шить брюки так, чтобы не натирали ноги во время верховых поездок. Мы плетемся на конях по качающейся, колеблющейся под ногами почве. Кишлак Красная Чай-

хана на большой вьючной тропе, поют верблюдчики; слышен гортанный говор осетин; вместе с растом транспорта остро и резко вырастает ячменная — кормовая — проблема. Тов. Свердлов диктует Шир-Али списки посевщиков с указанием, кто сколько сдал или еще не сдал.

Я иду по скуппунктовскому двору. Какой-то декхан в чалме и ярком халате, суеться, бежит к другому, жующему лепешку, и кричит:

— Что ты шляешься, когда каждая минута дорога, на базар даже не ездим!

А потом подошел к Шир-Али и говорит:

— Рафик, жалованье мне платить будут, нет?

— За что? — удивился тот.

— Как за что, ведь я помогаю заготовкам.

Как выяснилось, это какой-то из «бывших», видимо, самый глупый из них.

В кишлаках гнались за нами энергичные, смелые и молчаливые собаки, мы быстро на полуторатонном «АМО» неслись к Кулябу.

Вечером радио. «Рекорд» разрывают крики, начинается процесс вредителей. Волны возмущения, гнева и глубочайшей преданности социалистическому строительству, волны огромного всепобеждающего энтузиазма докатываются по волшебному эфиру сюда, в затерянный близ афганской границы, среди Курбан-Шайдской долины, маленький вилайетский центр. Спим в походном порядке. Общежитие при скуппункте. К 1 декабря нужно во что бы то ни стало дать 90 процентов хлопка.

Три шефских бригадира-текстильщика живут вместе со мной, — хорошие, крепкие рабочие ребята, но они уж робеют.. Сейчас прибежал из кооперативной лавки один из их, набивщик с фабрики «Озера».

— Ах, как приятно, — восклицал он, — встретить тут кусок материи со своей фабрики!.. Она тут нарасхват! — с гордостью добавил он.

Мы шуршали только-что пришедшими газетами.

— Уже начали составлять вторую пятилетку, — проговорил кто-то.

— Как, уже вторую?! — воскликнул из своего угла счетовод скуппункта.

Сегодня 27 ноября. День ясный, сдача совсем плохая. Завтра будем проводить общее собрание всех властей и актива джаммагатов. Сейчас поспорил с бригадирами, один из них, тов. Захаров, говорит мне:

— Но, поймите, что, между нами говоря, ведь хлопка-то нет!

— Не может быть разговора «между нами»! Что касается невыполнимости плана, — ты впал в недостойное пролетария уныние!

Как в боях, мы все обросли. Сегодня с седла стреляли по фазанам, перебегавшим дорогу. Кони плясали. Обмерзлые сидят на обрыве над рекой гигантские, невиданные стаи гусей, точно серое тучное море... А ночью над Пайтуком стоит шуршание уток. Рев кабанов, вой шакалов и протяжный плач паршивых гиен...

Прочел «Поединок» Куприна, написано замечательно, но действует слишком размягчающе... У меня появилась вдруг тоска по книге, читальне, чистой постели.

Сегодня за чаем в общей кухне слышал я возмутительный колонизаторский разговор, — сколько этой сволочи набилось в наши хлопкомовские аппараты! А между прочим на каждом скуппункте и заводе десятки таджиков, узбеков, киргиз-рабрчих, которые уже достаточно выросли, чтобы их немедленно выдвигать на руководящую, ответственную работу.

Радио. Москва. Тифлис. Ташкент. Калькутта. Ночная фокстротирующая

Европа. За окнами лают скуппунктовские собаки, свежо, нарождается новая луна.

Нужна погода, погода, погода. В бабье лето в России много паутины на полях, и тут сейчас, в ноябре, глухо постукивая копытами по тропке к Пайтукской долине, и голова коня, и всадник то и дело рвут длинные нити паутины, напутанной от тростинки к тростинке Тростник губит (кабан, малярия). Тростник спасает (топливо, строительный материал) Часть гармских, умин-абадских, ховалинских переселенцев после сбора урожая уезжает домой, чтобы вернуться к весне, часть строится. Строится из тростника.

Завтра с Шир-Али об'едем еще один джаммагат, затем в Курбан-Шаид, Пархар, Арал, Киз-Мазар и — опять в круговую.

Так и живем.

Как действует тугошней бай? Признаться, я еще не уловил полностью этого. Сил, которыми бы его можно было выявлять, еще недостаточно. Ждем, организуем, добиваемся выполнения плана...

А вечером опять радио:

«К 1 декабря дать 90 процентов хлопка».

Декхане агронома называют доктором.

— Хлопок яман-доктор посмотрел, — говорили нам многие.

Над кибитками развевается красное знамя, — колхоз имени Сталина. Толпа колхозников уходит на сбор сырца, один возится с хомутом, другой заряжает патроны кабаньими пулями. Мы сидим на туго набитых мешках с хлопком и беседуем с членом правления. Старик мулла, тоже переселившийся вместе со всем кишлаком с гор, листает коран, и, опять разрывая паутинные нити, спуская стаю уток, гусей и быстроногих фазанов, мы едем дальше, изредка в кишлаках напиваясь воды из засушенных, искусно выдолбленных тыков.

— Есть арбуз «оби» (поливной) и арбуз «ляльми» (богарный), это — большая разница, — рассказывает Шир-Али. А я, не слушая его, качаюсь в седле и мучительно думаю и никак не раз-

берусь, в чем же я прав, а в чем провалился.

— Нужно не только держаться правильной линии, но и уметь ее проводить, — говорил мне секретарь, посылая в этот округ. — Нет ни одного человека без ошибок, у вас их только не искали, — добавил он.

— Я с вами с большим удовольствием поработал бы в другом месте, — проговорил на прощанье я, а он точно не расслышал или не хотел слышать.

— Листопад у нас, рафик, наступает сразу, — продолжал Шир-Али, — двадцатого декабря граница осени: дует ветер, и весь лист сразу на земле...

А потом мы проводим собрание в одном кишлаке, и какой-то деххан, услышав, что Ибрагим недалеко где-то около Чубека, на самой границе разбил свой лагерь, возбужденно кричит: «Если мы советской властью недовольны, тогда нас закопать надо, как собак...»

Над границей нависали с гор от Чубека до Пархара банды Ибрагима, кое-где начиналась паника. Зашевелились фаланги и скорпионы старого мира, — байские выродки, — застучали молотки в потайных кузнях: в тяжелых расшитых курджумах потекли к Ибрагиму пули, добровольцы и свежие свинцового цвета плоские восточные подковы для бадахшанских скакунов курбаши. Бек изматался, и банды его были изрядно потрепаны.

— Напротив Пархарской горы третий день идет бой, — информировал нас перед поездкой в Курбан-Шаид местный начальник заставы.

И вот мы, стоя на седлах плывущих лошадей, по колено в воде, переправляемся через Кзыл-Су.

Нас заметно сносит к обманчиво спокойным болотообразным заводям, поросшим камышом, лошади настороженны, и из красно-бурой от ила воды торчит одна голова. Наконец конь ступил на дно, выбрался на берег, плещет ногами по илистой заводи, ноги его вязнут все сильнее и сильнее, я вижу, как конь впереди едущего Шир-Али вязнет все

глубже и глубже и наконец сильными, какими-то отчаянными скачками выносит его на берег. Мой рыжий, взятый из полка, слабее, а я значительно тяжелее Шир-Али, мы завязаем в предательский ил все глубже и глубже, наконец лошадь валится на бок и подминает мою ногу под себя, втаптывая в ил. Шинель мгновенно пропитывается водой. Конь храпит и в ужасе вязнет все глубже и глубже, затискивая нас обоих в трясину. Между нами идет смертельная борьба, я хватаюсь за луку седла и с силой подтягиваюсь на верхний бок лошади, она дрожит, рвется и сбрасывает меня обратно. Набухшая шинель тянет вниз, силы оставляют и лошадь, и человека. А наверху беспоощадно ясное, светлое небо, и кругом обманчиво спокойная илистая гладь, из которой маленьким бугорком торчит хрипящая голова лошади и кричащего человека. И вдруг я вижу, как по расстилаемым кошмам ползут ко мне с берега таджик-перевозчик и Шир-Али с веревками. Я, обессиленный, опускаю голову и в оборочном состоянии слышу, как меня «вынимают» из шинели и на кошме тянут к берегу, а потом, подвязав веревками рыжего и впрягши лошадей, вытаскивают на берег моего дрожащего, всего обыленного коняку. Ил набился всюду: и в брюки, и в мою тетрадь для записей, и даже в партбилет, немного размочив красные чернила на цифре 1919-й...

В юрте паромщика мы сушим свои пожитки и получаем информацию о последних новостях, принесенную вездесущей восточной «туфельной» почтой, по-местному «узун-кулаком», что значит «длинное ухо».

В Таскале сегодня ночью была паника, налет басмачей на кишлак. В скупункте все забаррикадировались и стреляли, у кишлака — перестрелка, крики и гам. Конторщик перепугался до смерти. Утром вызвали начальника отряда самообороны. И выяснилось, что ночью около сотни «тунгусов» — огромное кабанье стадо — бешено налетели на ветхое тростниковое становище переселенцев и подвергли его жестокой атаке.

Было много убитых кабанов и раненых их клыками коней.

— Откуда он это узнал?

— Приезжал Тахмасы, уполпосевкома, и посылал моего товарища, русского, на арбе отвезти убитых «тунгусов» на колбасный пункт Союзмяса, около Пархара. — Он помолчал и добавил: — Ни один таджик не хотел и притронуться к ним.

Небо вдруг внезапно потемнело, налетел вихрь, и по кожаному верху юрты забарабанил дождь. Дым перестало тянуть вверх, мы угорали от вонючего тления кизяков. Река вздулась и еще больше помутнела.

— Небеса расплакались, — сказал Шир-Али и начал рассказывать историю о том, как женился его друг Азимов: — Приходит он конечно ко мне и говорит: «Брат мой, я уже большой, мне двадцать лет, пора жениться, моя мать, отец, вся семья темные, не могу я к ним притти с европейкой или татаркой, — это значит, я не буду считаться с местными условиями. Помоги мне». Я и говорю ему: «Ты пришел ко мне, как большевик к большевику, ну и я не могу тебе отказать. Иди, брат мой, спокойно учись, и все будет сделано». Созвал свою семью (а я у них большим авторитетом пользуюсь) и говорю: «Папа и мама и все родные, вы верите мне?» — «Конечно верим, Абдула» — говорят они. «Так вот, если верите, отдайте на мое воспитание сестру мою Фатиму, чтобы вы не касались, и она была как бы моя дочь». Потолковали они, проговорили, выступает отец и говорит: «Мы согласны». Так и проделали, а Фатиме я сказал: «Переезжай к моей жене, я часто в командировке бываю», а жена (она у меня учительница) начала ее учить грамоте, записала в комсомол. Однажды приходит Азимов: «Ну как, брат, не вышло ничего у нас?» — «Как не вышло! — отвечаю, — конечно вышло!»

Дождь перестал, и паромщик шире открыл верх юрты. Воздух стал чище, угар вытянуло, закипал котелок с водой, Абдула вытащил из кармана набухший узелок и высыпал мокрый чай-кабут

в воду. Зеленые жгутики чая раскрывались в воде листиками и, прыгая по кипящей зыби, ныряли вглубь и опять выбирались наверх. Кизяки подсохли и вспыхнули.

— Ну, и как? — спросил я.

— Что как?

— Поженились они?

— А, — вспомнил Шир-Али, — конечно поженились. Собралось семей двадцать наших коммунистов. Гармония играла. Никто не пил. Всего-навсего 150 рублей истратили на свадьбу, — заключил он.

Все молча, с наслаждением пили терпкую жидкость. Ах, зеленый чай «чай-кок» в Узбекистане и Туркмении! Чай-кабут в Афганистане, Персии, Индии! Он согревает в жестокою зимнюю стужу на Памирском плоскогорьи, он утоляет своим терпким настоем жажду всей Азии от Дели и Пешавера до Тавриза, Хивы, Бухары, от Ташкента до Тегерана, от Кульджи до Герата, от Кандагара до далекой Анкары! Его пьют без сахара, только наполовину наливая маленькие пиалы и передавая их по очереди в круговую сидящим у очага, костра или на мягких кошамах и коврах чайханы.

Уже поздно вечером мы добираемся до затихшей таскалы — хлопкового скуппункта, и я забываюсь в душном бараке, с наслаждением расправляя заплывшие в седле ноги и не чувствуя укусов блошиных полчищ...

Дорогой друг!

На вершине горы стоит чабан и протяжно зазывает стадо к себе. Собаки снизу помогают ему, бросаясь на отстающих баранов, и они тянутся по десяткам тропинок вверх к своему пастуху. И я вдруг распознаю секрет того, почему все зеленые склоны гор покрыты мелкой сетью тропок, точно ученические тетради на кривую линейку. Бараны идут один за другим, зигзагами поднимаются на вершину, к сочным травам прибрежных сара-чашминских пастбищ. Мы измучились от верховой езды и едем сейчас с Абдулой в Чубек в парном тарантасе хлопзавода. Кучер сидит ря-

дом со мной и время от времени как-то отрывочно сообщает нам часть того, что он думает.

— В Афгани, слышь, опять война, шофер из Чубека вчера с инженером вернулся — Бешкапу загораживает, — пояснил он, — а то весь Курбан-Шаид отрезет! — Постукивают колеса тарангаса, и он продолжает, хитро подмигивая мне: — На войне, слышь, всегда так бывает, что кто-нибудь один остается. — И через полчаса молчания вдруг: — Эх! сколько талантов в темноте погибает!

Мы под'езжаем к Чубеку. Из гигантского ущелья, на широкий простор камышевых зарослей вырывается Пяндж. Точно на наглядной диаграмме, ясно становится болезнь, поразившая соседний Афганистан. С нашей стороны склоны Сара-Чашминских гор сплошь засеяны озимью. На афганском берегу отдельные, редкие, жалкие заплаты посеюв кричат о жалком, тяжелом, нищенском уровне жизни зарубежного декхана.

Афганистан в огне.

Уже темнеет, спокойно мерцают огоньки чубекских кибиток.

Какой-то декхан на лошади гоняется за зайцем. Тучи воронья организованным строем налетают с Афганистана и с криком рассыпаются над нами. Огромный ворон гоняется за другим, несущим в клюве что-то съестное, тот ловко изворачивается, они минуту крутят над нами и скрываются в сгущающихся сумерках. Порыв ветра ударяет в наши лица ворохом пепла и раздувает где-то «за границей» большое знамя.

— Тростник горит, — догадывается Петр.

— Ибрагим охраняет берег от нас, — говорит Абдула.

Тарантас прыгает по каменистой колее. Заревом разгорается, и иногда, подымая языки, пламя освещает волшебным светом крутые склоны гор.

В помещении погранпоста мы пьем чай и читаем последние письма хитрой лисы Ибрагима-бека к командиру заставы товарищу Н.

Его письма начинаются витиеватыми восточными любезностями:

«Дорогой Николай, — пишет Ибрагим, — я пришел к границе без всяких намерений нападать на советскую власть. У меня для этого даже нет патрон и я только и шел, чтобы пройти на отдых в Афганский Бадахшан...»

Письма были длинные и кончались лицемерной просьбой прислать «зеленого чаю, галаш и самовар». Одновременно Ибрагим распускал среди эмигрантов-локайцев слух, что он помирился с советской властью, чтобы задержать их отход от него и задержать реэмиграцию. Секрет был прост. Солдаты Надиршаха прижали банду Ибрагима к самой границе. Хитрый и изворотливый курбаши старался обеспечить себе безопасный тыл, заговаривая зубы и одновременно посылая своих эмиссаров на нашу территорию, в Кзыл-Мазар, Бальджуан, где сложил свою голову Энвер-паша, и в Локай.

Ибрагим, уходивший все время от боя, сейчас решил подкрепить себя Командующий правительственными войсками, афганский генерал, был выведен из терпения этой тактикой басмачей. Сейчас он припер их к границе, и бой должен был состояться.

Перебежавший ночью басмач сообщил, что курбаши получил письмо от афганского генерала, тот писал:

«Я прислан из Кабула. У тебя нет патрон, у меня много патрон. Выходи — будем драться. Победишь — все патроны твои».

В газетах промелькнуло, что где-то возле Кандагара появился и пропал Лоуренс. Через Катагано-Бадахшанскую провинцию по зимним тяжелым перевалам пробирались вьючные бадахшанские кони, нагруженные новенькими кавалерийского образца 12-зарядными «винчестерами» и оцинкованными ящиками патронов. Ибрагим получил известия и, стараясь выиграть время, выжидал.

В Красной Чайхане Чубекского сельсовета — радиоприемник. Собирались декхане, строители Бешкапинской дамбы, красноармейцы. В арыке журчит вода. В рупоре Ташкент:

«... слушайте, слушайте... всем, всем... Вот как нужно бороться за хлопок...»

Колхозы Кзыл-Чирчика, берите пример с «Кзыл-коммуны».

Шир-Али щупает станции одну за другой, рупор иногда взвизгивает и урчит:

Самарканд — о перестройке быта...

Заграница. Берлин — серьезная речь: реклама пивных заводов. Париж — фокстрот. Лондон — джаз. Баку — 10-летие Армении. Опять Ташкент. Восточные мотивы Рубинштейна. В кибитке почти темно. Ярко горят четыре лампы «БЧ». Москва... последние новости, бой часов с Кремлевской башни. Там двенадцать — здесь три. Мы живем вперед. Сюда, в эту замызанную чубекскую кибитку, явственно, по морозному декабрьскому эфиру, доносятся волны Москвы.

Я и Шир-Али в восторге слушаем шум сердца Союза, сердца мирового пролетариата, Красной площади. Гудки автосирен.

Выхожу на крыльцо. Зарев у афганского берега все растет и растет. Глухо слышна отдаленная перестрелка и отдельные орудийные выстрелы. В кибитке гремит «Интернационал». Над Чубеком висят равнодушные Большая Медведица и луна. С реки и болот несет сыростью и холодом.

Возвращаюсь в кибитку.

Шир-Али вздыхает.

— Ах, хорошо бы сейчас в Москву!

— А чего там хорошего? — неожиданно отзывается ночующий с нами замначальника строительства дамбы Урун Ходжаев. — Чего хорошего? — повторяет он. — Разве тут плохо? Не интересно? Мало полезных дел можно сделать? Много культурных людей? — И не давая возразить сраженному этим потоком слов Абдуле, заканчивает: — Многие товарищи думают почему-то, что рай находится около Москвы и всем нужно поспешить в этот рай... А ты московское дело тут сделай...

— Чего ты рассвирепел, я же согласен с тобой! — отвечает Шир-Али.

— Да, как же! Вот был у меня начальником инженер Макаров, все скучал по Москве. «Культуры тут у вас, товарищ Урунов, — говорит, — нет». Учить меня работать не хотел, а потом взял

сбежал да 50 тысяч с собой захватил. Жаль народных денег! — злобно добавил он и, повернувшись к стене, заснул.

Друг!

Дни становятся все интересней и напряженней!

Тахмасы рвется посмотреть, что происходит в Афганистане. Мы стоим на вершине Пархарской горы. Широкая пойма Аму-Дарьи разливается перед нами. Воды не видать. Камыши заслоняют маленькую полоску чистой воды. Густые тугайные заросли. На той стороне ералашный восточный бой (20 тысяч выстрелов, 5 убитых). Тахмасы хватается за кобуру моего маузера и кричит:

— Люблю война! Дай маузер, стрелять буду!

— Я тебе постреляю! Ты что хочешь, СССР в дипломатический конфликт еслелечь?!

Афганский генерал теснит Ибрагима к нашему берегу. НаDIR нажимает на басмачей.

Я нездоров.

— Где ты встретился с ней? — говорит Тахмасы.

— Встретился я с ней в густых тугаях приамударьинских камышевых зарослей. Это было здесь, на афганской границе. Она меня страстно полюбила и держала в своих объятиях целых три месяца.

— Кто она? — спрашивает Петр.

— Малярия.

Все смеются.

В приамударьинских тугаях водятся тигры. В кабинете командира пархарского отряда висит огромная шкура тигра. Она занимает почти всю стену.

— Тигр этот доставил нам много беспокойства, — говорит командир.

— Дело было прошлой осенью, в темную, непроглядную ночь. В такие ночи тут надо быть особенно осторожными. И мы все уезжаем на границу. Один из товарищей поехал к Чубеку, для связи, в тамошнюю заставу. Конь шел шагом. Товарищ, пригревшись на одном уголке седла, не хотел двигаться. Была про-

мозглая, серая и холодная ночь. Беспорывно лил дождь.

Вдруг конь забеспокоился, зашевелил ушами, начал плясать и отказываться идти вперед. Пограничник огрел его комчой с проволочным наконечником. Комча просвистела и врезалась в круп коня. Конь не шел. Всадник больно прищорил его. Лошадь рванулась и понеслась вперед. За кустами находился зверь. Когда всадник поровнялся с ним, тигр прыгнул, но промахнулся, и удар его лапой попал по крупу коня. Весь круп оказался ободраным, точно кожу тщательно снимали ножом. Пограничник упал, хищник увлеченный лошадью, погнался за ней, перепрыгнув через лежащего человека, и больше сюда не возвращался. У товарища этого после долго было сильное психическое расстройство. Гигра мы убить сразу не сумели. Прошла пара недель, и однажды ночью мы услышали отчаянный крик в тугаях. Застава поскакала туда. Оказалось, что тигр напал на человека, переправляющегося с афганской стороны, разордал его и коня. Это был посланец Ибрагимбека. Мы тогда взяли важные документы и сумели вследствие этого ликвидировать одну из беспокоивших окрестное декханство шаек. Еще через неделю мы убили его ручной гранатой. Обнаглевший хищник попытался напасть на часового, стоящего у вышки, — и вот он сейчас висит тут у меня на стене.

Мы идем по Пархару. Караван верблюдов, только-что сгрузивший в заводской двор мешки с хлопком, располагается на отдых. Животные кружочками по 7 — 10 штук ложатся на землю. В середину им насыпают саман и подсыпку, и они, вытягивая длинные шеи, таким образом едят ее.

У верблюда злые глаза и крик, как у маленького обиженного ребенка. По внешности это довольно спокойное и беззлобное животное. Но это только по внешности. На самом деле верблюд не забывает ни одной обиды. И горе тому погонщику, который несправедливо обращается с животным. В период весенней течи верблюд вспомнит ему все обиды,

настигнет погонщика, будет валять его по земле, избивать копытами, а в заключение сядет всей своей тяжестью на поверженного в прах обидчика.

Мы опять в Кулябе, около Чубека. Прямо в камышах построено колбасное заведение, куда окрестные тащат убитых декханами кабанов и где копятся окорока и делаются замечательные колбасы. Местное население свинину не ест.

Дорогой друг!

События, происходящие в Афганиии, очень захватили меня!

Великобритания боится проникновения революционного влияния в Индию. Красный флаг веет над самой Крышей мира.

Я читаю статью в журнале. Там справедливо указано, что мы должны со всем вниманием следить за проводимой Англией подготовкой военной диверсии против нас тут, на Востоке. Возьми факты постройки аэродрома в Персии, соединения железной дороги Багдад — Тегеран и т. д., и т. п. Круг завершен. Начав соперничеством с царской Россией, побив с Японией Россию, побив с Россией Германию, готовясь бить Америку в союзе с Японией, великобританский империализм опять обращает свои взоры к Туркестану и Кавказу. Недаром Мак Грегора, старый британский империалистический волк, говорит в своем генеральном сочинении «Оборона Индии»: «Доколе Россия не выбита из Туркестана и Кавказа, дотоле оборону Индии нельзя считать ни в коем случае обеспеченной». Но сейчас уже всякому ясно, что СССР не царская Россия, и разговор об опасности нападения с нашей стороны есть чистой водой чепуха. Значит, под видом «обороны» готовятся к нападению на нас.

Англия боится именно красной России, красного СССР. С царем, посулив за морем телушку, можно было торговаться о судьбе Афганистана. С нами — нельзя. Мы за независимый Афганистан. Мы — передовой отряд мировой революции. Поэтому мы со всей ясно-

стью должны представить опасность, грозящую нашим восточным границам со стороны авантюристических элементов британского империализма. Мы должны укреплять обороноспособность нашей границы, все силы направляя на дальнейшее форсирование социалистического строительства.

Мне думается, что весь трагизм убожества такого верхушечного национального движения состоял именно в полукOLONIALном положении Афганистана и в отсутствии выхода из этого положения без аграрной революции. Полуколониальная экономика Афганистана обуславливает малочисленность этого движения и, следовательно, бессилие его идей. Эти идеи не могут стать сильными (массовый оплот). Та же экономика на первых же шагах приводит это движение к острому противоречию с интересами крестьянства и племенной массы, с одной стороны, феодалов империализма — с другой. Отсюда был, с одной стороны, неизбежен крах амануллизма, а с другой стороны — союз амануллистов сейчас с крестьянами Кухит-Дама и с да-убазами.

Поистине трагична судьба этой страны, на границе которой я стою сейчас. Поистине трагична судьба этой страны, жители которой, пребывая в нищете и умирая от голода, и не представляют себе, что на протяжении почти ста лет они стоят в центре мирового внимания. Только для нас, для советских граждан, совершенно ясно, что лишь мировая пролетарская революция уничтожит самую возможность таких трагедий.

Сегодня пограничник Седов ночью выходит в заставу. Его пост на самом берегу реки в секрете. У нас есть сведения, что нынче Ибрагим хочет переправить на этот берег свою разведку. Ночь. Звездная купель. Большая Медведица. Журчит вода. Где-то ревет кабан. Перекликаясь с кишлячными ишаками, проржал конь. Тишина. Седов ясно видит силуэт какого-то черного предмета, отплывающего далеко наверху от афганского берега. Предмет несет на него. Видны всплески весел. Каюк с людьми.

Лодка быстро увеличивается, сносимая по течению, и упорно продвигается на этот берег. Вот она совсем близко. Вот она почти-почти у самого берега. Она пристает как-раз против Седова. Пограничник отцепляет две ручные гранаты, висящие у пояса. Лодка стучается о прибрежный песок. Со свистом летит граната, падает вовнутрь и рвется сейчас же. Вслед за ней летит вторая. Никем не сдерживаемый каюк быстро отплывает от берега, потом все быстрее и быстрее несется вниз по течению. На берегу стонет раненный собственной гранатой пограничник Седов.

Уже позже, через пару дней, этот каюк перехватили у Термеза. В нем лежало пять разорванных на куски трупов, оружие, важные документы.

Я совсем заболела. Прилетел самолет, и мы договариваемся о моем вылете в Сталинабад. Снова старый знакомый Иванов. Мы поднимаемся выше над горами и летим мимо знакомых кургантюбинских долин, мимо Бальджуана, места успокоения старого прожженного дипломата, злого гения Турции, как писали о нем в старых русских газетах, Энвер-паши, на пустынной могиле которого старики поют сложенные народным эпосом песни.

Самолет приземляется на новом аэродроме нового Сталинабада. Старый аэродром, находившийся в центре города, уже застроен. Сталинабад разросся. Казавшееся раньше нам смешной шуткой предложение строить трамвай стало теперь реальной необходимостью. Сотни машин носятся по городу. Вчера я иду по главному шоссе, яркие фары «форда» просвечивают гигантский «кэтерпиллер», пересекающий дорогу. Машина тянет десять или двенадцать тележек. Она остановилась, она берет груз, гусеницы двигаются. Машина чуть-чуть приподнимается на дыбы, принимает нормальное положение и тащит свой поезд дальше, к складам Азхлеба.

Незабываемое замечательное зрелище. Эти «кэтерпиллеры» мы видим на самых высоких перевалах по дороге к Кулябу, везущими по невозможным горным дорогам пять-шесть тележек, тяже-

ло нагруженных. Сейчас мы их делаем сами в Челябинске.

Я в крае, я похудел и иссох. Какая-то болезнь мучит организм. Звоню секретарю.

— Вы зачем приехали? Кто вам разрешил? Немедленно берите самолет и летите обратно.

— Разрешите к вам завтра зайти.

— Выезжайте, я вас не приму.

— Слушайте, я болен.

— Хорошо, зайдите.

На другой день он долго не прини-

мает меня (сердится). Потом случайно выходит и, увидев, что я действительно болен, что я действительно похудел до неузнаваемости, он тащит меня в кабинет, тепло спрашивает о здоровье, вызывает врача, отправляет в больницу.

Доктор, когда я просыпаюсь от долгого, изнурительного бреда, передает записку секретаря: «План заготовок выполнен».

Я радуюсь выполнению плана, выздоровлению, радостным перспективам, радостной работе впереди.

(Окончание следует)

О Г Н И

Повесть

МАКС ЗИНГЕР

(Окончание ¹)

VI

Леваневский стоит прямо. Голенища болотных сапог приспущены. Китель весь в пушинках меховой подкладки комбинезона. Синий китель порыжел от времени, и потускнели пуговицы, на которых выбит пропеллер самолета.

На траве, у цементных башмаков, сидят, стоят и лежат рабочие. Смотрят на Леваневского, на своего героя, облетевшего весь Союз и оказавшего помощь иноземному летчику. Потирая ладони, Леваневский рассказывает...

VII

— Летели мы над Охотским морем. Скучновато было. Туманище — не видать края крыла. Приняли в Гижиге автомобильный бензин, — другого горючего не было. Летим на автомобильном бензине через полуостров Тайганос. Пересекли Пенжинский залив, вышли к устью реки Пенжиной. Село под нами небольшое. Взяли мы от села курс на реку Маин. Шпарим над Маином, вышли к Анадырь-реке, а по ней и к селению Анадырь.

Дали несколько кругов. Народ на берегу нас дожидается. Стоят все в сетках, в накомарниках.

Подходят к нам:

— Здравствуйте, товарищи летчики! Тут американец ждёт, не дождется вас. Вот он на пригорке стоит! Как только услышал самолет, сейчас заволновался, одел накомарник — и к берегу.

А летчик Пост уже пролетел тем временем через Берлин. Догоняет Маттерна. Не спал Маттерн, все ждал нас. Прилетели мы, а горючего нема. Оно шло на пароходе «Охотск», а пароход сел на банку. Американец нервничал: дайте мне, говорит, катер, я сам поеду за горючим. Но яришел двадцатого июля «Охотск», зарядили мы самолет, взяли Маттерна на борт и пошли на взлет.

Стоял полный штиль. Погода теплая, летняя, без ветерка. Вода не шелохнется. По-нашему, одно слово — «кисель». Взлетать тяжело при киселе, да еще с перегрузкой. Маттерн у нас не один, а с уцелевшими приборами своего самолета; экипажу было тогда пять человек, горючего много, запасные части да всякое хозяйство.

Начали взлетать. У машины жабры не вылазят из воды. Бегали мы, бегали, решили отливать горючее. Выгрузили мешок консервов, отлили горючее, все, кроме меня, перебрались в кормовой отсек, чтобы мне легче было выдирать машину из воды, и наконец взлетели.

Проложили курс к мысу Чукотскому. На траверзе мыса Беринга встретили туман. Решили пробиваться к Номе над туманом. Набрали высоту и пошли над туманом к мысу Чукотскому.

¹) См. «Новый мир», кн. 1 с. г. .

Время уже было вечернее. Туман закрывал все Берингово море, и, как островки, над туманом выделялись вершины гор Лаврентия и Чукотского полуострова.

В районе Лаврентия дважды определялись по вершинам гор и взяли курс к Номе. Часы показывали полночь. Подошли мы по счислению к Номе, туман и здесь покрывал все ровным покровом. Нигде не видно было окон. Садиться нельзя. Пробьешь туман — вмажешь в берег, разложишь машину. Повернули обратно, к острову Лаврентия. Это был самый ближайший берег от нас, где можно было сесть. Сумерки белой ночи стали настолько густыми, что приборов не было видно ни в моторной gondole, ни в пилотской кабине. Электрического освещения на самолете не было, а со спичкой к бензину не полезешь.

Маттерн сидел в кормовом отсеке и скучал. Как отличный пилот, он понимал положение. Пробрался американец из кормового отсека в баковое отделение, спрашивает знаками борт-механика Крутского — как будем садиться?

Крутский повел пятерней поперек горла: «Сейчас, мол, нам, папаша, будет амба, придется всем загинаться!»

Жест был понятен иностранцу без слов. Маттерн просит пояс, чтобы привязаться к сиденью. Если самолет вмажет в скалу, то, быть может, на ремне уцелеешь. Искали наши ребята ремень. Насилу нашли. Ремнями на «Н-8» не пользовались, также не было у нас и парашютов. Привязался Маттерн и приглашает борт-механиков последовать его примеру.

Смеются борт-механики.

— Если вмажем, все равно будет бенц — с ремнем или без ремня!

Дул встречный зюйдовый ветер. Лаврентий долго не показывался. Вдруг на белом покрывале тумана, на горизонте, увидели темное пятно. Подошли ближе. Оказалось, что у норд-остового мыса часть берега была открыта. Здесь и произвели посадку.

Посадка произошла нормально. Занесли на берег два якоря, расстелили спальные мешки. Уступили один Маттерну. Сварили чай на костре из плавника

Отогрелись, и как-то веселее стало. Остров пустынный. Не видать и признаков человека.

Сколько же осталось горючего?

Никак нельзя подсчитать. Чорговы сумерки! Не видно из-за них ничего в самолете. Не сделаешь отсчета по бензиномеру.

Утром подсчитали горючее. Его осталось на час и десять минут полета.

Самым ближайшим от нас местом по направлению к материку был мыс Родней. Надо было экономить каждый килограмм горючего. Вручную развернули самолет, и, не прогревая мотор, чтобы не жечь зря бензин, я дал полный газ. Машина оторвалась легко. Она была почти без горючего и быстро взяла разбег.

Погода стояла скучноватая. Но выбора не было. На острове сидеть — хорошего не дожидаться: здесь ни людей, ни бензина нет.

Проложили курс правее мыса Родней и пошли напрямик к нему до предела горючего. А там — садимся по способности, как только выдохнется последний бензин.

В море лежал туман. Оторвались от Лаврентия в полдень с расчетом, что у материка в это время больше вероятности встретить приподнятый туман.

Несколько минут летели при хорошей видимости, а потом вошли в туман, который был нам виден еще с Лаврентия.

Дальше в тумане шли над самым морем бреющим полетом на высоте от одного до пяти метров.

Время уже нам быть у Родней, а его нет, не видать берега. Чувствую, вдруг кто-то стоит у меня за плечом. Оглядываюсь. Это — Маттерн. Он смотрит на приборы. Сколько остается горючего? Дотянем или не дотянем?

Берег открылся внезапно. Набрал горкой высоту, подошли вплотную к берегу и развернулись в сторону Номе. Вышли прямо к мысу Родней. Номе уже был виден невдалеке. На рейде стояло белой краски правительственное судно. Моторы начали сдавать из-за недостатка горючего. Дали несколько перебоев. Последние минуты перед посад-

кой летели с пустыми баками. Борт-механик Крутский уже собирался выжимать бензин из носков и переливать в баки бензин из примуса и паяльной лампы.

Это я шучу конечно. Но летели мы на горючем, оставшемся в бензинопроводе, подкачивая его ручной помпой. Уж перед самым Номе моторы стали окончательно в воздухе. Сели у берега, спланировали на сдохших моторах.

Сели близко от берега, стали на якорь. Нас ждали в Номе. Мы увидели, как к нам вышел портовый буксир.

Маттерн, Крутский и Моторин сошли на берег на клиппер-боте, на резиновой надувной лодочке.

Маттерн выскочил на берег, бегаёт по земле, кричит:

— Номе! Номе! Америка!

Прибуксировали наш самолет и повели к Номе, мы сели от него километрах в четырех.

Когда мы шли за катером, на берегу стояло много американских граждан и мисс. Нас поставили на бакштов к барже с горючим. Маттерн с остальной нашей братией тоже скоро прибыл в Номе. Пришел на самолет за своими личными вещами и приборами.

Выражение лица его было кислое. На ломаном языке он дал понять, что Пост уже пролетел Номе, не останавливаясь.

Говорят еще, что Пост издевки ради повизжал над гостиницей, где жили американские летчики, прилетевшие из Нью-Йорка спасать Маттерна.

Только мы закрыли самолет чехлами, как подошел военный катер и принял на борт экипаж самолета. Моряки были в форме; фуражки с золотыми обводами, орлы на крабе.

Когда катер подходил к стенке, американцы устроили нам чисто американскую встречу.

Все население Номе вышло на берег с фотоаппаратами. Трогательно, что старые мисс больше всего старались щелкать затворами. Длинные мисс, толстые, в очках и с аппаратами.

Подали нам авто. Опять все снимают. Только и слышен этот треск аппаратов.

Это была стихийная с'емка. Потом началась организованная. Обнялись с Маттерном перед аппаратом и снимались всяческими манерами.

Уехали в отель.

Фотографы от нас не отступают, у отеля стояла целая орава, ожидая нашего прихода.

Опять щелкали. В номере гостиницы очевидно предполагали увидеть в нас ярких алкоголиков. В углу номера стояло три ящика пива и на столе разное угощение. Дали по бутылке пива, а стаканов нет, не видно их. Потом нам объяснили: обычай такой — дуй прямо из горлышка! Пришлось тянуть из бутылки, раз так полагается.

Пожили мы в Номе несколько дней. Принимали нас очень вежливо и тепло. Но захотелось скорей на свой материк. Работа предстояла большая. Надо было облететь весь Север Союза от мыса Дежнева до Тикси. Там пробивались эскадры грузовых судов, и мы должны были указать им с воздуха свободный путь во льдах.

Американец Александер прилетел в Номе из Нью-Йорка, он должен был идти на помощь Маттерну, и американцы в Номе гордились его полетом. Но когда узнали, что мы через всю Сибирь пролетели в Номе из Черного моря, то американцы только восклицали:

— Блайк си! Блайк си! Вери гуд!

— Черное море! Черное море! Это здорово!

Это им нравилось. Из Черного моря — в Номе! Немного подальше, чем до Номе из Нью-Йорка!

Был ясный день. Дул умеренный юго-западный ветер. Много автомобилей провожало наш самолет.

Мы взлетели над Номе, оглядываюсь. нас провожает в воздухе «Локхид», на нем американские летчики. Наш самолет снимают для кинофильма. После круга над Номе мы простились с американским самолетом, помахав крылышками.

Вот и все про наш полет на Аляску.

Разрешите передать вам, товарищи якутские рабочие, горячий привет от имени всего экипажа «СССР Н-8», — закончил Леваневский.

К нему подбежали рабочие, подхватили под ноги и под руки и давай «качать». Качали долго и упорно.

— Товарищи! И мне хочется рассказать про наш американский полет, — сказал Левченко.

Народ затих, смотрит на летчика.

А он водит своими черными глазами, улыбається. На кителе у него золотом расшитый пропеллер и две средних нашивки. Сбоку болтается в кобуре наган. Фуражка чуть приподнята на затылок. Лоб открыт, и видны черные волосы.

— Вежливый народ американцы. Беспokoятся о тебе, спрашивают. Между прочим спрашивают, не нужно ли вам чего из вещей, костюмы или там какое-нибудь другое хозяйство.

Мы говорим: спасибо, джентльмены, нам ничего не нужно! У нас дома все это хозяйство есть, а сюда, на Север, мы прилетели в рабочей робе, и потому не взыщите. Живем мы без роскоши, но зато строим очень много. Не узнать теперь старой России.

— Это потому так говорите, что вы советские офицеры.

— Говорим потому, что так и есть, — отвечаю я ему.

У них все на доллар. И сам Джими летал за монетой. Дескать, облечу мир в семь суток, будут жене доллары! И жена его в Нью-Йорке тоже ждала их вместе с прилетом своего мужа.

— А ты что, комсомолец? — спросил один из рабочих.

— Ну конечно!

И в ответ рабочие заплодировали.

Подарили нам американцы за помощь Маттерну кольца самородного золота. На каждом кольце выгравированы буквы «Номе».

На столе поставили разное угощение. Стоим, потихоньку рубаем. Не поймешь, что к чему. Боба Моторин рубает все под ряд. Вижу, отгрызнул здоровую плитку и вдруг на стол ее положил. А на плитке виден надкус. Это оказалась плитка горчицы. Вот, думаю, американцы увидят, скажут про нас: дикари, горчицу, как хлеб, рубают. Взял я этот кусок, который он оставил, и — за окно его, чтобы и следов не было.

Вечером приносят нам в отель записку. Читаем. Написано по-русски:

«Граждане Советского Союза! Не забудьте зайти перед отлетом побриться.

Парикмахер Солоненко».

Американцы бреются — каждое утро. А когда вечером в театр итти, и по второму разу скребутся. А мы по этой части хромали. Дело солдатское, экспедиционное. Больше за моторами следим, за картой, тут не до красоты. Ну, а у них это не модель! Бриться, так бриться! Пришли мы к Солоненко. Побрил он нас. Денег не берет, угощает сигаретами. Доволен, что с русскими говорит. Он еще до войны уехал в Америку. Охота ему с нами поговорить. Интересуется, как и что в СССР.

Подарил он нашему командиру виктролу и пластинки американские на русском языке, все старые народные песни. Мы, бывало, как остановимся где-нибудь на чукотском Севере в яранге, сейчас достаем виктролу и накручиваем.

А в общем, товарищи, ничего особенного нету. Вы вот мерзлоту копаете, станцию строите, а мы вот летаем. Каждый делает свое дело для нашей страны.

Подбежали люди к Левченко, обняли его и подбросили вверх. Кричат «ура» и все подкидывают.

И на кожевнном заводе — снова летучий митинг, доклады о воздушном корабле «СССР Н-8», о ледоколе «Красин», о Лаврове — начальнике первого Ленского похода, о героическом продвижении архангельских грузов Северным морским путем в Якутию, к устью Лены, в бухту Тикси.

Рабочие слушают нас, а потом ведут по своим цехам показывать свои достижения.

Машина выносит нас на другой конец города. Эта машина — подарок Якутии за выполнение пушнопоставок.

На другом конце города маленький, худенький старичок, с седыми отвисшими усами, словно фокусник, тянет на поле из-под стекла теплиц дыни, арбузы, кабачки, удивляя нас якутским плодородием. И вот в Якутске мы впервые за целый год взрезаем сочные,

хрустящие под ножом, спелые красные арбузы.

VIII

В этом году небывало разлилась Лена. В 1868 году было последнее сильное наводнение в Якутске. И в эту весну карбаза, шлюпки и ленские моторы выкинуло на средину города, на центральную площадь Якутска.

Реки Сибири стекают в Ледовитое море. В своих истоках, где моют золото копачи-старатели, реки текут в узких каменных геснинах-щеках, а, вырываясь на простор, дробятся на рукава и по геснам во время ледохода перепахивают гигантской бороной свои русла.

Они уходят от селений, у которых стояли искони, то вдруг приближаются к ним под самые заборы, то обмелеют и закроют проход судам. Своевольны и дики сибирские реки. Они черпают свою силу с высокогорных ручьев, сбегаящихся к ним от таежных кручей, с высоко заброшенных озер.

Я вижу за Якутском высокий берег, он идет излучиной.

— Это Лена? — спрашиваю я идущего вместе с нами Шараборина, председателя совнаркома Якутии.

— Это была Лена много тысячелетий назад. Это ее старое русло, где теперь растут леса. Нынешняя Лена вон направо от нас. Видите, что делают сибирские реки, — говорит Шараборин.

Он среднего роста. Худощав. В военной одежде защитного цвета, в роговых очках. Он отлично говорит по-русски и знает свою страну. Он бывал и в Нижнеколымске, и в Среднем. Ездил по Якутскому тракту. Рядом с Шарабориным идет председатель ЯЦИК Емельянов. Они расспрашивают нас о первой Ленской экспедиции, о Колыме, о северо-восточной эскадре, зимовавшей в Чаунской губе.

Здесь сами шагают подвижники воздуха — что-то всегда обдумывающий Леваневский, готовый улыбнуться Левченко, светлоглазый, широколицый и разговорчивый Крутский и весь ушедший в какие-то далекие мечты предлинный, сгибающийся под тяжестью собственного роста Моторин.

Я — первый вестник Ленского похода. героической работы архангельских и ленинградских моряков и обских речников, проводших теплоход «Первая пятилетка» из Омска в Лену.

Мы уже видели фундамент Якутской теплоэлектроцентрали. На вечной мерзлоте строится станция мощностью в семьсот пятьдесят киловатт первой очереди и пять тысяч киловатт — второй очереди.

Станция должна работать на сангарском угле. Сангарский уголь сплавлен в низовья Лены и для судов первой Ленской экспедиции, возвращающейся к Архангельску. Сангарский уголь — высокой калорийности. Недалеко от Якутска залегают уголь кангаласский. Калорийность его несколько меньше сангарского, она равна пяти тысячам восьмистам. Идут разведки найденных месторождений. Оно облегчит электрификацию якутской столицы.

Зимой, когда на конях с далекого Северо-Востока я въезжал в Якутск, не видел девять месяцев больших городов, меня поразил, взволновав, как радостная весть, протяжный, резкий гудок, напоминавший о железной дороге, до которой было еще далеко.

К вечеру я узнал, что в Якутске так гудит типография, объявля обеденный перерыв.

Зимой я увидел якутскую типографию.

Летом увидел строящуюся электростанцию, кожевенный завод, затон и лесопильные заводы.

Из двадцати пяти тысяч жителей Якутска — шесть тысяч рабочих.

Педагогический и сельскохозяйственный рабфаки, техникумы пушного хозяйства, строительный, речной, рыбный, связи, где молодежь Якутии с наслогов, маленьких селений, из юрт, раскиданных в глухой, запурженной снегами тайге, приезжает учиться быть хозяйственниками опытными, многознающими. От огня камельков якутских юрт к огням просвещения в Якутск едут молодые якуты — рыбаки и охотники.

Несколько кинотеатров, клубы, национальный якутский театр со студией и своя ежедневная газета. И в ней,

в якутской газете, мы узнаем об авиационной катастрофе, о гибели руководителей советской гражданской авиации.

Экипаж самолета «СССР Н-8» читает целый день маленькую якутскую газетку, где в траурной черной кайме выведены знакомые фамилии.

Два года назад, залетев с крайнего Севера на Подкаменную Тунгуску в стенок, мы нашли на столе в фактории последние московские газеты, где узнали о гибели Рыбальчука с экипажем и Триандофилова. Ночью я слышал, как во сне кричал один из наших летчиков, требуя подать ему скорей огнеупоритель. И сейчас призадумались наши летуны.

Ночью в Москву летит по радио скорбь полярного экипажа.

«Отдельные катастрофы не остановят бурного роста советской авиации» — радируют летчики в Москву.

И целый день я слышу разговоры о последней катастрофе под Москвой.

IX

Большой, просторный двухэтажный дом. Наверху, в обширной комнате, за большим столом еще молодой на вид секретарь обкома Певзник о чем-то горячо говорит сидящему рядом с ним якуту. Певзник встал, размахивает руками, говорит на «о»; я прислушиваюсь. Певзник объясняет сидящему возле него якуту, почему его работу обком считает негодной, небольшевистской и за что возложено на товарища партвыскаание. Якут сидит молча и в такт жестам потряхивает головой, соглашаясь, видимо, с Певзником. А Певзник, несмотря на то, что к нему в кабинет набилось уже много людей, продолжает объясняться с районным работником.

— Ну, ступай, да работай получше! Помни, что партия требует четкой работы, — прощается с якутом Певзник.

Обрадованный окончанием беседы, якут быстро встает и скрывается за дверь.

Певзник заслушивает доклад Скачко о севере Якутии, быстро записывая в блокнот отдельные замечания.

Увидев меня, Певзник улыбается.

— Опять свиделись. Ишь, побрился, бороду снял, подмолодился. Получайте привет от сына и жены. Я встретился с ними на Черном море, в доме отдыха.

— Мы тоже строим свой санаторий, — говорит мне Певзник. — Большой санаторий, первый будет в Якутии. Два миллиона рублей станет он нам. Он уже отстроен, но нет стекла. Плохо с заводом. Лена обмелела в этом году. Пораскиданы на мелях карбаза. Теперь надежда на первую Ленскую. Большое сделано дело. Проложен путь в Якутию с моря. Главное, не будет голодать наш Север. Большое подожжено начало, — говорит Певзник, бросая горячие жесты.

Он поправляет очки и снова слушает рассказ Скачко, облетавшего и облетавшего север Лены.

X

На воздухостанции Якутска — тишина. Левченко перебирает струны гитары. Леваневский, заложив руки в карманы, вымеривает просторную залу, шагая из угла в угол.

Только вдруг резкий звонок телефона прервет монастырскую тишину станции. Это звонят с ближних станций, запрашивают Якутск. Идет переключка воздухостанций о погоде.

Опрятно застланы кровати, блестит чистотой пол, в просторные окна льется обильно свет большого якутского дня. Вечереет в восемь.

Не видно высоких хребтов. Последние отроги послал нам на прощанье синий, как снежная туча, Верхоянский хребет, недра которого не раскрыты, но еще могут удивить мир неожиданными богатствами.

Моторин присел к уголку стола и все пишет в свою тетрадку. Когда-нибудь из этих записей будет полетная книга — дневник воздушника-моториста «СССР Н-8».

Пройдет много лет. Станут исхоженными все пути Севера, но имена его пионеров — моряков и воздушников — останутся в веках, о них будут рассказывать легенды и к былям приплетать чудесные небылицы. Маленькие дети

будут засыпать под рассказы о морях и воздушниках Севера, далекого, сурового, туманного, пуржливого, ледового, жестокого.

Леваневский смотрит в окно на небо, на завихрения облаков. По ним, как в деревнях старики, он определяет за-страшную погоду.

Завтра вылет из Якутска, на юг, вверх по Лене.

Кто-то стучится в пилотскую.

— Товарищи! От имени якутского правительства прошу вас пожаловать к нам в здание ЯЦИК на торжество по поводу прилета воздушных гостей с крайнего Севера.

Мы едем по просыхающим после дождей улицам Якутска и останавливаемся у каменного здания. Крепкий дом, — ему не стыдно стоять и в Москве. На парадной лестнице расставлена в белых перчатках охрана.

И эта парадность здесь, в Якутске, в нескольких тысячах километров от железной дороги, нас удивляет еще и потому, что мы уже отвыкли на Севере от многих условностей.

Высокая комната, в углу на диагонали большой стол, и за ним Емельянов — председатель ЯЦИК.

На столе лежит кусок каменной соли. Освещенная электрической лампой соль играет переливчатыми огнями.

Емельянов ловит наши взгляды и рассказывает нам о происхождении этого экспоната. Соль доставлена с верховьев Вилюя, с Кемпендяйских соляных источников; там, в Сунтарском районе, есть соляные купола. Не исключено, что и нефть есть на Вилюе. Дело за разведчиками-геологами.

Шараборин подходит к нам своей военной походкой и рассказывает о выездах угля около Тикси.

Я только-что слышал об угле совсем под самым Якутском.

Подземные богатства страны ждут своего зоркого и верного познавателя.

В просторном зале, за большими, длинными столами, среди еды и питья, стоят вазоны с цветами. Эти цветы выращены в теплицах Якутска, я встречал эти цветы в газонах Москвы и Ленинграда. Эти запахи переносят меня вдру-

далеко из таежной и девственной Якутии туда, где прошла моя юность.

Звенят слова приветствий над столом. Улыбчиво рассказывает Леваневский о полетах «СССР Н-8», о Маттерне, о своем экипаже. Я рассказываю о пути первой Ленской и ее руководителе Лаврове.

— Якуты должны быть счастливы, что необразованны, иначе они бы поняли, в какой нищете живет их народ, — так говорили о дореволюционной Якутии.

Латинизированный алфавит прѣдник в самые отдаленные якутские юрты. Грамотны стали и охотники, и ямщики Советской Якутии. И они счастливы, потому что теперь, овладевая грамотой, идут к овладению богатствами своей большой земли.

Слова Емельянова бегут одно за другим, как в рупор с корабля на корабль. Он рассказывает собранию рабочих, красных якутских партизан, представителей общественных организаций об открытии морского и воздушного пути в Якутию.

Якутские рабочие счастливы, что получают образованность, и понимают, в каком богатстве будут жить в скором времени свободные народы великого Союза Республик.

Якутские рабочие говорят о своей стройке, об огнях советского просвещения.

Это вечер смычки моряков и воздушников с представителями республики, лежащей у самых границ Полярного моря, от Лены до Колымы, на вечной мерзлоте, в хребтах, тайге, озерах и болотах.

XI

В Якутске, конечном пункте воздушной линии Иркутск — Якутск, с бензином плохо. Недовезли горючего в Якутию, и воздушная линия работает с трудом. Придут сверху карбаза с горючим, раскидают его по воздухостанциям, — значит, будет работать линия.

«Н-8» — гость в Якутии, и на него не рассчитано горючее. Но все же гостеприимный Якутск снабдил «Н-8»

бензином, и мы получаем письмо в Олекминск — следующую авиостанцию — с разрешением на горючее.

Тикси, Жиганск, Якутск, Олекминск. Далекий, голый, безлесый Север кажется тяжелым сном, а широкая Лена и таежные берега говорят о радостном пробуждении. Но все же мысли еще на Севере. Летчики постоянно говорят о своем перелете над побережьем Полярного моря. Там, где я проходил летом на пароходах, а зимой на собаках, летчики пронеслись на воздушном корабле «СССР Н-8». Они часто говорят о Колыме, о бухте Амбарчик. Штормливая бухта открыта для всех ветров.

В Амбарчике, у мыса Медвежьего, у Колымы, куда залетал «СССР Н-8», штормом выкинуло в одну ночь баржи и катера на берег, забитый плавником.

«СССР Н-8» пришел в Амбарчик с мыса Северного. Около семи часов шел самолет в пурге и тумане над безлюдными берегами Чукотки к бухте, открытой для всех ветров. И только за день до прилета воздушников угомонился Амбарчик, затихли воды бухты, расхоженные штормовым ветром. Иначе бы не пришлось снижаться у мыса Медвежьего, а залететь на Колыму, куда гористые берега не пускали озорной ветер, гулявший по Амбарчику.

Мыс Северный и мыс Амбарчик.

Мыс Северный и остров Врангеля.

«СССР Н-8» был первым самолетом, опустившимся в 1933 году на далеком острове, куда вот уже четыре года не могут подойти пароходы, чтобы сменить зимовщиков.

Утро было холодное. Командир спал на самолете, а трое из экипажа — в палатке, потому что было всего лишь три койки на четырех летчиков.

Командир пришел утром в палатку и говорит:

— Собирайся! Полетим! На Врангель!

А чего было летчикам собираться? Одеться, стелкнуть машину и — в воздух.

К Врангелю шли в тумане, сквозь который видели льды, забивавшие весь пролив де-Лонга.

Вся восточная половина показавшегося острова была в тумане. Пришлось садиться в лагуне Коварной. Ее называли так за меняющиеся малые глубины.

Сели благополучно. На берегу стояла летняя изба — «летник», возле валялась пустая бочка. Не было признаков жизни.

Вода в лагуне прозрачная, видно песчаное дно.

Бежали на отрыв, слегка чиркая днищем лодки по мелкому месту, но когда вышли на редан, то самолету не стали страшны и мели.

Снова догнали уходивший от зюйд-вестовых ветров туман. И в его просветах увидели стоянку эскимосов, их куполообразные яранги. Сели в лагуне, подрулили к берегу. Эскимосы выходят навстречу, говорят по-русски:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! — ответили летчики. — Живы? Здоровы?

— Минеев здоров! Жена его здорова! Павлов здоров! Все здоровы!

Спросили эскимосы, какие пароходы идут на Врангель. Рассказали им летчики о пароходе «Челюскин». Что идет такой ледакол, что сильнее «Красина» будет. У летчиков, да и не только у них, тогда было такое представление о «Челюскине». Будет этот пароход пробиваться к Врангелю не со стороны Геральда, как обычно, а с востока.

Все население яранг вышло навстречу воздушным гостям. Эскимосы были в американской робе, в шляпах и очках, завезенных еще четыре года назад ледорезом «Литке», и все изъяснялись по-русски.

На запад от гавани Сомнительной береговая линия была показана на карте пунктиром, и летчики не знали, где, на какой лагуне, они сделали свою первую посадку.

Эскимосы объяснили, что до бухты Роджерс нужно итти на байдаре целые сутки; километров сто будет, не меньше.

Воздушники попросили эскимосов столкнуть самолет на воду, занести нос. Дали газ и полетели вслед за уходившим от ветров туманом. В одном месте

проскочили полосу тумана и увидели вдруг мачту радии и дом фактории. Это и была бухта Роджерс, основное поселение на острове.

Летчиков приняли было за неприятеля и уже стали готовиться к отражению атаки, но, увидев большие буквы «С. С. Р.» на плоскостях самолета, отставили боевую тревогу.

Островитяне вышли встречать самолет, первых гостей за целый год, четвертый год бессменной зимовки.

Начальник острова Минеев узнал борт-механика Крутского, узнали его и эскимосы. Крутский прилетал в прошлом году на Врангель вместе со Страубе на такой же машине, в бухту Роджерс.

И здесь, как и в лагуне, задали те же вопросы:

— Что нового на большой земле?

— Какие идут к Врангелю пароходы?

Летчики спросили о здоровье островитян.

Все здоровы, только у жены Минеева белело зимой сердце, и она не ездила в эту зиму, как обычно, далеко на собаках. Минеев оброс бородкой, снимал первый прилет на остров и пленку отдал летчикам с собой:

— Вы раньше меня будете на материке, отпечатайте себе снимки, — сказал Минеев.

Угощали американским трубочным табаком и на обед подали жареную моржевую печенку. Она была поджарена в обильном масле, и ее с большим удовольствием съели прилетевшие.

— Полетим вместе на материк или давайте, кого надо, перевезем на мыс Северный, — предложили летчики.

— На пятую зимовку оставаться тяжело, — сказал Минеев. — Но мы уж подождем парохода. А если уж он не дойдет до Врангеля, тогда попросим правительство позаботиться о нашем вывозе самолетами.

Гостям предложили умыться. И каждому дали по чистому полотенцу.

Зимой были сильные пурги на острове.

— Хорошо зимовать раз, два, но четыре зимовки кряду тягостны, — говорила Минеева.

Она была в мужском костюме и выглядела бодро, несмотря на свою болезнь.

Крутский и Левченко «нажимали» на моржевую печенку.

— Колоссально шикарно! — приговаривал Левченко.

Зимовщики расспрашивали о строительстве на материке. Минеев мечтал, что после четырех лет зимовки дадут ему месяца два отпуска (больше не надо) и что будет он работать где-нибудь в краевом масштабе.

— Я работник краевой, — говорил Минеев.

Заправились грозненским бензином, другого горючего на острове не было. Сделали круг над зимовкой, как вдруг показатель температуры воды в радиаторе круто полез вверх. Леваневский сразу заметил это по прибору, сбавил число оборотов на носовом моторе и пошел на посадку.

Оказалось, что из радиатора по небрежности Моторина вылилось три ведра воды. Мотор уже начал греться. Он мог сгореть в воздухе, и тогда бы неминуема посадка на торосы, гибель машины и людей в проливе де-Лонга.

Пока эскимосы ходили за водой для самолета, Леваневский не жалел слов для технического воспитания Моторина — члена экипажа «Н-8».

Моторин слушал командира и краснел, как девушка, стыдясь своей рассеянности, которая могла бы погубить его товарищей и самолет.

XII

Якутск уже позади, не видно его серых бревенчатых улиц. На горизонте два высоких столба дыма лижут небо и сливаются высоко будто в грозовую, черную тучу над тайгой. Это лесные пожары.

Река течет ровнее, чем в низовьях. Здесь меньше протоков, осередышей, островков. Берега реки стали выше. чаще попадаются квадраты полей под крылом самолета. Луга скошены.

Я вижу высохшие русла речек, которые пополняли водные богатства Лены. Теперь в извилинах пересохших рек, у

гористых берегов, некогда окаймлявших безвестный приток Лены, я узнаю одну погибшую водную жизнь.

«Олекма» — пишет мне записку Скачко.

Я вижу большую реку, впадающую в Лену.

Мы еще не пролетели над тайгой и рекой и четырех часов, как уже делаем круг над Олекминском в поисках посадки.

Вон вдалеке чернеет дым костра, и возле огня выложены посадочные знаки. Буквы «Т» и «О».

Начальник Олекминского аэропорта машет белым флагом, указывая место нашей стоянки.

— Слетали по-культурному! — говорит мне Левченко, сходя с жабры самолета на берег.

«По-культурному» — это значит без тумана, без пурги, без болтянки.

Уже стемпело, когда мы покинули самолет.

На станции так же тихо, как и в Якутском аэропорту, и та же чистота и старые зачитанные журналы, как в приемных у зубного врача.

«Н-8» не запрашивал на утро погоду у начальника Олекминского порта, но тот сам позаботился о ней.

Мача дала туман.

Нюя — проходящий дождь.

Витим — летную погоду.

Вылегели в десятом часу утра, когда красавица Лена снимала с себя ночную сорочку — молочно-белый туман. Мы шли долго над верховым туманом, теряя временами и Лену, и тайгу.

Чуть машина валится вниз, как уже дрожит, натягивается трос у моей правой руки. Это Леваневский поправляет рулем глубины лет корабля.

Впереди — туман. Его водяная пыль колет лицо. Мотор затихает. Машина проваливается. К берегам, которые скрыты в тумане.

Леваневский свесил голову над гарротом пилотской кабины, он всматривается в туманное кружево, он не верит изработавшимся моторам, давно излававшим свой срок.

Он ищет оконце в тумане, куда бы можно нырнуть, как только подохнут уставшие моторы.

Левченко склонил свою голову над картой, и я вижу только макевку его шлема.

И вдруг туман будто исчез. Впереди чисто.

Ясно видны гористые берега Лены, все в лесах, поймах, ржавых болотах, лугах; по окраинам у самых берегов полоски сжатых полей.

Это уже не безлюдье низовой Лены!

Вон река Витим. По этой реке ходили вниз копачи к городу Витиму, где пропивали добытое золото в одну ночь за спирт, за женщин в кабаках. Здесь был центр обирания копачей-старателей.

Витим вьется в горах. За рекой по правому борту самолета я вижу селение, серые пятна домов. А за ними вытянулся и весь городок.

На берегу горит костер, белеют опознавательные знаки для посадки.

Нам отъезжают в бензине сразу здесь же у борта самолета. И, несмотря на исключительную погоду, в Витиме — ночевка.

Витимский воздух прян и чист. Пахнет особенной свежестью лесов, рек, тянет прохладой с гор. Кричат кулички над Леной. Какая она здесь красивая и быстрая! Самолет стоит на привязи, а мимо него проносятся с бешеной скоростью воды Лены. С карандашом в руке можно скоро подсчитать, когда витимская вода добежит к низовьям Лены, в бухту Тикси, к ее зимовщикам.

Лена, Колыма, Индигирка, Яна — красивейшие реки мира — недаром носят женские имена.

На реке стоит самолет. Он летит нам навстречу — в Якутск.

Мы с завистью смотрим, как наш воздушный товарищ, насосавшись бензина, вспорхнул над Леной, унося своих людей высоко от Витима.

XIII

Карбазы проходят вниз одиночками по Лене мимо Витима. Их хорошо несет течение по реке. Никто не поднимает карбазов снизу, их разбирают, и карбазной тес идет на настил уличных тротуаров, на заборы, на обшивку домов и сараев.

И так характерны эти доски с круглыми отверстиями — гнездами для деревянных скрепов-гвоздей. По всей Лене строят стройки из этого карбазного леса.

Мы уже третьи сутки стоим в Витиме. Горючего нет.

Выйдет Леваневский на высокий берег, посмотрит на быстрюю Лену, — внизу полощется на привязи самолет.

— Обидно за него становится, как за живого, — говорит Леваневский. — Так честно поработал, столько облетел наш «Н-8», и теперь стоит без внимания на привязи, как цепная собака у конурь.

— Нет ли у вас хоть керосинца? — спрашивает Крутский начальника аэропорта. — Мы бы и на керосинце утопали!

Но начальник аэродрома Скалдин «положил болт» на самолет и все его заслуги. У Скалдина есть распоряжение другого начальника с малозвучной фамилией Щенович: «не выдавать ни грамма бензина машине Главсевморпути «Н-8», и это превыше всего.

Мы прислушиваемся к каждому телефонному звонку. Мы ждем разрешительной телеграммы. Жена Скалдина, наблюдательница погоды воздухостанции и одновременно «хозяйка гостиницы», подбегает к телефону.

— Алло! Аэропорт! Что? Откуда?.. Погода!

Заслышав о погоде, летчики с кислыми лицами уходят от телефона.

У аппарата лежит книга приема авиационных телеграмм. Я читаю их.

«Н-8» Якутск 0320.

Витиму приготовить 16 обедов выложить посадочную Т»

Из Нью:

«Н-8 пролетел 0540».

Из Киренска:

«Сообщите пролетел нет Н-8».

«Авиа Киренск

Н-8 прилетел Витим».

«Авиа Киренск

Н-8 Витиме вылет сообщу».

И к нашему приезду по ошибке телеграфа приготовили действительно шестнадцать обедов.

Опять звонок телефона. Снова летчики бегут к аппарату. И снова запрос о погоде.

— Фу ты, чорт ее возьми, погоду, нам бензина бы, — говорит Крутский и с горя идет во двор снимать из малопульки воробьев, прыгающих по коньку крыши.

Начальник авиослужбы Главсевморпути Шевелев телеграфирует в Витим Леваневскому, что в Пеледуде есть бензин для самолета.

Мы разгружаем самолет авралом.

И на берегу через час после начала дружной выгрузки уже гора чемоданов, спальных мешков, мешков вообще, харчей — консервов, анкерок для пресной воды, гидропульт и много всякого «хозяйства».

Леваневский вдвоем с Крутским легко взмывает на самолете и уходит в Пеледуды. Мы ложимся у реки на спальных мешках отдохнуть после разгрузки. Не проходит и часа, как над горами Лены показывается снова самолет, он круто идет на посадку.

Раз возвращается так быстро, значит, «бензина нема».

Витимский пряный таежный воздух раздражает аппетит, и экипаж «Н-8» быстро опустошает суповую миску и широкие тарелки с жарким.

Васильевна, сибирячка-работница, удивляется волчьему аппетиту летунов.

— Уж я вас с молитовкой все кормлю. А вы-то вон как едите!

Назавтра она снова говорит нам:

— Я вас с молитовкой кормлю, а вы жрете все, как лошади.

Это Васильевна пошучивает. Ей-то все равно, как едят летчики; добро не ее, а Граждвоздухофлота, и мы платим за себя.

Мы сели в Витиме одновременно с тем, как летчик Тарасов улетал отсюда в Якутск. А через три дня здесь снизились три самолета.

Медлительно спойный Гальшев, живчиком переливающийся Бергстрем, увалень-гитарист, но летающий, как птица, Доронин. Он первый летун из Якутска на Колыму в Среднекан и к Верхоянскому хребту на горные озера.

И перед тем, как вылетает машина на Витим, звонят Витиму соседние станции, просят у него погоду. Без погоды на линии не летают. Это «Н-8» Леваневского да «Н-2» Алексеева летают над Полярным морем без погоды по нехоженным воздушным путям.

И как только получен звонок от соседних станций, хозяйка гостиницы уже в хлопотах о прилетающих. Надо найти топчаны, скорее выгладить выстиранное и уже просохшее белье, приготовить лишние порции обеда.

XIV

С Дорониным, борт-механиком, летит дядя Яша. Легко воспламеняющийся человек. Лучшее средство для воспламенения: полфедора или даже полстакана водки. Этого ничтожного количества вполне достаточно для того, чтобы восторгаться каждым новым человеком, которого впервые видит дядя Яша. Он готов обнять незнакомого человека и замуслить его пьяным поцелуем. Наутро перед отлетом он пойдет проститься и попросить извинения за вчерашнюю ночь. Это уходящий тип авиационного человека, считающий, что как для мотора самолета, так и для мотора человека необходим обязательно и прежде всего — «газ».

Дядя Яша вместе с Дорониным летал в пионерский полет с Лены на Колыму. Мотор машины был излетан. Доронин спросил дядю Яшу:

— Ну как? Не подойдет? Полетишь?

— Полечу, — ответил дядя Яша, — только давай больше оборотов!

И слетали.

Дядя Яша летал с Кальвицем, с Артурычем, как он называет летчика, разбившегося с Леонгардом у Сангар-Хая.

Со многими пилотами связывал свою судьбу дядя Яша, летающий уже два десятка лет.

Я дремлю на станции Витим. И в нашей комнате я слышу сквозь сон необычный звон стаканов и шумные голоса слетевшихся линейных летчиков.

— Кто там спит на койке в такое торжественное время? — спрашивает

борт-механик линейного самолета дядя Яша, звеня чайным стаканом.

— Это товарищ с нами едет, он пишет книгу про авиацию, — говорит Леваневский.

— А понимает ли он всю эту поэзию? — спрашивает дядя Яша.

— Понимает, — вступает в разговор Доронин. — Он уж писал про летчиков. Я с ним летал зимой из Якутска. Он «догоняет» наше дело.

— Ну, тогда я пойду его поцелую, — говорит дядя Яша.

— Не трогай его! — говорит Доронин.

Дядя Яша ударяет себя в грудь кулаком и кричит на всю комнату.

— Я его поцелую! Он — наш! Он понимает всю эту поэзию!

От него пахнет вином и дружбой.

— Ты молодчина! Летай с нами! Пиши больше об авиационных людях! Шумит ямщицкая Якутия.

Здесь собрались воздушные ямщики. Другой борт-механик, Миша, рассказывает, как разбилась на Лене машина Союззолота.

— Я должен был лететь на «Савоие», а потом перед самым отлетом списался. Командир еще сидит в пилотской кабине и кричит мне на прощанье:

— Сдрейфил, парень, не летишь!

А назавтра узнаю: гробанулись в пургу, только два пассажира остались жить.

— Все там будем! — говорит Доронин.

Доронин сочувствует «восьмому номеру».

— Такой перелет сделала машина, и отказывают в горячем! — удивляется Доронин.

Но Скалдина не трогает величие перелета «Н-8». Ему нужна обязательно бумажка из Иркутска.

И вдруг наутро — телеграмма.

«Авиационная Витим выдать Н-8 шестьсот кило бакинского».

И подпись Щеновича.

«Н-8» летит!

Мы идем к самолету. Драгоценная горячая жидкость стекает из бочки через гидропульт в баковое отделение.

Перед взлетом Крутский говорит:

— Опять челяп-челяп! Так, чего доброго, и до Иркутска дочеляпаем.

— Только бы моторы не развалились до Балаганска, а оггуда как-нибудь прирулим к Иркутску, — улыбочиво говорит Леваневский, садясь в пилотскую кабину.

И уже мы не на улицах Витима. Улицы его под нами. Мы тянем вверх! Вверх!

Высоко над Леной, над таежными горами.

Сначала Леваневский прислушивается. Я часто вижу полуоборот его лица, поглядывающего на носовой мотор. А потом, поверив моторам, Леваневский начинает резать тайгу. Лена течет петлями, и мы пересекаем эти петли, порой теряя Лену и видя под собой только тайгу да горы. Часто раскиданы селения по левому берегу Лены.

Погода благоприятствует, и Киренск открывается нам через два часа полета.

Леваневский выключает моторы, и мы долго планируем на Киренку-реку.

Я выбрасываю из ушей вату, но еще звон стоит в ушах от давно смолкнувших моторов.

Я вижу смеющееся широкое лицо Крутского, он едва протискивает свои могучие плечи из люка бакового отделения.

— Челяп-челяп, и до Киренска дочеляпай! — говорит Крутский.

Желтая, осенняя тайга вокруг города глядится в воды Киренки и Лены.

Ночью Левченко, Моторин и я идем на телеграф. Мы проходим по главной кольцевой набережной — улице Ленрабочих. У большого здания яркий свет и толпа, гудящая разговорами.

— Где здесь телеграф? — спрашиваем мы.

Нам откликается одиноко идущая девушка.

— Далекое! На пригорке! Я иду мимо, я покажу вам.

— Вы откуда идете так поздно ночью? — спрашиваем мы.

— С чистки, из клуба водников.

Девушка рассказывает нам о чистке, о том, чем живет Киренск; мы передаем ей весть о Ленском походе и рейсе воздушного корабля «СССР Н-8» в Аме-

рику, в Аляску со спасенным Маттерном.

Девушка говорит бойко, на улице темно, и мы не видим ее лица. Это первая девушка, с которой мы говорим после Тикси. И нас разбирает любопытство видеть скорее лицо этой девушки, которая открыла нам свое простое имя! Ее зовут Шура. И ей девятнадцать лет.

Но она ничего не знает ни о Маттерне, его мировом перелете, ни о Посте, ни о Леваневском.

Я спрашиваю ее, знает ли она о Ленском походе «Красина». Она отвечает утвердительно, но я думаю, что она путает его с походом по спасению экспедиции Нобиле у берегов Шпицбергена.

Левченко показывает девушке золотое кольцо, подаренное ему американцами. И пока мы с Моториным беседуем с сотрудницей телеграфа у раскрытого окна для приема телеграмм, киренская девушка взята в плен удалым воздушником.

Он уже ведет ее за руку провожать к далекому дому.

— До свидания, корешки, мне с вами не по пути! До свидания! — машет нам Левченко, удаляясь в темноту киренской главной улицы.

Он приходит на воздухостанцию поздно и рассказывает о «настоящей» семье Шуры: в комнате лет икон, хозяин — отец четырех дочерей, и Шура мила и любезна. Назавтра отец Шуры зовет летчиков пить чай с пирогами.

— Тут дело без полфедора не обойдется, — говорит Левченко.

У Шуры сестры — комсомолки. Сама она работает чертежницей в городе. Другая сестра — по токарному делу. И назавтра наш чиф-инженер Крутский идет экзаменовать незнакомку, проверять ее познания как токаря.

Ни дождь, ни слякоть немощеных улиц не останавливают Левченко и Крутского. Одев свои длинные кожаные регланы, наши летуны хлопают по грязи к далекому дому Шуры.

— Потопали, ахламоны, — говорит Леваневский, глядя в окно на удаляющихся ребят.

— Взлетели мы в Витиме, набираем высоту, — рассказывает Леваневский мне, — вдруг вижу: встает мой летнаб и машет руками. С кем-то прощается! Знакомство занял. Чуть его не стукнул по кумполу, насилу уgomонился. Ведь вот не терпится же людям!

XV

В Киренске снова сидение. Леваневский говорит о том, что по некультурным местам летать куда легче, чем по благоустроенным линиям, где без визы да без телеграфной переписки бензина не получишь.

Мы бродим по мокрым от дождя улицам Киренска, по его дощатым скользким тротуарам.

Город как город. Кино, парикмахерские, народ, своя газетка выходит раз в три дня. Правда, телеграфные новости приходят в редакцию киренской газеты одновременно с иркутскими газетами, но редактор «Ленской правды», молодой парень, не унывает. У него почти однолошадное хозяйство, — он да помощник, вот и весь штат.

И в этой комнате мы все же узнаем последние новости. На нашей территории разбился польский летчик, совершавший перелет без посадки Варшава—Красноярск.

Редактор показывает нам телеграмму об этой аварии. Леваневский прочитывает ее и передает мне.

— Разбился мой брат, — говорит мне пилот.

Я читаю телеграмму: разбился польский пилот Леваневский.

Два Леваневских, два брата-летчика. Летчик буржуазной Польши, польский ас¹⁾. Летчик Советского Союза, советский ас, награжденный орденом Красной звезды.

Гражданская война раз'единила братьев. Один остался в Польшу. Братьев связывало вместе проведенное детство. И я вижу хмурящееся лицо нашего пилота

¹⁾ Ас — туз (по-английски), первоклассный пилот.

и его золотые, топорщащиеся брови. Он перечитывает телеграмму.

Быть может, польский Леваневский, прослышав о своем советском брате, предпринял этот полет, чтобы повидать своего советского брата — героя полярного перелета.

Год авиационных аварий и год авиационных успехов.

Разбившийся Маттерн и перелетевший вокруг свега его соперник Пост.

Разбившийся капитан Леваневский и Леваневский — один из пионеров воздушной линии Северного морского пути от самой Аляски.

— Мы братья, но пути у нас были разные, — говорит Леваневский. — Я с шестнадцати лет ушел в Красную армию и в девятнадцать лет уже командовал дагестанским территориальным полком.

Во время восстания имама Капцинского Леваневский ходил командиром полка по ущельям Кавказских гор и был сброшен однажды с обрыва вместе с возком. Добрался до Темир-Хан-Шуры с переломом ключицы, и теперь Леваневский не может таскать тяжести на левом плече.

В редакции мы узнаем последние новости, мы просматриваем центральные газеты, которых не видели несколько месяцев.

XVI

Только перед полетом в Пеледуй на розыски горячего, на розыски подножного корма для воздушного коня, мы убедились воочию, сколько всякого «хозяйства» было у нас на самолете. Среди груды всякого барахла в широком портпледе на гальке лежали мои теплые меховые вещи, которые сослужили мне большую службу в Восточносибирской тундре и по закурженным лесам Колымы, Индигирки и Яны всего лишь полугода назад. Чукотской одеждой меня снабдили в зимний путь на собаках Бурматов с товарищами.

Как сейчас помню дымную, низкую землянку на Певеке в Чаунской губе.

Дымно в землянке и пьяно. Сидит народ, песни играет. Здесь и Бурматов с мыса Биллингса. Я увидел его впер-

вые год назад у этого мыса. Бурматов пришел на чукотской байдаре из моржевой кожи к борту ледореза «Литке».

Бледный, землистый цвет лица, словно никогда не видевшего солнца. Синяя американская рабочая роба с яркими пуговицами. Шапка-ушанка. Говорит быстро и много, как все на Севере, долго не видев людей с большой земли.

Скажет несколько слов, остановится и неожиданно спросит:

— Верно я говорю? Верно?

Черные волосы, жирные, словно у чукчи, откинута назад. Худощавое лицо строго. Выпить не дурак и добрейшей души человек. Все с себя снимет и другому отдаст. Бескорыстен. Любит песни петь под гитару. Но до гитары далеко. Бурматов — на мысе Биллингса, а гитара — на Певеке у заведующего факторией Соболева, да в устье Чауна у Мишки, за сотни километров.

Бурматов приходил к «Литке» жаловаться на «Красного партизана», прошедшего мимо Биллингса и не оставившего товаров для фактории.

— Чем же я теперь с чукчами буду за пушнину расплачиваться? Опять, значит, на собачках к Соболеву на Певек за товаром с Биллингса ехать? — недоумевал Бурматов.

На большой земле, в Хабаровске, забыли о фактории на мысе Биллингса, и когда я зимовал в Чаунской губе у фактории Певек, сюда пришел на собачках Бурматов за товаром. Он узнал всех нас, которых видел осенью на «Литке». Бурматов поучал нас, как беречь себя от чукотского холода.

Мы разыскивали высокие торбазы, а Бурматов твердил нам о преимуществе коротких чукотских торбазов-плекетов. Он убедил нас, что конайты, меховые брюки поверх коротких торбазов, не позволят ногам черпать снег в тундре, и они будут всегда в тепле.

— Только стелечку положите, сенца или соломки. Подсушивайте ее у огня перед сном, чтобы сухо было ногам. Век-то вас мороз не возьмет!

Бурматов и Косицын сосватали мне в каюры чукчу Атыка, знатока тундры, ее следопыта. Бурматов знал, что я пишу книгу о Чукотке.

— Даю тебе такого человека, целую книгу напишешь! Этого Атыка ты век не забудешь, — говорит Бурматов.

И я написал книгу про Атыка, про этого удивительного человека с берега Полярного моря.

XVII

Летнаб Левченко впервые увидел Бурматова на Певеке, когда всех нас вместе сковала зима в Чаунской губе. Левченко вместе с летной частью квартировал на «Сучане», я — рядом на «Литке».

И снова свела судьба нас на Севере. Меня с Левченко — в Тикси. Левченко с Бурматовым — на мысе Биллингс.

Перезимовавшая в Чаунской губе эскадра Северо-Восточной полярной экспедиции под начальством капитана Бочек вышла к мысу Медвежьему, в бухту Амбарчик, к Колыме, и стала под разгрузку.

Связь воздушного корабля «СССР Н-8» с капитаном Бочек поддерживалась редко.

Чукчи сказали начальнику зимовки на мысе Северном, что видели два парохода в тяжелых льдах километрах в тридцати-сорока на восток от мыса Северного.

«Н-8» вылетел по направлению к пароходам, чтобы оказать помощь, дать им ледовую разведку.

Пароходы прошли далеко на восток с тех пор, как видели их в последний раз чукчи.

Летчики заметили «Сучана» и «Партизана» уже у мыса Ванкарем.

Разведали льды до самого Онмана и сбросили вымпел с донесением, снизившись над «Сучаном».

На мысе Северном рация не работала. На этот мыс, на Рыркарпий, как называют его чукчи, летчики сдали свою радиостанцию, пришедшую в негодность. Мыс Северный нуждался в радиоаппаратуре, и рация летчиков сослужила мысу большую службу — она дополнила своими частями бездействовавшую радиостанцию на крайнем Севере.

Во второй половине августа на Северо-Востоке ударили холода. И чукчи говорили о быстро идущей зиме.

Бочек пробивался в районе Шалаурова со своей флотилией к Берингову проливу.

«Н-8» решил посмотреть героические суда и в случае нужды дать им ледовую разведку.

Снизилась у Биллингса при закате. Солнце сжалось между морем, щетиившимся торосистыми льдами, и низкой тучей, нависшей над ними.

Горы Аачим, грозный утес мыса Кибера, мыс Шалаурова, изба и на нем, как у Сердца-Камень, одиноко торчащие каменные пальцы скалы-кекуры из разрушающегося базальта.

Снизилась у Биллингса в лагуне Адтойнунг, километрах в пяти от фактории. Смотрят летчики в бинокль, видно, как идут к самолету люди.

— Еэти! — сказал подошедший Левченко.

— Ы-и-и-и! — ответил чукчи.

Это был обмен чукотскими приветствиями.

— Бурматов утку? (Здесь?)

— Ы-и-и-и! (Да!)

— Бурматов вэчим тагам утку? (Бурматов наверно придет сюда?)

— Ы-и-и-и! (Да!)

И скоро в сопровождении чукчей показался Петя Бурматов, худой, длинный, идущий чукотской ползущей походкой в коротких плекетах из нерпичьей кожи.

Он был в меховой рубашке из пыжика — молодого оленя, а сверху надел синюю американскую робу, подбитую мехом. Увидел летнаба — заулыбался, узнал.

Чукчи, летчики и Бурматов зашагали по берегу к Биллингсу, к фактории.

— Вы, небось, едушки хотите? — спросил Бурматов. — Сейчас будет и едушка!

Умылись летчики, сели с Бурматовым за стол, выпили за всех знакомых.

— Ешьте ребята больше! А то еще скажете где-нибудь, что Бурматов вас не кормил!

Наелись доотвала.

А Бурматов все твердит:

— Ешьте, стервецы! Небось, скажете: «Голодом сидели у Бурматова»!

Спать легли под самое утро.

— Наверно вам холодно будет и жестко? — спросил повеселевший от вина зимовщик.

И начал таскать в домик оленьи и медвежьи шкуры, натаскал полон дом. Одних одеял принес двенадцать, это на четверых летчиков.

— Укрывайтесь, идолы! Небось, скажете, что Бурматов вас в холоде держал!

Командиру Леваневскому постлал две медвежьих шкуры.

— Наверно, подлец, будешь говорить, что жестко было спать у Бурматова!

Легли летчики спать, но у хозяина — самая охота поговорить.

И весь разговор о том, а вдруг гости голодны и совестятся сказать ему об этом.

Моторин не курит, а Левченко говорит Бурматову, что хочется Моторину покурить, да спросить стесняется.

— Н-на! Кури! — тычет зимовщик костяную трубку Моторину в рот.

— Да я не курю! — взмолился Моторин.

— Кури!

— Да я же не курю!

— Кури, подлюга! А то скажешь в Москве: нечего было курить у Бурматова на Биллингсе.

На столе в тарелке недоеденное мясо оленя. Хозяин садится к Леваневскому на медвежью шкуру. Шкура большая, белая, пушистая, с зимнего медведя-казака.

— Сигизмунд Александрович! Ты наверно голоден, — говорит Бурматов и вскакивает вдруг со шкуры, достает свой длинный нож, сделанный из напильника, и идет точить его на камне.

— Смотрю я на вас, ребята, и вижу, что вы здорово голодны! Сейчас пойду резать оленя! Сейчас будет едушка!

Пришлось Леваневскому вставать и «доедывать» все мясо с тарелки, иначе бы Бурматов заколол оленя.

Леваневский решил еще немного потерпеть бурматовское гостеприимство, а потом «драпать» на самолет. Надо

же было наконец соснуть хоть часок перед полетом.

Но под утро сон одолел и гостеприимного хозяина. Он свалился на медвежью шкуру рядом с Леваневским и заснул, похрапывая.

Летчики укрыли его пыжиковыми шкурами.

Назавтра он спрашивает летчиков:

— Вы, ахламоны, шампанское пили?

Сейчас я вас угостю!

Приносит кружку пенной белой влаги.

— Вот это так шампанское Бурматова! — хвастал зимовщик, подливая летчикам пенную брагу.

— Петя, давай твою пушнину с Биллингса на Северный перебросим, — предложил летнаб Левченко. — На Биллингс, может быть, суда не зайдут, а на Северном обязательно будут.

Бурматов согласился.

Погрузили пушнину на самолет в кормовой отсек. Лисы, песцы, медвежины.

— Летим с нами, Петя! — предложил ему Левченко.

— Нет, сроду не летал и сейчас не полечу! — ответил Бурматов.

— Почему так, Петя?

— А вы наверное убьете меня сегодня! Я сон плохой видел. Тонул будто я в море.

Долго уговаривали летчики Бурматова. Наконец уговорили. Сначала он даже в байдару отказывался сесть, а вдруг сбудется сон и затонет байдара, не дойдя до самолета.

Срывать надо было как можно скорее. Поднялась крутая волна и стала бить самолет у берега. Лагуна обширная. Расходилась от ветра вода в лагуне. Пошла пурга, — ветер со снегом, — и заволокла горы.

Пробовали летчики оттащить машину на сухое место, а вода наступала снова, и самолет оказывался на плаву. И снова море било машину. Летчики, взяв Бурматова, оторвались от штормовавшего Биллингса. Весь берег под самолетом был закрыт в пурге. Шли на малой высоте, держась бергсовой окраины.

Впереди, за пургой, должен был открыться мыс Якан, но он не показывался. Решили взять мористее, обойти

с моря высокий мыс. Но и там закрыло все туманом да пургой. Самолет шел бреющим полетом на высоте не более пяти метров от воды. Леваневский собирался уже садиться и спросил у Левченко, сколько осталось до мыса, как вдруг прояснело, и за открывшейся лагуной Куичку показался мыс Северный. словно окаменевший морж, вытянувший морду в ледяное море.

Пурга гуляла далеко в горах.

От лагуны Куичку, прямо пересекая ледяное поле, выскочили к мысу Северному и приветственно покружили над факторией и ярангами.

Кругом на горах и берегу лежал снег. И на снегу темнели большими пятнами следы людей, собак и нарт.

Скоро подошел катер и забрал пушнину и Бурматова.

«СССР Н-8» стал на якорь в лагуне Экиатан до следующего полета на северо-запад.

XVIII

Город Киренск — на острове, омываемом Киренкой и Леной. Кольцевая улица кружит по набережной города на островке. Горы, уходящие вдаль. Горы в лесах. Леса в желтых, красных и зеленых пятнах. Домики серенькие, городок серенький. По утрам долго лежит туман над реками в ущельях горных берегов.

Конец навигации. Пароходов нет ни кверху, ни книзу. Одинокие, пролетают самолеты над Киренском или садятся около аэропорта.

Леваневский — военный человек. Будучи мальчиком, он потянулся с Красной армией воевать за советскую власть. Леваневский строго следит за своим экипажем. Перед полетом все должны отдохнуть, выспаться и итти на самолет со свежей головой. В самолете не курят ни во время полета, ни после него. Леваневский садится перед взлетом на пилотское сиденье и пробует элероны, рули направления и глубины.

— Какой порядок запуска моторов? — всегда спрашивает командира борт-механик Крутский.

И я слышу обычно:

— Сначала кормовой, а потом носовой без предупреждения!

Заработал кормовой мотор, концы отданы, несколько человек бережно ведут за крыло воздушную птицу на воду, подальше от берега. Летчик выбрал направление взлета; облегченный воздушный корабль хорошо взлетает против ветра, но нужно рассчитать бег самолета на полном газу по воде до отрыва, надо знать водную площадку, чтобы не выскочить на сушу, «вмазать» в крутой берег и «разложить» машину и людей.

Мы стояли в Киренске уже четвертые сутки. Грузовка трезвонила в Киренский аэропорт, запрашивая погоду. Грузовке дали погоду, и через небольшое время мы услышали гул приближающегося самолета. Это была летающая лодка «СКЭ-62». Она покружила несколько раз над местом посадки, хотя кружить было не к чему. Горел костер, показывающий направление ветра, полно надувался «колдунчик», также говоривший о силе и направлении ветра. Самолет не мог не видеть зажженного костра, «колдунчика» и начальника порта, неистово махавшего флагом. Однако летчик не рассчитал посадки. Он сел на сливе двух рек — Лены и Киренки, и его, несмотря на гулкую работу мотора, стало наносить на мирно стоящий «СССР Н-8».

Воздушному кораблю, честно поработавшему для Севера Евразии, грозила гибель. «СКЭ-62», желая отвернуть от «СССР Н-8», дал полный газ. Это лишь усилило поступательное движение «СКЭ-62».

Летчики воздушного корабля помчались с пригорка, мигом вскочили на лодку самолета и по ней побежали защищать хвостовое оперение дюралюминевой птицы. Стабилизатор, киль, рули поворота и глубины, — вот, что называют летчики хвостовым оперением машины и без чего машина не взлетит.

Готовясь к защите самолета «Н-8», летчики встали на лодке, выпростав вперед руки, чтобы принять удар на себя, а не на самолет.

Не растерялся и борт-механик на «СКЭ-62». Он обхватил стойку короб-

ки крыльев обеими руками и выставил вперед ноги. «СКЭ-62» ударил по стабилизатору не режущими, натянутыми, как струны, растяжками своих крыльев, но выставленными вперед ногами борт-механика. Ноги спружинили при ударе, и на стабилизаторе, как только от него отскочил «СКЭ-62», мы увидели небольшую вмятину.

Исправление вмятины кромки стабилизатора потребовало целого дня работы Крутского и Моторина.

Вот к чему приводят нерассчитанные посадки.

Наутро, получив ясную погоду из Бодайбо, самолет «СКЭ-62» улетел на Ленские прииски. Перед вылетом летчики долго прогревали остывший мотор.

Мы вышли проводить товарищей.

Мы увидели самолет уже вышедшим на редан. Следующим был момент отрыва.

Но до суши оставались секунды, и берег, весь заставленный домами и круго поднимающийся вверх таежной, пятнистой стеной, будто притаился, выжидая свою жертву.

— Вмажет, сейчас вмажет! — тревожно сказал Левченко, дернув мня за рукав. — Чго же он делает, кореш!

В это время кореш оторвался от воды и, видя перед собой высокий берег, не набрав высоты, на одних моторах круто развернулся влево. Под самолетом было десять метров высоты.

— Куда он сыплет, — крикнул Леваневский, — ведь здесь провода!

Мы не могли спокойно смотреть на взлет «СКЭ-62», который напоминал цирковой номер, когда замолкает оркестр, барабан бьет дробь и в публике кричат: «Довольно! Довольно!»

Мы побежали навстречу самолету.

И когда он пролетел между проводом и землей, едва не задев конька крыши, все, стоявшие на берегу, дружно охнули. А самолет, быстро набрав высоту, лег на левое крыло и взял нужное направление, будто ни в чем не бывало.

— Дикошарный парень! — сказал Левченко про улетевшего. — Я понимаю, если бы он был один, бейся головой об стенку, но у него на самолете

люди. Да и не имеешь права бить материальную часть, это стоит денег.

Летчики «СССР Н-8» ушли в дом аэропорта, и я долго слышал, как они разбирали между собой действия летчика «СКЭ-62».

Леваневский находил, что все получилось из-за задержки мышления на несколько долей секунды. В авиации нужна молниеносная сметка, опережающая скорость машины, необходима дисциплина человека, дисциплина и слаженность всего экипажа. Люди на машине — это одно целое летающего организма. Пилот—человек-птица, знающий повадки ветра, коварство мысов, из-за которых обычно бьет поток воздуха, летнаб—лоцман самолета, его штурман-навигатор, борт-механики — врачи моторов, их неусыпные сиделки, от них зависит бесперебойная работа сердца самолета.

— У твоего кореша тормозимость, — сказал Леваневский летнабу, показывая на голову. — Недолго твой кореш пролетает. Разложит себя, машину и людей.

В экипаже самолета «СССР Н-8» была слаженность, дисциплина и сознание высокой ответственности перед общественным мнением мира о советском самолете — пионере воздушного Северного пути.

XIX

Если «СКЭ-62» при посадке в Киренске едва не лишил «СССР Н-8» управляемости, а при взлете чуть не угробился сам, то это произошло еще и потому, что пилот самолета был молод и неопытен. Он впервые делал полеты над Леной, не знал ее норова, ее течения и еще не привык, очевидно, к своей машине.

Но зато с каким искусством опускались и поднимались линейные летчики: широкоплечий, огромный, словно медведь, Доронин, маленький и горячий в споре Бергстрем и всегда спокойный Галышев.

Они на полном газу подходили к берегу, мигмом забрасывали конец и через несколько минут уже пили чай в кают-компании воздухостанций.

— Это им, что на трамвае ездить, — говорил Левченко, следя за их посадками и взлетами, уверенными и рассчитанными за годы работы на Якутской линии.

Еще не прилетал самолет в аэропорт, как уже с утра трезвонил на воздухостанции телефон.

Вопросы ленских горожан одни и те же.

— Когда прибудет самолет?

Самолетов на линии мало. Места берутся с бою. Из Киренска до Иркутска пять с небольшим часов лету, а на конях в зимнюю стужу, пургу и непогоду надо проехать это расстояние за две недели через станционные клоповники и неразбериху.

Теперь на Лену пришла быстроходная «Пятилетка». Средний плес и низовья Лены будут обеспечены надежными буксиром и пассажирским судном. Только одно может представить затруднения — отсутствие жидкого топлива на Лене. Его ищут в бухте Нордвик на восточном берегу Таймыра, но, найдут ли там, неизвестно. «Пятилетка» привезла с собой на год нефти. Горючее ей должны доставлять Северным морским путем. Ну, а вдруг будет год или даже трехлетие, когда море Лаптевых запретится на замок пролива Вилькицкого или Норденшельда? Что тогда? Консервация теплохода? Или таскать на конях из Иркутска к Качугу и затем сплавлять вниз бочки с нефтью, когда из-за отсутствия моторной силы не могут обеспечить бесперебойно воздушную линию горючим?

Суда на Лене должны ходить на местном топливе. Есть на Лене миллионы гектаров леса и неплохие угли. Надо по-хозяйски их использовать и одновременно искать другие виды топлива.

XX

С летнабом Левченко бок о бок мѣ ходили в Камчатском море на «Сучане». Левченко летал позднее с Бердником на «Р-5», разведывал свободную во льдах дорогу морскому и речному каравану.

На Диксоне я встретил старого северянина Топор-Ногу, на Челюскине — радиста Дождикова и в Тикси я увидел Левченко — гитариста, весельчака, меткого бомбометателя, выдержанного, спокойного летнаба и хорошего моряка.

Всюду, куда я, начиная свою вторую полярную пятилетку, ни приходил бы на крайний Север, я всегда встречал знакомых, соплавателей. Встречи на Севере неизгладимы. Нигде так много не говорят, как на Севере. И недаром у якутов приветствие:

— Капсе!

Что значит: рассказывай!

Рассказывать — это самое интересное в жизни на оторванном далеком Севере. И русские говорят в Якутии:

— Давай, покапсекаем!

— Капсе!

— Рассказывай!

— Капсе учугей!

— Рассказ мой будет хороший (все хорошо).

Или:

— Рассказа у меня нет! Рассказывай ты!

Так приветствуют в Якутии.

Мое капсе сейчас будет о мысе Северном, о Рыркарпии, о Морже, как называют этот камень чукчи за его сходство с морским зверем.

Этот мыс страшен для моряков. Северными ветрами пригоняет к мысу тяжелые торосистые льды и закрывает проход судам вперед: к Колыме — на запад и обратно в Тихий океан — на восток.

Рядом с одиноким домом фактории склад товаров для чукчей! Неподдалеку — землянка, в которой живет радист. Станция в прошлом году держала связь только с островом Врангеля и через него с остальным внешним миром.

«СССР Н-8» оставил на мысе Северном свою радиостанцию, и Северный должен был скоро заговорить.

Он будет рассказывать о жизни чукчей, об охоте на белых медведей, о песках, придавленных пастями, о проходящих мимо мыса судах, о подвижках льда и изменениях погоды.

Мыс Северный! Отсюда идет в туманах и пурге над льдами коварный путь по воздуху к острову Врангеля.

Этот путь проделали немногие летчики. Свершил его и Леваневский.

Быстро идет зима к северным широтам. Последние параллели земли не дружны с летом. Север гостеприимен только для зимы. Она, зима, проходит сюда пуржливая, пушистая, ветреная, ледовая, морозная и нескончаемо долгая и томительно темная. В полярную ночь зажигаются на небе огни Севера, бегают, резвятся между звезд, затмевая свет Млечного пути.

«СССР Н-8» недолго просидел у мыса Северного. Прибежала сюда зима. Запуржила, замела горы снегом, одела по-зимнему берега. Набежали холода. Затянулись лагуны молодым льдом. Скоро и конец взлётам. Надо подаваться в сторону от мыса Северного, чтобы не приморозить самолет на этом краю земли.

Самолет уходит от мыса в пургу. Не выбрать никак для отлета лучшей погоды. Но вот пурга встает стеной. Снег бьет в лицо пилоту, словно иглами, и больно лицу от холодных ударов. Не видно ни берега, ни моря. А как только машина теряет высоту, вдруг под ним Леваневский видит стерегущие и готовые уничтожить самолет и людей торосы.

Мелькнула полоска воды черной лентой. Это очевидно полынья. Надо садиться, пока не поздно. «Н-8» плюхается в воду, чтобы задержать свой разбег по воде и не вмазать в лед или скалистый берег.

Это вынужденная посадка. Леваневский переживает пургу. Не век же ей дуть.

Продует пурга, прояснит, и снова взлетит самолет.

Машина села в мелкую лагуну. Поднимется ветер, разведет волну, разобьет самолет о дно морское. Надо скорей сниматься.

Полный газ обоим моторам, и Леваневский выдирает машину из воды. Она взмывает легко против сильного ветра, который поддерживает ее под крылья своими могучими объятиями.

Берег становится ясней сквозь редящую пургу. Берег низменный, тундряной, ровный и скучный.

Вон и Амбарчик! Морская бухта у мыса Медвежьего у входа в Колыму, там стоят пареходы. Капитан Сергеевский разгружает свой караван, прорвавшийся в тяжелый ледовый год к намеченной цели.

XXI

Год назад вместе с летнабом Левченко мы делали стенную газету на «Сучане».

В столовой команды валялись обрезки цветной бумаги, густой струей лился на бумагу клей, и ложились яркими буквами акварельные краски.

Это была стенгазета Северо-Восточной полярной экспедиции.

Я расстался в ноябре второго международного полярного года с моряками Северо-Восточной полярной экспедиции, когда шла усиленная подготовка к выпуску стенгазеты и журнала объединенного экипажа всех зимующих судов в Чаунской губе. Наступала пятнадцатая годовщина Октября, которую морякам привелось встречать во льдах у Певека, а мне — в горах тундры, у собачьей упряжки, замеченной пургой.

В медвежьем углу Полярного моря я писал в стенгазеты моряков фельетоны, рисовал карикатуры и даже правил стихи, до которых моряки большие любители.

Паровое отопление прекратилось на всех зимующих в Чаунской губе судах, и ледорез «Литке» отапливался дымными камельками.

В тесных каютах ледореза было дымно и холодно. Под утро в каютах замерзали чернила, сделанные из химического карандаша. В моей крохотной каюте собиралась редколлегия судовой газеты «Штурм Севера»: старый дальневосточный партизан, секретарь судовой ячейки Козловский, председатель судового комитета «Литке» матрос Конев и матрос Беканов, старый краснофлотец.

На зимовке все давно запустили бороды, и Конев напоминал средневеко-

вого пирата своей густой, черной, как уголь, всклокоченной бородой.

Летчики зимующего самолета готовили свсю страничку. Не чувствовалось полярного холода в этой жаркой газетной работе, обозначенной торжественным сроком наступающей годовщины Октября.

Буфетчик Миша Бочаров принес нам страничку МОПР. Он был мопровцем-ударником на ледорезе. Он сам написал акварелью рабочего-революционера, сидящего за решеткой капиталистической тюрьмы, и просил кого-нибудь сочинить «стишок» в страничку МОПР.

Рыжебородый Миша хотел украсить свою страничку стихами.

Матрос Беканов готовил страницу Осоввахима. Он нажимал на матросов и кочегаров, своих корреспондентов, на штурманов, доктора, капитана и самого начальника экспедиции, чтобы давали в срок материалы к его полосе в «Штурм Севера».

Еще недавно я видел его склонившимся над штурвалом в туманные, пуржливые дни Восточносибирского моря, заставленного торосистыми льдами.

После работы над приведением судна к зимовочной готовности Беканов был еще и общественником-стенгазетчиком.

И поздно ночью в матросском кубрике можно было видеть Беканова и Бочарова склонившимися над полосами своих материалов.

Через сто десять дней после выезда с места зимовки собаки, олени, лошади и самолет домчали меня по тундре, лесам, горам и безымянным рекам до Якутска, до Москвы! Здесь меня ожидала радиграмма, переданная с зимующего в Чаунской губе «Литке».

«Убедительно прошу сообщить постоянное время и схему передачи ТАСС и сводок международного положения и строительства. За последнее время ТАСС не удается уловить. Выпускаем ежемесячный журнал и пятидневную газету. Вся работа, учеба кипит. Больных нет. С искренним дружеским приветом всех зимующих

председатель профкома экспедиции
Конев».

Мне привелось быть одним из участников первой газеты в Игарке «Полярная стройка». Я был особенно удобен для полярной газеты потому, что летал на воздушном корабле «Комсерв-пусть-2» и привозил свежие вести о новооткрытых пластах графита или каменного угля на Нижней Тунгуске, мощном притоке Енисея, о новых штольнях на реке Курейке, впадающей в Енисей на границе Полярного круга, о стройке на Гыдоямском полуострове, о жизни на острове Диксон.

Советский литератор — не безразличный созерцатель событий, но участник бурно развивающейся стройки, организатор и помощник в новой жизни. Каждый из нас, будучи на ледоколе или самолете, — обязательный редактор стенгазеты, неременный участник литературных вечеров на кораблях, станках, стойбищах или становищах. Он выступает на производственных совещаниях и принимает близкое участие в работе судового комитета судна, с которым свозил свою судьбу в Полярном океане.

На окраинах Советского Союза мы были счастливыми свидетелями зарождения важных промышленных северных центров, через которые в самом недалеком и светлом будущем пройдут воздушные дороги.

XXII

Мы улетаем из Тикси в Лену, когда пурга свисала мохнатыми космами по всему горизонту и путь в Лену, казалось, был закрыт.

Я одел чукотские рукавицы из пушистых вольчих лапок, закутал голову в чукотский малахай из молодого оленя-пыжика, и белые лапки песца облегали мое тело. Так я шел на собаках и оленях через горную тундру Чукотии, по таежным сибирским рекам, пробираясь в полярную ночь, в шестидесятиградусные морозы к Якутску, к Москве.

Из Тикси мы вошли в Лену по Быковской протоке и сразу будто попали в другую страну. Небо не мрачнело здесь тучами, не свисали косматые сне-

гопады, и стало как-то сразу теплей, и я сбросил с ног заячье одеяло.

В Якутске, где зимой от морозных туманов не было видно ни улиц, ни домов, теперь, в середине сентября, было жарко.

Заведующий парниковым хозяйством подарил экипажу самолета спелые арбузы, и они полетели с нами в Витим. Они удивили не только нас, но и витимцев, живущих на тысячу с лишним километров южнее Якутска и не имеющих арбузов.

В Витиме, как собаку на привязи, держали наш самолет. Ему не давали горючего, и он был бессилен забрать высоту и мчаться вверх, над Леной, к Иркутску, с вестью о великом перелете.

Леваневский часто выходил на крутой берег Лены, смотрел на ее быстро текущие воды, на тайгу, стоящую в ярких, цветных пятнах, и на самолет, сиротливо уткнувшийся в негостеприимный берег.

Пять суток ожидания в Витиме казались нам вечностью.

И столько же мы ждали в Киренске. Быть может, мы бы никогда не получили разрешения, и самолет замерз на Киренке, если бы не вернулся из отпуска начальник аэропорта, ездивший в лес на охоту. Он знал о перелете Леваневского и дал горючее «Н-8».

Начальник Киренского аэропорта был не чиновник, а рабочий, пришедший в аэропорт после годов недоедания и гражданской войны. Он не был искушен в дипломатии. Он рассуждал по-рабочему, просто.

— Бензин вам надо дать. Рано или поздно вам его дадут. Но вам могут дать его поздно, когда здесь будут уже забереги. «Савойя» вас подломала. Лодка ваша течет, крылья пришли в ветхость, моторы переработали свой срок. Я отвечаю за бензин, но я считаю обязательным помочь нашему советскому самолету, облетевшему полмира.

Мы получили бензин и вспорхнули из Киренска. Запели торжествующую песню советские моторы «М-17».

Мы простились с ленским городком.

XXIII

Наша машина была экспедиционной, а не линейной, и мы не запрашивали погоды.

«СССР Н-8» летал в любую погоду. Из Киренска мы недолго шли, ясно различая берега и реку.

Крупинки снега, будто пшено, залетали в люк кормового отсека и хлестали по щекам беззвучными, но сильными ударами. Я прятал лицо в пушистый ворс моих рукавиц из волчьих лапок.

Лена текла под нами в узкостях, в каменных высоких берегах — щеках. И мы летели, повисая крыльями над обоими берегами сразу, едва не задевая их концами плоскостей.

Леваневский сбавил газ. Самолет круто пошел на снижение.

— Что это, посадка? Или возвращение обратно в Киренск?

Уже не видно извилин, поворотов реки и ее сторожей — берегов.

Левченко тычет пальцем в синюю кальку, где отмечена красной чертой извилина Лены. Здесь сейчас проходит самолет, и здесь с берега на берег, как раз на нашем пути, перекинут телеграфный провод.

Задеть за него сейчас в пургу, и — нас нес скоро найдут в этом безлюдьи.

Мы идем бреющим полетом над самой рекой, которая, кажется, не течет, а сама летит в Полярный океан.

Вот мы коснулись быстрой воды, но не плюхнулись в реку, как обычно, а идем на редане, задерживая о шерщавую воду бег самолета.

Мы бежим над Леной со скоростью торпедного катера, и все же — это слишком быстрый бег для того, чтобы вовремя успеть остановить самолет, когда перед ним из тумана неожиданно вырастет скалистый берег.

— Жаль, что самолеты не имеют заднего хода, как автомобили или трамваи, — часто шутит Левченко. — Меньше гробов было бы в авиации.

И вдруг мы на плаву.

Я вижу Левченко, достающего из носовой кабины якорь.

Это вынужденная посадка.

А нас ждут в Грузновке. И, небось, жгут костры.

Метет пурга, закрывая перед нами весь мир. Не видать концов плоскостей самолета. Все — в снежном потоке. Только за жабрами самолета бежит отяжелевшая от снежурь потемневшая вода Лены.

— Ну, как? — спрашивает меня Леваневский.

И я отвечаю по-летному:

— Да, скучновато немного.

— Ничего! Это скоро рассеется. Возможно, что в пути мы еще не раз попадем снова в эту пакость. Но мы улетим скоро. Ветер уже работает на нас.

На северо-западе становится яснее.

Вон уж открываются и берега. На пустынном берегу появляются люди, конные и пешие. Они слышали шум самолета и сбежались к реке — посмотреть невиданное чудище.

С берега сталкивают лодчонку, и в ней, стоя, идут к нам четыре человека. Они гребут палками, весел нет в этом селе.

— Это — село Казимировка, — говорит Левченко, наш воздушный проводник.

Мы снизились недалеко от этого села.

— Мы к вам подплыве-о-о-о-м! — кричат нам с лодки.

В ней видим четырех женщин.

Мужчины остались на берегу, выслав на разведку женщин.

Они подходят к нам, когда уже раз'яснело.

— Какой он большой! — дивуются женщины.

Мы не успеваем с ними перекинуться словом, как командир уже дал полный газ, и мы — в воздухе.

«Челяп-челяп!» — вспоминаю я Крутского.

— Куда мы только сегодня дочеляпаем?

Между гор стелется слежавшийся, белый, как снег, и густо укатанный, словно вата, туман. Мы тянем среди его разрывов.

Мы — на высоте восьмисот метров, а земля, тайга и пятна снега в тайге кажутся близко, под самым самолетом.

Рано пришел сюда снег. В середине сентября. Его здесь не ожидали. И коп-

ны ржи стоят еще неубранные и убе-
ленные снегом.

Устлана снегом земля, и лес стоит
закурженный, будто по-зимнему.

Земля нам кажется близкой потому,
что мы идем над высокими горами.

Моторы ревут дружно, не переставая,
голько чуть трясет лодку самолета.

Винты не сменялись с самого Сева-
стополя. Их из'ели туманы, дожди, сне-
гопады. Винты поцарапаны, лак места-
ми отскоблен Севером начисто.

Советские винты и советские моторы
переработали много лишних часов про-
тив положенного им срока. Но моторы
ревут, и винты вертятся, везут самолет
и людей с крайнего Севера к центру
Восточной Сибири.

В Киренске мы подсчитывали жертвы
авиации на Севере. Немного самолетов
летало по Северу. Но список разложен-
ных машин уже велик.

Кальвиц и Леонгард — на Лене,
американцы Эйельсон и Борланд —
у мыса Северного, Порцель, Ручьев
и Дальфонс — у полуострова Тюленьего
в Маточкином Шаре, половина экипа-
жа нобилевской «Италии» — у берегов
Шпицбергена, Амундсен, Гильбо и дру-
гие на «Латаме» — у острова Мед-
вежьего. В туманах Севера в Анадыр-
ском районе разложил свой «Век про-
гресса» и американец Маттерн.

Летать по Северу — дело не простое.

XXIV

На стоянках после того, как экипаж
подхарчит немного, летчики высыпают на
ленский берег, пряно пахнущий багуль-
ником, Леваневский часто говорит о том,
что на будущий год надо лететь в боль-
шой перелет по всему Северному воз-
душному пути.

— Пойду снова один пилотом, возь-
му Левченко летнабом, он будет помо-
гать мне за штурвалом, Крутский будет
следить за моторами, а вы в кормовом
отсеке будете писать книгу о полете.

— Разыщем землю Андреева или
Санникова, — говорит мне Леванев-
ский.

Болотные сапоги Леваневского сби-
лись. Вытерся и выцвел синий китель

с пропеллерами на ясных пуговицах.
Кожаные брюки потеряли блеск и все
в царапинах. Нестриженные давно воло-
сы лохматятся на затылке. Последний
раз стриглись летчики в Номе у парик-
махера Солоненко.

Дома у Леваневского ничего не зна-
ют о нем. Там ждут его жена, сын
и дочь.

Мальчик четырех лет уже не раз ле-
тал с отцом на самолете и знает его
приборы. Газ, редан, контакт, габарит,
брисоль, бензиномер — эти слова уже
знакомы мальчику. Он — сын летчика.
Вырастет и будет летать, как отец, или
строить самолеты.

Ему отец везет с Чукотки подарки:
моржонка, нерпу, песка, медвежонка,
выделанные искусными мастерами-чук-
чами из моржовой кости.

И Левченко везет своей дочери па-
мятку о Полярном море — моржевый
клык, расписанный чукчей-художником.
На полированной глади клыка бежит
песец вслед за медведем, который бро-
сил недохарченную нерпу — об'едки
прожорливому песцу с богатого мед-
вежьего стола, — и тут же охотятся на
зверя чукчи.

На воздухостанциях, где нередко у
начальников висит в кают-компании ги-
тара, Левченко снимает ее бережно
с бревенчатой стены и поет блатные
песни Одессы-мамы.

Мой паренек сейчас, небось, думает
обо мне или играет во дворе с ребята-
ми в «собрание» с председателем и ре-
чами.

Он ждет меня с нетерпением. Я обе-
щала ему скоро вернуться и ездить с ним
под Москву на автобусах и трамваях
до конечных станций.

А сейчас перед нами опять висят
снегопады. Как аист, я прячу голову,
только не под крыло, а в кормовом
люке, и не вижу, куда летит самолет.
И кажется мне, будто я в катере. Идет
катер по морю. Волны почти нет. Катер
редко бросает в сторону. Море притих-
ло, только слышен бодрый гул моторов.
Я достаю из мешка урюк и жую его
желтое вкусное мясо.

И, когда снова я высовываю голову
из люка, мы уже вошли в туман снего-

пада. Леваневский и Левченко привстали и всматриваются в непроглядную даль.

Мы берем круто влево. Летчики хотят вырваться из снежного потока и обойти его стороной.

Мы скоро попадаем в разреженный снегопад, и в его просветах, зазорах, виднеется тайга, и горы под самолетом подходят уже к самому сердцу.

И, обойдя снега, самолет ложится на прямой курс. Я не вижу под нами Лены, мы режем над сушей, над тайгой.

Высота — тысяча метров, и вдруг сбавлен газ, самолет планирует без моторов все ниже и ниже, и ошутимей делаются березы и лиственницы, и горелый лес тайги. «Н-8» идет на посадку к тому месту, где горит высоким пламенем костер, зажженный Грузновским аэропортом.

Грузновка в снегу. Безлюдны улицы, и, только заслышав шум самолета, поселок открывает свои калитки. Народ бежит к берегу посмотреть невиданной величины самолет.

XXV

Нам неохотно дают бензин. В аэропорту горючее на исходе. Леваневский берет бензин почти в самый обрез — только-только добраться до Иркутска.

— Когда пойдете на взлет, держитесь лучше середины реки, а то выскочите на мель, — предупреждает Леваневского начальник аэропорта.

— А как перевалы здесь, высоки? — спрашивает командир самолета.

— Один — в шестьсот, другой пониже будет, метров на четыреста.

— А провода?

Начальник аэропорта указывает на карте, где встретятся нам провода.

— Как вы думаете, открыт или закрыт перевал? — спрашивает Леваневский.

— Думаю, что закрыт. У нас в такую погоду не летают, — отвечает начальник.

Мы закоченели от холода и разминаем ноги по гальке, закрытой снегом.

Холод прорвался сюда, в верховья Лены, будто вдогонку за самолетом. И вслед за ним пришла сюда пурга.

— Вам только перевалить хребты, и вы — на Ангаре!

— Да, тогда уже мы дома, — говорит Леваневский.

Мы греемся у плиты в Грузновской воздухостанции. Я просушиваю у огня плиты, как зимой у камельков якутских юрт, свой малахай и волчьи рукавицы.

Но от Грузновки лететь теплее. Я уже не стучу руками по коленям, не хлопаю рукавицами в кормовом отсеке.

Почти сразу потеряна река под самолетом, и мы летим, забирая высоту над горами.

Это последний перелет машины.

— Подохнут моторы или выподнят свой долг до конца?

Если они развалятся, то посадка невозможна. Возможен только гроб, котлета. Я бы на месте пилотов сыпал сейчас напрямую к Ангаре по компасу через леса и горы.

— Сыпать, так сыпать, как говорит Левченко.

И летчики сыпят напрямую.

Самолет набирает высоту.

Высоту набирают и горы.

Леваневский задрал машину «свечкой». Из кормового отсека я не вижу людей в пилотской кабине.

Леваневский один ведет машину по всему великому северному морскому побережью от самого Уэлена. Летнаб из носовой кабины перешел на пустовавшее место рядом с командиром. Инструктор Леваневский обучает Левченко искусству пилотажа, и временами, когда машина клюет носом или присаживается на хвост, я сразу узнаю, кто сейчас сидит за штурвалом.

Леваневский опять оглядывается, он слушает моторный гул. Дотянут или не дотянут до Ангары советские «М-17», выдадут или не выдадут?

И я вспоминаю чукчу Атыка и Восточносибирскую тундру.

Небо звездное, мороз жжет щеки, стынут пальцы ног. Собаки бегут по твердому насту. Кровавым следом протянулась за нартой проделанная собаками дорога. Изранены о твердый наст лапы и кровоточат.

— Дорога этьки! — говорит Атык.

— Плохая дорога!

Светло в полярную лунную ночь. Ярko светит луна — полярное солнце, — и видно вперед за десять метров. Только час или два мы видим сумерки короткого дня, а затем над тундрой тихо спускается ночь, как сова.

Мы уже двадцать пять суток бежим с собаками по тундре, по ее горам и незнакомым рекам, заслеженным песцами да россомахами.

— Собака работать плохо! — говорит мне Атык. Он жалеет своих собак, честно проделавших огромный путь.

Едет Атык и все время поглядывает на своих собак. Он не кричит на них, не набрасывает тяжелый осто́л на их уставшие головы, он жалеет собак, проделавших честно огромный путь.

Воздушный каюр Леваневский тоже оглядывается на своих воздушных собак, на свои моторы. Они изранили свои лапы, свои клапаны, в моторах уже нет прежней компрессии, и пилот щадит и редко дает теперь полный газ, не разрешает винтам делать большого количества оборотов, чтобы не утомлять их изможденную силу.

Я один в кормовом отсеке. Рядом со мной не сидит уж в пыжиковой парке — тужурке — Скачко. Он не выдержал бензиновых терзаний и улетел оттуда из Витима на линейном самолете Якутской воздушной дороги.

XXVI

Самолет летит на юг, а мысли все еще на Севере, и долго они будут бродить у безлюдных берегов, по штормливому морю, по ледяным полям, в пурге и тумане.

Я вспоминаю бухту Амбарчик у мыса Медвежьего, у Колымы.

Штормливая бухта погубила во втором международном полярном году много барж и кунгасов. Здесь, в этой негостеприимной бухте, осели в тот год первые люди. Срубили из плавника жилые дома и сараи. Когда-то там стоял один амбарчик, это и дало название глобому месту.

В конце сентября морозы уже сковали бухту, и в ее стуженых водах замерз-

ли баржи, груженные товаром для низовой Колымы.

Здесь поселились молодожены-метеонаблюдатели. Они оба еще ни разу не жили самостоятельно, и мне казалось, что им, «зеленым», здесь, в Амбарчике, и предстоит закончить свою молодую жизнь от цыги или непогоды.

Когда «СССР Н-8» подлетал через год к бухте Амбарчик, воды ее, приведенные в сильное волнение проходившим здесь штормом, угомонились и лишь слегка зыбились.

Летчики покружились над бухтой, высматривая себе место посадки.

Первыми, кого увидел Левченко, были метеонаблюдатели бухты. Метеонаблюдательница держала на руках ребенка, — в Амбарчике увеличилось население.

Разросся за зиму целый городок с домами и складами.

Снова пришли сюда морские пароходы с грузами для Колымы, и снова их задерживали здесь штормы или туманы. Ветры громили речную эскадру, выбрасывая на берег все катера, баржи и кунгасы, задерживая разгрузку прибывших из Владивостока судов.

Снова сюда, как и в прошлом году, прилетел самолет, но не маленький «Р-5», а воздушный корабль «СССР Н-8».

Среди экипажа воздушного корабля всему Амбарчику здесь был знаком один Левченко — «Турка», как звали его за черноту волос, глаз и за смуглую кожу лица.

Из Амбарчика до Тикси «Н-8» шел без посадки. Много диких оленей вспугивал бреющим полетом самолет. В Индигирском районе они бродили большими табунами.

В Индигирском районе, в каждой юрте, я встречал высокий мех дикого оленя, и мне всегда предлагали в юртах Индигирского района оленины языки.

«Н-8» летел к Тикси, и мы стремились туда же на морских пароходах.

В Тикси я вернулся с Левченко — летнабом «Н-8».

И эта встреча решила мою судьбу.

Она выхватила меня из однообразия полярного похода, посадила на крылатого коня и помчала в пургу над морем, горами и рекой в Жиганск, Якутск,

Олекминск, Витим, Киренск и Грузновку, к Иркутску, к железной дороге, за пять тысяч километров.

XXVII

Висят над горами снегопады и клочья гумана.

— Дорога этьки!

— Плохая дорога! — вспоминаю я слова Атыка.

Сейчас начнется перелет над сушей до самой Ангары, над высокими горами, завешенными пургой, словно занавесом.

— Надо итти, пробиваться; кто скажет, что завтра будет здесь лучше, — говорит Леваневский.

Шумят моторы, взрезают воздух могучие винты. Когда они бывают спокойны и перед тем, как Крутский наденет на них брезентовые чехлы, я вижу у крестовины толкающего винта золотые буквы «ЦАГИ». Это — наши советские винты, их крутят советские моторы, и советские летчики ведут самолет к победам на северном воздушном фронте.

Висят перед ними снегопады.

— Дорога этьки!

Ветер несет снежный заряд на самый перевал, который должен быть взят самолетом.

Еще немного, и закроет снегопадом перевал, закроет нам путь.

Леваневский смотрит на часы: кто скорее долетит до макушки перевала — самолет или пурга?

Самолет обгоняет пургу, и самый высокий перевал у нас под ногами.

Летчики идут напрямую.

Я вспоминаю слова Левченко:

— Сыпать так сыпать!

Да иначе здесь не пройдешь.

Вечерет.

Ночь спускается на горы.

Опять Леваневский смотрит на часы.

Кто скорее дойдет до последнего перевала — ночь или самолет?

Если дойдет ночь, а с нею и прохлада, они повалят вниз все облака, закроют горы, и самолет попадет в ловушку между двумя перевалами. Такие моменты борт-механик Крутский

называет гробовитыми. И, когда пахнет гробом, Крутский всегда взбирается по трапику из бакового отделения в моторную гондолу. Он следит там за работой моторов.

— В такие минуты у пилота не должно быть и мысли о моторе! Моторы должны челяпать! — говорит мне на стоянках Крутский.

И я вижу, как он ползет по трапику к моторам. Когда он ползет вверх, получается задувание и будто глуше становится шум моторов, и по этому затуханию гула моторов я всегда узнаю, что Крутский поднимается или спускается по трапику.

Вот и сейчас изменили свой шум моторы. Я высовываю голову из люка и смотрю на трапик. Крутский! Он! Гробовитый моментик наступил, и борт-механик ползет к моторам.

Он увидел меня и улыбается.

Привстает Левченко, всматривается. Ищет ходы самолету между макушками гор, где бродят туманы да снегопады передвигаются, словно живые.

Под нами, далеко внизу, вдруг покажутся змеевидные речонки среди гор.

Здесь не сядет, не взлетит ни одна машина.

Горы в лесах. Леса в снегах. Снега в облаках. В облаках самолет. В самолете — люди, живые, думающие, ищущие пути к Ангаре.

От холода коченеет тело.

Ветер обжигает лицо. Иглами колет мокрый и мелкий снег.

Но там, в той стороне, где должен быть Иркутск, светит небо серебристой полосой.

Мы приближаемся к этой светящейся полосе.

Моторы рычат попрежнему дружно. Леваневский полуобернулся ко мне и бодро кивает головой.

Он улыбается, вскидывая голову в сторону моторов. Он хвалит советские моторы «М-17» этим кивком головы. Он хвалит потому, что они выдержали суровое испытание, не изменили нам, не предали нас в туманах, над камнями гор.

Блестит серебристой полосой сама Ангара.

Сияющая река кажется яркой полоской неба.

Под нами — Ангара.

«СССР Н-8» мужественно пробивался к ней над горными перевалами, закрытыми сплошной снежной пеленой.

Вот она, Ангара, течет под ногами ровной дорогой.

Пролетаем Балаганск — большой город на Ангаре.

Моторы гудят и гудят:

Челяп-челяп!
Челяп-челяп!

Но вдруг в стройном оркестре их шумовой музыки слышатся нелады.

Музыка стала тише.

Самолет начинает снижаться.

Мы идем на одном кормовом моторе.

— Куда же планирует Леваневский?

До Иркутска еще километров двадцать.

По трапику спускается из моторной gondoly в баковое отделение борт-механик Крутский.

— Полундра в воздухе!

Прекратил работу носовой мотор из-за неподачи горючего.

Крутский пробует вручную качать бензин в носовой мотор, но горючее не идет по бензинопроводу. Засорилась левая магистраль, питающая моторы.

Моторин ползает по бакам. Он догадался открыть сливной кран и пустить бензин кружным путем через правую магистраль.

И снова шумит носовой мотор, поет свою песню, вторит кормовому.

И самолет опять набирает высоту.

Вон виден Иркутск.

Дома, улицы, железная дорога, поезда, и на Ангаре пароходы тянут баржи.

Сумерки сгустились над Иркутском, и в окнах домов я вижу огоньки.

Маленький пассажирский самолет на поплавках кружит над городом.

Кружит над городом и «СССР Н-8».

Над Иркутском два самолета выражат в вечерней синеве.

А на Ангаре в гидропорту блестят на воде кольчуг-алюминием другие самолеты.

Скоро полетят они большими стаями над всей Советской Якутией, как летают на Севере перелетные птицы.

«СССР Н-8» будет стоять под стекляннным колпаком в музее, словно «ботик Петра Первого», и, показывая наш самолет, руководитель музея скажет:

— Вот на каких самолетах много лет назад пионеры советской авиации покоряли стихию Арктики.

XXVIII

В Иркутск, на большую землю, мы принесли под крыльями воздушного корабля весть о великом перелете, о первой Ленской экспедиции, о первых домах, строящихся на берегу Полярного моря в Усть-Ленском порту.

Мало пароходов на богатой Лене. Одинокие пока, пролетают над ней самолеты.

Полярные моряки объявили войну бездорожью Якутии. В Лену пришел из Омска, сквозь льды Карского моря, вокруг мыса Челюскин, речной теплоход «Первая пятилетка». Это — первое большое судно на Лене. При нас в Якутск приехала экспедиция «Дирижаблестроя». Прокладывается новая воздушная линия по Якутии. От Иркутска на Якутск полетят дирижабли. Строится верфь Главсевморпути в Пеледуде на Лене, ниже Витима.

Якутия открыта с моря и воздуха.

Восстаниям льдов не остановить потока людей и кораблей, морских и воздушных, на Север Советской страны.

Моряки первой Ленской открыли с запада морской путь в Якутию, нанесли первый удар ее бездорожью.

Героические воздушники сделают этот удар двойным.

XXIX

С чукчей-каюром Атыком мы приближались к древней Анюйской крепости в Восточносибирской тундре. Был морок. Небо было заволочено облаками. И над лесотундрой лежал туман. Я задумался, сидя на собачьих нартах, уста-

ло бежавших по смерзшемуся снегу. Вдруг в лицо мне пыхнул огонь. Мне показалось, что это закурил свою медную трубку мой каюр Атык. Но это была «чудинка» в тундре, огонь, связанный с электромагнитными явлениями.

Полыхали по небу Севера полярные сияния.

Но вот зажглись на Севере другие огни.

Подошли к сибирским рекам с моря караваны кораблей, светя ходовыми огнями.

Засияли ходовые огни кораблей у Оби, Енисея, у мыса Челюскин, у самого устья Лены, у Колымы, по всему великому полярному фасаду советской земли.

Загорелись огни радиостанций на мысе Желания, Новой Земли, на мысе Челюскин, на острове Белом, на Земле Франца-Иосифа, на мысе Северном, в устье Лены и Колымы.

Горят опознавательные огни северных воздушных станций.

Засиял огонь просвещения по ярангам чукчей, в чумах самоедов, по юртам якутов.

Зажглись огни на последних паралле-

лях земли, на берегах Полуночного океана.

Огни-светочи.

XXX

От Великого океана и до западной границы горят призывные огни Октябрия. Свет их идет от Каспия, от Черного моря и, до самого Студеного океана.

У нас мало бронзовых монументов. Памятниками нашей великой эпохи будут новые города, новые железные дороги, морские каналы, прорубленные в скалах, мощные гидростанции, домны, блюминги.

И через тысячу лет будуг рассказывать о сверхлюдях наших дней, которые потрясли весь мир.

Через тысячу лет не будет наших дорог, каналов, гидростанций, домен, блюмингов.

Свободный человеческий гений поднимет мир на высшую ступень развития.

Но наша эпоха, озаренная огнями, будет светить в веках примером неслыханной борьбы человека за право на лучшую жизнь рабочих заводов, полей, лесов, тундры, гор, рек, воздуха, морей и океанов.

Равноденствие

Роман

П. СЛЕТОВ

(Продолжение ¹)

IV

Николай Захаров последний раз об'езжал свой участок. Он ехал по кособогу в дрожках. Выпавший за первую половину февраля снег частью обдуло ветром, а оставшийся уже пошел за два солнечных дня в зерно — хрустел под колесами, ноздрился, как сердцевина белого арбуза. Нефтяные вышки чернели вблизи четко, а чем дальше, тем лиловей.

Ветер едва волочил с собой судорожный шум эксцентриков, полевых тяг, порой — далекий свисток узкоколейки. На дороге было безлюдно.

Захаров бросил вожжи, лошадь сама привычно свернула к нужной вышке.

Последнее время Захаров уже чувствовал себя во всем сахалинцем. Странное дело — и раньше он знал, что Грозный отцовствует над сахалинскими промыслами. То и дело по-двое, по-трое, целыми группами собирались партии едущих на остров. Уехала и часть рабочих с его участка. Но раньше Захаров быстро терял к ним интерес, лишь только узнавал о готовящемся отъезде. Грозный, его дела и тревоги оставались несокрушимой крепостью, неиссякаемым резервом людей и средств. Новые промысла, эта антиклиналь, в частности вышки Захарова, попрежнему колебали своими запасами мировые цены на бензин.

Уезжавшие исчезали из Грозного незаметно. Тысячи смыкались, росли вместе с количеством строящихся вышек, заводов, стягивая с Чечни, с Кубани, с Украины, России, Кавказа свежих новобранцев, не чувствуя никакой утраты от отъезда десятков и даже сотен. В конце концов к уезжавшим было легкое чувство сострадания: жаль ребят, но помочь нельзя.

Теперь все как-то вывернулось наизнанку. Сожаление было к остающимся. В то же время к ним падал интерес. Уезжающих оказалось совсем не так мало: к весеннему рейсу дальневосточных пароходов набирался целый поезд рабочих, семей. Шла запись во второй эшелон. Одних знакомых Захарову нефтяников в числе уезжавших оказалось десятка два. Впечатление было такое, что весь Грозный готовится сняться весной с гнездовья и тронуться в далекий перелет. К остающимся — сожаление, как к старикам, убогим, забытым...

Уезжавшие встречались, словно заговорщики: улыбались, говорили о своем, только им важном, — по рукам ходили какие-то старые железнодорожные справочники, путеводители. — перечитывали чеховский «Сахалин», жадно слушали рассказы побывавших на острове. Знакомились друг с другом у стола вербовщика Сахнефти в конторе промыслов.

— Ну, все же, не очень уж там холодно?

— Надо полагать, не очень.

¹) См. «Новый мир», кн. 1 с. г.

— И я думаю — живут же люди. Жену и мальчишку конечно подожду брать.

— Вы как, тоже семейный?

— Семейный. Семей туда по первому году не берут. Год проработаешь, тогда, если желаешь, вези.

— Ну да, верно, зачем зря соваться, не осмотревшись. А мне посмотреть охота новые места. Я ведь где только не любывал: и в Баку, и в Майкопе, и на Эмбе — везде пришлось поработать.

— Ты что, плотник, что ли?

— Нет. Бурильщик. Со Старых промыслов.

— А я — плотник.

— А я вот — слесарь. Слесарь и кузнец. Не знаю, нужны ли.

— Как не нужны! Им всякий народ нужен.

— Матрац брать ли?

— Куда с матрацем! Одежу потеплее, это стоит.

— А Васька граммофон берет...

— Васька!.. Васька придумает.

— Долго ли ехать? Я этой качки не люблю. Травить начинает...

— ...Этого много. Медведей более, чем людей.

— ...Через Иркутск поедem, у меня там браток живет...

Последняя буровая, на которую свернул Захаров, не требовала посещения. До сдачи ее в эксплуатацию было далеко, проходка шла нормально. Но здесь работали двое контрактных на Сахалин, и Захаров не мог проехать мимо, не спросив о новостях, хотя их и не предполагалось.

Подъехав к вышке, он привязал лошадь и пошел навстречу вырывавшемуся оттуда грохоту. Буровая была залита глинистым раствором, бурильщики, сырые и перепачканные, стояли возле вращающегося ротора, следя за медленным погружением свеч. Картуз Есипова сбился на затылок, обнажая лысеющий сократовский лоб над детским карими глазами и приплюснутым носом.

Жестом поздоровались — глухо-немые в скрежете и грохоте вышки. Жестом же Захаров спросил дневные записи проходки. Просмотрел и похлопал Есипова по плечу, — правильно, так и долж-

но быть. Попробовал крикнуть на ухо, но тот не понял. Тогда остановили ротор, и вышка вдруг заполнилась тихим плеском воды в глиномешалке.

— Усильте раствор, — сказал Захаров, — нужно поплотнее. А засим — счастливо оставаться, увидимся, должно быть, во Владивостоке.

— Что ж, не будете дожидаться эшелона?

— Нет, выведу раньше, индивидуальным порядком, на неделю раньше вас. В Москве придется задержаться. В Оху попадем, должно быть, одним парохом — откроем навигацию. А там не раскальваться. Давайте стараться вместе — в Широую Падь!

Заулыбались романтике будущего.

— Алгебру не забудете? — напомнил, прощаясь, Захаров.

— Как же, обязательно! Непременно возьму...

Опять улыбнулись общему, и ротор, заскрежетав, завалив вышку громом, прекратил разговор. Захаров вышел, махнув рукой.

Есипов его трогал. Захаров вообще не мог проходить равнодушно мимо взрослых людей, которые с тетрадками подмышкой собирались где-нибудь в красном уголке после работы, наскоро умывшись и пообедав, для того, чтобы часа на два, на три засесть за курс по повышению квалификации. Эти бородатые и усатые люди, открыто сопевшие над карандашом, раньше, еще лет десять тому назад стыдились засесть в деревенском огороде помидоры вперед соседа. Есипова он заставлял не раз за завтраком с книгой в руках. Книга эта была «Готовься в вуз».

Захаров сел в дрожки и выехал на дорогу. Солнце светило теперь прямо навстречу. Далеко на горизонте яростно сияли снеговые горы с Казбеком во главе.

Есипов мусолил карандаш, снисходительно улыбаясь существованию на свете многочисленных и собственной непонятливости, отчего и рад вот послушать объяснения, очень даже интересуется, — как-нибудь так, попроще, почему это равняется, когда оно вовсе не равняется, — но, только услышав первые слова

объяснения, раздирающе зевал, и приходилось ждать, пока кончит, и чесал в затылке. Устройство карандаша впервые в жизни становилось неисчерпаемо интересным, превыше всего. Ноготь, какой ноготь у него!.. А квадрат минус два абэ... — вот так ноготь!.. — Квадрат двучлена рябил в глазах, Есипов снова отчаянно зевал, топтался с ноги на ногу, хрустели челюсти, вчуже слышно, и сквозь зевоту мучительно дисциплинировалась мысль, пробиваясь вперед, сменяя одни рабочие навыки другими в токсинах нервного утомления.

Впереди уже наметилось здание конторы промыслов, когда Захаров нагнал одинокого пешехода в телачьей пестрой куртке и теплых сапогах, выдавливавших на снегу подковы. Что-то знакомое померещилось в этой фигуре. Еще не успев поровняться, Захаров узнал:

— Товарищ Волковой, здравствуйте! Я вас по сапогам угадал.

— Ничего мудреного. По сапогам даже покойников узнают. А я еще живой. Подвезите-ка вот, чем на обувку мою заглядываться.

Обычно ворчливый голос Волкового был теперь веселым от солнца. Он взгромоздился на дрожки позади Захарова, и они запрыгали по обледенелому снегу.

— Много в Грозном сахалинцев развелось, — подумал Захаров вслух. — Вот уж третьего за день встречаю. Завербовали кого-нибудь еще?

— Это хорошо, нашего полку прибывает. На сегодня довольно. Я тут с другими целями: высматриваю, где что плохо лежит. Может быть, и вы мне поможете. Имейте в виду: там каждый метр трубы — во какая ценность. А здесь они у вас штабелями валяются, ржавеют. Сегодня мне грязиться с технабом. Они мне складскими нехватками тычут в нос. А я не пожалел ног, обошел все участки, — третий день так мотаюсь. Теперь чорта с два меня надуешь. На самом деле: помогать, так помогать. Не зря же мы там зарываемся в сугробы.

— Чем же я-то могу вам помочь? Участок свой я уже сдал.

— А вот приходите вечером на заседание в техснаб.

— Э, нет, увольте. Вот, если посоветовать вам в выборе людей, это я могу. Кое-кого из завербованных я знаю по работе. Вы будете управлять Широкопадским промыслом?

— Я заместитель, но, пока управляющий не назначен, я хозяин. Давайте людей.

Захаров перекинул ногу, сел на дрожках боком и, повернувшись к Волкову, засмеялся:

— Вот, значит, на кого я нарвался, — на самого хозяина. Ну, тем лучше. Тогда пишите. Рекомендую бурового инженера Захарова. Знаю его с двухлетнего возраста, то-есть двадцать семь лет. Хороший парень. Интеллигент. Инженером он работает месяцев семь, но буровиком вообще года три — техником и на студенческой практике.

— Так, — крикнул Волковой. — Этот у меня значится на заметке. Но как бы его в Охе не оставили. В Ширдкой Пади бурение начнется, пожалуй, только с середины лета, а до этого — бытовое и подсобное строительство.

— Жаль. В Охе уже полдела сделано. А ему хочется с лихой беды, с начала. Он человек таковский. Кроме того, он к месту привязчив: попадет на Оху, пожалуй, не захочет оттуда. А строить он тоже может — вышки, бараки. Один сезон по этому делу работал техником. С фантазией, словом, симпатичный человек.

— Так, — снова крикнул Волковой, смеясь. — Ну, этого сосватал. Будем за него драться. Дальше.

— Дальше буровой мастер Есипов. Шесть лет стажа. Парень еще симпатичнее, упорный, с планами. Метит в вуз, допер до квадратных уравнений, но беллетристики читать не может — засыпает. Два года контрактации работает, а на третий, будьте уверены, попадет в вуз. Внимательный, превосходный работник. Пресняков, бурильщик молодой. Трехлетний стаж. Работает по вдохновению, ломает инструмент, но дает темпы... Вы сейчас их всех не запомните. Зайдем в контору, я вам намечу список. Если я на самом

деле к вам попаду, то мне очень бы хотелось попасть с ними вместе.

— Дело, дело. О них разговор будет легче, чем о вас. Разведывательная буровая у нас начнет работать с весны, так что их есть куда поставить сразу же.

Они уже под'езжали к конторе промыслов. Отводя лошадь в конный двор, Захаров вдруг был взят приступом торопливых мыслей. Как будто они обступили его и так провожали, толкаясь, теснясь одна под другой, давя одна другую: «Теперь подумать, что в последний раз проехал и сдам мерина с дрожками. Может быть, даже наверное, не повторится. Подобное отброшено Яковом — рановато он вылез в критики — как интеллигентская рефлексия, в литературе сочтено им за мотив психологизма. Да, я такой, и почему это не важно, в моей жизни и во всякой?.. Эти минуты, когда говоришь себе: вот в последний раз или вроде того, настолько в логике всякого субъективного процесса, как бы ни чурался, этот снег, это солнце, весна, накануне Тихого океана, встреча с Катюшей, от которой вот опять что-то, как бубен... И что же, если бы я действительно убедился, что обилие психических раздражителей — несчастье, и стал бы гнать природу в дверь, а она в окно, да главное такую природу, высшие формы ее организации во мне. Она мне сразу твердит: «в последний раз» и «все это было когда-то, но только не помню, когда». Сотни раз конечно было, — возвращаюсь с участка, контора промысла, конный двор, снег, солнце, — но так только сегодня и когда-то еще, не помню, когда. Значит, неправильная локализация памяти, что подсказала теорию вечного возвращения: «бесконечное количество раз так же, как сейчас, сидел я в каземате Торо, предо мной лежал так же лист бумаги, так же было перо в руках...» А Ницше подхватил мистику эту, уже вступая в паранойю. Но одно дело ошибки, развитые до некоей буддийской системы, где «только не помню, когда» превращается в кошмары безвыходных кругов, а другое дело — острейшее чувство реального плана «в последний раз», от которого излечит меня

только удар обухом, ибо нужно расстаться с личностью, ежели хочешь отказать от памяти, а она — вот она, со мной, всей громадой воспоминаний, для того, чтобы безжалостно вырывать у меня каждый новый факт в свою кладовую, да не просто, а все время потряхивая всем барахлишком. Но что ж, иди встречать сияющую Катюшу, попадет в ту же кладовую, как сейчас, факт того, что в последний раз целых пять минут настойчиво кристаллизуется для хранения...»

В конторе Захаров быстро набросал Волковому нужный список и, прощаясь со всеми сотрудниками, заметил: на него уже смотрят, как на чужого, даже, быть может, лишнего. Так он и сам смотрел недавно на всех уходящих. Снова могучее ощущение дальнего пути ударило ему в голову. Теперь дни пойдут без останову.

Он вышел на улицу с тем, чтобы оставшиеся до рабочего поезда сорок минут пробродить, где придется. Голова начинала гореть, брало нетерпение. В город скорее, в город, здесь — все кончено.

У конторы стояла легковая машина Грознефти. Если сейчас она идет в Грозный и есть свободное место, то это сэкономит время...

Так и оказалось. Единственным пассажиром был американский инженер бодрого, румяного вида. Они кивнули друг другу, и машина зашебуршала по снегу. Ехали молча. Захаров уже не раз замечал в себе некоторое недружелюбие в отношении к иностранным специалистам. Скорей всего это была реакция на романтику заграничных чулок, которой обыватель окружил личность всякого иностранца. «Я могу интересоваться его страной, — подумал Захаров, — но какое мне дело, с кем соперничал он в университете по футболу? Тем не менее надо захватить с собой на Сахалин английских книг. Запас слов да и синтаксис-то у меня, надо сознаться, убогий. Во что бы то ни стало — читать и писать без словаря...»

В двадцать втором году, после демобилизации, оборванный, как босяк, ходил интервьюером от редакции «Горня-

ка» и, принятый благодаря мандату в кабинете заместителя председателя правления, наследил стоптанным валенком, казалось, не по паркету, а прямо по белоснежному крахмалу его сорочек. Но, растянув губы, тот показал ему на стул, а сам взялся надолго за трубку телефона, и тут сыпались фразы тогда еще совсем незнакомого языка («с английским шпиноном судачит, гад...») — и затем иронический разговор большого инженера, который начал сам интервьюировать:

— Давно ли вы на репортаже, молодой человек?.. Будете записывать в книжку или на манжетку?.. (Николай Захаров быстро посмотрел на общарпанные рукава своей гимнастерки: «Гад, саботажник...») Знаете ли вы, чем отличается синклиналь от антиклинали?.. Вы вероятно обедаете базарными пирожками? Это вредно... — И на движение нетерпения — короткий холодный смешок, законченный генеральской морщиной переносья: — Ну-с, шутки в сторону, приступим. Итак, ваша газета интересуются...

Машина проехала слободу, улицы хат, вступила в город, миновала базар, мост через Сунжу. В начале Советской Захаров остановил шофера у парикмахерской и, снова обменявшись кивком головы с румяным американцем, вышел.

Пока парикмахер возился с бритвами и накладывал на него пенюар, Захаров рассматривал в зеркало мужчину, брившегося за соседним прибором. Зеркала стояли под таким углом, что ему виден был профиль опрокинутой, покрытой хлопьями пены головы. Под взмахами бритвы пена с легким скрипом исчезала, и появлялась розовая щека, к которой уже почему-то хотелось приглядеться. Захаров всматривался с недоверием, но стало очень вероятным: вздохмаченный после стрижки, хмурился под бритвой Уманцев. «Четвертый сахалинец за день» — подумал Захаров, так и не веря себе. Глаза их встретились, они обменялись теми взглядами, которые устраняют сомнения. Поздоровались.

— Вас я меньше всего ожидал здесь встретить, — сказал Захаров в зеркало.

— Да. Пришлось, — неопределенно ответил тот и, помолчав, чуть улыбнулся. — Скоро вы отвязались от своего провожатого?

Захаров удивленно поднял брови.

— Помните, — подсказал Уманцев, — который к этому-то лысому пристал?

— А!.. Комбаров!..

Парикмахер на секунду перебил их разговор, залепив Захарову губы теплой, пушистой пеной.

Пять месяцев тому назад московские тротуары были залиты осенним последним дождем, когда у под'езда Дома советов разделились, и Комбаров, верно, стал навязчивым спутником, а что может быть хуже болтливого предпыхельного: «Подумаешь, очень интересно — Ро о культуре!.. Старик глуп, как пробка. К чему вообще затевать такие разговоры? Недоволен договором — скажи, сколько тебе нужно. Он инженер редкого опыта, ему набавят. Нет, видите ли, ему нужно, чтобы в нем признали преобразователя. Кто его уполномочивал говорить от нашего лица? А вышло так. И с кем нашел меряться «культурой!..» — «А может быть, он в ней усумнился?» — «В сравнении с Цупруном и этим в толстовке? Подите вы!.. Туда же... Нет, дело совсем не в этом... Пойдемте ко мне ночевать, у меня есть коньяк... Нет, ему надо подладиться. Он хоть глуп, но делает это тонко. А, по-моему, не можешь истории повернуть вспять — молчи и пользуйся тем, что без тебя все равно не обойтись. Всем подыхать рано или поздно». — «Небогатая философия». — «Чем богаты, тем и рады. А что бы вы думали? Безликий разум? Бросьте. Это для тех, у кого личного разума нехватает». — «А вам этот личный разум подсказывает?..» — «Каждому здравомыслящему человеку он от века подсказывал и подсказывает одно и то же: все мы подохнем и живы до тех пор, пока чувствуем, желаем личного... Слушайте, честное слово, переночуйте у меня — жена в от'езде, я вам предоставляю мягчайший диван, и мы разопьем бутылку сараджевского финь-шампань... В ощущениях протекает жизнь. Кто перестает желать ощущения, тот, по-моему, уже смердит». —

«Хотя бы эти ощущения были анальными?» — «А вы их отрицаете? Сексологи держатся другого мнения. Анальными переживаниями младенчества определяется весь последующий характер человека». — «У кого как». — «Вообще». — «А я, правду сказать, терпеть не могу сексологических откровений, возводишь в абсолют». — «Но это есть соответствующее сексологическое объяснение». — «Я предпочитаю социологическое объяснение погружения обывателя в секс». — «Вы недооцениваете успехов психоанализа. Это мне странно... Но чорт с ним. Что же, пойдете ко мне?» — «Нет, благодарю вас, мне направо, прощайте». — «Примите уверенность!..» — «Прощайте». И вытер о сырое пальто комбаровское рукопожатье.

Парикмахер, кокетливо оттопырив мизинец, проворно обегал бритвой вторую щеку, когда Захаров опять сказал в зеркало:

— Надолго вы в Грозном?

— Не сумею сказать, — отозвался Уманцев сквозь шипение пульверизатора. — Я — токарь по металлу, и ехал сюда к станку. А попал на партийную работу... Скажите, где здесь пообедать? Я живу в Завадском районе и в городе за два месяца почти не бывал.

Так односложно продолжался этот разговор до тех пор, пока парикмахеры почти одновременным эстрадным движением не скинули с них пенюары. Оба всгали, столкнулись лицом к лицу — помолодевшие после бритвы. И наступила минута, когда Уманцев и Захаров разом подумали, достаточно ли сказано, чтоб разойтись без ненужной сухости. Какие-то обычные слова: «Ну, всего хорошего, надеюсь, увидимся...» — стали на очередь, чтоб сформулировать взаимное безразличие и сохранить про всякий непредвиденный случай беглое знакомство. Оба протянули руку, прощаясь, однако Захарову вдруг отчетливо показалось, что сказанное совсем не выражает его отношения к этому невысокому человеку со спокойным, но не скучным лицом, ровным, но совсем не бесцветным голосом. Он теперь только понял московское свое впечатление: Уманцев был из тех, у кого все оттенки речи

и выражение лица обычно сдержанны до степени самого необходимого. Он тратил мало сил, и в то же время они были у него на-чеку, где-то близко к обнаружению. В этом был его такт. «Школа общественника» — мелькнуло в голове Захарова. И тут же он осторожно отделил общественника Уманцева от того среднего типа, к которому привык за последние годы. Четких оснований к этому не было. Был только невесомый остаток личных впечатлений, но он-то и заставил Захарова сказать:

— А ведь я тоже иду обедать. Если вы не против, пойдете в итээровский клуб.

Они вышли на улицу и пошли рядом, но Уманцев не начинал разговора. «Умеет молчать» — отметил Захаров и бросил наугад:

— Замечали ли вы, как легко ходить по городу, который покидаешь?

— Хм... не всегда. В день, когда мы с вами познакомились у Цупруна, я бродил по Москве, и вышло так, что это был последний день перед отъездом. Но это мне не принесло особого удовольствия.

— На это были какие-нибудь свои причины, — возразил Николай. — А я говорю об обыкновенном чувстве отъезда, когда не предвидится ничего ужасного впереди и не оставляешь ничего мрачного позади.

— Ну, словом, вы уезжаете с эшеломом? — спросил Уманцев.

— Я не о себе. Мне кажется, это вообще так бывает. А может быть, вы правы, мне это кажется потому, что у меня так. И это настолько сильно, что заставляет забывать о многом. У меня в России, в Москве, остается отец, и стар уж он, нужно бы нам зажить с ним вместе. Я и думал так: как только получу квартиру в Грозном, привезти его. А теперь приходится отложить до возвращения, то-есть года на два, на три. И еще всякие обстоятельства, планы, отменяемые отъездом. Но все это, понимаете, теперь в том, что я одной ногой уже на пароходе. Вы это испытаете сами, когда для вас придет эта минута. Я ведь так понял, вы здесь временно?

— Может быть, — уклончиво отвечал Уманцев. — Скажите мне, не знаете ли вы, кто это был у Цупруна — молодой, пожалуй, моложе нас с вами, бледное, узкое лицо, сидел около самовара, все время молчал?

— Не помню. Я и не видел никого, кто бы был моложе нас с вами. Вы вероятно видели его в другой раз?

— Нет. Я только раз и был у Цупруна. Вы его забыли вероятно потому, что он ни словечка не вымолвил.

— Там, сколько помню, наоборот, все слишком много говорили.

— Только не он. Он сидел и щелкал резиночкой от записной книжки. И из кармана пиджака у него торчало вечное перо. А одет он был в светлосерый костюм, широкие брюки до колена, в чулки.

В один миг Николай вспомнил все. Момент, когда все встали из-за стола, заминая ссору Комбарова с Ро, и проявили себя каждый соответственно характеру: кто отошел в сторонку для ставших вдруг необходимыми приватных разговоров, кто норовил поскорее в переднюю за шубой. К Ро тогда подскочил молодой человек с вечным пером, и Николай ясно восстановил в своей памяти особенное выражение его лица, в то время как он о чем-то быстро говорил. Ро сел на стул, откинулся на спинку и, подняв голову, издалека презрительно мерил глазами Комбарова и, казалось, не слушал. Человек с вечным пером нагнулся над ним и, неподвижно глядя в ту же сторону, что и Ро, быстро моргал. Казалось, он силился этим морганьем помочь себе выговорить все, что задумал. И оттого, что лоб его был весь собран длинными продольными складками, а брови подняты как можно выше, все это было похоже на беспомощную попытку не то наскоро в чем-то оправдаться, не то о чем-то некстати просить. Николай, действительно, впервые за вечер заметил молодого человека с вечным пером, потому что за столом он ничем не нарушил своего молчаливого безличия. Но теперь, когда Ро подал односложную реплику и собеседник его качнул бедрами, вдруг бросились в глаза широкие панталоны, чулки,

и всплыло давешнее раздражение дялюшки Николая Аполлоновича: «Товарищ Габараев считает, товарищ Габараев думает, товарищ Габараев надеется — и, понимаешь ли, все не говорит, а как-то прыскает словами. Насилу я отделался от него...» Затем возня с Комбаровым отодвинула все это. Так оно и провалялось ненужным хламом вплоть до вопроса Уманцева.

— Теперь я знаю, о ком вы говорите, — сказал Николай. Фамилия его мне неизвестна. Мне кажется, что это секретарь Габараева. Впрочем, ручаться не могу. А почему вы о нем спросили?

Уманцев вдруг приостановился, как будто что-то соображая. И тут же двинулся дальше. Волна интереса поднялась в Николае: случайная ли остановка? Что было в Москве? И почему имя Габараева может задеть этого человека, столь скупого на жест?

— Я спросил о нем, потому что встретил его вчера в Грозном, — отвечал Уманцев и, подумав, ровно продолжал, словно желая ответить на угаданные вопросы Николая: — Я давно знаю Габараева, очень давно. Но давно его нигде не встречал.

Николай внимательно посмотрел и не снял ни одного вопроса. Они уже вошли в вестибюль клуба. Библиотека была открыта, а сюда Катюша приходит менять Горького на Драйзера, восторгается Маргаритой Оду и негодует, что нет Эдгара По. — «*Duello scripto lex; ét поп. Точка. Вы-чтонибудь понимаете? Непонятно, но хорошо, я обожаю такие вещи*». — «Там как-раз и идет речь об обожателях подобного, не в вашу пользу, Катюша...» И мягкий жест ее руки, и отрицательная улыбка, — она никогда не сумеет повторить такого соединения смеха над собой, просьбы, чтоб не смеялись над ней, доверия, чтобы просить о снисхождении, и тысячи неуловимых вещей, из которых состоит в эту минуту ее лучистая жизнь.

За обедом Николай упомянул о Жлобе. Так и проговорили целый час — о прохождении буденновцев с Кавказа на западный фронт, о характерах командармов, о двадцатом годе. Был ли

Уманцев участником, или, точнее, где был он участником событий, Николай так и не удосужился спросить, увлеченный подробностями тех лет. Разгорячился и Уманцев. Красные пятна легли на его щеки, и снова он живо напомнил тот вечер, когда, затянутый Цупруном в общие споры, он кончил почти рассказом о своей жизни. Но прямо о себе Уманцев опять не сказал ни слова. Только, вытащив бумажник, молча показал Николаю фотографию молодой бабы, очень близко похожей на него.

— Ваша сестра? — спросил Николай, возвращая карточку.

Уманцев смотрел на него проницательным взглядом и быстро ответил глаза, а Николай сразу присоединил к прежним своим вопросам, оставшимся без ответа, еще ряд, ему и самому неясных. Но Уманцев, внезапно спохватившись, уже спешил уйти.

— Я хочу... хочу повидать еще вас на Дальнем Востоке, — сказал он, пряча карточку в бумажник. — У меня есть кое-какие надежды, что я вас рано или поздно догоню.

— Вот видите, может быть, даже общую юрту заведем, — заключил Николай необязательной шуткой.

Они попрощались почти сердечно. Какая-то общая мысль так и не нашла у Николая иного выражения, как такое: с Уманцевым хорошо вместе идти в разведку и условиться, что если рана в живот и вообще безнадежно, то нужно посоветовать друг другу великодушной пулей. Затем пришла Катюша.

Шла она давно. С самого утра Николай различал среди работы, дел и неделовых встреч свободный ее шаг, и нужды не было, что он далеко, нивесть где. Этот шаг был все ближе и к сумеркам должен быть рядом. До сумерек оставалось четверть часа, шаги Катюши стали совсем громкими, и, хоть Николай не видел ее, ясно было, что она пришла, что она здесь вот, возле, быть может, остановилась за его спиной и тихонько ждет, чтобы он оглянулся. В этом неверном ее присутствии была нежная навязчивость, сначала очаровательная, затем несколько беспокойная и наконец

даже досадная. «Но ведь я уеду, будет два-три письма, и потом все естественно прекратится, а к тому времени она выйдет замуж, — подумал Николай, — выйдет замуж за...» Он ярко представил себе Катюшиного поклонника, экономиста Симеонянца, полного, смуглого брюнета в золотых очках, и следующая потемневшая мысль сразу же пронеслась и рухнула в пропасть. Она пошла обратительным путем, оскорбительным для Катюши, за что и погибла, не проявившись в сдвззаныи.

Николай быстро сбежал по лестнице и вошел в библиотеку. Он спросил энциклопедический словарь на букву «С», разыскал статью о Сахалине, пробежал и подосадовал на краткость. Взял на «В», — Владивосток, — она была так же сжата; Хабаровск, Япония, Уссурийский край — обо всем следовало бы прочитать и, если б не морозный воздух, повеявший слева, так бы и было. Но светлый рукав шубки с красно-рыжим лисьим обшлагом высунулся из-под локтя Николая, и настоящий Катюшин голос проговорил:

— Я торопилась, как могла, хотела вас опередить, обидеться и уйти, но вас никак не обгоню.

Николай почувствовал, как глаза его стали до предела ласковы. Катюша, стоя сбоку, одной рукой прижимала к себе его локоть, другой — толпушку книг. Губы ее были чуть открыты, правая бровь вз'ерошена в смешной радости.

— Да, я назло вам аккуратен.

— Вы знаете, меня мама спрашивает: «У тебя опять сегодня совпадение?» Это потому, что знакомые прожужжали ей уши о наших с вами общих прогулках, а я утверждала, что это совпадения. Ну я ответила ей, что совпадения не подчиняются предвидению. Но как вам нравится такая опека над дочкой?

— Я могу сказать, что она права. Вашему брату только дай волю.

— Итак, да здравствует паранджа!..

— Я имел бы случай потаращить глаза на вас в этом наряде.

— О, говорите, говорите мне так! — выпрение протянула Катюша, не тер-

певшая даже отдаленных намеков на комплимент.

Они просматривали обложки новинок.

— Через четыре дня я уезжаю, Катюша, — сказал Николай. — Все-таки уезжаю.

— Скатертью дорога, — сухо, рассеянно отозвалась она. И вдруг оживилась: — Смотрите, какая забавная девчоночка!

Это была журнальная иллюстрация детских яслей.

— Лицо его вытянулось, — пробормотал Николай, глядя на девчоночку.

Катюша, оглянувшись, приподняла смеющиеся губы, и Николай по глазам ее мог поверить, мог дать себе честное слово, что полные губы и лицо подставлены для долгого поцелуя. Что она почти шатается под натиском прихоти. Но он хорошо знал ее манеру бросать от обольщений к трезвейшим разочарованиям, только чуждо усмехнулся в ответ горячим глазам. Катюша продолжала всматриваться в него, может быть, губы ее дрогнули какими-то мыслями, и медленно отвела глаза.

Потом дело с обменом книг кончилось в две минуты среди вздорных шуток с библиотекарем. Они бежали по Советской, догоняя автобус, и не догнали его. Пошли по тихим улицам, толковали о том, что как можно меньше касалось их, окна домов зажигались им навстречу, все время противоречивая рука звала, увлекала Николая и, кто знает, него хотела.

Был вечер. Катюша доострилась до того, что Симеонянц конфузливо потупил глаза, и мать укоризненно взмолилась: «Катюша!..», но хоть бы тень смущенья проскользнула в ее чертах, а темные пятна на переноси так оттеняли гуляющий, даже бандитский блеск этих глаз, что можно было заподозреть умышленную стилизацию в бесстыдстве, подстегнутом неведением чувств. С тех-то пор обозначился общий фронт постоянного эпатажа Симеонянца при ближайшем пособничестве Николая. Но это не давало никаких привилегий: все дело было в накоплении женственного опыта.

Не доходя до квартиры Ро, Николай спросил:

— Ну, а вы, Катюша?

— Почему «а вы»? Почему вы — это «вы», а я, это — «а вы»?

Не дождавшись ответа, она добавила:

— Самое смешное бывает, когда от тебя ждуг, что ты непременно будешь переживать, а ты не переживаешь. Не берет тебя, и все тут.

Она рассмеялась добрым смехом.

— Вы находчивы, — обозлился Николай.

— Находчива? Уверяю вас, нет. Вот вы — да, если хотите представить все так, будто я находчивостью прикрываю замешательство.

— Нет, не в том дело. Вы ловко нашлись, повернув мой вопрос на какие-то переживания. А я совсем не о них. Я хотел вас спросить: «А вы мне напишете?» Подразумеваю, что я-то конечно сразу по приезде вам напишу.

Он хотел еще добавить: «Я первый раз, спасибо вам, встречаю такую милую самонадеянность», но воздержался, Катюша и так не простит. И верно, помолчав, она сказала:

— Всегда хвалила ваше терпенье. Но подумать, какой вы будете бедный, если вас утешат — ответы через три месяца! Ведь это в лучшем случае, когда кто-нибудь сиротливо будет ждать от вас рестошки и немедленно ответит. Какое же вам будет со мной: корреспондентка я негодная, люблю получать письма, а ответить не соберусь и в полгода раз.

— Должно, но убедительно, — отозвался Николай. — Я буду вам писать, не ожидая ответа.

И было уже скудно услышать снаружи звонок, отозвавшийся в квартире Ро, пить с ними чай, сочувствовать сетованиям матери, что Катюша не стала химичкой, как хотел того муж, а увлеклась геологией, и почему муж нейдет с заседания, и пылающие щеки Катюши, неотправленные письма в Москву, еще неясный список нужных на Сахалине вещей, осмотр нового крекинга, готового к сдаче...

Билет был заказан с утра.

V

Степан Уманцев в потемках нащупал ручку, толкнул двери и вошел в здание бани. Его встретила темнота, еще более плотная, тяжелая, чем наружи. Он чиркнул спичкой. Большая передняя была пуста, за закрытой дверью раздевальная слышались голоса. Уманцев направился туда. Дверь отворилась в новую темноту, но все же стало светлее: дальний отблеск заводских огней падал в окна. В раздевальне было так же пусто, звук голосов и плеск воды слышался дальше, в самой бане. Эхо шагов Уманцева гулко перекатывалось под потолком.

— Сторож! Сторож! — крикнул кто-то, и все, кроме плеска воды, на минуту стихло, ожидая ответа.

С зажженной спичкой Уманцев двинулся дальше в баню, так и вошел туда в шубе. Волны теплого тумана расстигались навстречу ему из кабинок. Трое или четверо человек плескались под душами.

— Не видали там сторожа?.. Сукин сын, ушел и унес лампочки. Мойся вот в темноте...

Примкнув к возмущению купальщиков, Уманцев однако вернулся в раздевальную и мигом разделся: разыскать шалаву-сторожа, он знал по опыту, было делом нелегким. Глаза уже успели привыкнуть к слабым сумеркам, когда он ступил голый ногой на мокрое дерево банных решеток. Темнота подавила разговоры и бесполезную ругань, — кругом слышался только дождь душой да ожесточенное чавканье мочалок. Уманцев выбрал пустую кабинку и последовал общему примеру.

Очередной транссибирский экспресс Столбце — Владивосток, дойдя полупустым до Москвы, здесь наполнился доотказа сибиряками, дальневосточными пассажирами — геологами, плановиками, рабочими, мастерами разных цехов. Начсоставом Красной армии, экономистами, отпускниками, студентами, комсомольцами, инженерами, женами, дегми — и вылетел в бесконечную вереницу поездов, одновременно мчащихся к Тихому океану и обратно.

Уманцев мылся задумчиво и медленно. В темноте приходилось каждый раз осторожно класть омылок на какую-то холодную мокрую трубу и потом так же осторожно нащупывать его, чтоб не упал. Омылок скользил и избегал руки, как юркий налим. Душ теплыми шильями стоял на голове и плечах.

В раздевальне послышались тяжелые шаги, старый наивный голос проговорил в двери:

— Моетесь? А не темно вам тут?

— Эй, сторож! — загремели в кабинках, — будь тебе неладно, — куда лампочки задевал? Что за безобразие, на самом деле? Давай свет!

— Лампочек нет, — рассудительно ответила темнота. — Разве на вас напасешься? За одну неделю пять лампочек сперли.

— А ты разевай рот больше! Ты там все к бабам подкатываешься, в женскую баню... Давай, давай живей!..

Отругиваясь, сторож зажег стеариновый огарок и посмотрел в туманную высь.

Экспресс длинными глотками пил пространство — тысячу километров в сутки, — перевалил Урал, грохотал по степям, врезался в тайгу, пошел одолевать подьемы, летел над Ангарой, орал по туннелям Кругобайкальской, извивался вдоль Шилки, — на восток, на восток, на восток, тысячу километров в день, — встречая время, ускорив для себя земное вращение на час в сутки — пассажиры сбивались со сна, ежедневно переводя часовые стрелки вперед: за Иркутском экспресс на полночи врезался в новые сутки.

Свет зажегся внезапным ударом в глаза. Высоко на бетонной перегородке кабинки, держась одной рукой за стенку, а другой ввинчивая лампочку, стояла смуглая глянцева фигура и уходила в матово-белый, как алюминий, туман. Брызнувший свет просквозил розовую руку, создал поднятую вверх бородавку сторожа, пряди теплых дождей, намыленные тела, побуревшие решетки на каменном полу, ручки под ними. Родилось ощущение предела телесной радости — от воды, света, тепла.

Купальщиками оказались дежурный инженер Твердышев, сортировщик Клепач и двое незнакомых Уманцеву рабочих парафинового завода. Заговорили о строящихся крекинг-установках. Уманцев слушал Твердышева с любопытством, обращенным не к крекингу. Только сегодня утром пришлось облазить всю строящуюся установку снизу доверху, и что за вид с восьмого или десятого этажа постройки, что за свист ветра! Но коренастый Твердышев был предметом общего всегдашнего внимания: станет ли он, сортировщик, выдвинутый на должность дежурного инженера, настоящим квалифицированным специалистом и в какой срок одолеет нужный курс, зубря после службы, среди забот о жене и ребенке, партнагрузки и хронической нехватки времени? Вместе с Уманцевым на голое твердышевское тело, на бледнорусую щетину его бороды засматривались и другие: вокруг него давно создалась в ячейке, в профкоме атмосфера внимания, которую он ответственно и сурово нес с собой, как носят орден на буднем платье.

Помылись, торопливо вытирались и одевались. Степан Уманцев уже сказал Твердышеву: «Так я с тобой сейчас и пройду. Я уж давно собираюсь побывать на курсах, до сих пор не выбрал времени», как вдруг в портфеле, куда Уманцев втискивал омылок, завернутый в полотене, прощупалось что-то твердое — пустой пузырек, взятый из дома. Уманцев схватился за часы: было половина десятого. Ясно — бензина он не принесет, в кино опоздано, и в самом деле это безобразие — так забыть об уговоре с женой. Потерев лоб, он сказал:

— Нет, выходит, что я и сегодня не могу. Не жди меня, будь здоров!

Экспресс терял пассажиров по сибирским станциям, набирал новых, но все же пустел; чем дальше, тем все меньше собиралось в вагон-ресторане — дальневосточные: трое японцев швед, катавший в углу рта сигару, студент-кореец, два китайца, дама с собачкой, жена капитана камчатских рейсов. Иностранцы закусывали русскими блюдами пополам с проносящейся мимо

окоп тайгой, и пропеллер механического веера лениво увлекал крыльями чуть приторный дым китайских папирос.

Наскоро собравшись, нахлобучив кепку, Степан Уманцев вышел наружу и побежал в сторону трехэтажных жилых зданий. Далекое пыхтение заводов, шумы форсунок доносились до него. Высоко на верхушках установок горели яркие точки ламп. Попутный ветер был напоен запахами бензина, отработанных газов.

Уманцев перебежал узкоколейку, пошел к дому — окно светилось, Ольга ждет. Он поднялся по лестнице и с раздражением отыскал ключ в кармане: какое, право, непростительное безобразие — пропустить условленный час.

Уманцев застал жену лежащей на кровати. В руках ее был развернутый журнал, но вряд ли она читала, хотя как будто и не сразу оторвала глаза от чтения при входе мужа. Синий джемпер лежал складками на худеньком ее теле. Волосы ее были светлей желтых исхудалых висков, и все лицо, теперь повернутое кверху, казалось утомленным, но терпеливым.

— Ты, я знаю, ругаешь меня, Оля, — сказал Уманцев, бросая портфель на стол, — и поделом!

Она прикинулась непонимающей, спросила очень просто:

— За что?

— За то, разумеется, что я тебя подвел с кино, — ты из-за меня осглась дома. А кроме того, я не принес бензина, забыл.

— Вот это хуже, — сухогато ответила она, — нам нечем примус разжигать. А в кино мне все равно без тебя делать нечего.

Уманцев присел к жене на кровать и внимательно посмотрел ей в глаза.

— Я зашился сегодня, — сказал он. — Туда нужно, сюда нужно, в баню я опоздал, и совсем из головы выскочило, что мы с тобой собрались. Я ведь понимаю, что ты для меня приехала, и совсем не дело пропадать мне по вечерам.

— Пустяки, — отозвалась она. — Я тоже понимаю, что не зря же ты пропадаешь.

Она снова взялась за книгу.

За Иркутском в пятом купе мягкого остались вдвоем лесотехник Дальсеса с пышной тридцатилетней соседкой, а когда на станции Байкал он купил копченого хариуса, щелкнули никелированные замки чемоданов; она в ответ угощала конфетами и коньяком, а онпил свою водку. Она, переливая глазами, спрашивала его о вкусах, онпил водку, она жаловалась на занятость мужа, на провинциальную окраинную скуку, онпил водку, она села на его диван, он — жена во Владивостоке —пил. Ей было жарко, просила помочь стелить постель на ночь, он чопорно помогал,пил, она в толчках поезда касалась его бедрами, грудью: «Виноват!» — «Ах, простите. Можно погасить свет?..» — «Да, я сейчас выйду в коридор». — «Подождите, неужели вы никогда не изменяли жене?» — «Да как сказать...» Вышел, курил, вернулся, она шевельнулась, зажег свет, она шевельнулась под пикейным одеялом, читал, она ворочалась, металась, уронила вдребезги стакан и замолчала на всю дорогу до Читы. Там села — он видел — в рычащий «линкольн», а он нашел в купе записку: «Вы — хам».

Уманцев взял жену за руки и ласково вытащил у нее книгу.

— Брось, Олюшка, поговори со мной. Напрасно ты меня выгораживаешь, я сам себя не оправдываю. Но и напрасно прячешься от меня за книгу.

— Я не тебя оправдываю — дело. А сам ты, верно, мог бы больше помнить обо мне. Ведь это, Степа, не девятнадцатый год, не Украина, когда ты ко мне мог навещаться раз в полгода, и я тебя должна была прятать сейчас же у себя в школе на чердаке или в сарае. И посмотреть-то досыта на тебя не могла... Ну, ладно, довольна об этом.

Она повернулась на бок, положила под щеку тонкую, сухую ладонь и смотрела куда-то в угол. Уманцев с локтями на коленях мерно сплетал и расплетал пальцы. Ждал.

— Завидую я тебе, Степан, — снова заговорила она. — Тебе, кажется, ничего не нужно, кроме твоих обязанно-

стей, и набрать их выше головы ты всегда готов. А я вот не умею. Мне этого мало. И я конечно своих ребят ради тебя не брошу. Но разве это все, что мне нужно? Ты помнишь, твой Грачев как-то порол всякую чепуху. Ты еще сказал тогда, что не хочешь и слушать. А я потом не раз вспоминала. Он говорил, что напрасно, мол, называют — человеческий род. Существуют, мол, два биологических рода: мужской и женский. Друг без друга они не могут существовать, но это не значит, что у них все интересы общие. И поэтому живут мужчины и женщины либо в паразитическом сожителстве, один за счет другого, либо в симбиозе, мужчина — женской нежностью, женщина — мужской силой, либо, мол, реже всего — на одном участке питательной среды, как осина и береза, что растут как будто из одного корня. Но тогда кто-нибудь глушит другого. Помнишь?

— Да. Что-то помню. Реакционная болтовня, — ласково отозвался Уманцев.

Ольга не шевелилась, а в углах ее глаз наметились и медленно вспухли блестящие горошины слез.

— Может быть, — продолжала она равно. — В особенности если говорить об этом, как о вечном законе. Но в жизни я встречала очень похожее. Я бы только прибавила четвертое — хищников, которые живут одиноко и лишь время от времени выходят на чужой голодный вой самому повить, покогтить друг друга и — опять прочь, в одиночество, зализывать раны.

— Что ты, Олюшка, глупостями занялась, — потрепал Уманцев жену по руке.

Комсомолец Гриша Шологин, студент горного техникума, бегал на паровоз,пил чай у проводников, щипал гитару над сердцем сверстницы-ихтиологички и распевал Есенина: «Я вернусь к тебе такой же нежный...», потом целовались в коридоре у окна около уборной, думая, что раз под гром поезда не слышно, значит, не видно, будя в окружающих мысли: «Вот ведь жажда прекрасного!» — а на рассвете слез — в Якутию, на практику, такой же нежный.

Не дождавшись ответа, Уманцев нахмурил брови, встал и два раза тяжелыми шагами прошался по комнате.

— Ну в чем дело? — сказал он, снова присев на кровать, — ну давай поедем вместе, если не боишься.

— Нет, — она резко качнула головой и вытерла глаза. — Я тебе сказала, что я своего дела не брошу. Ты не обращай внимания. Это я от усталости...

Он посмотрел с легким сожалением. Потом, как будто сгоняя лишние мысли, провел по лицу рукой и заговорил уже совсем иным тоном:

— Ну хорошо. Тогда давай о другом... Не все то мне нравится нынче в отъезде. Новости? Никаких. Что ты скажешь — смешно? То рвался поскорей из Москвы, а то теперь на попятный? Да, вот, сам себя не узнаю.

— С чего ты, Степа?

— А шут его знает, с чего! То-есть ты не думай, а все же поеду. Но через силу. Не нравится мне. Оля, старею я, что-ли — капризы какие-то завожу?..

Он с досадой поморщился и хлопнул себя по коленке. Жена посмотрела на него внимательно и чуть удивленно:

— В самом деле, и ты что-то в нервы уходишь, Степан.

Он поморщился еще раз теперь совсем страдальчески. Помолчал, потом сказал:

— Ну, слушай!

И снова помолчал.

— Ты знаешь, что я написал осенью письмо Габараеву? Ну да, тому самому. Чорт меня дернул... Он выступил в одном втузе — паршивое было выступление. Его покрыли сами студенты. Он потом вносил поправки, уточнения. О чем было выступление, рассказывать скучно. Но несвоевременно оно было чертовски и просто вредно. Ну, словом, я ему послал письмо по этому поводу и тоже его прочистил с песочком. Прошло два месяца. Ответа я, разумеется, не получил. И надо же было: когда я позвонил Цупруну, первое его слово — могу устроить через Габараева. Я наотрез отказался. Тогда уже в личном разговоре у себя Цупрун мне посоветовал ехать в Грозный и устроил это дело. Но я ведь хотел к станку, а здесь

я опять на партийной работе... Ты меня слушаешь, Ольга?

— Да, да, слушаю. Я закрыла глаза, потому что у меня болит немного голова. Говори.

— Так вот, все бы это ничего. То, что я написал, было совершенно правильно, Габараев заслуживал. И какое мне дело, что через него проходят кадры? Но тут есть заковыка. И тебе-то я скажу по совести, Ольга. Я между прочим писал ему, что с тех пор, как его знаю, я его не терял из вида, хоть и не встречались мы лет тринадцать. А выходило это само собой просто, потому что он занимал большие должности. Был ведь он для нас когда-то в вагоностроительных мастерских учителем марксизма. И за тринадцать лет он уже второй раз занимает ложную позицию. А брат Алексей командует корпусом, а Петр директорствует в Кривом Роге, — я партизанничал, стал студентом и за все это время мы хорошо чувствовали генеральную линию партии, хоть и были гораздо дальше от Цека, чем Габараев...

Уманцев запнулся.

Отвалив в Новороссийске, разбрасывал волны океанский «Трансбалтик», двенадцати тысяч тонн водоизмещения, с пассажирами и грузом технического снабжения на борту, — для Сахалинских промыслов, — по курсу Босфор — Суэц — Индийский океан — Малакка — Японское море — Владивосток. И молодые штурманы дальнего плавания ходили по палубе на пружинах неповторимого восторга, предчувствий экзотики самых суровых морей, моржевых бивней, действующих сопков, неверных лоций, с назначением Совторгфлота на камчатские рейсы в кармане.

Уманцев осторожно покосился на жену. Она уже открыла глаза и в этот момент приподнималась на локте. Какое-то боязливое, почти болезненное выражение было в ее лице.

— Степа, ты опять за старое!.. — проговорила она просительно, укоризненно.

Уманцев насупился.

— Причем тут старое? — пробормотал он с досадой.

Она подвинулась повыше в изголовье и, пыгливо рассматривая его, покачала головой.

— Ой, не притворяйся, Степа, я ли тебя не знаю!

— Знаешь ты!.. А если знаешь, так скажи: в чем тут дело? Я рвался в эту поездку. Попасть на Сахалин мне казалось такой удачей — счастьем. Пока я к Цупруну ехал, я успел столько передумать! Совсем другим человеком приехал к нему, а ведь весь день тот какой-то падалью себя чувствовал... Когда выяснилось, что до вызова Цупруна придется работать в Грозном, я и это принял спокойно. Правда, было известно, что Габараев остается в Москве или будет во Владивостоке при конторе. А теперь я слышал здесь, в Грозном, что якобы он назначается в Оху. И секретарь его здесь появился. И вот — тошно мне теперь туда ехать. И если ты в этом видишь старое, так ты ничего не понимаешь. Я тебе говорил и сейчас могу повторить: примирился, оправдываю все, обиды во мне нет.

— Так чего ж ты тогда? Сам-то ты как думаешь?..

Уманцев развел руками.

— Тебе неприятно видеть Габараева?

— Ты не знаешь, что это за человек, — быстро сказал он. — Я его задел письмом, это ясно, иначе он бы ответил, хоть ради старого знакомства. Ну, задел — и задел. Знал, что делаю, такие письма не пишутся для любезностей. А сам-то он!.. Никогда не забуду: был у нас один парнишка, Сенька, токарь тоже; мы с ним с малых лет вместе кавуны воровали. Потом он, когда подрос, больше к эсерам тянул. А в кружке мы одном состояли, у Габараева. И вот, как сейчас помню: в какое его положение поставил Габараев! — Уманцев даже покругил головой в удивлении и усмехнулся. — Он его так расчистил перед всем кружком — пар от Сеньки пошел! А ведь, понимаешь, парень бомбы готовил, динамит где-то хранил... Да, моргал, моргал мой Сенька, а тот все хлещет, все хлещет. Наконец, гляжу, Сенька — в слезы. Да, бомбы и так далее, и позже действительно принимал участие в терроре, а тут вот — кап, кап,

кап — слезы!.. Габараев на него посмотрел и говорит: «Чего сопли распустили?!» Ни слова сочувствия — безжалостный человек! — Уманцев даже злобно оскалил зубы далекому воспоминанию. Построжал лицом: — Все это, конечно чудесно — непримиримость, твердость и все такое, — об этом ли говорить? Но если бы он тогда обошелся с Сенькой немного помягче, не так сурово, — сберег бы партии горячего, но хорошего парня. Что у него — чуткости не было? Нет, не в этом дело. А у него привычка и характер такой — с ножом к сердцу, не с ножом, — с ланцетом! Повелительный, не терпит возражений! Не руководит, а авторитарствует! И как он умеет отделать, расчистить, с дерьмом смешать человека — полемист ведь блестящий. И сколько мне ни приходилось наблюдать, всегда он держал себя так, словно его самого оскорбили. По правде говоря, я не знаю даже точно, что его больше возмущало: неустойчивость людская или же то, что кто-то осмелился пойти против его собственного авторитета.

Поймав прищуренный женин глаз Уманцев вдруг быстро замахал рукой:

— Нет, нет, в те годы он вел безупречную линию... Ну что, Ольга, что ты думаешь — в грозу я попал?

Он натянуто улыбнулся.

Еще было далеко до вскрытия Амура, но гидросамолеты уже испытывались на Хабаровском аэродроме, шли цистерны высококачественного бензина для Николаевска-на-Амуре, Охи-на-Сахалине, Нижне-Тамбовского. Храбрый летчик Михаил Васильевич Водопьянов прибыл из отпуска, ходил с грязными от смазки руками, балагурил возле мотора с борт-механиком: «Ну как, Коля, опять на весь сезон встречные ветры?» — «Наверно... Контакт!» — «Есть контакт! Да, такое уж наше с тобой счастье...»

— Что же ты молчишь? — повторил Уманцев.

— Ты на меня не обижайся, Степа. Если это не совсем старое, то все же возле старого. Не все-то ты в себе подвинул...

— Глупо, глупо, Ольга! — перебил Уманцев грубо, почти злобно. — Что ты

ерунду городишь? Что я должен подавлять? Хорош бы я был!.. Только подавлять, а по сути оставаться тем же! Если ты хочешь, чтобы мы друг друга понимали, то запомни: это я думаю, что был не прав, а не партбюро. Оно вынесло решение по текущему вопросу — и все... А я навсегда думаю, для меня это навсегда урок. И никаких у меня разногласий нет, понимаешь, наконец! Нечего мне и подавлять в себе!

Голос его сорвался. Он вскочил, подошел к столу, взял газету, сердито перегнул ее несколько раз, попробовал остановиться на чем-нибудь, но дальше заголовка прочесть ничего не смог. Стоял, наклонившись над столом, упрямо всматриваясь в газетную печать.

— Степа, — позвала тихонько жена. — Псди сюда!

— Ну? чего тебе?

— Поди сюда... Сядь, вот так. Ну скажи тогда, ну что ты мучишь себя?

— Тяжело мне, — пробормотал он упавшим голосом. — Простить себе не могу. И как я мог быть такой дубиной — написать Габараеву, что это он такой-сякой, а я-то всегда, мол, генеральным шляхом. Ох, ох, ох!.. Как вспомню, так словно мне кто новую пощечину дал. И ты меня опять не пойми неверно: я не плачусь. Нас, таких, нужно бить и бить и еще раз бить! И сам бы бил, да вот другие вовремя помогли. Это вопрос исчерпанный. Но вот Габараев... С какой рожей я его встречу? Представляешь себе, что он мне скажет?! И будет прав. Когда я входил к Цупруну, то до того смалодушничал, что поскорей назвал себя Уманцевым — боялся, что нарвусь на Габарева, — он меня знал Жнецом. Как будто это могло помочь!..

Уманцев взерошил свои еще влажные после душа волосы, так и застыл, подавленный врасплох. Жена протянула руку, погладила его по голове. Он словно не замечал. Тихонько поглаживая, она заговорила успокоительно:

— Ну, будет, будет... Все переживет, все станет яснее, проще. Такие ли трудности бывали, Степа? Ничего?.. Обходилась?.. Были бы силы. А тебе уж гораздо легче тут, чем в Москве

И на Дальний поедешь, и с Габараевым встретишься — ничего особенного. Ведь дело писал? Не будь этого сравнения с собой, так и сейчас подписал бы такое письмо? Ну так чего ж...

Уманцев, отняв руки от лица, смотрел на жену онисходительно, со странным выражением жалости не к себе, а к ней, все ласковой и ласковой ей улыбаясь.

— Ольга, — сказал он вдруг быстро и резко. — Хочешь ты сделать мне хорошее? Тогда вставай и пойдем со мной. Куда? Бродить по заводам. Ничего, что поздно. Как наши матери раньше по церквям ходили. Это мне, понимаешь ли, нужно, вот как нужно! Я давно уже хотел предложить тебе, времени только не выбрал. Ну, как — пойдем?

Он ждал ее ответа с нетерпением, почти со страхом. Взяв мягкие женины руки, он слегка тянул их вверх, понуждая ее встать, неуверенный, поймет ли она его порыв.

— Разве в Москве... разве соберешься?.. — ронял он отрывисто, сбивчиво. — Посмотришь — твердыня... Твердыни нашего класса. Какое небо!.. И голова пройдет... Ну же, Олюшка! Как бывало!

Ее лицо, откинувшееся назад, было еще полно недоверия. Она не сопротивлялась и в то же время не делала усилий для того, чтобы подняться. Но постепенно глаза против воли раскрывались старым, полузабытым чувством, и на слове мужа «как бывало» все лицо вдруг засветилось таким счастливым светом, такими милыми стали пожелтые виски, темные круги на веках, морщинки губ, что Уманцев отпустил ее руки и наткнулся к ней, всматриваясь, как ребенок. Совсем уже другим движением, широким, спокойным и сильным, он приподнял жену за плечи. Лицо ее потянулось навстречу, и первый раз в Грозном, первый раз за много месяцев они поцеловались так нежно, крепко, дружески.

Владивостокские пакаузы ломались от заготовленных грузов, был в разгаре судовой ремонт, возвращались из отпусков матросы, штурманы, капитаны, стивидоры, суперкарго, в городе ожидали вербогальные конторы, готовились

гостиницы, рабочие бараки, на вокзале становилось тесно, поезда выбрасывали дальних — беломорцев, черноморцев, москвичей, донбассовцев, грозненцев.

Уманцевы рука об руку выбежали на шоссе. Далеко влево меркнул огнями город. Прямо перед ними и вправо уходила толпа нефтеперегонных заводов. Гигантские трубы и колонны, освещенные снизу дворовыми фонарями, стояли, как неподвижный стан часовых возле сторожевых костров. Вечные дни легли внизу, во дворах. Тяжелое весеннее небо рассыпало все свои звезды на круглые шатры нефтехранилищ, на млечный путь нефтеналивной эстакады. Уманцевы повернули направо, пошли навстречу заводским шумам.

Дорогу их пересекали то противопожарные каменные заборы, то двойные или тройные паропроводы, — жирными гусеницами они висели над заводской землей, ползли, дружно изгибали дугами свои спины, укутанные в войлок, местами с шипом и свистом парили, покрытые белым мохнатым инеем. Запахи сложились: пахло то прелой резиной, то сухим паром, то керосином, лигроином, то острыми испарениями легкого бензина. Заводы казались пустыми. Казалось, что ночная охрана сторожит покинутый и перед уходом жарко натопленный, ждущий гостей дом, — так мало было народа.

Дежурный инженер Твердышев кивком головы принял Уманцевых, без слов поняв, зачем они здесь, и все втроем прошли через сортировочную в центр установки. Они попали в переплетения труб, несущих нефть. Здесь трубы пронизывали землю, наполняли пространство, вздымались вверх, складывались в батареи. Легкие железные переходы, лестницы вились многоэтажно вокруг могучих колонн. Закупоренным ураганом рычали форсунки огромной печи, нагружая воздух и здания подавленной дрожью. Все кругом было наполнено нефтью, ее фракциями.

Мазут нагнетался сюда насосами пушечной силы и тяжести. И сразу же его встречал обратный поток, уже вырвавшийся из раскаленной печи, из недр трубочаток, эвапоратора. Нагреваясь в

противотоке, мазут бежал дальше под давлением в сорок атмосфер. Он пробивался сквозь трубы в печь, подобную огромному крематорию. Добела раскаленные форсунками стены сияли изнутри сквозь глазок, как белый рычащий ад. В грибах протуберансов здесь начиналось расщепление молекулы. Здесь термометры показывали температуру, близкую к тысяче градусов, автоматически регулируя подачу горючего. Кочегар гулял, заложив руки в карманы, изредка поглядывая на кривые приборов. Нефть подстегивала самое себя, как осатанелый парильщик в бане, как иступленный факир. Нефть кружилась по трубам, распаялась и бросалась отсюда в эвапоратор, в трубочатки, в холодильники, уже расколота на фракции. Но по дороге успевала столкнуться со своим же еще холодным хвостом и укутить его дыханием огня, предсмертного распада.

— Пойдем наверх, — сказал Твердышев, махнув рукой в небо.

Уманцевы шли за ним по тонким, упругим, как струны, железным лестницам, по железным мосткам, брошенным через головкружительную духоту огромных курящихся холодильников, мимо нагретого железа, мимо извивающихся труб и кранов. Чем выше, тем становилось темнее. Черный ветер все сильнее налетал то со Старых промыслов, то с тех холмов, за которыми когда-то Гикал с партизанами ожидал от грозненцев сигнала к началу восстания, к бою с белогвардейцами. Ветер свистел, унося шум форсунок, срывая голоса. Твердышев, наклоненный над тонкой чертой перил, широко разводил рукой, объясняя процесс крекинга сверху. Уже вся установка была внизу, в ногах.

Оборвав на полуслове, Твердышев пошел выше. Степан Уманцев пропустил жену вперед и шел за ней следом, держась обеими руками за поручни. Уже наступала та высота, когда нервы сообщают телу какую-то особую невесомость. Фигура жены, поднимаясь прямо перед ним в высоту, казалась невозможно хрупкой. Ветер трепал ее юбку, по временам задевал Уманцева по лицу. Уманцев боялся, что у нее

закружится голова. Но вот вышли на последнюю площадку и остановились молча у перил — выше было небо, и красный флаг на вершине колонны трепетал в его темноте.

Теперь весь заводский район был внизу. Даже громады соседних установок казались ниже. Залитая огнем эстакада вытянулась вдоль железной дороги, и поздний поезд проносился мимо ярлыками освещенных окон. Гнездом исполинских грибов теснились нефтехранилища. Стан перегонных заводов и крекингов замыкался далеко, на горизонте Теплоэлектроцентраля. Все было освещено, иллюминировано, бессменным праздником. Только дальше, где кончалась черта производства, на окраинах района, повисал мрак.

— На девять десятых этого не было! — крикнул Твердышев сквозь ветер, обводя пространство рукой.

Ольга прижалась к мужу, и вместе с теплом ее Уманцев вдруг расслышал:

— О, Степане, та гарно ж мы працюемо по усий краине!

Он нашел ее похолодавшую руку, спрятал вместе со своей в карман пальто и еле слышно ответил:

— Ще гарний будемо працювать та будовать, моя любя, моя ридна!

Робким движением она вынула из своего кармана кусок печенья и дала его мужу. Уманцев поразился, до чего это движение повторило давнее, полузабытое. Так же вот было, когда первый раз он привел ее, тогда еще девушку, библиотекарушу, привел в вагоностроительные мастерские. Они стояли тогда в горячем цеху, она смотрела на все широко открытыми, красными от зарева горнов глазами и, порывшись в сумочке, достала две конфеты — себе и ему. С тех пор это повторялось не раз: после демобилизации в Харькове, потом в Крематорской, и в начале жизни в Москве хоть один день в году они выбирали для того, чтобы притти свободными от работы в какой-нибудь цех большого завода, подышать его сумерками, металлическим лязгом, чадом напряженного физического труда. И каждый раз Ольга припасаала в карманах орехи, яблоки или конфеты, чтобы найти

их как будто нечаянно во время осмотра. С годами эти вылазки на производство, хранившие отблеск первых общих чтений классиков марксизма, становились все реже. Обоим являлись заводы, но порознь, в буднях, в рабочей нагрузке. Первый раз за много лет были они снова вместе, не призванные никакими обязанностями, в гуще заводских дыханий.

До глубокой ночи бродили Уманцевы по установкам. Они побывали на парафиновом заводе, на строящемся крекинге, обошли допотопные, кирпичной кладки масляные заводы. Они даже прошлись по нефтеналивной эстакаде, словом, всюду, где находил Уманцев знакомых или где достаточно было его пропуска. Только в Теплоэлектроцентраль им не удалось попасть. Сверкающие ее этажи так и не открыли своих дверей: «Вот паразиты, грэц с ними!»

Подходя к дому, Ольга падала от усталости. Но было в ней столько вернувшегося девичества, что Уманцев поднял ее на руках по лестнице на второй этаж.

Взрывая глубочайший снег, слежавшийся за зиму до ледяной твердости, Оха строила эксцентрики, затаскивала по сопкам среди буранов котлы для кочегарки, прокладывала трубопроводы, изолировала, — цементные работы велись в отапливаемой палатке. Лесопилка не пела, треть охинцев прожила первый квартал зимы в палатках, обогреваемых всеми способами — от паропроводов до примусов, каждый мешок опилок разрывался между отоплением труб и фаршированными постройками. Но уже собран был тресконовский металлический дом механической мастерской, в мерзлой земле укреплен каркас, устанавливались станки, и к концу зимы жилищная площадь увеличилась вдвое.

VI

Такси подвезило Захаровых к вокзалу, норовя занять свободное место у под'езда. Тотчас же рядом, загородив путь к под'езду, остановился щеголеватый лимузин «Вива стэлла», иссиня черный, сверкающий зеркалами окон и

никелем отделки. Несколько грузный, высокий мужчина в мягкой шляпе указал подбежавшему носильщику на тяжелые свои чемоданы и вышел, попрощавшись с шофером рукопожатием. Только после того, как лимузин отъехал, Захаровы смогли войти в вокзал.

Оставалось двадцать минут до отхода экспресса. Но Илья Михайлович нервничал. Казался ему запас времени непропорционально малым сравнительно с дальностью предстоящего сыну пути. Он несколько успокоился только тогда, когда вещи Николая были водворены в вагон.

По перрону шмыгали пассажиры, носильщики, разносчики газет, однако сутолоки не было: посадка дальнего поезда проходила деловито. День был в полном разгаре. Радостное солнце, отражаясь от светложелтых вокзальных стен, бросало на все веселые, яркие отблески. Вдали семафоры вздымали к голубому небу черные руки.

Захаровы ходили в прощальной прогулке вдоль поезда. Шумно дышащий паровоз, номера вагонов, и надписи «Столбе — Владивосток» попадали в круг внимания вместе с отдельными разноголосыми свистками и гудками поездов соседних платформ. Стрелка электрических часов вздрагивала неспешно, но неотвратно. Прогулка становилась споргом выдержки.

— Напрасно ты все же отказался от моей походной кровати, — говорил Илья Михайлович, — в Минске я ее... И старенькая она уже. Но пригодилась бы тебе в тайге. Бога ради, будь осторожнее на пароходе: держись около спасательных кругов. Неровен час, знаешь ли...

Звонок заставил его вздрогнуть. Он настоял на том, чтобы сын шел на площадку вагона. Попрошались троекратным крепким поцелуем. Илья Михайлович поправил на голове теплую шапку и остался на перроне.

— А кровать ты побереги, — сказал Николай уже сверху, с площадки, — через два года я ввалюсь к тебе. Тогда подумаем, куда вместе податься.

— Да, да, — ответил отец и махнул рукой.

Пассажиры вагона и провожавшие затолпились около входа, разделили Захаровых. Илья Михайлович отступил подальше. Седой, нахохлившийся, он стоял под солнцем, и лицо его было встревоженным, почти испуганным. Через головы провожавших, сквозь гул общих восклицаний Захаровы обменивались последними прощальными фразами. Их связывали впрочем не слова, а взгляды. Николай изо всех сил всматривался в отца. Огромная напряженная мысль поглотила его. Она состояла вся из тысячи неясностей. В нее входило и красноватое шерстяное кашне, кусок которого виднелся из-под воротника отцовской шубы, и порыжелая отцова шапка, и положение рук его, сплетенных на животе пальцами грубошерстных перчаток, и десять тысяч километров пути, и двухгодичная глыба времени, и грозненская квартира, от которой он отказался. Ничто отчетливо не создавалось, вернее не допускалось в светлое поле мысли за ненужностью. Тут же, подле, сторожили и еще какие-то ощущения, совсем уже неясные. Но был еще подспудный напор чего-то очень важного, вот-вот готового выплыть наружу. Вдруг как будто стало ясно — отец шевелит седыми небритыми губами и за общим гулом неслышно произносит: «не медикаментами».

Несмотря на очевидную бессмыслицу этих слов, несмотря на то, что Николай хорошо знал и услышал произнесенные в действительности иные слова: «Пиши же!» — «Непрременно! И ты!» — «Телеграфируй с острова сразу же!» — «Да, да. Я тебе пришлю посылкой торбоза...», несмотря на это, Николай отложил куда-то странное отрицание «не медикаментами», чтобы разобраться после. Мгновенно он очень ясно представил себе отца, одиноко возвращающегося домой, как стоит он посреди Каланчевской площади, окруженной башнями вокзалов, как долго поджидает трамвая, какой посподнее, чтоб не затолкали, не сбили с ног, как входит он торопливо: «Товарищ кондуктор, это, того, четвертый номер?» — «Что же вы, гражданин, не видите, куда садитесь? Ясно, четвертый!» — «Я вижу, но неужели не-

льзя проверить? Дайте мне, того... билет. На Никитской я выйду и пойду дальше пешком» — «Пожалуйста, хоть в такси...»

Раздался резкий свисток. Поезд тронулся тотчас же. Илья Михайлович вздрогнул, рот его растерянно полуоткрылся, медленным, старческим движением он снял шапку и нахлобучил ее.

— До свидания, дорогой, до свидания! — крикнул Николай.

Навстречу входил проводник, запирает двери, перрон заскользил в сторону, поезд отрывался от Москвы.

«Ах, как несвоевременно я его оставил! — подумал Николай, уткнувшись в угол дивана в купе. — Так что же это значит «не медикаментами»?»

И вдруг яркий ком вспыхнул сам собою: «Какие там медикаменты?! Не выживу! Не дождусь, не увижусь, — это же ясно, — это он хотел сказать!»

Экспресс ускорял свой ход, мчался с завыванием мимо мелких станций, а Николай, совершенно расстроенный, все блуждал вокруг слов «не медикаментами», «не дождусь», «не смогу», хорошо зная, что ничего подобного не было произнесено, что отец всегда твердо ориентировался на столетний век жизни.

Пропустив обеденное время, только к вечеру собрался Николай в вагон-ресторан. Там было почти пусто. Официанты подготавливали столы к ужину — меняли скатерти, расставляли цветы и пирамиды вин. Только в дальнем отделении засидевшаяся у стола компания продолжала громкий разговор, прерываемый иногда взрывами смеха. Заказав ужин, Николай уткнулся в книгу, взяв как дорожное чтиво — тягостное впечатление от прощания с отцом все еще угнетало его.

— Мы с вами, кажется, знакомы? — вдруг услышал он над ухом.

У столика стоял с протянутой рукой бледнолицый молодой человек в спортивном английском костюме, с торчащим из кармана вечным пером, тот самый, о котором дядюшка и Уманцев, и движенье бедрами в Доме советов, у Цу-пруна...

— Стрекопытов Иннокентий Иванович, — назвал он себя. — В нашем ва-

гоне — мы в международном — трое едущих в Оху. Виталий Петрович Габараев и все мы просим вас присоединиться к нашей компании.

Не больше двадцати пяти лет можно было дать Стрекопытову, но во всех повадках его сразу же чувствовалась привычная дисциплина, расторопность многоопытного распорядителя банков, исполнительность ничего забывающего порученца.

— Благодарю вас, — отвечал Николай. — Я заказал уже ужин, мне его подадут сюда...

— Я сейчас скажу, чтобы подали за наш стол, — быстро предложил Стрекопытов, и, прежде чем Николай смог отозваться, он уже летел к официантам.

Поморщившись от этой услужливости, Николай захлопнул книгу и в сопровождении неожиданного парламентаря отправился к дальнему столу.

— Позвольте вас познакомить, товарищи, с буровым инженером Сахалин-нефти Николаем Ильичом Захаровым, — твердо отрекомендовал Стрекопытов.

Крупный мужчина, в котором Николай узнал седека «Вива стеллы», загородившего дорогу к вокзалу, протянул большую, белую, мягкую руку, просто сказав: «Габараев» — и тут же указал ему на стул возле себя свободным гостеприимным движением. Вторым за столом сидел Федор Федорович Ро. Третьим был комдив Дьямидзе, весь циркулем сделанный, жернастый, смуглый, с серебром в черной щетинке черепа, с орденом на гимнастерке. Порожние бутылки нарзана и недопитые стаканы чая на столе напоминали о давно оконченном обеде. В пепельнице лежала гряда окурков.

— Нам три недели быть вместе в дороге, — обратился Габараев к Николаю, — и, быть может, годы на острове. Я рад с вами познакомиться. Давайте водить компанию, дружить.

Вполне непринужденная приветливость с едва заметным налетом привычной снисходительности слышалась в словах Габараева. Яблоки щек крупного его лица играли румянцем, густая, темная шевелюра была всклокочена, бородака подстрижена коротким клинышком, гла-

за мягко поблескивали из-под золотых очков. Слегка небрежно сидел он на стуле, небрежно был повязан нарядный его галстук.

— Федор Федорович, — повернулся он к Ро, — не закажем ли мы кофе? Чем-нибудь нужно ведь время занять... Между прочим, простите за анкетный вопрос, кто ваши предки, какой национальности? Этот вопрос мне навязчиво подсказывает необычное звучание вашей фамилии.

— Кто-то из прадедов был кажется немцем.

Ро был настроен, видимо, вяло и даже угрюмо, — чувствовалось по голосу.

— Значит, надо думать, какое-то окончание, может быть, буква «р», было позже утрачено. А сейчас она рождает, пока не привыкнешь, причудливые ассоциации. Еще раз прошу прощения за предмет разговора, но в ней мне слышится и что-то богоподобное, вроде египетского благодетеля, и что-то роковое...

С детства ли знаемые языки, долгий ли стаж внешторговской работы, но некоторые слова, в особенности иностранные, звучали в габараевском произношении мягче московского. Так, совершенно смягченно стекло с его губ окончание слова «ассоциация». Еще Григорий Уснеевич, черноволосый, жестковолосый, курчавоволосый несдержанный и даже злорадный порой в общежитейском споре, проездом через Петербург, из ссылки в бега, в эмиграцию, поддразнил: «Когда ты отучишься: революция, понимаешь, социализм!» — «Это в Красноярске тебя утвердили в привычке вульгаризировать?..»

Габараев взглянул в окно, на несущийся по стеклам ресторана сумеречный пейзаж ярославских полей.

— ... И еще мне напоминает она трагические сутки, превосходно описанные у черносотенного историка Луи Мадлена. Не нам бы конечно читать непотребного этого французика, ибо народец мы несознательный, маловыдержанный, — не правда ли, Кеша?

Захаров с удивлением оглянулся, ища лицо, к которому обращено было полу-

имя, и заметил, что Стрекопытов, улыбаясь, кивнул головой.

— Итак, помните? Конвент: опустелые скамьи горы, трепещущая жиронда. Собственно говоря, они уже сливаются в «болото», то «болото», которое позже будет трусливо соглашаться с качелями Директории. Робеспьер стоит перед Конвентом и держит в руках свежий длинный список обреченных. Все с ужасом ждут, кого он назовет. Каждый ожидает услышать свое имя. Карно, Баррер и другие, участь которых вне сомнения, сжимаются в тесную кучку. Но он не называет. Он требует санкции предварительной. Тогда ужас собрания вырастает до предела. Не своими голосами, не со скамей, а с эшафота, с яростью влекомых на гильотину, члены Конвента требуют зачтения. Пока это только нетерпеливый вой жертвы, которая мается в предчувствии смертного приговора. Но через минуту становится слишком ясно, что жертвой себя чувствуют все. Робеспьер медлит и — все сливается теперь в гул угроз. Его теснят, он кидается к скамьям горы. Но отсюда еще недавно Дантон перед своим обезглавляем рычал ему голосом трибуна в лицо: «Ты — чудовище, Робеспьер!..» Кинжалы уже занесены, дело решается быстро. Вы помните: перед гильотиной Робеспьер проводит мучительные часы в мерии. Здесь требуют от него подписать документ, формулирующий его виновность. Единственный человек, который мог бы еще его освободить, начальник гвардии Генрию, так пьян, что, пытаясь сесть верхом, падает с лошади... Спасения нет ниоткуда. И Робеспьер уже заносит перо для подписи!.. Раздается выстрел...

Габараев, как будто не вспоминая эти события, а воображая, с паузами отрывочно набрасывавший руками картину последних часов якобинца, вдруг тихонько коснулся рукава Ро и кончил задушевно:

— ... Он успевает написать только вашу, Федор Федорович, фамилию: Ро.. Пуля жандарма, разбившая ему челюсть, дала другое направление его мыслям.

Ро, словно очнувшись, не сразу улыбнулся. Какая-то тень пробежала по его

лицу. Габараев посмотрел на него, прищурясь, и разгладил усы.

— Не сердитесь, — сказал он, — это не фантазия, документ этот сохранился и вспоминается поневоле... В котором вагоне вы едете, товарищ Захаров? — вдруг круто перебил он себя.

Николай назвал. Вопрос был праздным и, как понял Николай, задан лишь для перемены темы. Действительно, Габараев тут же похвалил обслуживание поезда, сравнив его с заграничным, а затем разговор перешел к автомобилю, трактору. Припомнили, что на Охинском кайгане трактор обслуживает береговые работы. По рассказывал о работе тракторов в лесу. Комдив Диамидзе привел технические данные танков, принятых в иностранных армиях.

— Верно ли, что нынешние оборонительные средства пасуют перед наступательными? — спросил Габараев.

— Да, если учесть возрастание силы артиллерийского огня, моторизацию армий, воздушные средства, танки, — да, очевидно, это так.

Диамидзе как-то скромно признал этот факт, словно бы и не придавая ему особенного значения.

— Но ведь в таком случае мы — перед лицом замечательной технической эволюции, — проговорил Габараев. — Согласитесь ли вы со мной, товарищи техники?

Он обвел всех взглядом. Все поняли — взял слово. И, так как в вагоне в это время зажгли свет, завесили окна, и, так как поезд, дребезжа и пошатываясь на бегу, только начинал многосуточный рейс, привычка Габараева владеть разговором для себя, для своих высказываний никого не тяготила.

В прошлом, когда дружбы еще кое-что значили, — кто не бывал молод! — узнав о том, что Вадим Николаевич Подбельский возвращен под надзор в Тамбов, Габараев отдал долг гимназической близости, с'ездил в город мальчишества, косовороток, девятьсот пятого, фон-дер-Лауница, восьмого параллельного, исключенного за бунг, и, застав Подбельского фактическим редактором «Тамбовского листка объявлений», прозел там неделю: по Цне ездили в при-

городный ресторан «Эльдорадо» — было лето реакции...

— Около восьмисот лет тому назад (если я навру, то прошу меня поправить) примерно по этой же дороге навстречу нам двигались монголы. — Габараев потянулся к окну, приподнял зачем-то занавеску, словно монгольские орды и сейчас еще продолжали несметное свое переселение, и все увидели за занавеской темное, как негатив, стекло с косыми брызгами воды: шел дождь. — Только путь, на который мы истратим десять дней, стал им чуть ли не в двести лет. — Габараев бросил занавеску. — Движение разбилось о стотысячную армию венгерских рыцарей. К чему я это? А к тому, чтобы отметить: культура кочевая разбилась о культуру стационарную... Скажите, товарищ стратег, — обратился он к Диамидзе, — не можем ли мы на основании истории войн от сотворения мира сделать тот вывод, что, в сущности, все военные усовершенствования сводились лишь к тому, чтобы камень, зажатый в руке троглодита, приблизить к черепу противника? Возьмете ли вы пращу Давида, скифский лук, римскую катапульту — все одно и то же. И сейчас принцип остался тот же: бросить на расстояние динамическую силу, сообщенную пуле, снаряду, mine. Точнее: передать на расстоянии движение. До последних дней это — главная цель собственно военного ремесла...

— А как же химические газы? — вдруг подал голос Стрекопытов.

Габараев поморщился — не любил, когда его перебивали. Он посмотрел на Стрекопытова тем долгим участливым взглядом, который без слов означал бы у врача, что больной безнадежен. Под этим взглядом Стрекопытов ополз на стуле, вновь выпрямился и вновь ополз. Поймав общую мимолетную улыбку, Габараев улыбнулся сам и воскликнул с комическим ужасом:

— Под чьим влиянием вы воспитываетесь, молодой человек?! Неужели вам не случалось читать у классиков, что химические явления, как и всякий другой способ существования материи, это движение? Кеша, Кеша! По приезде

в Оху не забудьте просить секретаря партячейки, чтобы он обратил на вас внимание.

Он шутиливо сдвинул брови, а Стрекопытов и в самом деле, кажется, готов был схватиться за вечное перо и для памяти записать о необходимой явке к секретарю. Или по крайней мере сказать в свое оправдание: «Конечно, разумеется, я понимаю, но мне показались...» Впрочем Габараев уже не обращал на него внимания. Это была слабая тень тех дней, когда Стрекопытов впервые стал спутником светила еще в штабе вохровской группы, еще будучи занюханым неврастеническим пареньком, на которого обрушивался весь тяжелый характер начукрепрайона Габараева рыком из кабинета: «Иннокентий Иванович, наверните по телефону хвост командиру кавполка за неумелую разведку!» — «Слушаю!.. Алло! Товарищ комполка! Алло! Товарищ комполка, здравствуйте, говорит для поручений при начальнике укрепрайона. Товарищ Габараев приказал обратиться ваше внимание...» — «Рр... ррр!! (это из кабинета)...» — «Поставить вам на вид...» «Рр... р! Иннокентий Иванович, не беритесь, чорт побери, раз не умеете!» — и это из кабинета вслед рычанию топали тяжелые шаги, крупная рука выхватывала трубку у побелевшего губами порученца: «Говорит Габараев!!! Безобразно ведете разведку, товарищ!!! Я вас под суд отдам! Не умеете наладить дисциплины!..» И месяц учебы хоть куда вышколил порученца в умениях «надрать хвост» самому боевому командиру, «отбросив интеллигентщину», однако самому Кеше лица не придал.

— Я потому и говорю о завершении эволюции, — продолжал Габараев не спеша, — что теперь проблема перенесения движения обострена до крайности и принципиально вчерне решена. Дело получило, быть может, первый решающий успех с локобиля. Танк и трактор дали дальнейший могучий толчок...

Вагон-ресторан успел заполниться ужинающими пассажирами; ближние столики оказались сплошь занятыми, и соседи поневоле прислушивались к плавным, округленным периодам, из которых

строилась речь Габараева. Его это не смущало. Ему, быть может, даже нравилось и было привычно служить центром внимания. Он легко и, чем дальше, тем беспричиннее перекидывался от вопроса к вопросу, вспоминал Западную Европу, которую повидал немало, и вдруг мимоходом набрасывал характеристику делегатов Генуэзской конференции, очень живо, со множеством бытовых смешных подробностей.

Он был в конце концов мил и обаятелен, знал это и хотел этого. Балованные морщинки играли вокруг его глаз, большие щеки были румяны, могучи своим здоровьем.

Эти щеки когда-то из года в год загорали на цинских берегах, под лучом среднерусского солнца, в поездках на лодке по Узкому и Широкому проливам, в купаниях под монастырем Трегуляем. К острову Осенник, что за Чугунным мостом, мальчишеская орава скользила на плоскодонках, и по-взрослому серьезно на носу стояли кошёлки со снетью, маленьким, тусклым самоваром, со связанными пучками удочек поверх них, — чтобы заночевать, опустить по берегам десятки лесок со звонками, с наживой на окуня, сома, щуку, чтобы варить кулеш, пахнущий костром, черпать в самовар речную мягчайшую воду и на рассвете привезти домой добычу — судака да мелкую плотву. Город под розовыми ударами зари стоял на высоком нагорном берегу сказочно-сонным, поскрипывали уключины, плескалась молочно-теплая вода, брызгая на руки в комариных укусах, и Вадим Подбельский выпуклым неподвижным взглядом не мог оторваться от вала синих лесов в окоме, — мудрено ли потом, в леторсакции, очутиться с товарищем за столиком цинского ресторана?..

В голове Николая все время вертелась мысль: какая нелегкая толкнула Габараева — крупного и даже блестящего по первому взгляду работника — бросить центр и стремиться на далекую окраину, не будучи специалистом по нефти. Казалось: свойственно ему вести многолюдные заседания, где скрещиваются общие интересы и тем самым как будто огжаты от практического опыта

тенденции; привычно — руководить сферой принципиальных решений широкого масштаба; просто и уместно — возиться с запутанными формулировками, приводить их в ясность, выхватывать из вороха сказанного тезис, кратко резюмировать и, налету поймав нужное, исчерпать вопрос в заключительном слове. Было трудно представить себе Габараева в кабинетной обстановке согнутым над кипой источников, документированных материалов. Скорей рисовался он сидящим у письменного стола, опершим руки на подлокотники кресла и надиктовывающим стенографистке очередную статью, а Кеша Стрекопытов — подле, летающим по требованию за книгами от полки к полке, чтоб сдать отчеркнутое место на ремингтон. Но вообразить, что где-то в Охе или, быть может, даже в Широкой Пади эту мягкую сорочку увидишь рядом с расстегнутым воротом Волкового, этот ботинок рядом с резиновым сапогом на таежных торфах?

Николай попробовал навести разговор на заинтересовавший его вопрос, однако из этой попытки ничего не выходило, и, право, он должен был винить собственную неумелость. Габараев каждый раз уходил в сторону, совсем непринужденно увлекаясь попутными вещами. Наконец Николай спросил прямо:

— Скажите, вы первый раз едете на Дальний... и вообще меняете столицу на до-юрскую обстановку?

— Не только не в первый, но даже и не на до-юрскую, — смеясь, откликнулся Габараев. — Спросите Кешу, он вам расскажет подробнее о походе нашем на речном колесном пароходе в Петропавловск-Камчатский. Скажу без бахвальства — легендарный поход! О нас наверно орочены сложили былину.

Глаза Габараева блеснули веселым воспоминанием тревоги и безрассудства, пляшущих вокруг утлого днища валов, обнаженных, вертящихся в воздухе колес, суматохи, непрерывных докладов капитана: «Товарищ начальник экспедиции, судовой комитет просит вас сделать доклад!..» — «Плевать. Не стану!» — «Есть!..» «Товарищ начальник,

радио с берега». — «Дайте сюда... Плевать!» — и блески в глазах погасли.

— Можно догадаться, что вам понравилось и вы с удовольствием возвращаетесь к тем же морям, в ту же обстановку, — еще прямее и ближе к теме подходил Николай.

— Вы думаете? — Габараев быстро взглянул и, отведя глаза, вдруг стал спокойно важен. — Конечно, не буду спорить, я не без приятности увижу снова сопки и дикий берег. Но дело же не во вуайаже! Просто я понял, что в центрах наших созрело уже много новых сил, которые не только замечательно уверенно, но и вдохновенно работают. Безлюдье первых лет революции, неумение смешились в центрах, быть может, даже избытком народа, понаторевшего в вопросах управления. И я почувствовал, что можно наконец подумать и об окраинах. Вот где нужна культура!.. Ох-ох-ох, как нужна!.. Ну, и, само собой разумеется, я солдат партии.

Он на минуту прылок и потом живо обратился к Ро:

— Да вот кстати о культуре. Мы с вами, товарищи, очутимся за девятидесятилетней пробкой льдов. Там, поверьте, удельный вес каждой культурной единицы поднимается непомерно. И в то же время страшно вырастает тяжесть среды, оторванность, сопротивление природы труду. И я предлагаю, товарищи, предвидя это, немедленно тут же, в загоне, всем нам, едущим на промысла, заключить союз, дать друг другу анцибалову клятву в том, что мы будем беречь культуру, хранить ее от косности, опускания, тяжестей быта и сопротивления среды!

Неожиданное свое предложение Габараев внес весело, улыбаясь, но совершенно серьезным и даже горячим тоном. Ро, до сих пор сидевший как будто лишь затем, чтобы не возвращаться в надоевшее купе, вдруг оживился.

— Я от души принимаю и поддерживаю ваше предложение, — проговорил он с видимым удовольствием. — Как странно: вы выразили то, о чем я как раз сейчас думал. Мы-то, промысловики, знаем это хорошо на собственном опыте, что это значиг, когда все в неф-

ти, когда не вылазишь из спецовки, когда некогда взять в руки книгу и, главное, когда кругом все обращено только на стройку и стройку без конца, — столько-то вышек, столько-то свай, такая-то кубатура машинного, столько-то километров паропровода...

— Да, это можно синтезировать и не промысловнику, — отозвался Габараев. — Фронт культурный — один из наиболее тяжелых у нас, если не самый тяжелый. Есть большое противоречие между стройкой и культурой. И дай бог в условиях стройки сберечь ее, сохранить кадры и преемственность для лучшего времени, более легкого...

С новой темой разговор сразу убыстрился. И незаметно для Николая подошедший официант откупорил вино. Позже оказалось, что знак к этому подал Кеша Стрекопытов.

— Итак, за лучший союз, товарищи, за лигу! — провозгласил Габараев шуточно и тепло. — Товарищ комдив, подержите и вы наше начинание.

Диамидзе собрал морщинки возле глаз и заметил:

— Разумеется. Я убежден, что оно будет успешно. Я хотел бы уметь так же легко разгадывать врагов, как вы — друзей.

На что Габараев отозвался:

— Враги, видите ли, скрывают свои действия, друзья же — наоборот. Уже поэтому вам будет труднее.

Отпивая вино, Николай заметил, что конечно же Габараев хочет подчеркнуть необходимость серьезного отношения к поднятому стаканчику напареули, что проглотил он терпкий пурпур с легким принуждением, но до капли.

— Фу, какую перекись вы выбрали, Кеша, — заметил он, поморщившись.

Николай увидел, что и Федор Федорович Ро осушил свой стаканчик с жестом подлинного обряда. Стрекопытов ожидал, смотря на Николая. Тогда Николай допил вино с задержкой, чувствуя, как сжались внутренние тормоза.

«Удивительно, — подумал он, — пьют так, словно надувают друг друга. Конечно каждому из нас это очень дорого и дьявольски трудно — итти не то в Гиперборею, не то в Индию с обозом,

кораблями, слонами, конницей, с ионянами и финикийцами, итти со знаменами и не растерять этих знамен. Длительное в веках, завещанное веками и пронесить вперед, не растрачивая, а накапливая. Но ведь за знамена-то и умирают. И это само собой разумеется. А Габараев кричит: рыть окоп вокруг знаменной сошки. А Ро делает вид, что ломает сам свою шею, как медведь в зверинце за кусок сахара. А Кеша Стрекопытов — это-то еще что такое?»

Тотчас же вагон-ресторан словно удалился от него, как если бы Николай взглянул в перевернутый бинокль. Все оставалось попрежнему: зеркальные окна, медная отделка дверей, лампочки на потолке и в стейнжис бра, одетые, как вундеркинды, в белые, кружевного стекла, воротнички, цветочные горшки с бантами из крашеной стружки на тесных столиках, — все это вместе с ужинающими пассажирами пошатывалось, шумно несло, вваливалось в продолжение глубокой ночи железнодорожных перегонов. Но видел Николай все это как бы со стороны, хотя и очень резко. В продолжении разговора он почти не участвовал. Вагонный сосед Ро, комдив Диамидзе, вскоре ушел, а Габараев теперь неумоимо вспоминал какую-то общую с Федором Федоровичем знакомую певцу.

Казалось, Ро был очень доволен встречей с таким спутником и собеседником. Казалось даже, что у него было большое желание продлить и укрепить так случайно и хорошо начавшееся сближение. Габараев и Ро шли друг другу навстречу с обоюдным желанием. Николай почувствовал себя забытым и одиноким. Впрочем он не испытал при этом никакого сожаления.

Ему стало даже весело. Кеша Стрекопытов дохлопал в одиночку напареули, и, глядя на него, Николай остро заметил потешное восхищение, с каким тот слушал Габараева. Ему вдруг захотелось сказать Стрекопытову какую-нибудь дерзость. Не успев себя сдержать, он почти вызывающе назвал его с полуимени:

— Кеша, передайте, пожалуйста, мне нарзан.

К его удивлению, Стрекопытов не только не обиделся, но даже вслед за этим раза два обратился к нему на «ты», приняв полумия за попытку обличения, после чего Николай поспешил вернуться к чопорной вежливости.

Так затянулись эти вагонные, ресторанные разговоры, вплоть до того часа, когда официанты стали убирать на ночь скатерти со столиков и надо было расходиться по своим купэ, а все шутил, каламбурил и острословил неутомимый в тот вечер Габараев.

Подобный-то разговор в цинском ресторане «Эльдорадо», на столиках, широко раскинутых под дубами, в то памятное лето реакции и проморгал ресторанный стражник по причине, вполне уважительной: в голову не могло притти, что редактор «Тамбовского листка объявлений» Вадим Николаевич Подбельский, приехавший на моторной лодке с отменно одетым Габараевым, здоровавшийся с самим хозяином ресторана, как со своим постоянным заказчиком на рекламу, что он — поднадзорный. Они сидели за столиком у самого берега, говорили долго вполголоса, и после фразы Габараева: «Ты все, Вадим, специяльную литературу почитываешь, а так, за политикой, можно проморгать жизнь и общее ее движение вперед!», фразы, сказанной с жалеющим превосходством, беседа могла бы оборваться на середине уходом Подбельского, порывисто, не прощаясь, бросившегося к пристани. Но катер отплыл не скоро, Габараев приехал повидать товарища не для того, чтобы вздрогнуть, и выслушал терпеливо все укоризны, все упреки в капитулянтстве и бытовом разложении, однако добился примирения, хоть этот пункт спора и ключительная фраза Вадима Николаевича: «Смотри, как бы ты из-за общего движения не проморгал единственно верного!» — запомнились на всю жизнь как признак собственной, неразделенной, тем не менее верной позиции. Да, революция трагична, ей имманентна трагедия...

Николай вернулся в купе с какой-то оскоминной от долгих и бесплодно-напряженных разговоров. Возвратившись

к своим мыслям, он вспомнил о телеграмме, которую хотел отправить Катюше из Свердловска, и это было для сознания, как умывание после горячего пыльного дня.

«Вот видите, я пришла вас проводить, хотя вы не потрудились уведомить меня о дне и часе отъезда. — «Я не мог надеяться...» — «За это я и пришла после второго звонка. И если вы хотите, то можете мне написать с дороги, и свой сахалинский адрес». — «Я напишу...» — «И если вы напишете, и если будет интересное письмо, и если...» — «У меня цены без запроса, Катюша». — «Ну да, я хотела сказать, что все равно не отвечу. Что вы смотрите на подснежники? Это мне Симеонянц поднес». — «Прелестные». — «Ах, боже мой, что же вы стоите, как пенек?! Ведь уже свисток был! Ну, не сердитесь, мы не увидимся долго-долго, может быть, никогда...» — «Еще паровоз даст свисток». — «Ах, да идите же, возьмите подснежники и только идите в вагон!.. Ну, скорее цел... Ну, сумасшедший! Ну беги, беги теперь!..»

Николай Захаров который раз улыбался в вагоне, смущенно отвернувшись от соседей или делая вид, что смеется над раскрытой книгой. И не потому, чтобы так решил, а потому, что так само собой вышло, он опередил на следующий день Габараева и Ро, пообедав до их прихода. Но когда это повторилось еще два дня под ряд и когда Стрекопытов поймал его наконец за ужином вопросом: «Что это вас не видно?», он понял, что избегает встреч. Отговорившись чтением, он не солгал: в самом деле, у себя в купе он проводил целые дни за английской книгой. Для себя же совершенно достаточной причиной и объяснением оказалось простое нежелание жертвовать свободой своих занятий.

Все же в транссибирском экспрессе невозможно проехать до Тихого океана, не встречаясь. Иногда это было случайно, иногда заходил посланцем Кеша Стрекопытов, и Николай не уклонялся от обедов за общим столиком. Габараев бывал неизменно приветлив, все больше располагая к себе. Впрочем дружба его с Ро росла несравненно быстрее.

Проезжая уже по Забайкалью, Николай столкнулся с Ро в вагонном коридоре. Тот стоял у широкого окна и давно уже жадно смотрел на проносящиеся леса, на хребты сопок, на пенные змеи рек.

— Смотрите, — сказал он, порывисто схватив Николая за руку, — какие сокровища! Какие города, какие заводы здесь можно построить, какие курорты! Вы знаете, я попал сюда впервые совсем молодым техником, лет двадцать тому назад. Боже ты мой, не было такой станции, где я бы не выбежал, не было такой опушки, где я бы не хотел построиться и жить, чтоб работать, работать и работать до последнего вздоха в этом суровом и диком раю... А я уже знал Норвегию и Ривьеру. Здесь каждый камень, каждый ручей!.. Я раньше почти ежегодно...

Он на минуту задохся: Николай понял, что так задохнуться можно только от наплыва невозвратного. И вдруг, принудив себя к спокойствию, Ро добавил совсем уже буднично:

— А теперь я вот стою у окна, и хоть бы тень былого увлечения: я даже не понимаю, как это я собрался на Сахалин.

VII

«Сын мой! Иди, дров наруби; много нарубив, сожги меня!»

Г и л я ц к а я л е г е н д а

Туннель невелик, поезд проходит его в несколько минут. Но это — ворота из Уссурийского края к Тихому океану. Часто они отделяют одну погоду от другой, и железнодорожный сторож, обходя участок, входит в туннель мокрым от дождя, выходит с другого конца обсушиться под солнцем, чтоб снова потом, вернувшись, попасть под дождь. Полукольцо сопок окружает Владивосток, прирезая его к морю. Туманы наплывают с востока, сползают назад, погода в самом городе морского подданства меняется по нескольку раз в день. Ее приносят и уносят с собой мачты кораблей, флаги всех стран.

Пряный город неразгаданного будущего, город влаги и порока. Конец древ-

него разбега из-под казанских стен, плаха труда, гнездо менялы — светлое крыльцо в великое море!..

Кирилл Васильевич Токунов проехал туннель, и рикша-кореец отнес его чемоданы в гостиницу «Золотой рог». В поезде у Токунова было ощущение пионера: не так давно еще Владивосток был под властью интервентов, помнилась еще телеграмма, повторенная всеми газетами страны, которой командарм Уборевич рапортовал правительству об освобождении края. Токунову казалось, что едет он по пятам эшелонов Красной армии, настороженным взглядом он замечал повсюду еще не выветрившиеся следы пребывания чуждой власти.

Но пеший путь от вокзала в гостиницу сбил это ощущение совершенно новым: Токунов увидел себя рядом с рикшей, а это было впечатление крайней экзотики. Маленький кореец с безволосым лицом, похожим на высохшую, сморщенную женскую грудь, сгибался под тяжестью чемодана, прилаженного на спинные носилки. А самого себя Токунов чувствовал таким, каким видел всегда в зеркалах — высоким, широкоплечим, слегка согнутым от бремени собственных сил, мужчиной тридцати семи лет. Он мог бы взять корейца вместе с чемоданом, посадить к себе на плечо и отнести в гостиницу. Ему было совестно. Он почувствовал во всем этом отпечаток полурабских отношений, феодализма дальневосточных держав.

Токунов привез с собой большую рихтеровскую готовальню. Он еще не знал, кем будет: лесостроителем, агрономом или землемером. Без суеты, но и без отдыха, он уже изъездил за свою рабочую жизнь немало окраин страны: проводил арыки в Туркестане, мелиорировал кубанские плавни, лесничествовал на Урале и даже зимовал на Маточкином Шаре. Женщины не старались удержать его около себя во время его возвратов в города, — это были натуральные, нетребовательные связи. Он привык относиться к себе, как к обреченному кочевнику. Даже больше, — как к экземпляру кочевого скота. Ему нужны были новые пастбища, и самой ранней весной, с первым таянием снега

что-то начинало мычать в нем до тех пор, пока он не покупал билета, пока не садился в вагон дальнего поезда.

Охрипший, черный от загара, он появлялся в классе среднего сельскохозяйственного, пропустив полмарта и добрую треть апреля, а на вопрос с кафедр: «Где были вы, Токунов?» — гудел разбухшим басом: «У меня был брюшной тиф!» — и поглядывал исподлобья на смешливый шопот товарищей, давно уж припечатавших ему кличку «пескарь», — так приходилось отстаивать кровную свою страсть к половодью, наретам, мордам, сачкам, ко всему, в чем билось дробное сердце необъятного космоса. Скрываясь в бега от засухи школьных парт, он туго перепоясывался и совал за пазуху косоворотки, надетой на голое тело, наживу для сома — мелких лягушат. Прыжки и касанье скользких их лап под ситцем косоворотки рождало в нем всегда недоумение: можно ли от такого отказываться?

Позже, в кочевьях, помогало знание геодезии и всего, что связано с землей, — практический глазомер нигде не был лишним. А он дотерпел: научился не только взвешивать зольный остаток пробирки, рассматривать почву сквозь микроскоп, но и бродить с кипрегелем, таксировать леса, прокладывать просеки и визиры. Вокруг первых знаний о земле нарастали вторые, медленно, с перебоями, но ненасытно набивал он торока запасов, с которыми возвращался в поле. Мимоходом от учебника к учебнику он бил по сосновому стволу обухом топора, — вековая сосна отвечала басистым звоном. Он брал на ладонь пригоршню пухлой земли, — мужицким движением на ширококостную свою ладонь, — и рассматривал ее, и перетирал в пальцах, как рассматривают и перетирают первач, крупчатку да ту же землю. В этих прикосновениях плоти к черноземам и суглинкам разных краев была огромная сила, и все остальное, — геодезия, почвенный анализ, лесоэкономические навыки — все было лишь для возможности без конца ласкать рукой земли величайших житниц, брать в изголовье ночлега корни необъятных лесов всех долгот и широт стран. В этом

была величайшая полнота животворной и душевной сытости.

На тихоокеанском побережье Токунов очутился впервые. Полпланеты дохнуло на него соленой влагой. Перекресток мировых морских дорог, какого не чувствовал он ни на Каспийском, ни на Черном морях, ни на Ледовитом океане, кипел в гавани. Владивосток был переполнен иноземными товарами, контрабандой, проститутками, спекулянтами, авантюристами, моряками, старателями и прочим червивым народом, вздох океана засаливал сифилисы, предохранял от дальнейшего гниения, приносил неиссякаемую предвечную свежесть. Токунов закачулся, охмелел от новизны и медлил в поисках работы — бродил по базару, по причалам гавани, по магазинам пушнины и случайных вещей. Тут был конец огромного материка, и какое-то цепкое предчувствие предсказывало, что это — предел странствий, конец скитаниям.

Первый раз в жизни город так захватил его, цыгана и таежника. Он косел и кривел от контрастов. Вывески пестрели китайскими и японскими именами — Чжан Хуа-нан, Те-Фун, Си-мода, Чжан-Го-цзин, — в витринах магазинов лежали английские, немецкие и американские товары, мальчишки гавани вытаскивали из волны на берег радугу морских звезд, на базарах корейцы торговали синей невиданной рыбой, гипертрофированным дальневосточным овощем, загнивающими, вонючими ракушками — предметом особого лакомства, — корейский крытый рынок смердел, как выгребная яма, грязью и неподдающейся названию пищей.

Токунов взбирался на вершины ближайших сопок. Оттуда он мог одним взглядом окинуть город, корейскую его часть, открытое море. Он вспоминал все ранее слышанное о Владивостоке: вот эта замечательная бухта, вот эти высоты, с которых ничего не стоит при желании наглухо закрыть доступ в гавань. Вот здание почти у самых причалов, высокое, оснащенное мачтами, на которых подняты флаги свои и всех морских держав, — это вероятно морская гидрометеорологическая станция, портовое

управление. А дальше — морской вокзал. Придется ли ему, Токунову, плыть на пароходе, или он поедет на работу сушей?

Особая чуткость к переломам погоды, особая восприимчивость к сдвигам циклонов, к смене времен года никогда не мешала жить: не ревматизмом и не эпилепсией чувствовал всегда Токунов надвигавшееся несчастье, — всей своей густой кровью. Мысли менялись с показаниями барометра и так же зависели от давления, влажности, скорости ветра, как полет ласточки, поведение мух и растений. От младенческого родимчика, который прыскивала с уголька деревенская повитуха, от первых предгрозий, переживавшихся на отцовском хуторе с таким волнением вместе с клохочущими курами, бегущими под телегу, под амбар, под колоды, до глухих ожиданий норд-оста на Тамани, пурги в степях, бурь осеннего равноденствия, — всегда это было неотвратно, неодолимо. Что-то внешнее вращало в него, чтобы жить вместе с ним, тотчас став частью живой многоклетки, именуемой Токуновым. На пригородных сопках Владивостока он понял, что опять пришлось встретить сдвиг, захвативший все сознание, но на этот раз это не половодье и не ураган, а вся влага земли, хлынувшая ему в лицо. Он глухо почувствовал, что она уже не даст ему никогда жить попрежнему.

Токунова мало интересовало прошлое города. Он хотел знать то, что застал. Он хотел познакомиться с хозяином тех земель, на которых придется завтра работать. Но в гостиничных ресторанах он волей-неволей наткнулся на следы прошлого, — там еще повторялись рассказы о гомерических кутежах купечества и крупных инженеров, администраторов, казнокрадов, строителей порта и железных дорог. Еще жили легенды о миллионных наживах на поставках русско-японской войны, о сказочных выигрышах и проигрышах за зеленым столом, назывались имена прогремевших в свое время плутов, самоубийц и спекулянтов. Еще крепок был дух всяческого холуйства и лакейства в пресмыкавшихся официантах, эстрадных скри-

пачах, в навязчивых собутыльниках. Советские учреждения только развевались, черная биржа спекулировала золотом и валютой, в комиссионных магазинах продавалось барахло бежавшей в Китай и Японию буржуазии.

Увидов в антикварном отделении тяжелую резную мебель японской работы, роскошную и мрачную, как бредовой вымысел, Токунов ходил вокруг нее с обычной любознательностью туриста. Но иная вещь из слоновой кости, дерева или камня, сделанная рукой безымянного художника-китайца, совершенно ошеломляла его. Он неподвижно рассматривал шар величиной с большое яблоко: шар был покрыт тончайшей резьбой, в нем свободно вращался второй шар ажурной работы, сквозь кольцевидные окна этих полых шаров, вернее сфер, можно было рассмотреть третью сферу, четвертую, пятую. Они уходили в глубину, в сердцевину, все были ажурной тонкости, счет их терялся где-то на двадцати, и все это было вырезано из одного куска слоновой кости. Были башни из той же кости — чуда миниатюрной архитектуры и терпения. Нельзя было представить себе, сколько лет, быть может, десятков лет, быть может, поколений, было затрачено на эти работы. Рассудок спотыкался об это, как о бессмыслицу иррационального свойства. Это была целая философия буддийского презрения к труду, воплощенная в вещи. В ней была пресловутая «душа Востока», так прославленная самозванными арбитрами европейских культур, подхваченная ими на знамени своего искусства как символ прекрасной бесполезности, как идеал субъективного, — башня из слоновой кости в области духа. Религиозная или бытовая, это была изуверская агитация о тщете земного, о ничтожности человеческого жизни, о суетности усилий, труда — в городе невероятной китайской и корейской нищеты, в городе, по-вавилонски стяжающем богатство востока и северо-востока огромного материка, в городе, взывающем к напряженному человеческому труду. Не будь Токунов так стойко отравновешен самой природой, он бросил бы на пол этот шар, эти

башни и растоптал бы прубым охотничьим сапогом от лютой тоски по загубленным на них чьим-то годам молодости, человеческих радостей.

Гостиничным «боем» — международный империализм уже успел осадить во Владивостоке это слово — был крупный китаец, лет сорока. Когда бы Токунов ни проходил по вестибюлю, бой сидел на деревянном диванчике, готовый к услугам жильцов. На нем была черная атласная кофта и мягкие туфли. Но коса была срезана, волосы острижены под ежик. Бой сидел долгими часами на своем деревянном диванчике, картинно подперев голову рукой, опертой на спинку, совершенно неподвижно, не меняя позы. Казалось, он жалел, что бронза его лица — не настоящая бронза, что он жив, а не сделан из камня. Токунов чувствовал в этом все ту же калеченную расовую философию покоя, неподвижности. Придя в номер, он с остервенением звонил и посылал боя за водой. Но, только лишь исполнив поручение, бой застывал в той же каменной позе. И Токунов сознавал, что бессмыслицей своего поручения он вдруг попал в положение активного соучастника буддийской судьбы боя, помог его позе, отрешенной от личной воли, от собственных желаний. Тогда вспоминался буддийский храм в Новой Деревне, в Ленинграде, его панно, изображающие ужасных духов, спираль превращений и перевоплощений души. Сам он, Токунов, — лишь сновидение в иллюзорной жизни боя...

Однажды на базаре Токунов подошел к толпе, в середине которой китайский жонглер разложил свой коврик. Китаец держал в руках трезубец, похожий величиною и устройством на обычные вилы. Но зубья были плоские, медные, и на рукоятке, у самой развилки, свободно вращалось медное кольцо, звеневшее при каждом движении. Вдруг китаец завертел трезубцем над головой и стал описывать им круги все шире и шире. Толпа раздалась, образовалось широкое, свободное пространство, и Токунов очутился в первом ряду. Тогда трезубец, скатившись по руке жонглера,

подброшенный в самом конце падения, взлетел в воздух. В следующую секунду уже нельзя было сообразить, что делается: трезубец бешено вращался вокруг своей оси, звеня и стрекоча медным кольцом, падал вниз, взвивался вверх, снова падал, прокатывался по руке, по груди, по спине, по ногам жонглера и снова рвался в небо. Он висел в воздухе, где-то на высоте двух-трех саженей, он потерял тяжесть, он рокотал и ревел от ярости на невозможность вернуться на землю, он набрасывался с высоты на маленького жонглера, как дракон, но, едва коснувшись его, отскакивал назад в высоту, бессильный что-либо сделать. Невозможно было уловить движений жонглера, нельзя было понять точность этих кривых, по которым посылал он трезубец вверх, каждый раз избегая удара. Внезапно звон оборвался, китаец схватил трезубец у самого кольца, и уже обходил толпу зрителей, чуть потя лбом, с мягкой улыбкой, с шапкой в руках:

— Осень тлудына—лаботай тлудына. Гха, дуадцати лазы одна солынца, дуадцати лазы два солынца... Гха! Блюхо тлудына...

Это совершенство движения начисто уничтожало неподвижную позу гостиничного боя. Эта изумительная чуткость человеческого тела, эта схватка его с мертвым предметом казалась живым отрицанием стремления к нирване. Токунов согнал с лица перекосившую его гримасу напряжения и подумал: «В нашей стране...» Да так и не додумал своей мысли — жонглер очень просто попадал в союзники боя бессмыслицей своего кружения. Слоновой башней движения...

Токунов проснулся на рассвете в своем номере от холода и громкого разговора, который, казалось, происходил в самой комнате. Через открытые окна вливался густой, влажный туман. Токунов встал, чтобы закрыть рамы, и тут понял, что разговор происходит не в соседнем номере, а во дворе, колодцем поднимавшемся кверху. За туманом говоривших не было видно, но по звуку можно было понять, что разбухший и пьяный мужской голос бубнит несвяз-

ное у окна или с балкона верхнего этажа, а женский визжит снизу.

— Ты не психуй. Я тебе морду разляпала, да и еще разляпаю! Ты у меня психовать не станешь!

Токунов закрыл окна и, ложась вновь в постель, сказал вслух:

— И ты, Кирилл Васильев, не психуй! Готовь-ка портянки да готовальню. Довольно психовать.

На следующий день он обошел все учреждения, которые могла бы заинтересовать его работа. Ему сразу предложили руководить отделом во Владивостоке. Это не казалось очень заманчивым, — хотелось ехать дальше, — он согласился бы на временное руководство. Вечером, направляясь в китайский театр, он шел досматривать город, — такова была внутренняя установка.

У входа, похожего больше на ворага каретника, чем на антре театра, стоял густой запах масла и какого-то кухонного чада, толпился праздный народ, лузгавший семечки. Самый зрительный зал был более чем скромен — убог по серости убранства. Он состоял из одного партера, деленного по стоимости мест на три части. Токунов сел на самые дальние, самые дешевые места. В зале курили, стоял ароматический запах табака, смешанного с опиумом.

Спектакль уже начался и, повидимому, давно, быть может, за час до прихода Токунова. Это не мешало зрителям во время действия вставать, переходить с места на место, выходить из зала и вновь возвращаться. Между рядами скамеек ходили с подносами и большими чайниками продавцы сладостей, папирос, бумажных вееров, игрушек и горячего чая. Зрители, сплошь китайцы, хохотали, обменивались возбужденными замечаниями, в зале стоял щебет китайского говора.

На сцене не было никаких декораций. Это была просто приподнятая над партером эстрада, в глубине которой виднелись две двери, открытые во все время действия. Очевидно, там были артистические уборные, но вся закулисная жизнь была почти так же доступна зрителю, как и сцена. Иногда из уборной выходили какие-то не костюмирован-

ные люди, проходили в разгар действия через сцену в зал и возвращались назад. Это было, очевидно, в порядке вещей. Действие сопровождалось музыкой: по временам слева от эстрады, в темном углу, раздавались удары металлического гонга. Ритм ударов был то медленный, то очень быстрый. Чрезвычайно неприятный для непривычных нервов, звук был очевидно связан с ходом действия, частота ударов подчеркивала то или иное сценическое положение.

Токунов, разумеется, ничего не понимал. Он разглядывал китайские костюмы — они часто менялись актерами, были выразительны, но смысл этой выразительности был для Токунова потерян. Грим был резкий, условный, далекий от европейского реализма, подчас актеры надевали маски. Ведущие роли принадлежали очень высокому, худому артисту средних лет и молодой девушке. Артист то смешил зрителей, то вынуждал их притихнуть; в его игре было столько уверенности и силы, что Токунову становилось досадным полное непонимание языка, невозможность войти в суть действия. И не менее досадна — неспособность понять судьбу красавицы-китайки, в женственности которой, в самых движениях и голосе, казалось, можно было плыть, как в озере, и не знать под собою дна.

Токунов попробовал обратиться к соседям. Это были молодые, веселые парни, вероятно рыночные торговцы или рабочие. Они очень охотно стали рассказывать сюжет пьесы с вежливой обязательностью, которая всегда так располагала его к китайцам. Но из их ломаной русской речи он понял немного: девушку хочет взять в жены толстый чайный торговец, а она просит подождать... Все же спектакль как-то осмыслился для Токунова, он стал с большим интересом следить за выходами. Внезапно среди общего китайского говора умоляющий детский голос проговорил:

— О, мамочка, пожалуйста, розовенькую!

Токунов оглянулся и увидел две голы: детскую в золотой тюбитеечке и

вторую в синем шелковом шлеме. Одновременно ударили в гонг. Девочка, смутившись от своего крика, смотрела на Токунова исподлобья, уже посасывая длинную витую конфету. Мать ее, улыбаясь, открыла сумочку, и пронесся смятый аромат духов. Все это прошло через гонг или даже поверх звуков гонга, острых, частых и настойчивых.

Токунов вернул внимание сцене. Но оно раскололось.

— ... потому что краска может быть ядовитой...

— Как это «ядовитой»?

— Ты можешь от нее заболеть.

— И умру?

— Не говори глупостей!

На сцене действие изменилось. Юноша в прекрасной белой с серебром одежде, в маске, с копьём в руках танцевал воинственный, смелый танец.

— А как же, мамочка, красят губы тоже ведь красной краской?

— Та краска не ядовитая.

— Вот пусть бы и клали в конфетки гу, не ядовитую...

— Смотри, Машура, на сцену — тебе разве не нравится?

Вслед за белым юношей вылетела ватага воинов, одетых в серое с черным. Все они были с копьями в руках. Они вились около белого, угрожая ему движениями, потрясая оружием. Но он оставался среди них — смелый, ловкий, словно не видя общих угроз. И вот началась схватка: серые натерли с копьями наперевес по два, по три на светлого, легкого, скользившего среди них воина. Он уклонялся, парировал удары. Все чаще и непрерывнее бил гонг. Движения ускорялись. Серые прыгали, как тигры, но, налетев на копьё светлого, переворачивались в воздухе и отлетали в сторону. Светлый не прекращал своего танца. Среди взмахов и лязга копий он носился, как будто невидимый, и серые уже сшибались друг с другом. Бил гонг. Все превратилось в сплошной узел. Тела извивались в воздухе, сплетались, расплетались, висли друг над другом. Светлый отбивался, и уже плохо верилось не сюжету пьесы, а реальной возможности танцора отвести град направленных против него ударов, выйти невероятным. Но

один за другим серые стали таять. Только светлый остался кончать свой победоносный танец. Машура восхищенно захлопала в ладоши.

Токунов понял танец как борьбу доброго и злого начал. Спросил соседей, но они отвечали, что девушка уехала к брату. Тогда он беспомощно замолчал. Действие продолжалось без всяких перерывов, казалось после танца серым. Артист на авансцене пел. Машура сказала:

— Он ужасно фальшивит.

— Это не фальшь. Китайцы так поют, у них такая музыка.

Вслед за ним пела девушка и октавой выше повторила все непривычные интервалы песни. Машура согласилась:

— Да, верно, они все врут. Мамочка, пойдём домой.

Токунов потихоньку встал и пошел к выходу. Он унес с собой впечатление не то слепоты, не то ожога; он боялся признаться себе, что этот ожог был с той стороны, где сидели соседки, слева, сзади... Он не позволил себе объяснить уход желанием не заслонять сцены. Он только повторил памятью голову под синим шлемом: глаза напряженного блеска, улыбка — так можно улыбаться и наедине с собой, и на виду у целой толпы.

У выхода толпился народ. Только-что прошел и кончался крупный дальневосточный ливень. Земля журчала, звенела водой, но в темноте наступившего вечера, усиленной тучами, нельзя было рассмотреть залитых лужами тротуаров. Обычно Токунова не останавливал и проливной дождь. Сейчас мелкий крап задержал у выхода на целых четверть часа.

— Как же мы с тобой пойдём, детка, — услышал Токунов, — ведь ты промочишь все ботинки.

— А я, мама, босичком...

— Ни в каком случае! Ты простудишься и разрежешь ноги об стекло.

Токунов едва не зашагал по лужам вперед, но передумал и оглянулся. Девочка прижималась к матери, повторяя: — Ничего-о, я осторожно-осторожно. Ну, позволь мне, мамочка!

Собравшись с духом, Токунов спросил:

— А на руки к маме нельзя?

В этом вопросе, он готов был поклясться, не было мужской предприимчивости. Машура чуть испугалась незнакомого человека, но, чувствуя себя под защитой матери, храбро и несколько горделиво ответила:

— Что вы! Мне уже скоро одиннадцать лет!

Взглянув на мать, она засмеялась и добавила:

— Да мама меня и не донесет.

— Ну, а я, — продолжал Токунов с некоторым замиранием сердца, — а я донесу? Как, по-твоему? Я немного слабее лошади.

Мать и дочь посмотрели внимательно на его открытое лицо, на широкоплечую фигуру. Вопрос позволял без стеснений изучать того, с кем они говорят.

— Вы-то, может быть... может, быть, и донесете!

— Ну так иди ко мне на руки, — сказал Токунов, спрашно обрадованный, что у него столько мышц, которые не подвели под взглядом взыскательной Машуры.

Девочка вопросительно посмотрела на мать.

— Мы живем не близко, — сказала та, — лучше мы переждем, Машура, пока немного просохнет.

— Позвольте мне! — попросил Токунов. — Уж если ваша девочка говорит, что донесу, значит, донесу, мне не трудно!

— Не знаю, право... Я вам благодарна. Ну, как, Машура?

Вместо ответа девочка вдруг подпрыгнула и, подхваченная Токуновым, взвилась к нему на руки.

Они пошли по едва освещенным улицам города, неразличимые в темноте друг от друга. Но Токунов, цепким взглядом охотника выбирая дорогу, все время чувствовал рядом с собой голову в синем шлеме, слышал шелест платья, улавливал по временам запах духов. Свой живой груз он нес с такой осторожностью, словно это был хрупкий сейсмограф. Машура не была диким ребенком, скорее даже отличалась общительностью, однако на руках незнакомого человека притихла. Для Токунова же все положение

было неожиданно и удивительно до крайности.

— Какую я глупость сделала, — все повторяла Нина Александровна, — что пошла в этот театр. Я его очень люблю, но надо же было подумать о Машуре. Тут то и дело дожди!

— Вы не промочите сами ноги, — говорил Токунов. — Держитесь следом за мной.

Дорогой он рассказал в общих чертах о себе, почему он во Владивостоке и что думает делать. Машура мало-помалу обмякла на руках, ее стало клонить ко сну. Токунов чувствовал теплоту ее тела, и это тепло, этот длинный путь втроем с матерью и дочерью в какой-то неизвестный светлый дом было похоже на чувство своей семьи, на возвращение домой с женой и собственной дочерью, которые могли бы, могли бы быть рядом. При той преувеличенной бережности, с которой он нес Машуру, он начал уставать, руки занемели. Но девочка казалась ему такой прелестной, что усталость была дорога, и он пожалел, когда дошли до квартиры.

Нина Александровна просила его на минуту зайти. Токунов примолк, очутившись в большой комнате, обставленной скромной, частью случайной, но с любовью подобранной мебелью. Несколько пестрых, ярких подушек и шалей были брошены на диване и креслах. По стенам висели кастаньеты, бубен и фотографии полуобнаженной женщины, то в пачке, на пуантах, то в хитоне, то в одном нагруднике и поясе, то в развевающемся испанском костюме и полумаске, женщина, в которой Токунов со страхом узнал Нину Александровну. Гибкое, но трагическое ее тело живо напоминало ему какую-то картину из наглядных географических пособий, висевшую в младших классах школы, изображавшую стройную индианку, на которую он мальчиком заглядывался с нежной, горячей необъяснимой мечтой. И одновременно эти фотографии пугали его праздничным, победоносным, царственным блеском тела, театральной нарядностью балетных мизансцен, связанных с ним. Если бы за час до того, при выходе из китайского театра, Токунов знал, что Нина Алек-

сандровна — балерина, он ни за что бы не осмелился заговорить с ней, как это ни странно.

А между тем она просто и очень домашнему передела при нем туфли, уложила сонную Машуру спать и напоила его чаем. Говорила о самом несложном, обычном. Токунов едва отвечал на вопросы. Он никак не мог совместить в своем сознании фотографии и этой милой хозяйки, по-уездному угощавшей его чаем с японскими хлебцами. Он считал себя не без оснований сыном деревни. Обращение с ним Нины Александровны было так запросто, что ему не приходилось ни теряться, ни испытывать смущения. Но карие глаза ее были обведены такими темными кругами, какие он мог приписать только ночной театральной жизни, розовые ногти на руках были так отшлифованы, залакированы, каждое движение так легко, невесомо, прекрасно, что все это, как и улыбка, казалось принадлежащим большой, нарядной толпе, однако прежде всего ей, для самого себя, чтобы быть наедине с собой такой же недоступной, какими привык представлять себе артистов Токунов. Он был подавлен.

Все же за полчаса, проведенные им у Нины Александровны Косаргиной, знакомство провинциальное, добродушное состоялось со всеми обещаниями, широкими уговорами о совместных прогулках. Машура нужны прогулки, и они будут рады спутнику, который знает название каждой травки, каждого жучка, а если не знает, то обязательно разыщет. Токунов простился, всю дорогу домой пожимал плечами и плохо спал.

Он принял уговор о прогулках за чистую монету и не ошибся. Его ждали.

— А, Кирилл Васильевич! — встретила его Машура, как старого знакомого, и тут же по-взрослому заважничала: — Вы простите, что я вчера при вас загнула, но я очень устала.

Прогулка состоялась — через бухту на китайской шампуньке. Потом пошли другие: в корейскую часть города, с катером — на острова, по железной дороге — на курорт восемнадцатой версты. Обычно Нина Александровна брала с собой сибирские пирожки своего печения.

Токунов поражался в душе, как можно такими холеными руками месить тесто, делать такие вкусные вещи, — ел с благоговением, как едали просфору, подбирая каждую крошку. Он опять отодвинул вопрос с работой в ожидании каких-то неизвестных фроков. У Косаргиных он стал бывать ежедневно, к нему быстро и крепко привыкли.

Через неделю ему было известно все. Муж Нины Александровны, отец Машуры, погиб летчиком на германском фронте в злополучном наступлении Керенского, повидав перед смертью только фотографию безволосого, сморщенного комочка в конвертике. Потом шли годы скитаний по чужим городам. Чехо-словаки отрезали Нину Александровну в Иркутске. Здесь спутником жизни стал известнейший режиссер, увлекший Косаргину дальше на восток, ближе к границе, к пароходам американских рейсов. Во Владивостоке пути разошлись. Она не захотела менять родной страны на Сан-Франциско, он эмигрировал, захлебываясь в проклятиях родине. Нина Александровна осталась одна с Машурой для того, чтобы изредка выступать в сборных концертах заезжих артистов, и зарабатывала больше уроками в студии хореографии. Летом уроки прекращались, начиналась полоса загородных прогулок. Токунов попал в эту полосу.

Нине Александровне было тридцать два года. Обычно ей можно было дать не больше двадцати пяти, но часто и сорок. Она резко пульсировала между этими двумя возрастами. Иногда выпавшая, свежая с утра, она казалась старшей сестрой Машуры, и Токунов не мог налюбоваться легкостью ее замечательно изящной походки, радостными движениями ее отработанного станком и гимнастикой тела. Иногда жизнь, игравшая в ней, как будто бурно вскипала. Она становилась невозможно беспокойной, оживлялась с каждой минутой, не находила себе места, чуть не стонала от возбуждения. Кровь прилиwała к ее лицу, а глаза в это время расширялись, наполнялись нестерпимо-глубоким, угрожающим блеском. На следующее утро Токунов застаивал ее вялой, круги под глазами бывали темнее обычного.

— У меня очень плохие нервы,—говорила она.— Должно быть, теперь и сердце.

Очень скоро он понял, что простота, с которой приняла она его в вечер знакомства, была от трех причин: во-первых, она боялась ей изменить, старалась поддерживать ее, как поддерживают поддержку воздуха в теплочно-душной комнате, отворяя по временам форточку; во-вторых, для Машуры и ради Машуры — при дочери она бывала всегда гораздо мягче и жизнерадостней, чем без нее; в-третьих, для него, Токунова: пожалуй, она относилась к нему с первого раза хорошо. Никогда он не мог пожаловаться на ее сухость, ни на малейший оттенок пренебрежения. Ее театральные интересы, такие несравнимые со здоровой и даже пресной и черствой подчас жизнью Токунова, никак не присутствовали в доме, словно она оставила вместе с гримом и костюмом всю свою вторую жизнь у рампы. Он чувствовал в этом ее такт. Но иногда, как будто устав от простоты, она становилась молчаливой, сосредоточенной, глаза приобретали пресыщенное, равнодушное выражение и в то же время были несыты и требовательны. Тогда казалось, что вытесненные тревоги заявляют свои права, что сложные чувства, привычки, вкусы получают принадлежащее им место, что они-то и являются подлинной природой ее жизни. Тогда Токунов вдруг начинал чувствовать себя, цельного и сильного человека, голым местом подле Нины Александровны, словно ее присутствие выжигало в нем жизнь, как если б выжечь площади лесов для того, чтобы построить курорт искусственной жизни, ночных притонов, изнеженности и распада. Он пугался этих минут тем более, что понял, как в несколько дней бесповоротно завязил все свои чувства и помыслы, хотя бы никогда не осуществимые здесь, на Дальнем Востоке, около жизни этой женщины, совсем непонятной и недоступной ему.

Немногословный по характеру, Токунов в присутствии Нины Александровны становился вовсе неразговорчивым. Го-

ворила она, а он слушал ее часами, следя за движением прозрачных акварелей на ее лице. И слушал ее, даже когда она молчала, с жадностью ловил ее движения, всегда такие легкие, уходящие в беспредельные концы невыразимого слова. По каким-то непонятным обмолвкам он остро понял, что ей постыли не давшие счастья связи, что она не ищет мужчин, скорее избегает их, а его, Токунова, допустила приблизиться именно потому, что для нее исключена возможность видеть в нем мужчину. Но душевная усталость не лишала ее желанья длить свое одиночество на людях. Его посещения не тяготили ее, она спокойно радовалась его приходу. Быть может, ей нравилось разговаривать с собой перед зеркалом чужого сознания. Ей нужно было не детское внимание Машуры, чтобы перечитывать поэтов, — она любила возвращаться к толпушке книг, стоявших на полке, и Токунов ценил эти минуты за то, что они позволяли ему еще глубже погружаться в ее мир, узнавать круг ее вкусов и чувств. Сам он поэтов знал мало, тем более новых. Не многое нравилось ему. Но были строки, которые он часто просил Нину Александровну повторять:

Общая мать земля, будь легка над
моей Айсиговой,
Ибо ступала она также легко по тебе.

Эта эпитафия каждый раз больно волновала его уже осознанной печалью о том, что воплощение легкости, внезапно показанное ему жизнью, как недоступный прекрасный образ женщины, прирывается навсегда похоронить на полях широкой земли, которая оставалась ему единственным другом, разделенной любовью, и скоро призовет к своим просторам. Ему полюбили еще строки из венка сонетов, те, в которых тяжелая роскошность оправленного метром слова не мешала чувствовать ставший кровно близким смысл, где лунный луч схвачен и привязан к земному, где тюремной песней звучит гимн светилу:

... Но не любить тебя мы не вольны:
Стада медуз томятся в мутном лоне,
И океана пенные кони

Бегут к земле и лижут валуны.
И глубиной таинственных извивов
Движения приливов и отливов
Внутри меня тобой повторены.

Чувство моря, еще более властное, чем до сих пор, было чувство леса, степи, такое же, как в младенчестве данное чувство предгрозы и непогод, все было здесь. Токунов вспоминал о соответствии кривых давления крови с кривыми приливов и отливов, гипотезы зарождения жизни на дне океана, мифы о сиренах и прочих рыбо-человеках и, ощущая волны душевного смятения, заливавшие его со времени приезда во Владивосток, думал о том, что, может быть, это дань извечной связи, роднящей человека со стихией моря, со стихийной жизнью его глубин. Быть может, и Нина Александровна, — думал он, — чувствует эту связь, быть может, даже резче, чем он. Она чувствует мир движением, этим первородным актом появления живого. Она мыслит движением. Ее тело хранит и повторяет на фотографиях образы всех возможных с зарождения мира явлений, — от напряжения предвечных катастроф до нежнейших выгибов растущей былинки, — о, если бы увидеть ее на сцене! Но летом она забрасывала даже гимнастику, Токунову оставалось судить о танце только по ее походке, по трепетанью ее руки, ласкавшей Машурину головку, по прыжкам с лодки на берег, бегу со склона сопки вниз. Да по тем же нерадостным для него фотографиям, так отчужденно смотревшим со стен.

Когда заходила речь о Владивостоке, Нина Александровна признавалась, что действительно она чувствует себя здесь совершенно иначе, чем раньше в России.

— Мы — сухопутная раса, — говорила она, — океан нас дурманит гораздо сильнее, чем островитян, привыкших к нему.

И это было понятно Токунову, он соглашался с этим. Когда же она переходила к городу, вспыхнувшему на краю материка от столкновения с океаном, когда она рассказывала о своих ощущениях близости моря, постоянных ветров и туманов, налетающих оттуда, его даров

и его соблазнов, он переставал ее понимать. Здесь начиналась пугавшая его сложность. В ней чудилась болезнь. Эту большую сложность он не мог считать порождением моря. Он объяснял ее другим — стечением суровости и богатства, нищеты и избытка, праздности и труда, спривших этот город. Море само по себе здорово, не может быть иным. Но все вместе подавляло и было причиной резких переломов в настроениях Нины Александровны, — так считал он.

К Машуре Токунов привязался самоотверженно и сильно. Она привлекала его двойным обаянием веселого ребенка и девочки, неуловимо повторявшей своим существом мать. Он помнил живо телесную теплоту ее детски-сонного тела с того вечера, как нес ее через лужи. Он не забывал свою нивесть откуда родившуюся тоску об отцовстве. Он не мог отделить своей мечты от этого еще веснушчатого безбрового лица, от темнорусых кошечек на затылке. Она завела с ним деспотическую дружбу, а он, выполняя ее прихоти, казался им обоим большим, добродушным слоном.

— Вы мне портите дочь, — замечала иногда Нина Александровна.

Но он не мог переломить себя и отказать Машуре в малейшей просьбе. Он замечал, что и мать не хочет настоять на своих требованиях до конца и, быть может, поняв, как неразделяемое мужское чувство ищет выхода в любви к ее ребенку, относилась с мягким сожалением к нему, не находя в себе жестокости ограничивать и в этом своего неожиданного, смиренного, лесного и черноземного поклонника. Был случай, после которого он мог это подозревать.

— Почему вы не уедете отсюда в Москву или в Ленинград? — спросил он однажды кстати об ее работе.

— По многим причинам, — отвечала она каким-то усталым и жестким голосом. — Старая я уже! Мне иногда пять тысяч лет. Там надо возобновлять связи, погрязать в суете. А мне это уже скучно. Я здесь спокойнее. У меня есть свое дело, студиики меня любят. Вот — роуль купила... А, кроме того, другой, — засмеялась она недобрим смехом, — я ведь червивая, такая же, как,

по вашему мнению, все здешние. Я, как дуплистое дерево, только снаружи могу казаться крепкой.

— Я как-то читал, — сказал он на это, — что царь Ксеркс, проходя с войском по Малой Азии, повстречал дерево, и оно было так прекрасно, что Ксеркс подарил ему за красоту драгоценную цепь и приставил охрану, которая должна была его оберегать.

Он загнулся.

Это вырвалось долго замалчиваемое восхищение. В нем сквозила такая убежденность, что Нина Александровна только посмотрела внимательно и мягко улыбнулась.

— Это на него наврали! Вряд ли ваш Ксеркс был так смешон и наивен. Теперешний историк вероятно объяснил бы все это тем, что он проходил через земли друидов и, желая польстить их религиозному чувству и подкупить жрецов, бросил им подачку.

Но Токуновым уже владело отчаянное «будь что будет».

— В детстве я мечтал быть помологом, — сказал он, — теперь хотел стать друидом.

— Только не молиться же червивому, — сказала она со смелой, доверчивой прямотой и переменяла разговор.

Он понимал, что несчастье подстерегало его, и, чем чаще терял бы он сдержанность, тем чаще бы повторялось. Он еще раз наложил крепчайший запрет на свое чувство. Но все же этот разговор облегчил его положение, хотя бы в том, что он мог с этих пор проявлять особую стыдливую, сокровенную заботливость о ее плаще, когда ехали за город или на взморье, об ее валюшках в сырую погоду. Он увидел, что женщина отнюдь не умерла в ней: она принимала его молчаливую заботливость с чуть виноватой мягкостью, виноватой, быть может, оттого, что не гонит его прочь. И даже этот ничтожный отблеск того, что в нем горело, мирил его с нерадостным положением ничего не ждущего, ни на что не надеющегося мужчины.

Долго так длиться не могло. Средства Токунова подходили к концу. Надо было искать работы для того, чтобы жить. Он все же принял место заведующего отде-

лом в городе и этим сохранил возможность бывать у Косаргиных по вечерам и проводить с ними воскресные дни. Это стоило отказа от дальнейшей поездки для работы на землях Приморского края, но само собой разумеется, что иначе до каких-то сроков невозможно. О сроках Токунов не разрешал себе думать.

— Психуешь, психуешь ты, старина, — все чаще повторял он себе, испытывая непривычную слабость духа. — Тебе ли с сединой в волосах томиться несбыточной блажью? Взял бы ты винчестер, выследил изюбра, тягался бы с тигром — кто дольше удержит дыхание, ударил бы между глаз... Об'езжать бы тебе на сибирском лошаке кипящий под ветром посев... А ты лезешь за обидной жалостью. Ну, ну, получай по заслугам! Дурака в алтаре бьют.

Подошел конец июля. Все было по-прежнему. Токунов подчас угрюмо, подчас с горькой радостью, но всегда безропотно нес принятый на себя груз. Он вел себя так, как хотела того Нина Александровна. Малейшее ее слово направляло его путь, как легкий поворот весла послушную лодку. В минуты раздражения, когда здоровый, строптивый голос заявлял о себе, достаточно было ее замечания: «Я думала, что друиды терпеливей!», чтоб укротить порыв. Поставить же перед собой вопрос во всю величину и решить его в корне — доставало сил.

А поводов к этому, казалось, было все больше. Стояли недели зноя. С океана налетали прозы. По нескольку раз в день город купался в тропических ливнях, сменяемых влажной, душной жарой. В связи с работой Токунов следил за высотой приливов. Разливы безумной Зои и Усури, как всегда, грозили краю. С этими тревогами как-то близко совпало ухудшение настроений Нины Александровны. Она неохотно выходила из дому, все чаще впадала в раздражительность. Несмотря на-то, что отношение ее к Токунову оставалось, как всегда, ровным, он не был уверен порой, не тяготит ли ее его присутствие.

— Вы на меня не обращайтесь внимания, — говорила она, — я сегодня, как

выражается Машура, в кладбищенском настроении. Побудьте с ней, а я помолчу.

Но Токунов не мог не обращать внимания на то, что Нина Александровна рассеянна, бледна, то насильно усаживает себя за книгу, то мечется в молчаливой тоске, срывается с места, уходит, приходит, и нервы ее перенапряжены. Обычный конец, когда наступал резкий перелом, и она вдруг успокаивалась, вновь наполнялась интересом к общей жизни, румяная и задорная, начинала шутить, изобретать игры, втягивая в них его и Машуру, казался и Токунову чудесным избавлением от какого-то кошмара, приближение которого он переживал всякий раз, быть может, не менее тяжело, чем она. Даже на Машуру, при всей ее детской беспечности, действовали эти приступы материнской хандры. Однажды, когда они сидели придавленные очередным припадком, делая вид, что заняты рассматриванием альбома почтовых марок, а Нина Александровна вышла из комнаты, Машура заметила:

— Она забыла шприц.

— Ну так что же? — рассеянно спросил Токунов.

— Мама вспрыскивает лекарство, — поучительно отвечала Машура, — оно одно ей помогает.

С этих пор он поверил, что здоровье Нины Александровны действительно плохо, что лечится она от случая к случаю, не находя стимула к постоянной заботе о себе. Раньше он думал, что дело только в неудачах, в изломанной молодости, а за свою жизнь он привык называть это «нервишками», ключ к которым надо искать в обуздании себя работой. Для Нины Александровны, казалось ему, ключ этот невозможно сложен, потому что такова ее работа в искусстве, требующая горения в обостренных переживаниях. Теперь, поняв, что дело проще, но в то же время, с его мужской точки зрения, и серьезнее, он во всю величину ощутил безвыходность своего положения. В нем говорило задавленное, но неизбывное желание мужчины отдать любимой женщине все силы, все заботы, для того, чтоб видеть ее огражденной

от всякой жизненной невзгоды. И пусть даже она их топчет, хохоча...

Как-то раз он не утерпел и спросил ее, почему она ему не говорит, чем больна.

— Вы же не доктор, — отвечала она чуть суховато и удивленно.

— Вы называете иногда меня другом, — пробормотал он, — а это лучше. Неужели же нельзя поделиться с другом своей бедой? Вы ведь знаете, что это не равнодушное любопытство.

— Вы мне не можете помочь, — сказала она, покачав головой, — Мне очень трудно помочь. Я думаю, что незачем об этом говорить. Есть хорошая японская пословица: «Когда я иду в гости, я оставляю грязное белье дома». Она мне нравится, я ее держусь.

Слово было сказано и, как всегда, означало для него закон. Их все больше набиралось, этих заслонок, закрывавших доступ к ней. Он задыхался в них. Его нещадно мучила вынужденная бездеятельность перед лицом скрываемых несчастий. Если бы он не знал, что Нина Александровна одинока, он мог бы считать, что это — чужая забота. Но не теплить в себе никаких надежд и быть в то же время лишенным права на всякое иное участие в ее судьбе, — лучше бы уж она велела уезжать ему. Она этого не делала, хотя стала к нему едва заметно суше. В то же время были минуты, — гораздо добрее.

Однажды Токунов пришел в самый разгар ее беспоконной тоски. Машура была в гостях у подруги. Токунов уселся потихоньку в дальний угол. Нина Александровна молчала, сама не своя. Он бы ушел, но мысль, что без Машуры она останется наедине со своим недугом, удержала его. «А, быть может, теперь неважно и с сердцем» — вспомнил он ее полупризнание. «Почему бы не вызвать врача?» Последнее время, чем чаще становилось ей шлохо, тем тщательнее она это скрывала.

Пытаясь наладить разговор, Токунов задавал ненаходчивые вопросы. Нина Александровна отвечала односложно и наконец перестала отвечать. Первый раз за все время знакомства ему давали так ясно понять, что не всегда-то он — желанный гость.

Токунов покраснел и растерялся, но остался молча сидеть. Какая-то сила не позволила ему пошевелиться.

Нина Александровна встала, несколько раз нервно прошлась по комнате. Потом нетерпеливо остановилась против него. Сказала глухим, извиняющимся голосом.

— Кирилл Васильевич, уйдите! Вы же видите, что мне тяжело!

И, заметив его болезненное ошеломление, добавила уже гораздо мягче:

— Не сердитесь. Приходите, голубчик, завтра.

Токунов вышел, низко повесив голову. «Дождался, — думал он, медленно идя по улице. — Тебя гонят, как прибудного пса, а ты скулишь, повизгиваешь, но все же лезешь опять за побоями».

Пройдя квартал, он вдруг остановился. «Одно из двух, — снова подумал он, — или я действительно потерял свое лицо, волю, стал назойливым просителем милостыни, и тогда меня нужно бить смертным боем за убожество, или же я сознательно принял унижение, потому что понял, что мне, если уж выиграл однажды в жизни такое, ничем не сказать о любви, как помочь лошадиной силой. Но тогда уж надо итти под кнут, не стеснясь».

Почувствовав, что уже сейчас вопрос решен, что через несколько дней он уже покинет Владивосток и ветер морских просторов горько и радостно пахнет ему в лицо, Токунов возвращался к Нине Александровне напряженно-твердыми шагами. За какие-нибудь десять минут он стал наполовину свободен.

На стук его никто в комнате не откликнулся. Он постучал еще раз и, не дождавшись ответа, толкнул дверь. Нина Александровна стояла около рояля, не оборачиваясь. Окна были открыты, и грохот проезжавшей по улице телеги наполнял комнату. Токунов понял, что Нина Александровна не слышала его стука, не заметила прихода. Она держала в руках аптекарский пузырек и, смотря на свет, набирала шприц. Затем, засучив рукав, она быстрым движением воткнула иголку в тело. Токунов заметил, что рука в этом месте пестрела кровоподтеками. Не отдавая себе отчета, почему,

он попятился с тем, чтобы потихоньку уйти. Но теперь Нина Александровна услышала его движение и обернулась, все еще со шприцем в теле.

Странная смена выражений промелькнула в ее лице. Первым была растерянность. Затем гневное нетерпение, даже ненависть. Затем смесь злобного вызова и страстной мечтательности. В упор глядя на него, она медленно ввела все содержимое шприца под кожу. Потом быстро выдернула и, деловито затерев ранку ваткой, смоченной одеколоном, даже не убрав в коробочку шприца, села в кресло.

— Вот! — сказала она. — Вы поняли? Теперь садитесь. Ну, садитесь же, чего же вы стоите у двери?..

Она резко засмеялась. Токунов отяжелевшими шагами подошел к креслу и уселся против нее. Он не мог заставить себя поднять глаза.

— Ну, что вы скажете? — продолжала она вызывающе. — Не правда ли, веселое зрелище? Вы все допытывались, что со мной. Можете теперь успокоиться, все — как на ладони! Вы все стремились мне помочь. Ну, говорите же, что вы можете сделать?

Токунов все ниже опускал голову. Нина Александровна выждала некоторое время и заговорила быстро, почти деловито:

— Во Владивостоке торгуют нарками на каждом перекрестке. Если бы этого не было, я бы зачала давно в этой проклятой морской яме. Предпочитаю, как видите, морфий. Вы можете что-нибудь возразить? Ах, да, вы вообще будете против. Вы — за здоровье. Ну, а, по мне, нет ничего здоровее меццан. Здоровье, к которому вы охотно приговорили бы род человеческий, это — серость, благополучие, тупость. Я предпочитаю быть наркоманкой. Я даже не возвожу этого в общеобязательное требование. Может быть, солдат, дровосек или капитан корабля должны быть с каменными желудками, с канатами вместо нерв. Но мне, пока я живу искусством, здоровье не нужно и даже вредно. Я даже не стану, как обычно делают, ссылаться на Бодлера, Брюсова и других наркоманов-художников. Живу, как са-

мой нравится, живу, как умею. Вы можете меня презирать, дело ваше. С моей точки зрения, это и не умно, и не убедительно. Да и не интересует это меня...

— Я пойду, Нина Александровна, — пробормотал Токунов, порываясь встать.

— Гдет, подождите! — сказала она с каким-то ожесточением. — Вам нужно было знать, что со мной, ну, так пользуйтесь случаем. Я предупреждала вас, что я червивая. Вы не верили, что же вы теперь бежите, когда доказательство налицо? Вам все равно никуда не убежать. Поймите: все, что вы во мне видите, что вам нравится, — пустое внутри. И все, что вы вообще любите за красоту, такое же пустое... Я разумею пустое, с вашей точки зрения, потому что вы бы хотели, чтобы каждый пируэт, каждый образ, который вы видите, были во имя возвеличения человека, его связи с природой и борьбы против нее, и победы над ней, и во имя еще множества всяких замечательно полезных вещей, — знаю я вас, здоровых и глубокомысленных. А на самом деле есть только переживание на острие нерва, схваченное налету и заученное для внешнего повторения. И затем — пустота, ничто. Я ужасно рада, что здесь, на Востоке, увидела воочию народы, которые умеют это понимать. Современные школы на Западе только сейчас подходят к этому. И знаете что: вы мне рассказывали о подделках из слоновой кости и возмущались. А я, слушая вас, который раз возвращалась к мысли, что мне не нужно тела. Не нужно, и все тут! А танец должен быть каким-то иным, я даже еще сама не знаю, каким. Но только не нужно этих рук и ног, этого мяса... Да, я ужасно счастлива, что я здесь. И мне никого не нужно. Вы видите, ко мне почти никто не ходит. И я ни в ком не нуждаюсь...

Она говорила все торопливей, но мягче, не замечая собственных противоречий. Ровный, сильный румянец заливал ее лицо, глаза горели, в ней было счастливое, оживленное успокоение. Токунов напряженно слушал ее, думая о другом. Медленно, с усилием поднявшись, он тихо повторил:

— Я пойду, Нина Александровна...

И направился к выходу. Она только молча махнула рукой.

Целую неделю он не появлялся у Косаргиной. Надо было привести в порядок свои дела и намерения. Надо было еще здесь, не выезжая из города, вновь обрести умение жить во всю полноту сил и чувств, не допуская никаких проявлений слабости. Испытание было выдержано: Токунов ни на иоту не отступил от поставленных себе пределов.

Общая мать земля, будь легка над
моей Айсиговой.
Ибо ступала она также легко по тебе.

Где-то далеко, приглушенно сопровождали эти строки каждый шаг Токунова. Они не звучали, только подразумевались. Токунов подсыхал и быстро худел, но делал, что надо. Когда все было кончено, он пошел к Нине Александровне, прямо держась, широким, твердым шагом, как ходят под оркестр. Токунов шел прощаться.

Машура встретила его таким радостным визгом, так бурно на него налетела, что он слегка пошатнулся.

— А! Кирилл Васильевич, Кирилл Васильевич пришел! — кричала она, таща его к матери.

Нина Александровна сидела, зябко кутаясь в платок, хотя было тепло. Вид у нее был усталый и раздавленный. С вялым, печальным любопытством она посмотрела на Токунова и почти сомкнула глаза.

— Забудьте, пожалуйста, все, что я вам говорила, — попросила она, не меняя позы. — Забудьте! Факты остаются, но интерпретация — это дело случая и погоды. И атмосферных давлений. Вы ведь так полагаете? И люди аномальные не всегда вменяемы.

Она замолчала. Токунов мял в руках фуражку. Машура, полюбив мать, прислонила голову к ее плечу.

— Вы уезжаете? — снова приоткрыла глаза Нина Александровна. — Вот мы с Машурой опять будем гулять одни.

Токунов не возражал. Его только остро поразило слово «одни». Машура еще не одна. Ее детски-теплое отношение ко всему, когда каждый кутенок

нежный друг, а каждый взрослый, если он весел, то, значит, добр, и мир, как никогда, не по хорошему мил, а по милу хорош, исключало всякую мысль об одиночестве. Но Нина Александровна, любимый человек, действительно одна, ужасающе одинока, хотя ее знает владивостокская публика и, быть может, помнят немного в Москве, в ряде других городов. Она — «кумир» своих студий, но Токунов хорошо знал, что педагогическая работа и восторги владивостокских истеричек не увлекают ее, что студия была для нее только подделкой театральной среды. И до каких пор она будет одна, со своими пороками, болезнями и дочерью на руках, и чем может это кончиться?

Глядя на эту женщину, обнявшую ребенка, на живую точеную пирамиду ее плеч, выскользнувших из-под платка, Токунов почувствовал себя вдруг неяршим дезертиром. Мужество, которое сумел он собрать за последние дни, показалось ему таким бесполезным, так ложно направленным, что он только подивился — где у него были глаза, чуткость? Неужели душевное движение, пришедшее к нему, должно быть так трусливо задумано, так позорно, мелко погашено. Торжество здравого смысла становилось фактом бегства и бессилия.

И когда Машура, потихоньку высвободившись, выбежала вприпрыжку из комнаты, Токунов, твердо подняв глаза, сказал:

— Нина Александровна! Я простой человек. Я скучный человек. Но я вам хочу предложить самое лучшее, что во мне есть, — две корявых руки и домовитость, которую еще ни на кого не тратил. Займите их у меня. Я еду на Сахалин. Поедьте вместе. Не думайте, что я о чем-нибудь мечтаю или заношусь мыслями. Я знаю, что я для вас останусь таким же серым. Но вам нужно поправиться и пожить в таком месте, где вы не сможете больше достать наркоза. У вас есть силы. Если бы вы кого-нибудь крепко полюбили, то, быть может, поправились бы и здесь. Ну, а там кругом будет море, и вы поправитесь от одного того, что глушь и нет прохвостов, торгующих этим товаром. Я вас прошу —

обопреться на меня. Я никогда ничего не попрошу у вас взамен. Мне будет достаточно видеть вас и Машуру каждый день в одном доме со мной.

С первых же слов лицо ее стало бесконечно сумеречным. Она сразу постарела на десять лет. С минуту подумав, она заговорила, голос ее упал и, послышалось, разбился вдребезги.

— Спасибо... Вы тронули меня до слез. Я думала, вы от меня отвернулись. И это, правду сказать, не огорчало меня. Когда-нибудь должно же было это притти. А вы вот какой... Ну так слушайте: зря, Кирилл Васильевич, зря, золотой друг мой. У вас ум и доброе сердце и здоровье из детской молитвы. Вам нужно бы счастье такое же, из той же молитвы. А я воспитана дурными театральными людишками и отравлена ими же. Мне нужно вырваться из этой обстановки, мне боязно иногда, что я сорвусь и не смогу работать. Но с какой же стати вам принимать на себя печальную роль моего соседа? И как мне соглашаться на это, не надеясь даже на то, что я смогу быть вам когда-нибудь хорошим таежным товарищем? Это раз. А второе то, что я ведь ни в чем не раскаиваюсь, и мне эта гниль, которой я жила и живу, дорога. Правда, мне плохо, и я не настолько больна, чтоб не желать себе здоровья. Но моя судьба уж обозначена. Так ради чего?..

— Ради Машуры, — тихо сказал Токунов.

В ее глазах мелькнул давний испуг и благодарность вместе. А он почувствовал, что никогда еще решительнее и своевременнее не вмешивался в чужие судьбы, чем в этот день.

Они вышли из Владивостока поздно ночью. Весь следующий день шли в виду гористого, поросшего лесом берега. Затем, потеряв из вида берег, ушли в мертвенное открытое море с маслянисто-округлыми тяжелыми валами. По временам возвращаясь к береговым мысам и попутным бухтам, видели замшелые скалы готических, устремленных вверх очертаний, задымленные туманами

горы Приморья. Потом опять отходили, и Японское море меняло свой цвет от бледноголубого в ясную погоду на молочно-алюминиевый—в пасмурную. Наконец зарылись в туман. Снасти почернели, набухли, с них падала крупная, тяжелая капель, а туман сыпался сверху на лица тонкой водяной пылью, как от пульверизатора.

Из кают казалось, что в открытые иллюминаторы вставлены матовые стекла—туман лнул к самому пароходу, заслоняя море. Оно стало мистически таинственным, словно море Эдгара По.

Нина Александровна выходила на палубу, кутаясь в длинное пушистое пальто, или проводила время в кают-компании. На пароходе она была очень заметна, моряки и пассажиры никогда не оставляли ее одну, шли веселые разговоры со взрывами смеха, и Токунов, любуясь ею издали, никак не мог с достаточной ясностью поверить, что он—спутник этой прекрасной женщины с мягкими задорными глазами.

Наружно ничто не изменилось: они были на «вы», Нина Александровна по временам уединялась в каюте, но Токунов теперь знал, что запас наркоза, каков бы ни был, должен иссякнуть, помнил ее фразу: «Мне сразу не переломиться, а помочь мне нельзя, можно только помешать. Вы даете мне слово никогда не подымать этого вопроса и предоставить все времени...»

Он лазил с неутомимой Машурой по всему пароходу и объяснял ей, что палуба на носу, это—бак, середина ее—шканцы, корма—ют, на носу—грот-мачта, на корме—бизань. Потом они играли в старых морских волков, причем Токунов говорил, смотря в бинокль:

— А к вечеру будет штормяга. Как ты думаешь, юнга?

И Машура, прикрыв козырьком глаза, подтверждала:

— Да, капитан, здоровый штормяга! Я вижу—идет тайфун.

Эту игру придумала Машура, она была их общим немного стыдным секретом ото всех, и неизвестно, кому больше доставляла удовольствия.

Весь переход прошел спокойно. На восьмые сутки бросили якорь против

Александровска, и после прекрасных обрывистых берегов, черных от леса, зубчатых от сопок, несколько испугавших Нину Александровну своей суровостью, город с первого взгляда показался уютным, гостеприимным, теплым.

Четыре дня они прожили здесь, и впечатление сгладилось, уступило иному. Во втором поколении ссыльных время еще не успело вытравить тягчайших рубцов, нанесенных палаческим правосудием, потомки их были угрюмы, неразговорчивы, отмечены неизжитой душевной проказой, четыре поколения поддерживавшейся на острове, туго зараставшей новью. Деревянный и огородный город хранил зияющие пустыри на пепелищах тюремных корпусов, когда-то бывших не только достопримечательностью острова, но и кладбищем кандалного труда, вместившем бесправия, на котором сытел и жирел паразитирующий административный центр, как на работрговом берегу.

Не прошло трех месяцев со времени освобождения края от интервентов. Александровск был полон еще воспоминаниями о повальных расстрелах, производившихся в ответ на действия партизан Тряпицына. То были дни, когда мирное поголовье мужчин выводилось в поле и там делилось на три части. Две возвращались домой, убедившись, что третья уже не существует. Схваченные во главе с Цапко шестеро революционеров, ведших подпольную работу, были уведены на японские суда, и их больше не удалось повидать никому. Не было девочки в возрасте двенадцати-тринадцати лет, которой не грозило насилие. Разнузданная солдатня с благословения или при попустительстве офицеров устраивала по сумеркам облавы, и вопли метавшихся по улицам девочек сливались с возбужденным готом озверелых охотников. Попав в руки, ребенок, у которого еще не появилось признаков зрелости, решал выбор между пулей в висок и постелью унтера...

Еще помнилась населением агитация губернатора Григорьева за «автономное Сахалинское государство под протекторатом Японии». Григорьев разезжал по деревням в сопровождении японской

охраны до тех пор, пока окончательно не выяснился полный провал. Тогда его сменили военные агитаторы из оккупационных войск. «Чтобы узнать Японию, необходимо понять, что такое император Японии, — читал Токунов речь Кусумото к населению: — Это понятие дает возможность ознакомиться с целой Японией. Поэтому вкратце объясню вам значение, содержащееся в японском императоре...»

«До первого императора предок его — богиня Теншо Дайдзин послала своего внука Нинигино Микото в Японию управлять ею. Причем она, наставляя его главнейшему направлению для вечно царствования, даровала ему три святых вещи, которые состоят из зеркала, шпаги и ценного камня и имеют важное значение при управлении государством. Эти святыни передаются из колена в колено императорского рода и служат символом вечно царствующей династии. Значение трех святых вещей заключается в следующем:

Зеркало имеет значение «наставлять», то-есть указывать людям правильный путь, выдвигать вперед культуру и тем самым вести людей в блаженство.

Шпага имеет значение «защищать», то-есть обеспечивать справедливость и мир, поддерживать спокойствие и порядок, гарантировать безопасность жизни и имущества.

Ценный камень обозначает «милость», то-есть любить народ и давать ему благополучие.

Вышеизложенное конкретно выражает содержание святого духа императора.

Эта вечно неизменная идея как-раз совпадает с путем бога на небе...»

«... Японский император так же одинаково обращается с иностранцами своей беспредельной гуманностью...»

То, что он управляет народом по идеалу бога, заключающемуся в том, чтобы давать всему человечеству счастье и благополучие, есть неисчерпаемый источник всеобщего блаженства...»

«Вышеупомянутое наверно дало вам общие черты духа, текущего в японских императорах. Тем не менее некоторые европейцы называют японцев агрессивным народом. Но это большая ошибка,

вызванная из-за непонимания японцев. Теперь весь мир, бывши свидетелем и участником небывалой в истории войны, решительно отказывается от мысли воевать. Тем более Япония обожает право и мир. Но раз японцы берут штыки, крайне храбро воюют...»

«... Как вы видите, у меня есть сабля, но это исключительно для установления мира по святому духу императора...»

Дикий разрыв между политическими претензиями государства, опертыми на военно-техническую мощь, и наивно мифологическими обоснованиями государственной системы поражал Токунова бесконечно. Неужели кто-нибудь в Японии верит в эти камни и зеркала? Японские университеты, газеты, промышленность, флот, — обо всем этом мир уже говорит всерьез как о двигателях прогресса на Тихом океане. Но на каких китах все это держится? И что думает об этом Нина Александровна, — не возьмет ли под защиту?

Токунов боялся ее спрашивать. Он видел, что она страдает от зрелища этих мест, испытавших двойное проклятие тираний — русской каторги и японской военщины. За страдальческую складку, появившуюся на лбу Нины Александровны в первые дни приезда, Токунов многое ей простил, забыл невысказанную горечь многих накопившихся упреков. Ее прошлое было под тяжелыми колесами российской судьбы — хорошо уж и то, что она не замкнулась в личном эгоизме. Он только боялся, что первые мрачные впечатления от пребывания на острове наложат тоскливый след на дальнейшее и торопился с отъездом.

Они покинули Александровск с облегчением. Знойный путь в глубь острова вел их по мостам над говорливыми речками, мимо петель построенной японцами и заброшенной узкоколейки, мимо деревень, заселенных потомками ссыльно-поселенцев. Люди тут уже успели шире вздохнуть и оправиться от кандалного режима. Интервенция меньше коснулась их. На-редкость крупной, могучей казалась молодежь. Избы стояли крепкие, высокие, просторные. Крытые дворы были по-сибирски замощены во

всю ширину бревном, горбылем. Свиньи жирели от медвежьего корня, сытые коровы лоснились шерстью, были быстры, подвижны, дичливы в повадках.

Земля здесь умела родить. По обочинам дороги, по опушкам и полянам тайги древовидные травы перед тем, как пасть под заморозком, заполняли воздух ракетами цветов, зонтами набухающих семян. Тополь, лихота, ель чередовались, как братские племена, обнимались вершинами, и лиственница пушила среди них длинношерстные зеленошкурые ветви. Поляны благоухали зарослями морского шиповника.

Машуру нельзя было удержать в тележке, — она то и дело прыгивала, рвала чудовищные по величине букеты, застревала в кустах придорожной малины.

Камышевый перевал, ночлег в Дербинском, ужин из жареной на свином сале картошки и парного молока, разговоры с кулаком-хозяином о ходе кеты, выезд на рассвете, — все это было преддверием своих мест, будущего дома. Земледельческая долина Центрального Сахалина разволновалась по сторонам округлыми излогами сопков, замкнувшими оком. Где-то близко от дороги струилась порожистая Тымь, заболочивая дорожную обочину. Спускаясь с сопков, тайга плешивела частыми полянами и наклонялась над водой разбросанными кавардаками кряжистых ветел. Мимо скачущего по камням ручья, мимо олеографически прекрасного перелеска гигантских ветел дорога повернула в распахнутое поле, и серые бревенчатые избы сельскохозяйственной фермы возникли невдалеке скитом крепких отшельников.

Это был дом.

Первые дни, дорвавшись до черной земли, Токунов утонул в ее дремучих запахах. Он проводил целые дни в седле, объезжая поля и окрестные косогоры. Земская ферма была только первой робкой попыткой спросить у тымской поймы, что даст она в обмен на человеческий труд. Сахалинские земли строптиво упрямылись. Тайга сжимала посевы, наседала на поля, дробила их на мелкие участки. Заболоченные луга вы-

гоняли осоку, острый, как серп, камыш. Корчевать и сушить, поднять выгоны в сопки, идти непрерывной, настойчивой войной на лес и воду, взять эту долину в такую работу, чтоб она забыла о стихиях... чтоб привыкла повиноваться только человеческой воле! — Токунов оглядывался с жадным вожделением и сжимал бессильно кулаки, вспоминая, что на ферме всего лишь тринадцать человек рабочих. Он дал себе слово вырвать львиную долю из первой же партии машин, которые появятся на Дальнем Востоке.

Токунов обходил скотный двор, службы — все было добротной казенной стройки, не боялось мороза и ураганов. Надо было лишь заполнить опустевшие от военных поборов стойла, запастись на зиму сена, взяться за осенний ремонт, наладить каждодневные работы по уборке, уходу за скотиной, организацию почты. Ежедневно набегали новые заботы: починка мостов, исправление дороги, поездка в село Рыковское. Все это волновало Токунова знакомыми сладкими тревогами хозяина, которому погода — бессменный сотрудник, и нож острый — всякий беспорядок, неполадки. Одновременно с этим на долю его выпали метеорологические наблюдения, ежедневные записи, обмен сводками с Александровской и Женкьерской станциями. Здесь, на ферме, маленькая пасека выращенных в белую краску наблюдательных приборов следила за климатом Центрального Сахалина. Климат тут сохранял характер морской и приполярный, но был резче, чем на побережьях. Из просмотра годовых записей Токунов еще раз вынес уверенность, что ему суждено быть начинателем дела захватывающего интереса — впервые в истории привить острову айносов приемы крупного земледелия, передовой агротехники на смену зачаточному земледелию. Он верил, что опыт борьбы за культуру сахалинских земель — это разведка на потребу всего борющегося со стихиями человечества. Что лично ему нигде бы не найти такого полноценного, радостного и благодарного применения своих знаний, глазомера, любви к живой и буйной природе, как здесь. Тем

более, что рядом — любимая женщина, которая не сможет уйти от целительных сил этой дикой, неистовой природы, не сможет им не поддаться.

Нина Александровна тем временем, казалось, с интересом отдалась устройству квартиры. Женское умение вызвать из ничего уют сочеталось в ней с художнической требовательностью к жилью, к расстановке наличных вещей. Покупки у орочен и какого-то мелкого японского спекулянта, отставшего от своих войск, помогли ей скрасить пустые стены квартиры. Комната Токунова заполнилась медвежьими бурими шкурами и поделками из нерпячьих и оленьих, — сумки, ягдташи были развешены на стенах вперемежку с оружием руками Нины Александровны, за что Токунов должен был обещать устроить для нее зимой охоту на сиводушку и, особо, добыть чернобурую. Токунов находил, что это ничтожная цена за ее заботу и что достаточно было бы ее прихоти сквозь зевок, чтобы заставить его перебить всех сахалинских лис. Комната Нины Александровны и Машуры запестрела ширмами, цыновками, веерами японской работы. То, что в городе отдалало бы ужасающей дешевкой, здесь оказалось совершенно уместным. Японские драпировки по стенам и свисавшие с потолка прозрачные экраны заканчивали пейзаж, видневшийся из окон, — две ели, несколько пихт и цепь сопков на близком горизонте. Бумажные кимоно стали будним платьем Нины Александровны, и даже лицо ее казалось чуть изменившимся, не совсем прежним.

Забавлялась ли она от скуки? Скучала ли? Токунов не мог отдать себе в этом отчета. Заходя домой в перерывах работы, он заставал Нину Александровну спокойной, ясной. Она очень домовито следила за чистотой в квартире. Часто он видел ее заголившей ноги, как деревенская баба, занятой мойкой полов. Никакие протесты его не помогали:

— Вы отбиваете хлеб у уборщицы, — замечал он.

— А вы уже отбили у меня дочь, — возразила она, смеясь. — Молчите лучше и не вмешивайтесь не в свое дело.

В глубине души он соглашался с нею. Нельзя же сидеть сложа руки. Он даже восхищался попрежнему этой способностью ее сохранить в себе балованную артистку и простую работающую бабу. Он дрожал от внутреннего восторга, что ставка на ее нерастраченные запасы душевного здоровья безошибочна. Давно он уже так хорошо и стыдливо не мечтал, давно уже мечты так чудесно не сбывались.

Нина Александровна занялась с Машурой школьными предметами и подолгу гуляла по берегам Тыми. Токунов любил, оторвавшись от хозяйства, встретить их где-нибудь возле воздушной переправы через реку — в ящике с блоком они переправлялись на другую сторону. Машура настойчиво разбиралась в находке. «Голубика это или черника, или гонобобель, или жимолость?» На глаз, на нюх, на вкус она с детским горячим усердием старалась определить, запомнить различия, а Токунов никогда не уставал помогать ей в этом. Где-то возле, среди стволов гигантских ветел и тополя, проходила Нина Александровна. Каждый шаг ее легчайшим стоном звенел в груди Токунова. И наверно, наверно никогда человеческая нога не ступала так легко по тяжкой земле этой долины.

Нина Александровна попрежнему временами вспыхивала непрымством румянцем. Но, засыпая каждый день каменным сном усталого пешехода, Токунов был счастлив сознанием, что должно же это кончиться, и уж очевидно скоро.

Запоздалая в сравнении с материком островная осень плескала по тайге желтым и красным пламенем. Хвоя почернела. Однажды все пламя упало вниз, и несколько дней его гасил холодный, пополам со снегом, дождь. Токунов отметил штормы осеннего равноденствия. В расписании приливов и отливов значилось высшее стояние воды, которое здесь, среди сопков, не имело бы значения, если бы дыхание океана штормами не долетало сюда. Ветер был с юга. Токунов знал, что это преобладающее направление для Центрального Сахалина. Глубокий снег вскоре закутал землю,

приглушил собачий лай и звон обеденного колокола фермы.

Свертывая на зиму работы, налаживая оружие и лыжи к охоте, Токунов как-то не уследил дня, когда Нина Александровна простудилась. Он заметил это только после того, как она слегла. Он съездил за врачом. В доме запахло лекарствами. Первый раз ставил банки врач. Через два дня он уехал, подружившись со всеми, определив у Нины Александровны плеврит. Уезжая, учил Токунова ставить банки, и Нина Александровна лукаво щурилась, слушая его наставления.

Вечером она спросила Токунова, принужденно улыбувшись:

— Кирилл Васильевич, вы думаете, мне нужно слушаться доктора?

— Разумеется.

— А вам?

Токунов нерешительно молчал.

— Ну, так позовите уборщицу. Все равно им чудно, что заведующий фермой со своей... со мной на «вы».

Ее глаза избегали его взгляда. Сквозь румянец простудного жара выступила еще более сильная краска. Токунов вдруг почувствовал в ней стыд за условность их отношений, стыд перед уборщицей Аксиной, благосклонной ко всем рабочим фермы, перед конюхами, стряпухами, конторщиками, перед этичными четами окрестных крестьян. Приходивших на поденщину, оставив у себя в избе мал-мала восемь. С ужасным замешательством он ощутил в себе одновременно радость. Он отчетливо сознавал, что радуется ее стыду.

— Я сейчас вымою руки горячей водой, — торопливо проговорил он и по молчаливо нахмуренным бровям Нины Александровны понял, что она довольна.

Засучив рукава, Токунов двигался бесстрастно и деловито, как под гипнозом. Все мысли его были сосредоточены на безукоризненном выполнении предписаний врача. Нина Александровна лежала перед ним на постели ничком, обнаженная до пояса. В суровом пренебрежении к себе она не стеснялась своей наготы, но притихла. Сплюснутая грудь виднелась из-подмышки, голова лежала щекой на руке.

Внезапно Токунов ужаснулся своим руками: «Батюшки, можно же такими граблями!» Нина Александровна не подавала вида, что что-нибудь чувствует, даже тогда, когда он, начав ставить одну за другой банки, вдруг второпях пролил каплю горящего спирта ей на кожу. Краем простыни он мгновенно затушил огонь и кончил процедуру среди односложных вопросов: «Выше?.. Правее?.. Правильно?..»

Они пробыли в молчании до тех пор, пока не пришло время снимать банки. Изуродованная спина была сплошь стянута и покрыта вросшими в стекло участками кожи, похожими на грибы с синей шляпкой на белой ножке. Сняв банки, Токунов вытер полотенцем усеянную медальонами кожу и бережно укутал одеялом. Тут же впрочем он занялся перетираньем банок, словно спохватившись, что обязанности еще не кончены. Нина Александровна задумчиво смотрела в пространство.

— Вы терпеливая больная, но я человечья няня, — решил наконец сказать Токунов.

— Нет, вы ничего, для первого раза недурно. А я — бедная.

И по печальному сдвигу ее бровей, по терпкому холодку, с каким прозвучало «я бедная», он догадался, что речь идет об опустелости, ей самой ненавистной.

Его помощь требовалась несколько дней подряд. Через неделю Нина Александровна встала. С этого времени Токунову нетрудно было сохранить естественность, когда в его присутствии называли Нину Александровну его женой, — это получило косвенное согласие, и, казалось, условность оговорена.

Но эти обстоятельства создали новое отчуждение. Токунов поторопился заполнить свое время поездками по разным направлениям, то на охоту, то для ознакомления с краем. Мыслями он оставался дома и каждый раз, вернувшись, с наслаждением садился за обработку метеорологических наблюдений, сделанных в его отсутствие помощником, пожилым брюзгою Голенкиным. Машура, усевшись подле, живейшим образом уча-

ствовала в работе, и тут завязывались тихие разговоры:

— Вот видишь, опять всю неделю ветры.

— Да, у нас стены даже дрожали! — горячо подтверждала Машура.

— А мне около Адо-Тымова чуть не отморозило щеку.

— Кирилл Васильевич, я без вас каждый день ходила вместе с Голенкиным. Только в семь часов и двенадцать, а вечером меня мама не пускала.

— Молодец... Когда немного при-выкнешь, я буду тебе поручать. Хорошо? А как вы без меня жили? Как мама?

Ответа Токунов всегда ждал с некоторым страхом. Но Машура бездумно и ясно утверждала:

— Хорошо жили. Мама попрежнему все кашляет... А вчера в двенадцать было не шесть, а пять баллов облачности. Голенкин наврал. То-есть он ошибается.

Не всегда решался Токунов спросить о шприце. Но по различным обмолвкам Машуры — о настроении матери, о ссоре за утренним уроком — он сделал вывод, что со времени болезни Нина Александровна стала гораздо чаще прибегать к морфию. Это его встревожило. Токунов ломал голову, скоро ли кончатся запасы, но вопрос этот был под запретом, в разговоре с Ниной Александровной его нельзя было поднимать. Малейшее участие могло показаться грубой выходкой. А он строго берег уважение к ее личности, хорошо знал ее независимость.

Так прошло месяца полтора. Уже пришли зимние метели. Морозы, доходившие до пятидесяти градусов, обесцветили небо и выгладили визжащий под ногами наст. Азартнее, чем когда-нибудь, Токунов принялся за охоту. Гоньба за лисой, кабаргой, соболем, хотя бы и безуспешная, сваливала с ног, подавляла некоторую растерянность, в которой он должен был себе признаться. Частые отлучки из дома позволяли побороть настороженность, с которой он невольно для себя, к собственной досаде, следил издали за Ниной Александровной, чувствуя, что она с некоторого времени сознательно отодвину-

лась, стала малообщительна, прекратила доступ к своим личным интересам и распорядку дня. Он почувствовал, что пришел период, которого он так боялся: она скучает, ей надоело все окружающее, ее тяготит пустыня, и нехватило бы выдержки скрыть раздражение при более частых встречах. Он готов был совсем исчезнуть с фермы, если бы это было возможно, но только не быть навязчивым.

Однажды он вышел к реке с карабином в руках и наткнулся на путаные петли зайца. День был солнечным до боли в глазах. Токунов решил захватить темные консервы и переменить ружье на дробовик. Это и привело его к дому в ту самую минуту, когда туда входил японец, поставлявший Нине Александровне время от времени галантерейный товар. Звали его Миязака, вид у него был продувного шельмы, скрывающегося под приглуловатыми улыбками. Токунову он был чем-то резко неприятен.

Завидев хозяйина, Миязака стал торпливо расшаркиваться. Нина Александровна провела его в свою комнату. Дверь за ними закрылась, но до последней минуты, пока еще можно было видеть, Миязака расшаркивался, пялся и подобострастно глядя на Токунова.

Возня с патронами заняла почему-то очень много времени. Зачем-то понадобилось вытаскивать пыжи и проверять калибр дробы, хотя номер значился на гильзе, надписанный собственной рукой. Токунов ловил себя на нехороших мыслях. Что делается в соседней комнате? Может ли быть, чтобы Миязака торговал наркотом? Вполне... Вправе ли Нина Александровна распоряжаться собой? Конечно, как и всякий человек... Можно ли это допустить? Нет, ни в каком случае, она больна... Что делать? Что делать? Неизвестно...

Скрипя потихоньку зубами и до боли сжимая в руках ружье, Токунов вышел в столовую с тем, чтобы украдкой уйти из дома, но опять наткнулся на Миязаку. Тот принялся снова расшаркиваться, пялся теперь уже к выходной двери. Должно быть, он что-то прочел в лице этого громоздкого, одетого в по-

лушубок, вооруженного мужчины, Такава-сана, задевшего мимоходом обеденный тяжелый стол с такой силой, что тот сдвинулся с места. В глазах Миязаки пробежал проворный испуг, он страшно заторопился и выскочил в сени.

Тогда Токунов бросился к окошку. Оно запотело и было покрыто изнутри льдом. Он распахнул форточку. Теперь было видно, как Миязака, оглядываясь на ходу и поправляя шапку, спешно уходит от дома, были даже слышны свистящие по снегу его шаги. Токунов захлопнул форточку и обернулся. Глаза его встретились с напряженным взглядом Нины Александровны. Если до этих пор еще оставались сомнения, то теперь все стало безошибочно ясно. Он бросился к выходу, но Нина Александровна уже загородила ему дорогу.

— Простите! — сказал он, пробуя обойти.

— Нет, Кирилл Васильевич, я вас прошу! Прошу вас!

Лицо ее было совсем белым, глаза ужасно расширены. Одной рукой она схватилась за дверной косяк, другой за ружье, с силой отталкивая его назад. Тут только Токунов заметил, что уже взвел на ходу оба курка.

Он остановился. Нина Александровна, задыхаясь и изо всей силы вцепившись в ружье, повторяла:

— Останьтесь! Дайте слово, что вы никуда не пойдете! Вы успеете... Вы можете делать, что хотите, но дайте слово, что сегодня не уйдете из дома! Вообще до разговора со мной...

Токунов трудно озирался по сторонам. Он сам себя не мог остановить, а тут его пытаются удержать! Ну что ж, не будет же он бороться силой. Но как будто можно теперь спрятать от него этого стервятника... Найдется ли такое стойбище, такая глушь, топь...

Оба сразу заметили вышедшую на шум Машуру. Но только Нина Александровна сумела быстро найтись и сказать обыкновенным тоном:

— Смотри, Кирилл Васильевич решил пристрелить Бобика... Правда, безобразия? Как не стыдно! Дайте сюда ружье... Давайте же!

Токунов безропотно принял поклев в покушении на окривевшего в драке пса, которого вместе с Машурой лечил, безропотно выпустил двустволку из ослабевших рук. Взволнованная Нина Александровна вместе с Машурой вынесла из его комнаты винчестер, револьвер и заперлась. Токунов лег у себя на шкафах, как арестованный солдат, и пролежал до сумерек.

Машура уже давно спала крепким сном, когда Нина Александровна вошла и села с рукодельем в руках. Некоторое время она молчала, низко опустив голову, и только змейка шерсти проворно ползла между тонких ее пальцев. Потом она остановилась.

— Кирилл Васильевич, я хотела... Кирилл Васильевич, если я приехала с вами сюда, то не для того, чтобы обмануть... чтобы оскорбить самое для меня дорогое, лучшее, что в вас есть, — вашу веру... Не перебивайте меня! — вдруг сердито закричала она, хотя Токунов слушал, затаив дыхание, и быстро вытерла бессильную слезинку.

— Ну вот, у меня хватило бы сил. У меня хватало силы. Но теперь все мое пропало, все пропало... Я перевела Машуру в угловую комнату именно поэтому. Словом, у меня каждую ночь испарина и очень болит под ключицами. Все это очень быстро усиливается. И я не мнительна, но я уверена в самом плохом... Не говорите ничего!.. Вот. Все правильно. И нечего думать, что здесь виноват остров. Все равно это самое лучшее. Так надо. И я ко всему теперь готова. Не трогайте Миязаку. Морфинисты дьявольски изобретательны, помните это. А мне все-таки надо немного умерить душевную тоску. Не Миязака, так нашлась бы другая. Но только не думайте обо мне как о морфинистке. Я бы все сделала... да, да, для вас...

Некоторое время она пробовала овладеть губами, лицом. Не смогла — и быстро уткнулась в свое шерстяное рукоделье. Токунов, вскочив, гладил ее трепещущие плечи и едва осваивал ужас положения...

В три часа ночи он уже выехал за доктором, оставив Нину Александровну у себя в комнате, совсем уставшую от

слез. Молчаливые снега звенели и свистели возле саней. Темносиний свет лежал под звездами. Лошади шли, покрытые белым мхом инея, словно в асбестовых шкурах. Они дымилась туманом, и этот туман налетал и застилал все вместе с мыслью: «Навигация давно кончена, невозможно ничего до весны, до весны...»

На рассвете он уже под'езжал к Рыковскому. Доктор Петр Петрович Кветун был из породы тех земских врачей, которые лечат все, не из самонадеянности, а по безвыходности положения. Седоусый, грузный, с вьющимися бровями, он только покрутил головой, услышав о состоянии Нины Александровны, и дернул щекой, словно с'ел что-то горькое:

— Экая женщина! — пробормотал он и принялся надевать пимы.

Дорогой Токунов рассказал обо всем. Кветун хмурился и площадно ругал японцев.

— Они и туземцев спаивают и приучают к опиуму. Ах, св...! Весь остров наводнен контрабандой!

Он считал, что причиной заболевания было истощение организма на почве употребления наркоза. Что сам по себе климат не при чем — посмотрите на аборигенов! Что, разумеется, морфий надо изгнать, но постепенно и осторожно, потому что резкое прекращение вспыскиваний может очень неблагоприятно обострить болезнь. Что если Нина Александровна права, и это каверны, то, возможно, морфий останавливал кровотечение. Но что, впрочем, надо слушать, осмотреть. Ни о чем нельзя судить заранее.

Они застали Нину Александровну спокойной, приветливой.

— Извольте рассказать все, как на духу, как дочь... — услышал Токунов последнюю фразу, и дверь в комнату Нины Александровны закрылась.

Она раскрылась вместе с фразой Петра Петровича:

— Полноте, еще Лукреций Кар сказал, что природа не знает чувств и никогда не мстит.

Умывая руки, он обронил Токунову вдруг взбухшим шопотом:

— Помогите ей дожить последние недели. Если будет нужда, отвезите Машуру к моей детворе, — и засопел тихонько в усы.

Потом, за обедом, были подробные наставления о режиме, а в комнате Токунова — отдельный разговор.

— Да, да, все в заговоре. И она сама всячески способствовала... Если б не крепкое сложение, она бы уже лежала...

Следующие недели шли с железной обреченностью. Жизнь в доме замирала, как круги от упавшего камня, — все тише с каждым днем. Вскоре Нина Александровна должна была большую часть времени проводить в постели. Она старалась по возможности обходиться своими силами, но, поняв, что это уже невозможно, уступила, — Токунов переносил ее теперь из кресла в постель на руках.

Каждую неделю приезжал Петр Петрович. Нина Александровна подчинялась всем указаниям, терпеливо принимала тиюкол и другие снадобия небогатой сельской аптечки. Она знала, что умирает, и теперь относилась к этому совершенно спокойно, хотя не раз, выполнив предписание Петра Петровича, говорила с веселым удовлетворением:

— Ну вот, может быть, денечек и уберегла...

По ночам, когда приходила слабость, Токунов садился около ее постели на низенькую скамеечку, Нина Александровна брала его ладонь похолодевшей, влажной рукой. Только тело ее легчало, — лицо оставалось почти прежним. Сквозь легкую смуглоту светился оживленный румянец, глаза сияли, лучились счастьем жизни...

— Мне легко, — говорила она. — Мне так просто и спокойно. Слабость, боль — это все пустяки... В судьбе моей, как помотришь, столько пошлости! И все же теперь я уверена, что не так-то уж земля на меня сердита, если ты, такой здоровый, полевой, любишь. Скажи, ведь это, несмотря на то, что я такая?..

Токунов наклонялся и прижимался лбом к ее ласковой ладони, и пальцы, касаясь его висков, успокаивались, затихали, как будто чувствуя всю изум-

ленную муку, восторженное отчаяние, бушевавшее в нем. Его потрясала воля, с которой она постепенно свела на-нет дозы морфия, и то чувство, что за этим вставало.

Он почти не отлучался из дома — боялся пропустить минуту, когда нужна помощь. Он вел тщательную запись температуры для Кветуна и попрежнему — метеорологические наблюдения. Записи делались одновременно, и Токунов теперь, сопоставляя их, все время следил за предрешенной борьбой угасавшего тела и необъятных океанских стихий. Чем чаще падал барометр в предвесье весенних штормов, тем чаще подмывало Токунова наедине с собой поднять кулаки и грозить кому-то, надвигавшему весеннюю хозяйскую чистку живого. Но, уже сжав кулаки, он медленно оборачивался туда, где за стеной висели снимки балетных ролей умиравшей женщины, и грозил им, грозил ее прошлому, грозил тем, кто вывихивает простую красоту, глумится над здоровьем, проклинал и надолго неумело хватался за голову.

В начале апреля, когда после сильных удуший Нине Александровне стало лучше и Петр Петрович предложил погостить Машуре у него, они поняли, что пришли последние сроки. Кветун обещал заехать через два дня, но сразу же после его отъезда Нина Александровна удержала Токунова у своей постели:

— Во-первых, о Машуре, — сказала она. — Ей расскажи года через три-четыре подробнее. А сейчас — что мать прощалась с ней, когда целовала на дорогу, и что мне легко. Затем благодари от всего сердца Петра Петровича. Подари ему на память обо мне, что решишь с Машей. А затем, затем — не храни меня, сожги! О, я хорошо помню, как ты ей рассказывал, что все сожженное уходит в состояние свободного азота. Да? Я ведь не наврала? Я не хочу, чтобы все, что скопилось во мне мерзкого, продолжало участвовать в кру-

говороте этой связанной материи, чтобы каждая моя частица продолжала восставать против природы.. Ну, чего говорить, пусть лучше ветер носит. Я не хочу, чтобы вы уезжали далеко отсюда, — пусть Маша не будет такой, как я. Но если уедете когда-нибудь, может, ветер коснется ваших щек.. Это моя горячая, последняя воля, просьба к тебе, самому близкому. Исполнишь?

Прочитав по губам согласие, она донесла печально:

— И не седей так быстро. Не позволяй себе..

Под утро она заснула ненадолго, словно для того, чтобы собрать силы к последним секундам. Схватив руки Токунова, она старалась вытянуться. Грудь еще коротко и мелко подымалась. Потом настала общая непосильная боль. Жизнь вырывалась последним рывком — он был полон труда. Но в тот самый миг, как тело перестало быть человеком, все частицы его ринулись в разным целям, оборвали единство и в нестерпимом блаженстве распада еще раз осветились бесчисленной раздробленной жизнью.

Токунов жег тело двое суток. На свег огромного костра, бросавшего отблеск к дальним сопкам, сходились крестьяне, гиляки ближнего стойбища. Молча стояли, смотрели на обросшего бородой человека, неумоимо подбрасывающего дрова, молча раз'езжались. Трескущее ароматное пламя лиственницы заволакивало огневое одеяло вокруг железной станины, стоявшей в центре костра. Штормовой ветер бил с юга и угонял в даль песню прозрачной скорби об Айсигене, пепел которой будет зарыт в Тымской долине.

Осенью Токунов с Машурой перебрался в Хандузы, на север, приняв лесничество. Летом побывали во Владивостоке. Через два года Токунов принял место организатора береговых работ и метеорологических наблюдений Сахалиннефти.

А там началось строительство Широкой Пади.

Ключи города

Рассказ

А. ГАРРИ

I

Впереди и по краям дороги двигались галицийские партизаны. Они отобрали у старших братьев, отлеживающихся дома после последних кровавых дел, голубые австрийские мундиры, — голубизна этих мундиров okayмляла пыльное шоссе причудливым бордюром. Кое-где на гимнастерках блестяли еще медные буквы полков императора Франца и выцветшие капральские нашивки.

Галицийские парни, шедшие с нами, не знали полков старого, похожего на мопса императора Франца: в годы войны они были еще подростками. Эти парни презирали своих старших братьев за измену красным под Винницей, за то, что, в течение шести лет таская на плече винтовку, они ничего не сумели завоевать, кроме польской нагайки. Галицийские парни, шедшие с нами, были за большевизм Ленина, за землю — против демократии Пилсудского и помещицкой кабалы. И потому мы им верили.

Небо было безоблачным, немилосердно пекло солнце. Мелкая, как мука, белая пыль ложилась по краям дороги, покрывая густым налетом догорающую, неубранную пшеницу. Конница медленно тянулась по шоссе между двумя рядами голубых мундиров. Лошади, изнемогая от жажды и пыли, то и дело чихали и фыркали, мотая мордами.

Старые буки, выдавшие виды, стояли вдоль дороги, за канавой, как часовые.

У серых каменных мостиков, на перекрестках дорог, покой сторожили белоснежные мадонны, еще с пасхи украшенные дешевыми бумажными цветами. Пересекаемая редкими холмами, лениво текла на запад, к Карпатам, галицийская равнина. Здесь не слышно было даже трохота пушек, здесь был глубокий тыл, много выше, на фронте конницы Буденного, решалась судьба советско-польской войны, еще выше, у Вислы, пехотные полки российских рабочих предместий день и ночь лезли на огражденные проволокой и волчьими ямами окопы Пилсудского и Галлера.

К полудню, правее дороги, возник огромный, поросший лесом холм. Выше старинной дубовой роши вонзились в небо серые башни средневекового замка князей Сангушко. По тучным землям этих укрепших еще в средние века магнатов конница Котовского двигалась уже третьи сутки. Замок был громаден. Цитадель маркграфов Лембергских командовала над окружающей равниной уже в течение нескольких столетий.

У подножья холма утопала в фруктовых садах небольшая деревушка. На обмазанных известью деревьях дозревали тяжелые, желтые сливы. Крытые красной черепицей чистенькие австрийские домики белели в просеках сливовых аллей. Старики в зеленых бархатных тирольках курили в тени пестрые глиняные трубки, у калиток глазели на конницу румяные девки в причудливых крахмальных чепцах. Староста, величественный старик, увешанный медалями,

в картузе с серебряным галуном, приказал ударить в набат и выкатить кавалеристам две бочки с холодным горьковатым черным пивом. В тени сливовых деревьев хозяйки уже накрывали столы белоснежными скатертями, в воздухе запахло жареным кофе.

Замок князей Сангушко и деревушка при нем лежали в стороне от основных коммуникационных линий, война задела эти места только краем; однако в поле крестьяне все же боялись выходить: пошаливали дезертиры. А месяц тому назад здесь проходил уланский полк, да как-то недавно — большой интендантский обоз. С настоящей войной население столкнулось в последний раз лет пять тому назад, когда славу русского оружия и российского императора принесли сюда на острие своих пик брусиловские казаки. Простояли они в деревне ровно сутки, но набезобразничать успели изрядно.

Был воскресный день, народ недавно вернулся с поздней обедни. Топоча тяжельми подкованными ботинками, партизаны прошли вперед, за деревню, выслав глубокую разведку. Все казалось спокойным, однако надо было соблюдать осторожность: в одном только замке при желании могла укрыться целая польская дивизия.

Население с любопытством приглядывалось к кавалеристам. Сюда уже дошел слух об организации галицкого ревкома, о том, что Красная армия несет в Западную Украину революцию, освобождение от ига помещиков; здесь слышали и о Ленине. Политруки уже раздавали листовки, старички в тирольках, надев большие железные очки и переговариваясь вполголоса, разжевывали криво напечатанные на желтоватых листках бумаги буквы.

Шли извечные крестьянские разговоры: почему в России хлеб, что сеют, кто сейчас правит Россией, куда деваля помещиков и царя? Тем временем, утолив пивом жажду, трубачи, блестя трубами, успели заиграть веселый краковяк, и, шурша шелковыми исподними юбками, завертелись с кавалеристами местные красавицы. Девушки уж очень чудно танцевали, краковяк сначала не ладил-

ся, но потом все пошло, как по маслу, ибо в мире нет лучших танцоров, чем кавалеристы. А когда старый усатый комбат, папаша Просвирин, раскрасневшийся от пива, завертел вокруг себя какую-то дебелиую галичанку в лихой мазурке, крестьяне поняли, что все спокойно и никаких безобразий, повидимому, не будет.

Староста выпросил у политрука портрет Ленина и прибил его на стене своей канцелярии рядом с олеографией, изображающей свадьбу императора Франца. Император был в ослепительном белом мундире, молодой и красивый. Политрук неуверенно разъяснил старосте инструкцию об организации ревкома: никто не знал, что будет с этой деревней завтра, бригада была в глубоком тыловом рейде и уходила отсюда через несколько часов.

Партизаны от пива не отказались, но с местным населением в разговоры вступали неохотно. Партизаны были в большинстве батраками, голытьбой из-под Тарнополя, и зажиточных, «господских» крестьян они недолюбливали. Партизанская разведка донесла, что в радиусе тридцати километров не было уже более недели ни одного яльского солдата; беспокоил только замок, мрачные его зубчатые бастионы действовали угнетающе.

Взводный Ремейко получил задание разведать замок. Ехать не хотелось, разморило от пива, да и партнерша по танцам попала такая, что только—ну! Ремейко однако же взял взвод, при двух «льюисах», и углубился в тенистую дубовую аллею, мощеную гладким белым камнем. Аллея, извиваясь, шла в гору, дубы становились все ветвистей и гуще, котовцев охватил жаркий полумрак, скоро и неба не стало видно, заслонило листьями. Кавалеристы в молчании взбирались на кручу, успокоенные величием средневекового заповедника. В дубовой чаще звонко перекликались птицы, где-то близко стучал дятел.

Когда поднялись на вершину холма, вышли на плато. Отсюда прямая, как стрела, открывалась короткая асфальтовая аллея прямо к железным воротам

замка. Аллея была обсажена двойным рядом старых каштанов.

Вблизи замок возник во всей своей величественной красоте. Вправо и влево от центральных ворот уходили громадные стены с узкими бойницами и готическими башенками через каждые сто метров. Но взводный с неудовольствием отметил себе, что башни старые, а ворота выкрашены свежей темнозеленой краской. Такое странное несоответствие стилей наводило на тревожные размышления, и Ремейко, остановив взвод, приказал спешиться.

Внизу, из села, доносились звуки духового оркестра: там, повидимому, бал был в полном разгаре. Ремейко, проглотив слюну, вспомнил холодное пиво, пышные объятия своей недавней дамы, лиловый шелк ее шуршащей юбки. Однако же надо было действовать.

Взяв с собой пулеметчика, взводный бодрым шагом направился к воротам. С ними отправился и адъютант Котовского, сопровождавший взвод: этот развеселый малый вообще ничего в жизни не боялся. У ворот однако же их ждало неожиданное препятствие: путь преграждал широкий ров, мост был поднят, котовцы его издали и вовсе не заметили: впервые им приходилось иметь дело с такими диковинными мостами.

Кавалеристы подошли к самому рву. Стенки его заросли роскошной, сочной травой, на дне рва тускло поблескивала влажная глина. Зеленая ящерица грелась у пня, разыскав крошечный солнечный блик. Заслышав шаги, она, шурша, юркнула в густую траву. Внизу, в деревне, музыка умолкла, очевидно начался антракт, пили пиво. Наступила тишина, нарушаемая только неясным шуршанием в траве да звоном невидимых птиц. Кавалеристы затаили дыхание, стало жутко.

— Эй! Кто там, открывай! — крикнул адъютант по-немецки. Но никто не откликнулся, стало совсем тихо, даже птицы притаились.

— Может быть, тут черты одни живут, — сказал опытный в этих делах пулеметчик Таушан, — тогда надо еще второй «льюис» прихватить, один я ведь не справлюсь!..

Взводный в чертей не верил. Он поднял с земли камень и, размахнувшись, с силой бросил его через ров, об ворота. Старое железо жалобно зазвенело, отскочила краска, но попрежнему никто не откликнулся. Потом раздался слабый металлический звук, как будто бы щелкнули затвором. В железных воротах, звякнув еще раз, раскрылось крошечное слуховое окошко. В волчке показались страшные глаза, увенчанные густыми седыми бровями. Глаза с минуту разглядывали трех котовцев, потом волчок захлопнулся с прежним металлическим звоном. Снова стало тихо.

— Эй! Открывай, некогда нам! — крикнул еще раз адъютант.

Никто не откликнулся. Взводный не верил в неестественное и не любил неопределенных положений. Получалось же так, что приходилось возвращаться во-свои-си, не солоно хлебавши. Засмеют!

— А ну-ка, Таушан, пропусти этим чертям один диск, — сказал Ремейко, почесав затылок, — может, откликнутся, нечистая сила!

Пулеметчик поднял «льюис» кверху. Таушан был гигантом, ему ничего не стоило пользоваться ручным пулеметом даже с коня, на всем скаку. Диск завертелся, в каштановой аллее засуетились, снимая винтовки, кавалеристы. Пятьдесят выстрелов разорвали тишину, разбудив многоголосое эхо. Адъютант глянул на могучие каменные стены вала, выложенные крупным булыжником, и, усмехнувшись, подумал, что мумии старых князей Сангушко вероятно корчатся от смеха в своем фамильном склепе. выстроенная ими крепость выдерживала в свое время и не такие штурмы.

Однако, лишь только пулеметчик, выпустив диск, снял «льюис» с плеча, раздался скрип ржавых цепей, и подъемный мост стал медленно опускаться. Он ударился с адским грохотом о камни, и тотчас же, громохкая, распахнулись ворота, открыв вид на мощный двор крепости. Кавалеристы невольно отодвинулись от рва, людей в замке по-прежнему не было видно.

Тогда, вынув револьверы, взводный и адъютант взошли на мост; поручни его

из какого-то сплава, напоминающего бронзу, были подернуты зеленой плесенью столетий. Пулеметчик же остался сзади; он переменял диск и залег у входа на мост, готовясь стрелять.

Сбоку, у внутренней стены, возле полосатой будки часового, кавалеристов встретил седой, сгорбленный старик в роскошной ливрее. Он был почти совершенно глух, объясняться с ним было необычайно трудно. Он сообщил, что в замке никого нет, молодой князь в последний раз приезжал с друзьями из Львова на автомобиле около месяца тому назад, увел лошадей и распустил челядь до осени. В замке оставалось только трое: наш собеседник, брат его, такой же глубокий старик, да внучка.

Взводный кликнул своих людей, один за другим, ведя коней на поводу, кавалеристы стали перебираться через мост. Адъютант же забрался на караульную вышку и стал оттуда обозревать окрестности. Площадь, окаймленная высокой крепостной стеной, имела овальную форму. В центре расположен был величественный замок, со всех сторон примыкали к нему различные службы, многие из них — уже современной архитектуры. Выделялось совсем новое железобетонное здание силовой станции, во дворе часто были развешены большие электрические лампы, они чередовались со старинными, резными, качающимися на ржавых кольцах, железными фонарями. Двор и все здания содержались в идеальном порядке, но людей не было видно нигде.

Тогда, как было условлено, адъютант вздернул на флагшток вышки взводный значок. Впервые над замком старых польских феодалов взвилось алое знамя Революции. И через несколько мгновений снизу, из села, раздался троекратный залп: сигнал был принят. Адъютант успокоился: он опасался, как бы диск, выпущенный Таушаном, не вызвал в бригаде ненужной тревоги.

Кавалеристы оставили коней у старинной чугунной коновязи: здесь могло разместиться наверное несколько эскадронов. Затем все пошло осматривать замок. С визгом открывались один за другим громадные замки. По галлерейам,

освещенным цветной стеклянной мозаикой, по изразцовым полам и старым дубовым паркетам котовцы шли мимо портретов рыцарей, закованных в латы, мимо роскошной красного дерева мебели, мимо изысканных гобеленов. В полутемной библиотеке тысячи книг в тисненых золотом переплетах возвышались в три человеческих роста; библиотека освещалась сверху большим стеклянным куполом.

Задняя часть замка была модернизована: широкие, светлые окна, современная мебель, ванные комнаты, водопровод. Здесь царил страшный беспорядок. Мебель была исколота в щепы, ковры разорваны, в роскошной столовой буфет опрокинут, повсюду валялись груды разбитой, истоптанной посуды, фарфора и хрусталя. Эти опустошения были делом рук самого молодого князя: напившись вместе с друзьями, он изрубил шашкой собственное добро, лишь бы оно не досталось ненавистным большевикам. Собирался еще и замок поджечь, да друзья его урезонили: авось, пронесет грозу, большевики еще далеко, польская армия — сильна.

По винтовой, крутой лестнице котовцы спустились в подвалы. Старик уверенно освещал им путь ручным фонарем: силовая станция бездействовала.

В подземельи были навалены тяжелые кованые сундуки с различным добром, старая мебель, бронзовый лом, позеленевшее рыцарское оружие. По углам, не освещенным колеблющимся пламенем фонаря, суетились встревоженные крысы. Хлопая крыльями, пролетела летучая мышь. В винном погребе двумя бесконечными рядами дремали огромные бочки. Бутылки полулежали на полках, в выдвинутых ящиках, как пробирки в аптеке.

Опустились еще ниже. Здесь когда-то была тюрьма. Старик повел кавалеристов по сырým подземным казематам в комнату пыток. Над каменной ямой, прикрытой тяжелыми чугунными плитами, возвышалась дыба. На маленькой покосившейся наковальне лежали какие-то клещи, не то заржавленные, не то покрытые старой запекшейся кровью.

Ад'ютант переводил притихшим кавалеристам невнятное бормотание старика. Здесь князя Сангушко некогда расправлялись с рабами, а иногда и с непокорными вассалами.

— Брешет, — сказал Ремейко, зябко передернув плечами, — пошли назад, хватит сказки слушать!

Кавалеристы выбрались во двор, и солнечный свет показался им несказанно приятным. Они потягивались и протирали глаза, как после глубокого сна. У коновязей кто-то разбросал душистое сено, разнуздав лошадей и отпустил им подпруги. Часовой, оставленный кавалеристами на случай тревоги, попрежнему торчал на вышке, ему не велено было спускаться.

Ад'ютант оглянулся по сторонам, кто бы это мог поухаживать за конями? На полуразвалившейся каменной лавке покуривал глиняную трубку старик, еще более древний и согбенный, чем недавний их проводник. Возле старика сидела девушка и кормила из рук беленькую козочку. Девушка была изумительной красоты, тяжелые, темнозолотые косы обрамляли ее лучезарное лицо.

— Эсмеральда, — подумал ад'ютант вслух и подошел ближе. Девушка подняла голову и глянула на него зелеными огромными невидящими глазами: она была слепа. Котовцы, покрикивая на коней, уже садились.

Взводный с ад'ютантом пошли попрощаться со стариками. В горнице их было жарко натоплено, несмотря на лето. На узорном изразцовом полу стояли простые дубовые скамьи, над огромным очагом, обложенным каким-то голубым камнем, был подвешен закопченный чугунный горшок. Слепая девушка молча и проворно прислуживала. Появились козий сыр, серебряный с хрусталем жбан с гербом графов Сангушко, золотые чарки на тонких ножках. Старка была густой, как мед, если б не необычайная мягкость ее вкуса, она обжигала бы горло.

— Градусов семьдесят, а то и с гаком, — пробормотал Ремейко, чмокнув языком с большим знанием дела. И, обтерев губы ладонью, взводный стал прощаться.

Дубовая аллея приняла кавалеристов в свои свежие, тенистые об'ятия. День близился к концу, жара постепенно спадала. Огненный диск солнца спрятался за замок, зубчатые башни отбрасывали на мощеную белым камнем аллею причудливые тени.

— Да-а, — протянул Ремейко, — хорошо бы тут годик пожить! А девка, даром что слепая, любую зрячую за пояс заткнет! Да и горилка же у них, прямо огонь, а не горилка, будь ты неладна!..

Ад'ютант сердито остановил коня.

— Ну и оставайся, — сказал он насмешливо, — оставайся княжеским холуем, а мы и без тебя довоюем. Только, боюсь, холуй не вышел бы из тебя еще хуже, чем взводный. Работать-то ты, парень, отвык! Ну, оставайся, чего ж ты?

Бойцы загрохотали. Взводный окончательно сконфузился.

— Да не то я вовсе подумал, — сказал он растерянно, — пожить-то, положим, не плохо, только вопрос: когда? Ну конечно, когда здесь уже советская власть будет. Тогда здесь школу нужно будет организовать или детский дом, что ли...

— И тебя назначить заведующим, — продолжал поддразнивать ад'ютант, — хорош будет учитель для детей: иначе как матом разговаривать не умеешь!..

Взводного и вовсе засмеяли. Тем временем стали спускаться в село.

II

Командиру бригады доложили про замок; он пожалел, что не с'ездил сам. Но времени терять нельзя было, командиры уже строили эскадроны. Бригада разделалась пополам: один полк и две пушки взял ад'ютант и пошел занимать соседний город. Город уже обложен партизанами, в городе никого не было, путь был свободен. Город нужно было держать двое суток, чтобы ложным наступлением отвлечь внимание противника.

Из села вышли поздно: гостеприимные галичане никак не хотели расставаться с веселыми постояльцами. Наско-

ро поужинали. Партизаны уговаривали заночевать, но Котовский торопился. Взошла луна, она то и дело пряталась в беспокойных облаках. Провожать бригаду вышло все село. Алым, колеблющимся пламенем вспыхнули, шипя, факелы. Лаяли собаки. Была душная ночь. Еле уловимый ветерок колебал листву вековых дубов.

Замок обошли пыльным просёлком. Высоко, казалось, под самыми облаками, чернела на лиловатом небе величественная громада его зубчатого вала. Батарейцы грянули разудалую песню. Наверху, под небом, мелькнул желтый огонь, замигал и погас. Снова адъютант подумал: «Эсмеральда...»

Во фруктовой роще, у края дороги, заливался соловей. Запахло зрелыми сливами. Спугнули какую-то парочку. Пламя факелов заиграло в больших, округлившись девичьих глазах. Парень, заслонив ладонью лицо, провожал конницу завистливыми глазами. Во фруктовой роще сторож забил в колодушку.

На перекрестке, у колодца, стояла белая часовенка. У образа опечаленной мадонны тлела неугасимая лампадка. В глазах у мадонны застыла крупная, как жемчуг, стеклянная слеза. Образ, по местному обычаю, был украшен венками из живых цветов. В венках девушки прятали записочки с именами своих милых. Факелы погасли. За колодцем, в поле, чернел одинокий крест неизвестного самоубийцы.

Эскадроны стали. Сзади громыхнула о рывтину пушка. Ездовой закричал на заупрямившуюся лошадь. Котовский давал адъютанту последние наставления.

— Больше двух дней в городе не торчи. Боя не принимай ни в каком случае: отходи в случае чего к Милятинскому монастырю, я буду стоять там, дожидаться пехоты. Пушки береги, как зеницу ока! Отдашь полякам — голову оторву!

Взошла зеленая луна, беспокойные облака рассеялись по небу. Далеко впереди, в посеребренной лунным светом пшенице, пересвистывались партизанские дозоры. Командиры, сгрудившиеся было у часовни, стали раз'езжаться по

своим эскадронам. Сыграли горнисты. Полки от перекрестка шоссе двинулись в разные стороны. Молоденький голубоглазый партизан, босоногий, на неоседланной лошаденке, указывал дорогу к городу. Партизан важно носил винтовку за спиной, на веревке. Веревка была в нескольких местах связана узлом. В тряске узлы натерли партизану шею до кровавых ссадин. Партизан насвистывал.

Почти в виду города решили сделать привал. Засуетилась в экономии сонная челядь. Снова зажгли факелы, хотя они были уже не нужны: восток розовел. Помещик сбежал во Львов еще при приближении партизан. Эконом, гремя связкой ключей, отпирал амбары: эскадроны разбирали овес.

В столовой, у лампы, под розовым шелковым абажуром, адъютант и командир полка Кучмий закусывали. Дворецкий, в седых бакенбардах, в ливрее с начищенными до сияния пуговицами, налил в серебряные чарки душистой сливовицы. Старческие колени дворецкого тряслись от ужаса.

Во дворе румяные батрачки выходили работать к молотилке: помещик часть хлеба ухитрился убрать. Те из кавалеристов, что постарше да посолдней, уже храпели на сеновале, подостлав шинели. У коновязи нерасседланные лошади аппетитно хрустели овсом. Взошло солнце, высоко в небе бледнела прозрачная луна.

Утром приказано было убрать коней и людям тоже почиститься. Эскадронные любители-цирульники не успевали побрить всех желающих. У кого с собой в переметных сумах был прибор, — начистили сапоги до блеска. Приказчику выдали квитанцию на овес и харчи; от страха он долго не понимал, в чем дело, только кланялся в пояс да бормотал себе под нос что-то несуразное.

Когда вышли из экономии, комполка Кучмий выстроил эскадроны лицом к полю. Сам стал перед фронтом и высморкался для голоса.

— Братва! — крикнул командир, и свежий утренний воздух далеко разнес его могучий бас, — идем в европейский город, Европа глядит сейчас на наши

боевые знамена, что мы из-под дорогого нашего Тирасполя носим впереди себя! Которые имеют особо длинные руки, которые любят подбирать, что плохо лежит, запомни: дух вышибу, за стакан семечек расстреливать буду без пощады! Котовцы мы, или кто? Прибери себя к рукам так, чтобы даже малое дите не было на нас в обиде!..

От грозной командирской речи бойцы присмирели. Уже высоко в небе стояло жаркое июльское солнце, в экономии стучала молотилка, пели петухи. Невидимые в пшенице звенели жаворонки.

— Братва, — продолжал командир, и голос его стал задушевным, — я сам человек, как и вы. Еще раз предупреждаю: после не обижайся. Которые любят на баб наскакивать, которому сукину сыну без вина в глотку жратва не лезет, запомни: гляди в оба за собой, гляди за товарищем, береги славное наше знамя!..

После этого командир вытер рот рукавом и приказал итти занимать город. Прозвучала команда, хор трубачей грянул залихватский кавалерийский марш, взводы построились по шесть, выровнялись по ниточке. Командиры поправили синие с желтым фуражки, подобрали коней, кони под командирами заиграли.

Город встретил красных колокольным звоном: еще в большую войну брусилловские казаки приучили горожан соблюдать этикет. Зазвонили в двух церквях — католической и униатской. Белые кони трубачей в такт музыке сбивались на испанский шаг. Адъютант, командир полка и комиссар ехали впереди, на отлете. Партизанские патрули, по краям дороги, брали на-караул перед алым штандартом Котовского.

У въезда в город встречали именитые граждане: казаки наверное хорошенько научили город уважать армию. Струнный оркестр заиграл «Коль славен». В хоре трубачей кто-то громко фыркнул. Скривив губы, адъютант слушал. Толстый бургомистр, обливаясь потом, в крахмальной манишке, поклонившись низко, преподнес на голубой атласной подушке ключи города: один — большой, с диковинной зубчатой бородкой, в полпуда весом, другой — поменьше,

золоченый, от здания ратуши. На шею бургомистра на золотой цепи висела золотая же медаль с изображением старого императора Франца. Повевало средневековым.

Адъютант, улыбаясь, несколько смущенный, взял золотой ключ, повертел его перед носом и положил обратно на подушку. Струнный оркестр заиграл туш, в первом ряду горбатый еврей-музыкант остервенело пилил смычком, закатив полузакрытый бельмом глаз.

Невиданно толстый барин, старшина хлебной биржи, протянул медное блюдо с хлебом-солью. Комиссар, ткнув корку в крупную соль, поперхнулся. Адъютант шепнул Кучмию, командир полка командовал, став на стременах: командиры разом обнажили шашки, взяв на-караул, бойцы замерли: «Смирно!» Хор трубачей грянул «Интернационал», полк полной грудью затянул гимн. Горожане почтительно опустили головы. Поднялся легкий ветерок, алый штандарт Котовского, развернувшись, щелкнул бургомистра по лицу, сбив золотое пенсне. Горбатый скрипач кинулся подбирать, но, глянув на поющих котовцев, замешкался, растерялся и вытянулся, руки по шрам.

Когда спели гимн, командиры спешились и поздоровались с делегацией за руку. Изящно согнув в локте левую руку, бургомистр приветливо размахивал цилиндром, из белой шелковой внутренности цилиндра торчали круглые вороненого металла кнопки лайковых бургомистровых перчаток. Разговаривали на галицийско-русском диалекте. В стороне, в лакированном ландо, укрывшись от солнца пестрыми зонтиками, сидели дамы; дамы разглядывали котовцев в перламутровые бинокли.

— Кукиш бы им показать, толстокожим, — шепнул злобно Кучмий. Адъютант в ответ только погрозил ему пальцем.

Полк прошел сквозь город с развернутыми знаменами, с распущенными пестрыми эскадронными значками. Штандарт Котовского везли с почетным караулом, шашки наголо, в плещущихся атласных лентах сияла на солнце эмаль прибитого к деревку, под самым золо-

ченным острием шики, краснознаменного знака. Хор трубачей играл марш за маршем.

На главной улице подковы застучали по асфальту. Железные шторы магазинов были наглухо закрыты, прохожих не было вовсе, только окна забиты были доотказу головами любопытных. Кто-то молодым, задорным голосом крикнул из-под палевой занавески по-русски:

— Да здравствует Ленин! Долой Пилсудского!

И тотчас же из окна под ноги кучмиевской золотистой кобылы упал букет красных роз. Кобыла шарахнулась, командир полка, оглянувшись на завешенное окно, приветливо махнул рукой. Пройдя через город, люди и кони разместились в домах утопающего в фруктовых садах предместья. Всем, кроме дежурного полуэскадрона, приказано было расседываться. Караульную и сторожевую службу несли партизаны. Штаб размесгился в гостинице, над мезонином отеля взвился красный кумачевый флаг.

III

Гостиница была солидная, старинная. Город являлся центром двух больших районов — пшеничного и коневодческого. Несколько раз в году происходили большие ярмарки, тогда в гостинице неделями кутили усатые ремонтеры австрийской армии или маклеры мировых зерновых бирж. В номерах тускло сияла аляповатая роскошь, тяжелые бархатные портьеры с кистями, золоченые карнизы. На старинных гобеленах порхали амуры. Потрескавшийся от времени паркетный пол носил следы тяжелых, подбитых гвоздями сапог, в которых галицийские помещики некогда отплясывали здесь, праздно очередную выгодную сделку. Всеми этими атрибутами ярмарочного отеля гостиница напоминала аналогичные заведения в больших российских торговых городах. Однако на всей этой помещичье-купеческой культуре лежал еле уловимый отпечаток Европы: многие номера имели ванные комнаты, стены в них были уложены изразцами, ковры сначала выбивались

на дворе ивовыми метелками, затем очищались пылесосами, горничные носили белоснежные кружевные наkolки.

Командир полка, комиссар и адъютант собрались в самом большом номере для того, чтобы обсудить создавшееся положение. В городе очевидно придется побить не менее двух суток. Категорические инструкции, полученные от дивизии, предписывали не вмешиваться в деятельность гражданских властей. Город неизбежно хотя бы на время должен был вскоре же попасть снова в польские руки, и при этих условиях организация советской власти вызвала бы жестокие репрессии поляков по отношению ко всем гражданам, которые стали бы сотрудничать с Красной армией. Что и говорить, положение было необычайно щекотливым!..

Больше всего адъютант опасался какой-либо провокации вроде уличного скандала, ограбления или дебоша, нарочно организованного агентурой польской разведки. Впоследствии ответственность за беспорядок была бы провокационным образом возложена на котовцев с целью дискредитации Красной армии в глазах трудящегося населения Галиции и всего мира. Поэтому тройка, посоветовавшись, выработала совершенно необыкновенный образчик взаимоотношений военных и гражданских властей, вряд ли имеющий прецедент в истории. Сложность этого хитроумного плана определялась еще тем, что и командир, и комиссар полка во что бы то ни стало хотели превратить двухдневное пребывание в городе в культурный отдых для кавалеристов, неожиданный отдых, свалившийся прямо с неба на полк, бойцы которого непрерывно на протяжении трех лет жили одной только войной, ежедневными боями.

Дежурный по бригаде получил распоряжение всю дозорную службу вокруг города оставить на попечении партизан и выставить пост только у винокурного завода, расположенного в двух километрах от города. Этому посту категорически было запрещено заходить внутрь заводского двора. В обязанности поста входило только обыскивать всех выходящих с территории завода и воз-

вращать обратно тех, кто попытался бы вынести спиртные напитки.

После этого командиры приняли делегацию городского самоуправления, уже около часа дожидавшуюся в вестибюле.

Гости расселись довольно неуверенно. Большой овальный стол был накрыт оливковой бархатной скатертью, по всей скатерти в художественном беспорядке были разбросаны вышитые шелком чайные розы. Бургомистр тяжело посапывал, вытирая потную лысину шелковым платком. Старшина хлебной биржи не уместился ни в одном из кресел, так он был толст. Ему пришлось усесться на стуле, тяжелые жиры хлеботорговца повисли по краям стула, как подушки.

Почесав затылок, адъютант поднялся с места и произнес краткую речь, которая повергла мужей города в полное недоумение.

В течение двух часов должны были быть открыты все магазины, лавки, трактиры и рестораны. Категорически воспрещается продажа спиртных напитков. Пивом торговать можно. Немедленно открыть два кинематографа, имеющиеся в городе. Все ремесленники — сапожники, портные, кузнецы и т. д. — должны работать, как в обычное время. В течение двух часов полиция должна занять свои посты. Одновременно по главной улице города будет патрулировать пикет котовцев, к которым полицейские смогут обращаться в случае, если они заметят какое-либо нарушение тишины и порядка со стороны красноармейцев. Комендантом города является дежурный по бригаде, которому начальник полиции подчинен на все время пребывания в городе кавалерийского полка. За все, что котовцы будут покупать, они будут расплачиваться польскими марками: деньги по эскадронам розданы. Город обязуется поставить необходимое количество фуража для конского состава. Все городские власти, кроме полиции, наблюдающей за порядком, на время пребывания котовцев в городе объявляются распущенными. Окружному судье предлагается к вечеру представить список лиц, содержащихся в заключении в городской тюрьме и в арестном доме полиции, с точным указанием, в

чем все эти арестованные обвиняются. В случае, если в городе находится по тем или иным причинам польский солдат или офицер, они немедленно должны явиться к коменданту города. Если будет установлено, что кто-либо из официальных лиц города знает о местонахождении скрывающихся военнопленных польской армии и не сообщит об этом коменданту города или начальнику гарнизона, то по отношению к такому лицу будут применены соответствующие репрессии.

Текст акта о взаимоотношениях между гражданскими и военными властями адъютант вручил бургомистру в письменном виде и попросил в кратчайший срок расклеить его по улицам города за двумя подписями: муниципалитета и командира полка. После этого котовцы встали и начали раскланиваться. Тут попросил слова бургомистр.

Он сообщил, что в дополнение к мудрым мероприятиям, намеченным военным командованием, он еще с утра предпринял кое-какие меры. Дело в том, что в городе имеется пять публичных домов. Так вот на время пребывания воинской части владельцам этих заведений предложено обслуживать только кавалеристов, не взимая с них никакой платы. Бургомистр добавил, что это мероприятие он считает необходимым, ибо пять лет тому назад во время пребывания в городе казаков почти все дебоши разыгрались именно на почве споров между казаками и местными жителями, возникавших в публичных домах. В качестве иллюстрации к этой исторической справке бургомистр рассказал, что некий артиллерийский офицер, будучи накануне в пьяном виде избит в публичном доме, на другой день привел туда целую батарею и даже успел произвести два-три выстрела, пока срочно вызванный адъютант начальника гарнизона не забрал его на гауптвахту. Бургомистр добавил, что столкновения между гражданским населением и воинскими частями происходили и совсем недавно, во время пребывания польской кавалерийской бригады.

Улыбаясь, адъютант разъяснил, что красноармейцы публичных домов не

посещают, почему мероприятия бургомистра являются совершенно излишними.

На вопрос о том, сколько времени котовцы предлагают оставаться в городе, адъютант ответить отказался, после чего депутация отцов города удалилась, раскланиваясь и пятась задом.

Вскоре город принял совершенно необычайный вид: поднялись железные шторы магазинов, тускло в солнечных лучах замелькали лампочки над вывеской кино, на тротуарах появились густые толпы народа. Как диковинные чудовища, двигались в толпе чубастые кавалеристы, позванивая шпорами. Они не привыкли к такой необычайной обстановке и чувствовали себя очень неловко. Кое-кто из кавалеристов занялся мелкими хозяйственными покупками: кожу на подошвы, отрез на рубаху, пару белья, мыло, ваксу, щетку. Полк шел без обоза, так что запастись барахлом было все равно невысказано, хотя необходимые средства для этого имелись: во время последней операции кавалеристы захватили денежный ящик польской дивизии, так что марок было вдоволь, и комиссар приказал лучше раздать побольше денег, чем, чтобы кто-нибудь из бойцов расстроился от того, что у него нехватило средств на приобретение нужного ему предмета.

Под вечер над городом появился советский аэроплан. Дежурный по бригаде с ординарцами связи поскакал на луг у винокурного завода и спешно разложил посадочные сигналы. Но самолет садиться не стал, а только сбросил вымпел. В вымпеле был приказ командира дивизии и разведывательная сводка. Командир сообщал, что поляки приняли нашу дивизию и заняты города за серьезную стратегическую операцию, предпринятую крупным кавалерийским соединением, имеющую целью отрезать Львов с тыла. Для обратного захвата города двинута пехотная дивизия и штурмовая кавалерийская бригада полковника Руммеля. Котовцам предписывалось, войдя в прикосновение с противником, отступить к Милятинскому монастырю и заманить противника в

ловушку, которую готовил ему Котовский. Что касается взаимоотношений с местными властями, то политотдел дивизии предлагал ограничиться расклейкой на улицах воззваний галицийского ревкома и воздержаться от каких бы то ни было организационных мероприятий.

Когда Кучмий, комиссар и адъютант сели обедать, нарядная горничная в накрахмаленной наколке доложила им о прибытии новой депутации. Состав этой депутации и цель ее прихода были совершенно неожиданными. Городские дамы-патронессы пришли пригласить командиров на спектакль, который в тот же вечер должна была давать часть труппы львовской оперетты, случайно застрявшая в городе. Дамы-патронессы добавили, что после спектакля в парадных залах ратуши организуется благотворительный базар в пользу русского Красного Креста и что на этот базар приглашается весь офицерский состав полка.

Несколько растерявшись, адъютант ответил, что в Красной армии офицеров не существует и во внеслужбное время все равны. Однако тут же добавил, что человек десять котовцев все же вероятно посетят и спектакль, и базар.

Пощебетав на разные пустяковые темы, дамы-патронессы удалились.

Шумно вздохнув, комиссар полка лег на постель и зевнул:

— Ну и задал же нам Котовский задачу. Я бы лучше сто лет дрался, чем таким грязным делом заниматься!

Кучмий и адъютант сочувственно рассмеялись.

IV

Незаметно пришел вечер, на улицах зажглись газовые рожки: электричество подведено было только к ратуше, гостинице и кино. Дальнейшее развитие электрической сети было приостановлено еще империалистической войной.

Широкие асфальтированные тротуары наполнились гуляющей толпой. Теплый ветер нежно колыхал верхушки тополей на бульваре. В раскрытые окна гостиницы из соседнего кабака доносились

звуки румынского оркестра. Дробно стуча шипами по асфальту, прошел шагом конный патруль котовцев.

Ад'ютант прилег на подоконник и глянул на улицу. Толпа была даже как будто бы нарядной: пестрые женские зонтики, неизвестно для какой цели раскрытые, поскольку солнце скрылось за зданиям ратуши, белоснежные брюки и соломенные шляпы мужчин. Все это было до того не похоже на действительность, на молчаливую пустоту украинских городов, борющихся с тифом и голодом в пламени гражданской войны, что ад'ютант даже провел ладонью по глазам: не сон ли все это?

Но это был не сон. На кровати, сняв сапоги, храпел комиссар. За день он сильно намаялся. В гостиницу все время приходили какие-то подозрительные типы, говорили, что они рабочие то винокуренного завода, то мельницы, то типографий, и сообщали самые фантастические данные о якобы спрятанных в городе сокровищах. Нужно было иметь в виду, что по крайней мере двое из трех посетителей являлись резидентами польской разведки. Отсюда — и все трудности беседы с этими добровольцами-ищейками. Одно из предложений показалось даже комиссару соблазнительным: речь шла о том, что владелец типографии, узнав о приходе красных, спрятал почти весь шрифт, один линотип и американскую плоскочечатную машину. Для дивизии такое «богатое» типографское оборудование было по тем временам сказочным подарком. Но ад'ютант и Кучмий быстро охладил пыл комиссара, напомнив ему, что обоза нет и трюфеи таскать все равно не на чем, хотя бы это было золото, а не шрифт.

Собственно говоря, комиссар устал больше от вынужденной бездеятельности, чем от назойливых приставаний подозрительных посетителей. В селах, где комиссару прежде приходилось бывать с полком, он всегда деятельно организовывал советскую власть, выявлял бандитских сообщников, устраивал митинги, раздавал литературу, расследовал заявления на неправильные действия сельсоветчиков. Тут же, в аляповатом

номере заграничной гостиницы, с этими бессмысленными инструкциями дивизии он чувствовал себя связанным по рукам и по ногам. С высоты своего полка комиссару конечно были непонятны те события в жизни Западной Украины, которые заставляли дивизию так осторожно относиться к вопросу о вмешательстве в дела гражданского управления. Так, ни до чего не додумавшись, — комиссар был неплохим массовиком, рабочим Путиловского завода, мобилизованным партией на фронт, — комиссар приказал ординарцам связи, стоявшим на часах у подъезда гостиницы, никого к нему не пропускать. Затем, приняв ежедневный рапорт эскадронных политруков, комиссар, мрачно выругавшись, завалился спать.

У второго окна командир полка пришивал пуговицу к брюкам. Короткие и толстые пальцы его, прокопченные махоркой, покрытые не кожей, а какой-то коричневой шкурой, неловко справлялись с иголкой. Воинственное лицо командира в круглых железных очках становилось совершенно бабьим, и на него тогда невозможно было смотреть без улыбки. Очки же Кучмий надевал всякий раз, как ему приходилось заниматься каким-нибудь рукодельем. Откуда он взял эти очки, никто не знал, и вряд ли они ему чем-нибудь помогали.

Ад'ютант зевнул и потянулся: скука смертная!

— Пойдем в оперетту, Кучмий, чорт с ними, с толстобрюхими. Пойдем, дурака поваляем, а то тут от скуки мухи дохнут.

— Дай вот только дошью, — ответил командир полка. — Пойти-то конечно можно, только я боюсь, как бы мы этой чистой публике вшей не напустили: я ведь в баню, и то не успел, сходить, а в ихних ваннах я мыться не умею, только грязь размазываю.

Ад'ютант рассмеялся.

— Ну если и напустим вшей, — сказал он, — тоже не велика беда, да и ничего не поделаешь: вшей мы наверное, развели порядочно. Я вот сегодня за три недели первый раз думаю раздеться.

Проснулся комиссар. Он долго кряхтел, натягивая сапоги. Потом позвонил горничной, принесли пиво.

Бургомистр заехал в восемь часов. Его сверкающая лаком коляска остановилась у подъезда гостиницы под самыми окнами номера. Кланяясь и приседая, бургомистр размахивал блестящим цилиндром и приглашал ехать в оперетту. Комиссар отказался наотрез, командир полка и адъютант, надев оружие, присоединились к отцу города.

Когда сажались в коляску, двое ординарцев связи молча вскочили в седла и последовали за командирами. Они сидели на конях прямо и сосредоточенно, с серьезными лицами: как в бою. Оба они были партизанами из-под Ананьева. В последний раз большой город — Одессу — они видели лет пять тому назад, городам они не доверяли, точно так же, как не доверяли они шелковому цилиндру бургомистра и пестрым зонтикам городских дам. У ратуши они снова спешились и стали в нише подъезда, как часовые. Кони с любопытством обнюхивали серую краску чугунового фонарного столба.

Когда котовцы, предшествоваемые бургомистром, вошли в парадный зал ратуши, почти все места уже были заняты. Публика устроила вновь прибывшим овацию. Город и на самом деле относился к котовцам вполне дружелюбно. Горожане привыкли, что постой воинской части неизбежно связан с грабежами, контрибуциями и пожарами, а тут все обстояло тихо и мирно, так что овация, устроенная командирам, была даже до известной степени искренней.

Под сотнями любопытных взглядов Кучмий зябко поводит богатырскими плечами. Под выцветшим хаки гимнастерки чудовищными шарами ходили его стальные мышцы. Он зацепил портупей за чей-то стул, оцарапал себе шпорой сапог и чуть не вытряхнул из сиденья какую-то даму с лорнеткой. Адъютант тоже чувствовал себя неважно, но решил выдержать испытание до конца: сказавши «а», нельзя не сказать «б». Раз приказано оставить в городе, даже у буржуазии, хорошее впечатление

от Красной армии, нужно быть вежливым во что бы то ни стало.

Командиры уселись в первом ряду. Вскоре погас свет. Адъютант вспомнил, что он последний раз был в театре около пяти лет тому назад, и мысль о предстоящем зрелище как-то странно щекотала нервы. Сцена была оборудована на помосте, где очевидно обычно заседал совет муниципалитета. Здание ратуши было старинным, с готическими окнами и цветной мозаикой стекол. В пролетах между оконными нишами стояли величественные рыцари, закованные в бронзовые латы. Потолок был высокий, сводчатый. Каждый звук, даже самый незначительный, немедленно отражался гулким эхо.

Самодельный занавес раздвинулся. Труппа львовской оперетты показывала третий акт «Сильвы».

Адъютант снова провел ладонью по лицу, от лба до подбородка: не сон ли это? Вчера, позавчера и десятки, сотни дней, уходящих назад в памяти, были — конская грива, равномерный скрип седельной крышки, выкрики обозных, мускулистый затылок Котовского. Потом — огонь в воздухе и на земле, знакомый, привычный свист многих тысяч невидимых пуль, пьяный угар кавалерийской атаки, знакомый, даже любимый какой-то каждодневный риск жизнью. И потом вот сразу, как внезапная смена декораций, этот нелепый город, оставшийся в стороне от войны, город, в котором даже классовая борьба была незаметной на первый взгляд, в особенности для постороннего наблюдателя. И наконец этот уже совершенно бессмысленный спектакль, — да, и задал же задачу Котовский, чорт бы его побрал совсем!

Сильва закончила арию, публика аплодировала. Адъютант впервые сознательным взглядом окинул сцену. Нищенская мишура реквизита показалась ему несказанно роскошной. Лицо премьерши тоже как будто было знакомо, она как-раз с нескрываемым любопытством разглядывала первый ряд, в котором нелепо и неожиданно, как татуированные дикари на улицах какой-нибудь европейской столицы, восседали вооруженные до зубов котовцы.

Но нет, никогда он не видал конечно этого лица. Просто-напросто группа разодетых в фантастические костюмы женщин и мужчин, резвившихся на самодельной сцене, напомнила что-то очень далекое и совсем почти позабытое, что-то находящееся по ту сторону памяти: юность, быть может. И против своей воли адъютант от этих воспоминаний ощутил даже как будто некую сладкую боль, родившуюся независимо от того, что он в свое время раз и навсегда похоронил воспоминания о своей томительно-скудной юности. Премьерша со сцены улыбнулась ему, рядом, с пронзительным свистом, захрапел Кучмий. Спектакль был окончен, публика вставала, шумно отодвигая стулья. Ворча, Кучмий протирал глаза, у адъютанта слегка кружилась голова.

Командир полка был явно не в духе, он попросил у бургомистра экипаж, чтобы ехать в гостиницу: от участия в базаре он отказался. Адъютант же остался, но предварительно спустился к подъезду проводить командира. Подняв тяжелым туловищем пружинное сиденье, обитое добротным синим сукном, Кучмий продолжительно и витиевато выругался, покрыв замысловатой бранью и город, и бургомистра, и европейскую вежливость, и спектакль.

— Пулемет бы со сцены поставить да пропустить по этим лорнеткам две очереди, — сказал он угрюмо на прощанье. — Ну, ладно, иди попрыгай на балу, козел, смотри, как бы тебя только эти толстобрюхие по дружбе не связали!

Экипаж тронулся, один из ординарцев связи молча вскочил в седло и последовал за командиром, другой остался — на всякий случай. Глубоко задумавшись, адъютант поднялся обратно по широкой, обитой белым камнем под мрамор лестнице. Бронзовые львы на аляповатых тумбах ехидно скалили на встречу зубы.

В просторном зале, тяжелый воздух которого, казалось, пропитан был пылью столетий, городской бомонд приготовился веселиться. По стенам расставлены были склеенные из пестрой бумаги киоски, в которых солидные матроны и

хорошенькие девушки продавали в пользу русского Красного Креста прохладительные напитки, какие-то рукоделья и разные безделушки. Оркестр, размещенный на хорах, грянул вальс, завертели пары.

Адъютант стал к стене, в углу, подперев спиной вычурную и совершенно неуместную здесь колонну. Он не особенно жалел, что остался: интересно было поглядеть на бал, все было таким нереальным, что казалось своеобразным продолжением спектакля.

Распахнулись боковые дубовые двустворчатые двери, открылся, видно, буфет. Колыхая толстым задом, обтянутым светлосиреневым шелком, подошла бургомистрша и попросила разрешения в виде исключения открыть продажу шампанского: шампанское продается по утроенной цене и может сильно повысить доход благотворительного базара. Адъютант пить разрешил: чорт с ними! Он думал о другом.

Бургомистр представил ему премьершу спектакля. Она была худенькой австриячкой, с молодым маловыразительным лицом, но необычайно живыми глазами. Льяного цвета кудри, нагроможденные над ее высоким лбом бесчисленным количеством маленьких золотистых штопоров, делали ее похожей на куклу. Австриячка говорила по-русски.

Адъютант тут же ухватился за нее, как за якорь спасения. В ней он находил странное моральное оправдание праздному любопытству, которое заставило его пойти на спектакль и остаться на балу. Они пошли к буфету.

Адъютант залпом выпил бокал шампанского, у него пересохло горло. Оркестр играл танец за танцем, публика веселилась. Танцевать адъютант отказался наотрез, да прежде всего он на верное уж разучился танцевать на паркете. Подходили знакомиться какие-то люди: врач в золотом пенсне, владелец мельницы, отрекомендовавший себя почему-то бывшим социал-демократом, местный учитель, он же корреспондент какой-то львовской газеты, ничем себя не отрекомендовавший, но безусловно являющийся польским шпиком, какие-то дамы. Адъютант выпил второй бокал

шампанского, и зал с золотыми канделябрами сладко закружился у него перед глазами. Он поблагодарил хозяев и оглянулся.

Внизу у подезда в тусклом свете газовых фонарей уже отсвечивал черный лак бургомистрового экипажа Премьерша труппы легко сбежала за адъютантом по лестнице и попросила ее подвезти: она жила в той же гостинице. Невозмутимый ординарец подмигнул адъютанту и поехал размашистой рысью впереди экипажа. Адъютанту было все равно — он устал.

V

В вестибюле гостиницы дремали на свернутых шинелях, в полном вооружении ординарцы; в коридоре второго этажа, где жила артистка и помещался штаб, двое часовых замерли с обнаженными шашками на плечах. Часовые дружелюбно улыбнулись адъютанту. С треском распахнулась дверь номера, показалась взлохмаченная голова Кучмия: командир полка был в одном исподнем. Глянув заспанными глазами на адъютанта и его спутницу, Кучмий плюнул в коридор и хлопнул дверью так, что на площадке задребезжали стекла. Последующие события показались адъютанту как бы идущими сами собой, без участия его воли: он устал смертельно, от шампанского слегка кружилась голова, все было как во сне.

В комнате актрисы пахло духами. Заперев за собой дверь, она раскрыла настежь окно и зажгла люстру над трельяжем. На подоконнике, на диване, на креслах было разбросано пестрое шелковое тряпье, трельяж был уставлен замысловатыми баночками с косметикой. Осторожно отодвинув какой-то кружевной ком, адъютант тяжело плюхнулся в низенькое кресло, сжав коленями шашку: никогда в жизни он не чувствовал себя так глупо.

— Можете курить, — сказала актриса, увидев, что адъютант, неловким движением хлопнув себя по карману, в котором обычно хранился кисет, быстро стдернул руку. — Вы меня извините, я буду раздеваться...

Адъютант подошел к окну и лег грудью на подоконник. Ночь была теплая, в черном небе мерцали мириады звезд. Один за другим гасли огни города. Откуда-то пахнуло запахом свежескошенного сена. Где-то веселой трелью заливались колотушки сторожей. Звеня шпорами, прошел пеший патруль котовцев. На перекрестке, у освещенной аптеки, трусливо подняв плечи и заложив руки за спину, прогуливался взад и вперед толстый полицейский. Когда адъютант отошел от окна, женщина уже лежала на раскрытой постели, укутавшись в голубой пушистый халат. Она улыбнулась ему, сладко потянувшись — Снимите сапоги, — сказала женщина, а то вы своими шпорами всю гостиницу перебудите.

После этого она повернулась к нему спиной.

Как во сне, молча и послушно адъютант снял сапоги. Потом он на цыпочках подошел к зеркалу. Женщина не шевелилась.

Там, за тонкой стеной, раскинув богатирское тело на непривычно мягкой кровати, в длинных кальсонах с оборванными по обыкновению тесемками, спал милый старый Кучмий. На диване, окружив себя махорочными окурками, храпел с открытым ртом комиссар полка И для адъютанта была тоже внесена добавочная постель; там, в соседней комнате, среди сваленных в кучу портупей, полевых сумок, револьверов и шашек шла обычная военная ночь в несколько необычной только обстановке.

Здесь, у освещенного канделябром зеркала, стояли причудливые склянки с цветной жидкостью и на раскрытой кровати лежала какая-то чужая женщина в небесно-голубом халате. Стена разделяла два мира: здесь пахло духами, а не войной.

Адъютант невольно глянул на себя в зеркало. Он забыл снять оружие и стоял босой перед склянками косметики, подпоясанный, в портупее, с шашкой у бедра. Это было смешно и нелепо. Но маленькая деталь в костюме босого кавалериста с бледным лицом, глядевшего на него из зеркала, заставила адъютанта вздрогнуть всем телом: по синей диагно-

нали бриджей беззаботно и весело ползли гуськом две больших, упитанных зши.

В одну десятую долю секунды адъютант обернулся. Женщина очевидно спала. Тогда, опустившись в низкое кресло, спиной к кровати, он снял брюки и украдкой, ежеминутно воровато оглядываясь, занялся делом, которое в годы гражданской войны для армии, раскиданной по необъятным просторам шестой части мира, было делом обыденным, полезным и даже почетным: он стал бить насекомых.

Еще утром адъютант сменил белье, но брюк запасных у него не было, все оставалось в обозе. Встревоженные чистым бельем, насекомые в эту ночь проявили особенно энергичную деятельность: они буквально лезли со всех сторон, жизнерадостно выползая из каждого шва. Когда кропотливая операция истребления была закончена, над зданием винокуренного завода уже поднялся ослепительный диск солнца.

Застегнув брюки, адъютант встал и вытянулся так, что у него хрустнули кости. Он снова подошел к зеркалу и нечаянно зацепил портупеей какую-то склянку. Склянка упала и разбилась: глубоко вздохнув, женщина повернулась навзничь и проснулась. Голубой халат у нее на груди распахнулся, она раскрыла глаза и весело улыбнулась.

— Ну что же вы, — протянула женщина капризно. — Ах, смотрите... уже утро...

Адъютант сделал шаг к дивану. Как-раз в эту минуту высоко над ратушей с певучим визгом разорвалась шрапнель. Тогда, стиснув зубы, адъютант стал тягивать сапоги: у него тряслись руки.

Подойдя к двери, он оглянулся в последний раз. Женщина сидела на постели, онемев, широко раскрыв от ужаса глаза. Адъютант окинул взглядом комнату. В углу, на круглом столике, под грубой копией Рубенса, стояла фарфоровая ваза со свежим жасмином. Шагнув к столику, адъютант вырвал охапку белых, истекающих водой, цветов и жадно вдохнул их аромат, не глядя, бросил их на постель. Потом круто, по-военному, повернувшись, он большими шагами вышел в коридор.

В вестибюле гостиницы, громыхая шпорами и оружием, просыпались кавалеристы. Командир полка и комиссар спокойно и неспеша одевались: антракт закончился, мираж исчез, снова началась великолепная боевая жизнь. Весело переключаясь, ординарцы уже подвели к подъезду гостиницы оседланных кобандирских коней. Дежурный по бригаде доложил, что он снимает заставы и выводит полк к винокуренному заводу.

Застоявшийся вороной конь упруго перебирал ногами. Над городом с веселым свистом рвалась шрапнель за шрапнелью, где-то звенели разбитые окна. Рысцой, сжавшись в комочек, бежали вдоль стен какие-то обыватели с узлами. В последний раз адъютант оглянулся на гостиницу. Женщина в голубом халате, высунувшись в окно, глядела на улицу расширенными от ужаса глазами: она все еще никак не могла притти в себя. Окаменев, она выглядела из окна, как восковая кукла в витрине парикмахерской. Левая рука ее, унизанная кольцами, прижимала к груди пучок изломанных цветов.

Поляки тоснили полк со всех сторон Кучмий злился: нелепое занятие — отступать без боя. Но — так было приказано.

На рысях вошли в тенистый каштановый лес. Густая листва звенела угрюмыми песнями пробудившихся от сна птиц. Большие зеленые мухи, сверкая на солнце серебристыми крылышками, без-устали кружились у конских голов. Адъютант еще раз провел ладонью по лицу: голубой халат, шелковый цилиндр бургомистра исчезли, как нелепый сон.

В первом эскадроне запевадала грянул разудалую кавалерийскую песню. Весело и жизнерадостно, как всегда, полк шел на трудное ратное дело.

Тенистые каштаны распространяли свежую прохладу. В воздухе носились пряные запахи позднего лета.

— Ну как твоя комедиантка? — спросил вдруг Кучмий.

Глянув на его сердитое лицо, адъютант весело расхохотался.

Недра

Роман

ПАВЕЛ НИЗОВОЙ

(Продолжение ¹)

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

В серую муть над лесом вонзилась первая розовая стрела. Потухли на стройке ночные человеческие луны.

Солнце, проникнув в бараки, весело шарило по рядам постелей, по молодым и старым лицам, смеялось, кричало:

— Пора!..

По полу, по стенам разливались горячие, блещущие реки, обнажая насекомью жизнь, муть окурков, плевков, скопившийся за ночь мусор.

— Пора-а!

Рыжие лапы солнца назойливо забегали в барачные человеческие тайники, выволакивали на свет нечистоту, неряшливость, убожество, со смехом, устыжающе показывали:

— Пора! Пора!..

Бараки начинали жизнь, — крикливые, многолюдные, разноязычные.

В сущности, жизнь в них никогда полностью не угасала. Ночная смена только вела себя иначе: люди приходили и уходили втихомолку, не гремели посудой, не перекликались.

Сама стройка ночью жила той же жизнью, что и днем.

Бараков было около полусотни. В каждом помещалось семьдесят пять мужчин или семьдесят пять женщин. Кроме того, стояло еще несколько десятков двухэтажных стандартных до-

мов и белели разбросанные в разных местах стройки ряды полотняных палаток. Но люди полностью все-таки не могли вместиться, значительная часть жила в ближней слободе и в самом городе.

И вся эта многотысячная армия, разных возрастов и знаний, говорящая более чем на двадцати языках и наречиях, делала одно общее дело. Были люди из северных, южных, прибалтийских и прикаспийских областей. Были татары, киргизы, башкиры, вотяки, кавказцы многочисленных племен, иностранцы многих стран. Были быстроречивые костромичи и ярославцы, степенные новгородцы и пермяки, окающие тяжелодумные увальни-vlадимирцы. Все они строили — самый завод с его разнообразнейшими цехами, в которых через год будут делаться всевозможные машины. Строили железные дороги для этого завода, строили дома для строителей, — несколько каменных многоэтажных корпусов бездушно темнели пустыми окнами.

Но в сущности все делали одно — социализм.

Строили новую жизнь для человечества, — такую, которую никто себе ясно еще не представлял...

Молодой веснушчатый парень, только что пришедший с ночной смены и успевший уже разуться, сидел с ногами на своей койке и задумчиво насвистывал незамысловатый мотив. Ноги его были потные и грязные, ворот полинявшей рубахи расстегнут, и на лице лежало ту-

¹) См. «Новый мир», кн. 1 с. г.

ное, ленивое безразличие. На соседней койке разувался черный, бородастый мужик Андрон. Он долго разглядывал грязный проносившийся лапоть с надвязанными оборами и, швырнув его под койку, поднял на парня злобно-скачущий взгляд.

— Опять заскулил, сопля! Заткни дыру-то — вытечет!

Парень со звучным цирканьем бросил плевок через спинку кровати, рассчитанно угодив к подножью зеленой урны, и некоторое время молча глядел на своего соседа. Взгляд был безразлично-ленивый, ничего не выражающий. Человек с бородой в это время разглядывал жвагу, худую портянку; поднес ее к носу, понюхал и потом аккуратно развесил в ногах, на железный обод кровати. Когда потянулся за другой портянкой, парень изрек:

— Дурак ты, а еще Андрон! Поделом тебя, прокопченного чорта, и раскулачили! Стоишь!..

Черный мужик сразу взъелся. Щеки его налились, бородка вздыбилась, сделалась колючей, как у ежа.

— Что, в комсомол, поди, метишь? На кулацкой шее хочешь покататься? Покатайся, покатайся! Она крепкая, двужилная, выдержит! — Мужик говорил хриплым, низким голосом, сдвинув заросшие брови, из-под которых сверкали черными горошинками озлобленные рысьи глаза. — На мужичьей шее не впервые катаются. Спокойн веков так повелось! Мужик да лошадь, да вол — вот она, тройка безответная! Вывозила допрежь — и теперь вывезет.

Парень обиделся.

— Я сам мужик, чего ты мне мужиком-то тычешь? — сказал он нехотя, скосив к нему незлобивое лицо. — Если пахать или косить, так за милую душу!.. С кем хочешь, в пару встану.

— Знаем мы вас, мужичков-беднячков, безлошадников — вошь христову! Падожком пашете, лаптем боронуете! Теперь вам дали красную ложку в руки, — хлебайте, пока с души не попрет!..

Мужик вытянулся на койке, вздернув бороду к потолку, говорить больше не хотел: что нужно сказать, все сказано. Презрение и полное уничтожение про-

тивника, — чего же еще? Только слова герять попусту? Он стал думать о своем, о неизжитом, еще сочащемся су-кровицей.

С неделю назад он приехал с партией раскулаченных сюда на стрейку. Среди прибывших были плотники, печники, штукатуры, но большинство из них заявили, что, кроме земли, ни с чем дела не имели: обыкновенные, мол, крестьяне-хлеборобы... Крепко внедрилась в каждом ненависть к вырвавшим их из родных гнезд, ко всему чуждому, их окружающему. Пусть в худших условиях, но не выделяться.

Андрон у себя в селе был кузнецом и неплохим слесарем, здесь же сказал, что, кроме земли, ничего не знает. И его поставили к земле...

У Андрона на душе сейчас так же темно, как в его скатавшейся вихрасгой черной бороде. Он устало закрыл глаза, вытянул натруженные за смену корявые, грязные руки. Сна нет, и не хочется глядеть на постылый мир.

Парень на соседней койке пришел в решительное движение. Вытащил из-под кровати сундучок, на крышке которого было крупно и старательно написано чернильным карандашом: «Сергей Лычкин из села Кожемяки Владимирской губернии Покровского уезда». Из сундучка достал чистую рубаху, клубочек белых ниток с иголкой и, задумчив, негромко насвистывая тот же мотив, принялся за починку. Пальцы, похожие на деревянные корявые чурки, плохо слушались, но он упорно и сосредоточенно ковырял иголкой, не обращая внимания на пеструю, многолюдную барачную жизнь...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Просыпался день. День наливался зноом. Уплотнились над площадкой производственные звуки. Гуще поднималась пыль Солнце, прорвав пыльную пелену, заглянуло горячим глазом в крайнее барачное окно комнаты-одиночки и, нашарив на деревянной койке

большую вихрастую голову, не мигая, уставилось прямо в лицо. Это лицо было широкоскулое, плосконосое, с мясистыми губами, над которыми кустиками расползались усики.

Андрей Корнев открыл глаза, с привычной торопливостью поднял голову и удивился: часы показывали восемь. Как же он мог проспать? Никогда этого раньше не бывало. И тут же почувствовалась сверлящая боль в кисти левой руки. Сразу вспомнилось.

Осторожно поддерживая руку, он встал с постели и подошел к окну. Прямо простиралась широкая площадь, взрытая землечерпалками. Поблескивали рельсы баластных путей, громоздились кучи строительных отбросов, одиноко торчали фонарные и телефонные столбы с плакатами. Две бабы — одна из них беременная, в красном сарафане — с усилием вытягивали из штабелей широкие горбыли и с таким же усилием и неумением клали их через траншею, устраивая переход.

Корнев отвернулся. Потрогал забинтованную кисть. Боль была жгучей и распространялась по всей руке до предплечья.

Как это его угораздило? Словно мальчишка или новичок.

Сегодня в ночную смену он стал показывать новому ручному клепальщику работу на пневматике, и вдруг раскаленная заклепка, вырвавшись из щипцов, угодила ему в руку. Кажется, прожгла до кости. Не помнит, как довели до амбулатории.

Сколько теперь времени придется просидеть без дела... Вот тебе и ударная бригада, и соревнование! Досоревновался, товарищ бригадир!..

За окном раздался визгливый крик. Беременная баба, размахивая руками, кому-то кричала в сторону:

— Шугните ее! Чё вы стали дурнить? Хайла-то раскрыли? Задавит!..

Она стояла на земляной гривке, большая, неуклюжая, и яркокрасная фигура ее с круглым, вздрагивающим животом на фоне неба казалась символом буйствующей, неукротимой плодоносящей жизни

— Вылупили зенки, черти стоеросовые, не пожалеют бедную животину! Тьфу! Пропадите вы пропадом!

Корнев взглянул направо, куда махала руками баба, и увидел: на знакомой насыпи ходила белая коза со сломанным рогом, по пути двигался задом пустой состав платформ, а под откосом стояло около десятка человек с лопатами. Смотря на козу и на беременную вопящую бабу, они смеялись и тоже что-то кричали.

«Откуда эта коза появилась? Чья она? Раньше никогда ее не видал, — подумал Корнев. — На строительстве коз завели. Этого еще не хватало!..»

Он отвертывается от окна. Поддерживая под локоть руку, направляется к полке достать книжку; уже несколько дней не заглядывал в нее. Что об этом скажет товарищ Левшин, его учитель? Да и Нина... Ах, эта Нина!..

Толстый том физики Хвольсона с измочаленными углами шлепается на стол; грузное молодое тело опускается на табуретку. В этом большом, крепко сбитом теле, с воловьими мускулами и грудью, на минуту происходит что-то неладное — обмякло оно, опустилось. Запела где-то какая-то неприятная струнка. Что-то кольнуло, не то заvistью, не то чем другим...

«Хм!.. Разве он не может?..»

И опять разливается от головы до ног, всего наливая привычной мощью, упругая, горячая волна. Он поднимается, расправляет спину, чувствуя, как хрустят позвонки, — только болью дергает кисть, — и снова останавливается у окна. Козы уже нет. Красный бабий сарафан мелькает по другую сторону насыпи. Над котлованами крутятся столбы рыжей пыли, полощется длиннейшее полотно у клуба. Надпись на нем убеждающе кричит:

«Культура — могучее орудие в борьбе за социализм Боритесь за культуру!»

С этой девушкой Ниной чудесно переплелась его судьба. Он был учеником на котельном заводе в Ленинграде, она, маленькая застенчивая девочка, некоторое время жила с матерью-прачкой в одном с ним доме. Крепко запо-

мнилось бледное, худенькое личико с синими кроткими глазами и в робкой речи милое отсутствие двух букв — «р» и «л»: «Анд'юша, хочешь мойковку?..» В горячке революционной жизни образ ее часто мелькал перед ним, заставляя о себе думать.

Потом он столкнулся с нею на работе в деревне... Перед ним была смелая, энергичная рабфаковка с теми же синими глазами. Он вспомнил прежнее и улыбнулся.

— Вы что? — посмотрела на него Нина, лучась.

— А помните: «Анд'юша, хочешь мойковку?..»

Девушка вспыхнула и сейчас же рассмеялась.

— Хотите, прочитаю «Алешу Поповича»?

— Ну-ну!..

Кто весом так увко п'явит?
Наш Аеша богатый..

— Не плохо? Так я читала на экзамене. А теперь могу выговорить: ррабфак, рреволюция, интегррал. Видите — вместо одного даже два «р». Со всем замечательно.

И теперь — Нина здесь, на стройке. Коренев никак не мог думать, что эта новая встреча с ней заставит его так волноваться. Нина приехала сюда два месяца назад, командированная в качестве молодого советского специалиста по монтажу машин. Все это необыкновенно и приятно. Приятно то, что она инженер и он встретился с нею, как с близким, милым товарищем. Приятно, что, вспоминая ее, он больше осознавал себя и больше думал о внутреннем своем развитии. И опять странно: он, думая о ней, стал брать у студента-практиканта Левшина уроки, намереваясь поступить на курсы.

Перед каждым человеком тысячи разнообразнейших жизненных дорог, но люди, часто следуя внутренним, неосознанным побуждениям, выбирают тысяча первую, извилистую каменистую тропинку и упорно идут по ней, сбиваясь и падая, строя свою неведомую судьбу... Как все странно и непонятно

на свете устроено! Он, Андрей Кондрагевич Коренев, торчит сейчас у себя в комнате в неурочный час, в то время, когда другие работают, и думает не о деле, не о соревнующихся своих товарищах, а о милой девушке Нине — инженер-механике Бобковой....

II

В ленинском уголке пять комсомольских голов сгрудились над стенгазетой. На красном коленкоре стола лежали фотографии, рисунки, обрезки бумаги. Зоя Славичева с Куманиным переписывали на узкие полоски текст заметок и статей, Макс сочинял заголовки, Павлошвили составлял фотомонтаж, а Федорчук орудовал акварельными красками. Федорчук был бойкий, веселый, с горячими вихрами. И кисточка, единственная кисточка его, ловко, весело и неподражаемо-уверенно шныряла по полям и углам большого листа толстой серой бумаги. Когда на рисунок требовалось наложить другую краску, Федорчук совал кисточку в стакан с водой, а го и просто в рот, — скорее и надежнее, — и снова со смехом и шутками набрасывал фантастические узоры.

— Вот тут молонью с огненными стрелами... Бей, рази кулацкую мразь, укрепляй советскую власть!.. Как, ребята, здорово?.. А здесь — орнаментик вязью Стиль настоящий ренессанс, что у нас в Киеве в архиерейской ризнице.

— Ты под фельетоном что-нибудь посимволичнее, покрепче, — советует Павлошвили, с виду спокойный и как будто малоподвижный. Но это — дикий кавказский конь: ловкий, сильный, свирепый. В прошлом году на него напали в лесу трое рабочих парней, сводивших с ним счеты из-за женщины. Одному он камнем проломил голову, от других двоих отбился, прыгнув с огромного обрыва. Парни думали — разбился: «Туда ему и дорога». Но Павлошвили вернулся в одному из этих двоих колом перебил ноги. Третий из нападавших через несколько дней вынужден был перевестись на другой участок.

— Фельетон у нас получился едкий, его следует выделить, чтобы бросался в глаза, — говорит Павлошвили.

— Есть! Желтое с зеленым. Кресо фортуны. Прикатили, мол, партизанить на вашу соцстройку. Плюем на все порядки!

— Поплевали, да и будет, это не у себя в Рязанской. Рога-то обломаем, — угрожает Куманин, строя суровую рожу, хотя она у него не грозная. Рабочие называют его Карасем за неповоротливость и полнейшее ко всему равнодушие.

— Одни обломаете — другие вырастут. У них, рязанских, ведь это скоро.

— Вы что там рязанских трогаете? — От койки отделяется войлочная борода.

— А-а! Сказался, дяденька! У вас в Рязани, говорят, и грибы с глазами: их едят, а они глядят. — Федорчук на минуту отрывается от работы и смотрит в сторону бороды. — Это про вас рассказывается, как отец с сыном в лесу варили грибную похлебку? В котелок прыгнула лягушка. «Тя-ятька! У грибеё есть глазёё?» — «Е-есть, сынок! Есть! Топцы вниз, с господом с'едим!»

— Это у них!

— Правильно-о!

— Борода! Заткнись!..

Рязанец, глядя на других, и сам в благодушном смехе трясет черным войлоком, и вдруг, изменив выражение, он с внезапной злобой рычит, передразнивая:

— Грибье-ё!.. Сосунок! Разрисовал себе губы, как идол языческий!.. Глазьё!..

— Верно!.. Сте-епа! Пожалей краску-то, не слизывай! Заводоуправление заставит нас всем баракком покупать! — обрадовавшись, подхватил человек от окна. Он сам первый же смеется своей остроте, дергая толстой нижней губой.

— Он у нас лакомка. Без этого не может.

— Федорчук! Вот у меня ручка в чернилах!..

Объектом смеха на некоторое время неожиданно становится Федорчук. Десяток голосов безбидно, заражающе грохочет. Молодежь работала в первой смене, после чего ходила в столовую.

Теперь усталость отошла; здоровые легкие требуют движения...

— Ловко он тебя, Федорчук! А? Что скажешь?

Но того этим не прошибешь. Виртуозно положив последний мазок, он пододвиг к зеркалу.

— А и вправду, здорово я себя украсил, словно артистка на сцене. Дяденька! Подходи, маникюр сделаю! Хочешь — на руках, хочешь — на ногах, а хочешь — еще где... От дибчат проходу не будет!..

Барак празднично сверкает лозунгами, плакатами, цветными флажками, перетянутыми поперек помещения, и ярчайшими полосами полдневного летнего солнца. На кроватях кой-где уже спят. Другие читают газеты, играют в шашки, занимаются починкой одежды.

Входит Коренев обычным своим неторопливым, грузным, слегка покачивающимся шагом. Это — бывший его барак, жил он в нем почти год. Каждая доска, каждый выступ знакомы, а люди — в большинстве приятели. Коренев кивает направо и налево:

— Здорово, братва! Ну, как вы тут?.. Эх, солнца-то сколько! В мешок бы, да к нам в Архангельскую, на Двину или в тайгу! У нас насчет его скуп.

— Что ж, накладывай, мы не жалеем! Если здесь мало, выходи вон туда, в поле.

— К нам в станицу, на Кубань, приезжай! Хаты — бе-елые! Ослепнешь! Нам надоело оно, задаром тебе, сколько хошь, отпустим, солнца-то!.. — улыбается широколицый парень

— Спасибо на ласковом слове. А ко мне приедешь — водичкой тебя беломорской попою. Гожая! О петров день зубы стынут!..

Павлошвили наклеил последнюю фотографию. Зоя сделала последний, окончательный каллиграфический росчерк Куманин с Максом подняли газету за углы и приткнули к стене:

— Смотри!

Федорчук, с кисточкой за ухом, отошел и щурится, наметанным взглядом художника обозревает свое творение.

— Надо в правом углу оранжевую погуше, чтобы огонь чувствовался. Пламя. Ну как, Кондрат, хорошо?

— Хорошо-то хорошо, да не поет...

— Что так? Какой дефект? — настораживается Федорчук. Даже казачий чуб уныло опустился. — В рисунке ошибка, или колер не хорош?

— Я пошутил. У тебя всё на своем месте. Всё горит и рвется в бой, — смеется Коренев. — А вот насчет литературы — мы почитаем и тогда будем наводить критику. Ну-ка, давайте, вешайте!

У развешенной стенгазеты — толчея, всем хочется взглянуть на рисунки, пробежать задиристый фельетон на администрацию, злые эпиграммы на прорабов, техников и бригадиров. Вновь подошедшие хохочут над карикатурами.

— Хо-о! Какая черепаха-то! Да морда-то ведь Петьки-бригадир! Гляди, а это Василь Михеич скачет, подгоняет черепаху!..

— Ну, с таким пузом и за черепахой долго не поскачешь!

— А шо це таке?

— А это твой дружок, земляк, аль не расчухаешь?

— Ой-е-ей! Охрименко!.. Як же это так? За мое ж жито, да я ж же бита?.. — подошедший усач с притворной скорбью всплескивает руками.

— Да-а! Неблагодарность!.. Им и скучено, им и сроблено, а они и спасибо не молвят!..

В клубе, неподалеку, в том же поселке, несколько комсомольцев протягивают над входом гирлянду с разноцветными флажками и лампочками, пристраивают коленкоровую вывеску. Ровно год назад здесь началась культурная работа, и всего несколькими неделями раньше возникло и самое строительство. На этом месте стоял вековой сосновый бор, и рядом простиралось поле, которое на много километров пустовало, зарастало чахлой травой, пузырилось кочками. А в бору ухал филин, кричали, как в деревянную гнилую трубу, глухие кукушки.

Теперь все шумит, гудит сотнями разнородных строительных механизмов,

десятками тысяч человеческих рук и голосов.

Завтра празднование годовщины клуба.

«Надо помочь ребятам. Вероятно, идет горячка, — думает Коренев, направляясь внутрь помещения. — Куда ни сунься — работников недостача. Эх! Если бы в сутках-то было сорок восемь часов, а вместо двух рук — четыре!..»

Клуб состоит из огромного зрительного зала с земляным полом, дощатой сцены и нескольких комнат: для читальни, физкультурных занятий, музыкальных, драматических и иных кружков. Всё покамест временное, сделанное наскоро и не отличается большими удобствами. Но это не мешает всем помещениям в известные часы быть переполненными.

Когда Коренев проходит коридоры, то из крайней комнаты слышатся приглушенные звуки заводского оркестра, разучивающего новые номера, специально для сего случая сочиненные местным композитором, техником по монтажу, Павловым.

В физкультурной ритмичка с группой пионеров репетирует праздничное выступление. Ребята, раскачивая в такт свои полуголые загорелые тела, с воодушевлением декламируют:

Мы строим заво-од!

Мы строим заво-од!..

Слабые детские голоса, подкрепленные выразительными жестами, несмотря на наивность стиха, звучат убедительной внутренней силой.

Вперё-од!

Вперё-од!

На сцене заседала юбилейная комиссия. Было шумно. Председатель, юноша, с суровым не по годам взглядом и густыми черными бровями, стучал по столу ладонью:

— Ну, довольно бузу разводить! Кончайте ваши споры!.. Девятым вопросом у нас стоит сообщение товарища Митрейкиной об организации детских площадок для подвижных игр. Митрейкина! Твое слово! Товарищи, внимание!.. Начинай!..

III

При выходе с заседания Коренева остановила за рукав Зоя Славичева. С ней стоял студент-практикант Левшин.

— Вот что, Андрей! Нам нужно поговорить с тобой по одному очень важному делу.

Зоя на этот раз была необычно серьезна. Живое лицо ее с мягкими, округлыми линиями и почти детским вырезом рта имело сосредоточенный вид. Голос, пониженный до шопота, звучал строго, убедительно.

Они все трое спустились в зрительный зал и сели сзади на скамейку.

— Опять у нас неладно. Ты слышал — «марион» на втором участке вчера выведен из строя? Оказались отвинченными неизвестно кем некоторые части. — Маленький Зоин носик с облупленасй макушкой наострился на Андрея. — Эскаваторный машинист говорит, что это сделано человеком, повидимому, хорошо знающим машину. Вот тебе иллюстрация к вчерашнему нашему разговору. Делай отсюда выводы.

— Главное, что этих частей нет в запасе, и, когда их получим, неизвестно, — вставил Левшин и, достав из крохотной продолговатой коробочки гусиное перо, стал ковырять в зубах. — А за это время с ней что-нибудь еще сделают. Это вполне возможно. Без присмотра... — добавил он, рассматривая зубочистку и ногти своих пальцев. Над бледноматовыми щеками его лежали черной зарослью сходящиеся дуги бровей, над которыми сверкающе возвышался великолепный лоб — зависть многих юношей. Левшин это знал и этим слегка кичился.

Зоя снова крунула головой.

— За два последние месяца у нас произошло шесть случаев порчи механизмов. Как ты думаешь, это случайность? — облупленная кочечка на веснущатом лице снова нацелилась в слушателя.

— Расследование показало, что порча во всех шести случаях была по вине машинистов, от их технической неграмотности и вообще от нашей некультурности, — ответил спокойно Коренев.

— Возможно, что и так. Но почему ты не допускаешь и другого: кто-то учитывает эти наши недостатки и играет на них тонко, умно и безнаказанно? — возразил Левшин, протирая уголком платка зубочистку и аккуратно пряча ее в коробочку. Говорил он приятным, ровным голосом, не поднимая глаз на собеседника.

Коренев недоверчиво улыбнулся и непроизвольно сжевал забинтованной рукой досадливый жест. По лицу промелькнула гримаса боли.

— Товарищи! У вас болезненная мнительность. Порча трех-пяти механизмов на таком большом строительстве — это слишком мелко.

— Ты очень доверчив! Ты близорук! Так нельзя!.. — набросилась на него Зоя, обжигая взволнованным взглядом больших, сразу округлившихся глаз. — Это интеллигентская мягкотелость! С ней далеко не уйдешь!..

— Зоя! Но я подхожу...

— Двадцать два года Зоя и дальше буду тоже Зоя! Я знаю, как ты подходишь!.. Откуда такой аристократизм? Не понимаю!.. — Худенькие, похожие на детские, руки ее жестикулировали невпопад, голос звучал искривленно, негодующими нотками.

Левшин дернул ее за рукав, недовольно, вполголоса предупреждая:

— Потихоше!.. Ребята идут. Дела еще никакого нет, а ты шум поднимаешь на весь клуб...

Зоя сразу потухла, растерянно скользнула взглядом к проходу и принялась усиленно счищать ноготком на спинке передней скамейки засохший комочек грязи.

Когда группа молодежи, работавшая над украшением помещения, прошла мимо них в другой конец зала, Зоя уже спокойно и точно неохотно высказала:

— Мне ваш новый инженер не нравится. Как его — Дородный, что ли? Говорят, он и приехал сюда не по своей воле — выслали в связи с каким-то по дозрительным делом.

— На Дородного кивать не следует: он работает у нас без году неделю, связывать его со всякими нашими «случаями» нельзя, — вступился Коренев.

все еще тем же ровным голосом, хотя в нем уже чувствовалось негерпение. — Во-вторых, если бы за ним было какое дело, то ему не дали бы самостоятельной работы. А кроме всего, нельзя же основываться на том, нравится или не нравится... Мне не нравится например инженер Вейс и кое-кто еще, но из этого я не вывожу никаких заключений.

Корнев отлично знал Зою. Она горяча, непостоянна, часто хватается за первую случайную мысль. Выводы у нее в горячке сплошь и рядом бывают абсурдны, и она в первый момент не замечает этого. Он сейчас пытался объяснить ей тот вред, который можно нанести таким необоснованным заявлением:

— Вот ты, не имея никаких данных, обвиняешь человека чорт знает в чем, не думая о последствиях.

— Я его не обвиняю, беру только под наблюдение.

— Значит, подозреваешь. Значит, считаешь способным на такие поступки. Пускаешь необоснованный слух, который может облететь всю постройку и испортить человеку жизнь. — Корнев уже начинал волноваться. — Скажи, кто тебе дал право подозревать всех и каждого? Право ставить себя безупречной, а других невыявленными преступниками? Понимаешь, что это такое?

— Понимаю! Но не все такие, как ты... праведники! Я смотрю на это просто, реально, и права сомневаться никто у меня не отнимет. Некоторая доля сомнения всегда необходима.

— Это неверно! Это просто чушь! — возмутился Корнев. — Ты говоришь не о некоторой доле сомнения, а о недоверии. Нельзя приписывать другому тех пороков, которые заложены в тебе самом... Да-да Понимаю, что ты хочешь возразить: чуждый, мол, класс и все такое... Это тоже неверно Интеллигенция в большинстве по сути к нам стоит ближе, чем к буржуазии. Теперь другое. Допусти на момент, что каждого специалиста мы берем под подозрение. Берем ученого, инженера, техника. Конечно, тогда нельзя оказывать абсолютного доверия и квалифицированному мастеру. Надо причислить сюда и

десятника и вообще старшего из рабочих. Скажешь — нелепость? Нет! Это вполне логично. В сущности, это ступени одной лестницы, по которой шествовал капитализм. Всякая выше лежащая ступень давит нижние и опирается на них. Это неизбежно. А там можно идти и дальше — делить самих рабочих по характеру их работы и по величине заработка... Одним словом, все под подозрением. Никому нет веры, кроме самого себя. Подумай, если бы дело обстояло так, то невозможно было бы заниматься никаким строительством. Всюду скрытые враги, всюду замышляются козни, преступные планы, и вообще ни к чорту не годится жизнь!

— Ты перегибаешь! Утрируешь! — не сдавалась Зоя. — Мы отлично знаем, кому можно доверять и кто вызывает сомнения!..

— Неверно! Мы не знаем! Ты смотришь так, я иначе, а рядовой рабочий, не говоря уже о сезоннике, на обоих нас смотрит по-своему. Мы в его глазах — тоже интеллигенция. Верхушка.

— Да, но своя, рабочая интеллигенция...

— Правильно. Но это мало меняет дело. В его глазах мы часто от него так же далеки, как и представители родовой интеллигенции. Я на-днях слышал, как возле правления ругались два извозчика с шофером. Он их шпаной назвал, голодранцами, а они его — совбурским холуем. Почему он холуй, это мне непонятно. Та и другая категории несут одну и ту же работу. Антагонизм здесь вызван неравностью положения в материальном и бытовом отношении... В подобных вопросах надо проявлять особую чуткость и такт, хотя бы в целях лучшего использования человеческих знаний.

— Товарищи! Эту дискуссию нам придется, пожалуй, перенести в другое место, в более подходящую аудиторию. Мы ребят отвлекаем от дела, — с серьезной иронией заметил Левшин, кивнув в сторону прислушивающейся к ним молодежи. — Я думаю, нам лучше пойти, продолжать разговор мы можем и по дороге.

Он тут же поднялся и направился к выходу. Остальные пошли за ним.

Инженера Дородного Левшин не знал и высказывать о нем свое мнение не мог, а говорить по принципиальному вопросу ему не хотелось: многое для него самого было неясно и вызывало противоречия. Кроме того, он вспомнил, что к семи часам у студента Угольного института Крамера собирается молодежь. Может быть, придет и Люба Буглай. И его потянуло в город.

Сергей Левшин, будущий инженер-механик, появился на строительстве около трех месяцев назад, приехал на практику и быстро сошелся с молодежным активом. С Корневым его связывало и другое: он давал ему уроки математики и черчения, готовя на технические курсы. Сам он был сыном мелкого ремесленника из Белоруссии и образование получил исключительно благодаря своему упорству и способностям.

— Вы меня извините, товарищи, мне к пяти часам обязательно нужно быть в городе, — заявил он, когда они шли поселком, направляясь на главную площадь. — То, что нам нужно внимательно присматриваться ко всему происходящему на стройке, это несомненно. Каждое явление отрицательного порядка мы должны тщательно изучать, подчеркиваю — изучать и принимать соответствующие меры. В этом отношении Зоя права. Она бьет тревогу. Прав также и Андрей: без взаимного доверия не может создаваться благоприятная атмосфера для творческой работы. Об этом следует постоянно думать. От этого зависит успех дела... Ну, до свиданья, товарищи! Вон подходит автобус. Всего вам!.. — Он приветствующе поднял руку и заспешил к очереди.

Андрей со Славичевой повернули на третий участок. Разговор влился в другое русло.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

День выпуска заводской многотиражки в редакции всегда был горяч и

шумлив. Внутренние страницы со статьями и художественным материалом сверстаны еще вчера, оставались только первая и последняя — для правительственных и административных распоряжений и заводской хроники.

С утра начинали приходить рабочие-поэты, которым в редакции не было никакого дела, — просто хотелось взглянуть на гранку, а может быть, и на корректурную полосу с их произведениями. Каждое стихотворение они прочитывали по нескольку раз, много друг с другом об этом толковали и уходили или счастливые, или обиженные: мелка печать, нечеток заголовок, изменено какое-либо слово.

Прибегали быстро и шумно на несколько минут юркие хроникеры с заметками из цехов. Неторопливо и осторожно входили авторы очерков и статей. Эти часто поднимали между собой принципиальные вопросы, вели теоретические споры.

Технический редактор, в сущности, в то же время был и главным, проще — единственным редактором, так как значащийся на газете крупный партиец никакого участия в редактировании не принимал.

Когда многочисленные сотрудники, стараясь друг друга перекричать, становились для редакторского уха уже невыносимы, Исак Хмара, редактор, поднимал от стола шершавую голову.

— Товарищи-и! Сто первый раз вам говорю, уходите. Мешаете работать.

— Слушай, Исак! Скоро ли принесут четвертую полосу?

— Хмара! Мую заметку заверстали?

— Товарищ редактор!..

Исак Хмара, редактор, опять поднимает голову и угрожающе выпячивает губы.

— Газета сегодня не скоро выходит! И вообще она сегодня совсем не выйдет, если вы будете садиться мне на шею! — Он ударяет пепельницей по столу. — Поставлю на ячейке! Так нельзя работать! Пускай кого хотят назначают — я не могу!

Только после этого авторы затихают и один за другим начинают освобождать редакцию.

На редакторском столе появляются отгиски трех газетных полос на рыхлой, неровной бумаге, пахнущие скипидаром. В них впиваются пять пар глаз.

«Задержать пуск теплоцентрали — значит изменить международному пролетариату. Доклад тов. Зобачева на собрании заводского партактива».

Ниже — ряд подзаголовков, разбирающих длинную речь. «Обещания не выполнены». «Звеньевая ячейка и партгруппы не поставлены в центр внимания». «Пролетарии всего мира требуют выполнения плана»...

Редактор быстро пробегает полосу, делает поправки.

— Федя, снеси!

Вторая вопиет черными бичующими заголовками рабкоровских заметок:

«Монтажники забыли взятые на себя обязательства».

«Бесхозяйственность и бесплановость углубляют прорыв в сталелитейном!»

«Учитесь работать у строителей конструкций!»

Редактор углубляется в содержание отдельных заметок:

«Я, мастер котельно-монтажного цеха, делаю вклад в фонд большевистского творчества и беру на себя следующие обязательства:

1. Закрепляю себя на производстве до конца строительства.

2. Обязуюсь повысить квалификацию не менее десяти человек, из них трех женщин.

3. Огдаю два выходных дня на партработу в цехе...»

— Молодец, дядя Володя! — радостно восклицает читавший вместе с редактором юноша-рабкор. — Человеку — за пятьдесят, а он многим комсомольцам нос утрет!

Над одной из полос склонились двое поэтов. Их конечно интересуют прежде всего рифмованные строки. Заглавие стиха — «Монтер».

По вытянутым стройкою лесам,
Где в небеса уткнулись вышки,
Упорно лезет к звездным огонькам
Энтузиаст-ударник Гришка.
Он цепко поднимается по балкам ввысь
Плести из проводов тугую паутину,
Чтоб ночью звезды новые зажглись

И силой тока налились машины

Подпись — В. Х а б а р о в.

В правом углу набран в три колонки цитеро «Ударный манифест» ударника Бориса Ручьева.

По сети густой объективных причин,
По срывам, и левым, и правым,
Мы ладим удары, мы властно кричим.
«Поправим! Направим! Исправим!»

Машинистка, румянощекая комсомолка, безостановочно стучит на допотопной, разбитой машинке, которую с трудом выдделили из управленческого фонда. Вчерашний комсомолец, редактор Исак Хмара проверяет сверстанные полосы, правит заметки, придумывает заголовки и ведет переговоры с авторами. Редакционный малец Федя бегаёт в типографию, находящуюся тут же во дворе, готовит чай, подшивает комплекты центральных и краевых газет, ведет счет и запись своей, выдаваемой многочисленным отделам завода.

Сотрудники, лица из администрации и просто всякие деловые люди, точно муравьи в летний день, взад и вперед швыряют по редакционной комнате, неуютной, грязной и прокопченной.

И кипит, плещет в ней через край горячая, поднятая с самых низов, заводская общественность. Со всех точек протянулись сюда живые, трепетные нервы.

II

По крутой, полутемной лестнице неспеша поднимается пожилой, высокий и худой человек. Он остановился посредине и отдыхает. Его обгоняет широкоплечий молодой рабочий, шагающий сразу через две ступеньки, правой рукой неся, точно на блюде, левую забинтованную.

— Послушайте! Товарищ!.. Простите, не знаю вашего имени... Правильно я иду? Мне нужно в редакцию.

— Правильно! Кверху, третий этаж, комната номер первый. — Молодой искоса, мельком взглянул на пожилого. — А мое имя, если вас это инте-

ресует, Андрей Коренев. Я тоже туда иду.

— Туда же? Вот и отлично! Прекрасно!.. — Высокий человек снова медленно зашагал кверху.

Спустя несколько минут он стоял перед столом редактора и, сняв старенькую серую кепку, вытирал вспотевший лоб.

— Вы будете редактор? — высокий человек пошарил глазами по сторонам и, найдя табуретку, придвинул ее к себе, но все еще продолжал стоять.

— Да, я. Что вам угодно?

— Видите, я — инженер. Моя фамилия — Дородный. Я уже около месяца здесь, на строительстве. Собирался к вам раньше, но не мог...

Редактор любезно привстал и протянул руку.

— Очень приятно познакомиться. Садитесь, товарищ Дородный, и расскажите, чем мы вам можем служить?

Дородный улыбнулся неожиданной любезности и сел.

— Видите, вот в чем дело. Прежде всего давайте без всяких тонких обращений. — Я — старый революционер, подпольщик и ссыльный. Мы будем просто, по-деловому, по-товарищески. Инженеры у вас в газете мало пишут?

— Очень мало.

— Ну вот, я хочу у вас сотрудничать. Хочу написать целый ряд статей, по моему мнению, очень нужных — о нашем строительстве.

— Мы будем очень рады, товарищ Дородный, — обрадовался редактор. — Мы могли бы вам предложить несколько боевых тем...

Инженер прервал его, подняв руку.

— Видите, темы у меня есть, и, думаю, тоже в некотором роде боевые. Прежде всего я хочу поставить перед рабочей общественностью вопрос о новых методах строительных работ, о введении особого учета и плановости. Потом меня интересует вопрос об утилизации строительных отходов. Я уже говорил об этом в заводууправлении, но к моему предложению отнеслись несерьезно. Затем есть еще несколько тем. Как вы на это смотрите?

— Как я смотрю? Конечно это великолепно. Мы все поставим на ноги. Если нужно будет начать с кем войну, мы ее начнем с кем угодно. — Редактор загорелся. — Мы поднимем комсомол, привлечем всех рабочих-активистов. Если нужно...

Дородный снова остановил его мягким движением руки.

— Нам этого пока не нужно, да, думаю, и в дальнейшем никогда не погребется, так как никакой войны ни с кем мы вести не будем. Полагаю, что правильность своих взглядов я могу доказать через посредство простых газетных строк. Эти истины неоспоримы. — Дородный поднялся. — Так, значит, могу рассчитывать на место в вашей газете?

— Всегда. Целый подвал... Кстати, вот позвольте познакомить вас с нашим ближайшим сотрудником, рабочим-активистом. Эти вопросы для него тоже очень близки, — редактор показал на Коренева.

— Мы с ним уже знакомы... Ну, товарищ Коренев, вы, кажется, тоже собираетесь уходить? Идемте вместе и по дороге потолкуем.

Старый инженер и молодой рабочий направились к выходу.

Дородный одет был в простую косооборотку, поверх которой неуклюже болтался широкий дешевый пиджак, с тонких ног глядели, точно распухшие от еодянки, большеголовые башмаки. В руках — палка.

У Дородного имелась особенность: когда он говорил, то левая бровь его произвольно дергалась, и получалось нечто вроде подмигивания. Иногда самая искренняя и умная фраза его от этого становилась легкомысленной и фальшивой. В остальном же: вся его внешность, простота обращений, тон голоса были привлекающими и вызывали доверие.

Андрей Коренев, до этого встречавшийся с ним несколько раз и относившийся к нему расположено, теперь сразу мобилизовал в себе все внимание и проницательность.

— Знаете, товарищ Коренев, несмотря на наши огромнейшие производствен-

ные темпы, мы все-таки не используем по-настоящему человеческую силу. Я о машинах уже не говорю — работают они только на сорок, на шестьдесят процентов. А все это можно поднять до нормы, без ущерба как для человека, так и для механизмов...

Левая бровь Дородного иронически прыгнула кверху.

«Все это фальшиво и даже не умно. Подделывается, пытается войти в доверие» — враждебно подумал Коренев.

А Дородный продолжал:

— Я за это время кое-где понаблюдал. На бетоне например: люди работают полной нагрузкой, а на бетоноешалках чуть не каждый час прорывы — портятся механизмы. У монтажников плохо организован человеческий состав. Опалубщики делают частые простои из-за неаккуратной подачи материала, и так дальше, и так дальше. Но все это можно устранить разумной организацией, то-есть правильной расстановкой людей, машин, надлежащим подбором инструментов, четкой механикой доставки материалов...

Высказываемые мысли были разумно деловые, простые и ясные, вполне естественные в устах нового инженера, но Кореневу казалось, что за ними скрывается лукавство и черная игра. В течение четверти часа, пока они шли вместе, он ни разу не высказал Дородному своих взглядов на его соображения, отделиваясь лишь неопределенным гмыканьем или односложным «да, да». Но когда тот крепко, задушевно пожал ему руку и взглянул прямо в глаза по-детски ясным, не лгущим взглядом, молодой рабочий почувствовал, что он по отношению к старому инженеру сейчас не прав. Тот вполне искренен.

«Нет-нет. Он не может быть врагом» — сказал себе убеждающе Коренев, но где-то в глубине отравляющая язва противно, настойчиво сочилась.

III

Инженер Дородный обладал редким в его возрасте свойством — юношеской живостью темперамента и неуправляемой тягой к человеку. Он всюду выискивал

и закреплял новые знакомства с людьми, казавшимися ему более или менее интересными.

Дня за два до посещения редакции он познакомился с молодым инженером Зворыкиным и сразу принял его в свое сознание как примечательный экземпляр молодого советского специалиста.

Антип Игнатьич Зворыкин заведывал железо-бетонными работами в механическом и кузнечно-прессовом цехах. Встреча произошла в заводууправлении в кабинете начальника строительства. Дородному понравились независимые и оригинальные суждения молодого инженера, какие он высказывал в присутствии целого собрания специалистов. Старый инженер тогда осторожно вставил несколько слов в его поддержку, чем вызвал, повидимому, у него к себе симпатию. В коридоре они потом столкнулись и обменялись многозначительными улыбками.

Сегодня утром инженеры встретились в автобусе, когда ехали из города на строительство.

— Вы как с квартирой устроились? В городе будете жить? — спросил Зворыкин, поздоровавшись.

— Пока я вообще без квартиры обхожусь, — ответил Дородный. — Имею в гостинице в общежитии койку — вот и все. Как будет дальше, не знаю. А тут — ни раздется, ни побираться... Вещи всякий раз приходится относить в швейцарскую. Гнусность, а не жилье.

— С квартирами в Свердловске дело обстоит очень плохо. Я тоже только недавно получил комнату... Теперь от вас зависит. Давайте, стройте скорее. — Зворыкин приятно, как-то по-мальчишески, улыбнулся. — А то эта каждодневная поездка из города и в город страшно утомляет и много отнимает времени.

— Да, будем строить. По-настоящему строить. — Слово «по-настоящему» Дородный подчеркнул. — К осени, думаю, часть корпусов отдадим под жилье, а остальное к весне.

Зворыкин недоверчиво посмотрел на него, но ничего не ответил, потом их раз'единили вновь вошедшие пассажиры, и продолжать разговор не удалось.

Зворыкину новый инженер понравился главным образом тем, что был прост, не похож на большинство работавших на строительстве и державших себя часто недоступно. Разницу в происхождении они то и дело подчеркивали: мы — интеллектуальная аристократия, мозг наш совершенствовался в десятках поколений, а ты, по существу, еще плебей, кое-как овладевший верхушками знаний... Некоторые из них, наоборот, были чересчур предупредительны и ласковы, как бывают ласковы господа с чужой прислугой. Ни к тем, ни к другим его не тянуло.

Совсем иное чувствовалось при встрече с Дородным. Из него струилась какая-то особенная теплота и задушевность, разговаривать было приятно.

«Надо ближе с ним познакомиться, человек интересный, очень искренний и оригинальный» — подумал Зворыкин, опять вспомнив о новом инженере, когда в полдень шел из управления. Дородный в это время возвращался из редакции и на повороте на некоторое время задержался с Кореневым.

— Степан Гаврилович! Опять мы с вами столкнулись!

— А-а! Еще раз здравствуйте!

Коренев при этом восклицании, отойдя на несколько шагов, остановился у фонарного столба и сделал вид, что читает афишу, оповещающую о клубном спектакле. Поступил он так почти машинально, глубоко не вдумываясь в свое действие.

— В редакцию сейчас ходил, знакомился. Хочу сотрудничать, — просто сказал Дородный.

— О чем думаете писать? — спросил Зворыкин.

— Да вот наметил несколько статей о нашем строительстве. Некоторые — довольно острые по теме. Пожалуй, кое-кого зацепят. Не хотите ли принять участие — побурлить болото?

Зворыкин почему-то посмотрел в спину Кореневу и ответил:

— Что ж, можно. Я ведь тоже иногда пописываю. Вернее, раньше писал, в Москве.

— Ну, вот и отлично. Значит, есть?

— Есть! Приходите сегодня ко мне на квартиру, часов в семь. Если итти к вам, то у вас негде, а я веду, так сказать, оседлый образ жизни. У меня даже самовар имеется.

— Отлично. Буду.

Инженеры, друг другу кивнув, разошлись в разные стороны: один — на площадку, где строились многоэтажные жилые корпуса, другой — в механический цех, к бетону.

После их ухода Коренев удрученной тенью отделился от афишного щита.

«Странно: Дородный и — Зворыкин. Свой, молодой инженер из рабочих. Что общего между ними? Непонятно!..»

В том, что предстоящее свидание инженеров откроет какую-то новую опасную линию в жизни строительства, он почему-то не сомневался. Подслушанный ничего не значащий разговор конечно еще не давал права так думать. Но суть была тут не в содержании разговора, а в чем-то другом.

Не интриговало его также и не возмущало предполагаемое дальнейшее поведение инженеров. Просто было тяжело все это сознавать и в то же время противно от своего невольного поступка — подслушивания чужого разговора.

Шел он разбитым, больным шагом, хмуρο с'ежив свое большое тело. Хотелось, чтобы никто не видел его, чтобы тревожные вспышки язвящих вопросов погасли в самом своем зачатии.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Инженер Шухаев сейчас жил в напряженном состоянии, ежечасно ожидая в своей судьбе мрачных событий. Его благополучие и даже самая жизнь в течение многих лет находились под ударом; он, пожалуй, привык к постоянной тревоге, и с годами острота ее притупилась. Но теперь, с появлением на строительстве Дородного, занесенный для удара железный кулак снова стал реален и угрожающ. В какую минуту и с какой силой он обрушится? Что обру-

шится, в этом нет сомнения. Но когда? Когда?

А в довершение всего — неожиданно новое несчастье, вспыхнувшее горячим степным смерчем, в самой его семье.

Домашняя атмосфера у Анатолия Викторовича и без того была тяжела, теперь же во много крат усилилась. Вера Александровна, его жена, пережила двойную трагедию — молодой женщины и матери. Всё делала и говорила возбужденно, порывисто, до истерик накаляясь и тотчас же остывая, становясь беспомощной и жалкой. Квартира разделилась на два почти враждебных лагеря. В одном — две комнаты окнами на улицу — жили Анатолий Викторович со старшими детьми и жилища Нина Алексеевна Бобкова. В другом — тоже две комнаты — находились Вера Александровна с матерью и больной шестилетний Костик.

Болезнь пришла внезапно и сокрушительно. Уже третьи сутки мальчик метался в полубреду, сгорая в предельной температуре. Вера Александровна неотлучно находилась у его постели, лишённая сна и аппетита. Когда она, обессиленная, падала у его кровати, на смену ей приходила другая женщина, бабушка ребенка, и так же стойко и самоотверженно высиживала кошмарные, мучительные часы. Витающую над изголовьем смерть они отгоняли с безумным материнским упорством. Защищали его жизнь, как две волчицы.

Остальные двое сыновей — семи и девяти лет — почти выпали из сердца и сознания матери, на время стали ей чужими. Анатолий Викторович рано утром, поднявшись с постели, осторожно, чтобы не разбудить, целовал того и другого и на некоторое время задерживался на них взглядом. Иногда приходили странные мысли: кого из них, троих, он больше любит? Если бы подошла смерть и сказала: «Одного я должна у тебя взять. Которого тебе менее жалко?». Шухаев на минуту задумывался: которого же? И не мог на это ответить. Для матери выбор решила болезнь. Ради маленького она может пожертвовать сейчас этими двоими и конечно не пожалеет и его, Анатолия Викторовича.

Такова материнская любовь к своему больному ребенку. Но вот для него, для отца, выбор невозможен. Он с сердцем отмахивался... «Нелепость!..» И неслышными шагами шел на другую половину квартиры. Шел и чувствовал себя виноватым, и знал, что жена с тещей тоже посмотрят на него сейчас обвиняющими взглядами. Почему? В чем его вина? Что он дурного сделал?..

Шухаев неуверенно отворял дверь. В нос бросался тошнотный запах лекарств; в тревожной тишине слышалось хлюпающее, со свистом дыхание больного. Жена поднимала голову и тут же снова отвертывалась к ребенку. Теща, Христина Ивановна, сидела тяжелым, рылым истуканом, не оборачиваясь.

— Ну, как с ним? Что? — полушопотом спрашивал Анатолий Викторович, стараясь издали разглядеть спящего ребенка.

Жена, казалось, не слышала, продолжая с задумчивым бессмыслием смотреть в одну точку.

— Как он сегодня спал? Температуру меряла?.. Сколько?

— Что ты тянешься издали? К сыну боишься подойти. Не чумной, не заразишься!

— Вера! Как тебе не стыдно? Почему ты не можешь говорить по-человечески?

Вера Александровна не отвечала. Отец наклонялся над кроватью, прикладывая ладонь к горячему лобику. Вера, успокоенная, отвечала:

— Под утро несколько раз просыпался. Просил пить. Температура немного ниже.

Она опускала лицо на подушку, и плечи ее неожиданно начинали дергаться, сначала едва заметно, потом все больше и больше. Анатолий Викторович молча направлялся к двери, ступал неслышно, слегка напряжив руки, будто неся себя по воздуху. Жестко-красивое лицо его с аккуратно подстриженной русой бородкой и глубоко сидящими, всегда задумчивыми глазами напряженно вытягивалось на длинной шее, делалось испуганным.

От слез и истерик Анатолий Викторович положительно терялся и спешил

уйти из страшной комнаты, подгоняя себя тем, что время уже ехать на службу, что там вероятно ждут. Из дому он уходил иногда раньше, чем следовало, вместе с Ниной Алексеевной. Ехали сначала городом на трамвае, потом на автобусе до самого завода, и только у главного корпуса расходились: он — в управление, она — на площадку строительства.

— Анатолий Викторович, а все-таки откровенно вы живете, то-есть семейная обстановка у вас отвратительная, простите меня за грубость. Я привыкла говорить прямо, — сказала однажды ему по дороге Бобкова.

— Что вы, Нина Алексеевна!.. Позвольте, как это понимать? — испугался и обиделся Шухаев.

— А просто так — безобразная у вас семейная жизнь. Тяжел воздух, нечем дышать.

— Насчет воздуха это вы верно: все пропахло лекарством. То болела жена, а теперь вот несчастье с ребенком, — попробовал свернуть в сторону инженер: говорить о семейном ему было тяжело.

Бобкова это поняла и смягчила тон.

— Хорошо бы вам устроиться куда-нибудь в длительную командировку или просто выхлопотать отпуск, по болезни например, — ведь вы больны, — и уехать хотя на месяц или на полтора на юг. Море вам было бы очень полезно.

— Командировка! Отпуск!.. — Шухаев рассмеялся. Ему неожиданно стало весело от слов девушки. — Как это у вас быстро и ловко. Прямо великолепно, честное слово! Доктором бы вам быть. Нет, лучше назначить вас директором нашего завода... с неограниченными правами. Нам выгодно было бы...

Смех у него был неестественный, скрипучий, сухо перекатывающийся, хотя инженер не вынуждал себя к этому. Девушка посмотрела на его усталые, блеклые глаза, на русую скучную бородку и подумала: «Болен глубже, чем я полагала».

Она сказала серьезно:

— Это вы верно. Насчет командировки и отпусков теперь, во время строительной горячки, нечего и говорить... Ну, как сегодня Костик?

— А-а! Костик! — оживился Анатолий Викторович, довольный переменной темы. — Мальчик сегодня чувствует себя как будто лучше. Я думаю, теперь пойдет на выздоровление. Мне жалко Веру: измоталась она окончательно от бессонных ночей и нервничанья.

Они приветливо кивнули друг другу и разошлись.

«Человек неглупый и талантливый, но не вырвется из этого круга. Жалко!» — подумала Нина Алексеевна.

«... Кому-нибудь принесет счастье. Радостной звездой ворвется в его жизнь... А возможно, будет брюзгой, ссарливым, скучным существом, как и моя жена... Нет! Не может быть!..» — размышлял Шухаев, поднимаясь на второй этаж к себе в кабинет.

II

— Мама! Посмотри: Анатолий здесь или ушел? Да встали ли ребята? Накормить их надо.

— А ты сама выпила бы хоть чашку кофе, потом отдохни немного. Смогри, на кого ты похожа? Разве так можно? Я посижу возле него.

— Нет-нет! — качала головой Вера. — Я совсем не устала. Я ведь подремала немного. Дремлю и слышу каждый скрип кровати или его голос. Он раз пять просыпался. Даже позвал меня. Я его поила и давала порошки.

— Ну, я тебе сюда принесу. — Христина Ивановна шла к здоровым детям, которым домашняя работница уже готовяла завтрак.

Вера Александровна поднималась с кресла. Больно было спине и шее; затекли ноги. Она с усилием выпрямляла исхудавший корпус, делала несколько глубоких выдохов и медленно подходила к зеркалу — поправить волосы, принудить покрасневший кончик носа и потереть вазелином фиолетовые, в морщинках, впадины под глазами.

Отвратительная старость издали протягивала свои скрюченные, костлявые пальцы, ехидно улыбалась беззубым ртом и бескровными желтыми щеками. Похожими на старые кожаные опустошенные мешочки.

Старость, грозящая тридцатидвухлетней женщине. Это гнусно и страшно. Это возмутительно несправедливо!

На фоне утренней бирюзы, льющейся в окно широким, освежающим потоком, Вера Александровна стоит прекрасным изваянием с великолепными формами, мягко подчеркнутыми тонкой материей. По спине девически целомудренно вьется толстая коса, за ночь слегка распухшая шелковистыми волокнами. Прическу делать не хочется, да и незачем: никто в дом не придет, и она никуда не выйдет. Как на ночь по привычке заплела, так и ходит с ней.

Ребенок заворочался. Вера Александровна быстро подходит к постели. На бледном, утомленном лице вспыхнула тревога. Но она напрасна: мальчик снова спокоен, только тяжело дышит, и на лбу выступила испарина. Мать бережно вытирает личико малютки и устало опускается в кресло.

«Почему, почему так складывается жизнь? Где радость? Где счастье? Неужели его не будет? Никогда не будет? Жизнь вот так и пройдет серой, тусклой полосой. Проскрипит, как крестьянская телега в пыльной, выжженной степи? Нельзя же назвать счастьем те несколько недель увлечения, первых встреч и мечтаний или вспышки страсти и огонь чувственности, поднятой откудато из темной глубины. Это не то, Это совсем не то!» Не об этом ей мечталось...

— Вот я тебе принесла. Выпей чашечку! — Христина Ивановна ставит поднос на стул и стул заботливо придвигает к дочери.

— Напрасно, мама! Я сама пошла бы туда... Ну, спасибо! — Она выпивает несколько глотков. — Как ребята, позавтракали? Маша что им приготовила?

— Коля с'ел стакан варенца, а Мише сварила манной каши: у него что-то с животиком.

— А что у него такое? — Вера быстро поднимается. — Давно с ним?

— Да ничего серьезного нет. Просто что-нибудь так...

— Я пойду. Ты посмотри за Костином, — не дослушивает ее Вера. Но, прежде чем уйти, внимательно взгляды-

вается в лицо спящего ребенка и потом бесшумно срывается к двум другим.

Звонит телефон.

— Слушаю! Кто говорит?.. Да-да... Антип Игнатьич? Здравствуйте! Не узнала ваш голос. Очень рада! А я соскучилась, все ждала вашего звонка...

По лицу молодой женщины скользят, чередуясь: приятное удивление, кокетливая гримаска недовольства, радость и неожиданно — раздражение: дети заспорили, мешают слушать! Сердитый жест в их сторону.

— Дети! Тише!.. Простите, я с детьми. Как вы проводите время? Что у вас нового?.. Подождите одну минутку... Коля! Миша! Если сейчас не замолчите, я вас накажу. — На лице настоящий гнев, а спустя две-три секунды снова разливается сердечная теплота и очарование... — Так, так. Очень хорошо. Непременно... Анатолий уже уехал. Вы на заводе его встретите... Так, обязательно! Буду ждать!..

Вешается трубка. Лицо медленно угасает.

«Что связывает этих людей, таких разнородных по своему существу? Почему у них такая дружба?»

Вера Александровна думает о том и о другом, сопоставляет их и разбирает.

... Ее муж — это трудолюбивый, честно перевозящий всякую кладь, доводящий любой кормом. Он умен, культурен и когда-то проявлял талант. Теперь уж не проявит. Ослабля крылья. Никогда не поднимется...

А Зворыкин... Правда, он значительно моложе, но дело не в годах. Дело в стойкости духа, в осознании своей личности. Антип Зворыкин не согнется ни перед какой бедой. По жизни он шагает победным шагом... Вот если бы с таким мужем...

В полдень Вера Александровна, утомленная, закрыла глаза, откинувшись в кресле, и поплыла в неведомую светлую страну безмятежной радости, — все было голубое, звучащее, полное счастья, — любви и счастья. И вдруг дрожащая, костлявая рука старости схватила ее за плечо: «Наконец-то я дождала тебя!»

Вера Александровна в ужасе открыла глаза. Возле нее стояла испуганная мать.

— Как ты крепко заснула, никак не могу добудиться. Костику плохо.

Вера Александровна кинулась к постели. Мальчик метался в жару. Худенькое тельце его горело, таяло на смертном огне. Глаза были закрыты, но чудилось, из-под тонких век они смотрели на мать и бабушку укоризненно, с великой тоской и болью. Сухие, потрескавшиеся губы жадно ловили воздух. Сжимались и разжимались крохотные пальчики.

— Он умирает! Мама! Он умирает!.. Костик! Родной мой!.. Воды ему: помочь личико. Ах, нет! Доктора! Сейчас же доктора!.. Маша! Позвони Анатолию Викторовичу! Скажи: скорей! Скорей!..

Вера Александровна металась, сама была, как в бреду.

— Да позвоните же скорее мужу! Почему он не едет? Сын у него умирает!.. Малютка мой! Счастье мое! Зачем ты меня оставляешь?..

Мальчик все таял в сжигающей температуре...

III

Напряженно, тягуче звенит железо, жалуется на причиняемую боль. А боль рождают сотни молотков, пил, сверл, тысячи человеческих рук. Люди плетут железные кружева, ставят их колоннами, арками, укрепляют вместо перекладин. Стараются очеловеченный гигант, электрокран: могучей лапой перемещает целые сооружения. Стараются компрессор в своем неустанном беге на месте. Все старается.

Бригадир клепальщик Андрей Корнев, еще с большой рукой, привычно налегает на перфоратор, чувствуя каждый его удар, как удар по сердцу. Еще надо было полежать, но работа не ждет, срок на носу, — и он стучит, выгоняет и перевыгоняет норму. Пускай подтягиваются другие.

Сварщик Шилев со своей бригадой у нефтебака гонит уже верхний ярус, ослепляющим огненным жалом колдует

на железе. Снизу — знакомый голос, но Шилеву некогда: нужно доколдовать магический квадрат. Без него нет жизни.

Помощник главинженера поднимается на кучу кирпичей, чтобы крикнуть еще раз, — может быть, услышит.

— Товарищ Шило-ов!..

Безнадежно махнул рукой и слез: зовут самого — техник по установке конструкций, латыш Дубенец. Пенится из-под черного картуза белая буйная грива: такого же цвета борода навострилась кверху детской лопаточкой.

— Лихоманка задери их, чертей кожаных! Опять готовят прорыв, Анатолю Викторыч!

— В чем дело?

— Для переброски частей нам нужно было сегодня восемь платформ, дали только пять. С транспортом прямо мученье. В могилу вгонят.

Шухаев достает портсигар и молча протягивает его технику. Отходят к штабелям кирпича, песчаным курганам, где курить разрешается.

— Я об этом сегодня опять буду говорить в управлении. Меня вчера уверили, что все будет налажено, — спокойно отвечает он. — Как у вас дело с табаком?

— С табаком прямо скандал. Придется переходить на нюханье... нюхать чужой дым... В кооперативе дают только по десять пачек в месяц. Куда их тянуть? А без табаку нашему брату — смерть. И вообще кооператив наш ни к черту не годится: не может по-настоящему наладить снабжение. — Техник Дубенец постепенно накаляется; с Шухаевым можно говорить, хотя он сам никогда ни на что не жалуется и ничего не критикует. — Вообще у нас творится какой-то кавардак, — продолжает Дубенец. — Много делается шиворот-навыворот. Может быть, и эту самую стройку не время было начинать? А если начинать, то с другого конца...

— Так-так, — безразлично поддакивает помощник и, выпуская кверху струю дыма, смотрит сквозь него на вытянутую железную шею под'емного

крана. Блеклые глаза смертельно утомлены.

Бросив курить, они идут по краю выемки к кузнечно-прессовому цеху. Звук железа медленно гаснет позади. Техник Дубенец уже накалился. Хрипотатым, пониженным голосом он шипит почти над ухом инженера:

— Четырнадцать лет мы строим свое социалистическое жилище. Мне надоело ходить по щебню, по канавам, дышать строительной пылью. Я хочу жить, а не мокнуть под дождем и не стынуть на сквозняке!.. Говорят: «Жилище будет великолепное». Но когда, когда оно будет? Я хочу жить сейчас, а не тогда, когда мне стукнет семьдесят. Я тридцать лет от работы не разгibal спины, жил впроголодь. Я кашляю кровью. У меня кила. Поймите — кила-а! От натуги. Я всю жизнь мечтал по-настоящему отдохнуть и поваляться где-нибудь на лугу, у реки, не думая о завтрашнем дне, а вы меня заставляете строить счастливую жизнь для потомков. Почему я, чорт возьми, хуже этих своих потомков?..

— Вы напрасно так горячо. Можно спокойнее, — говорит почти безразлично инженер Шухаев. Он вынимает носовой платок и вытирает кажущиеся пыльными глаза. Взгляд где-то очень далеко. — Иван Степанович, торцовые колонны нам нужно к седьмому числу обязательно поставить, — неожиданно меняет разговор инженер.

— Поставим к шестому, — недовольно отвечает техник и, спохватившись, добавляет уже в другом тоне: — Работа идет отлично. К шестому обязательно кончим.

— Так. Это — дело... А не кончите, я вас в бараний рог согну. Лично вас, товарищ Дубенец! — жестко и предостерегающе добавляет помощник главного инженера.

Техник с задором вскидывает пенную бородку, похожую на детскую лопаточку, и искусственно молодцеватым голосом, ничуть не обидевшись, заявляет:

— К шестому — как пить дать, товарищ Шухаев!.. — В густой заросли белых усов прячется злая усмешка.

Шухаев не видит этой лукаво-самодовольной ухмылки. Никогда не видит ее, но всегда чувствует: она есть, есть. Техник Дубенец знает, как нужно себя держать, и умеет во-время показать свою работу, хотя он — несомненный враг, ненавидящий всем существом то, что исходит от большевиков. Эти свои чувства он не скрывает от Шухаева, часто даже цинично бравирует ими, но работает отменно и почти всегда впереди.

«Что это — своеобразная профессиональная честность или же, или — защитный цвет? Трусость? Страх за собственную шкуру? Но в прошлом у него как будто все благополучно».

Лично у Шухаева страх за свою шкуру огромен, часто заполняет весь его внутренний мир, кричит тысячами голосов, горит жаром в каждой капле крови. Жесткость и видимость дружбы, ненависть и кажущаяся приязнь, проявляемые им по отношению к технике — все это от смертельного страха за свою драгоценную жизнь. С каким удовольствием он принял бы известие о том, что техника Дубенца задавило железной балкой, разможило голову сорвавшимся кирпичом или что-нибудь в этом роде. Только, чтобы насмерть. Непременно насмерть...

Инженер Шухаев поднимается на леса, к самому верху металлических стропил. Гигантские плетеные дуги оседлали почти целый гектар площади. Внизу еще желтеют песчаные котлованы, застыли монолитными пластами бетонные площадки, грохочут строительные машины, а железо конструкций уже связало десятки тысяч кубов звенящего, горячего летнего воздуха, и все стягивает его, навеки заковывает в броню. Шухаев внимательно осматривает скрепления, карманной рулеткой вымеривает просветы, ведет разговоры с техниками, бригадирами, рабочими и все тщательно записывает. Он пунктуален и точен. Точен больше, чем необходимо. Он проверяет не только каждого сотрудника, но проверяет по несколько раз самого себя. Лестницу на луну или воздушного моста он не дерзнет избреть, и даже мысли такой у него не

возникнет. Но если ему дадут на этот готовый план и скажут: «Сделай», Шухаев неторопливо, обстоятельно продумает его и сделает — так, как едва ли кто другой может сделать...

«... Был один, стало двое. Перед тем и другим он все время должен быть напряженным, каждую минуту готовым к отражению сокрушающего удара...»

А может быть, этому, второму, ничего не ведомо?..»

Помощник главного инженера идет в заводоуправление к начальнику строительства. В конце коридора внезапно вырастает знакомая худощавая фигура с камышевой тростью. Рука Шухаева, положенная на дверную ручку, конвульсивно сжимается. Он медленно, с усилием отрывает ее и делает приветственный жест, одновременно надергивая на лицо приветливую улыбку.

Инженер Дородный, скупно ответив на приветствие, неспешащим, солидным шагом проходит мимо.

В кабинете находились два прораба. Начпроектирования Грибанов повернул к вошедшему голову.

— Анатолий Викторович, для чего вы мне были нужны час тому назад. Положительно забыл, а были очень нужны... Подождите, может быть, вспомню. — Он продолжает беседу с прорабам.

Шухаев ждет, просматривая первый попавшийся под руку немецкий технический журнал. В груди все еще теснит какой-то комок, истекающий горечью. Голос Грибанова звучит хозяйски уверенно, загорелые большие руки живо и образно рисуют в воздухе своеобразные фигуры, подчеркивающие скупую речь.

«Славный парень, — думает мимоходом помощник, сознательно и в хорошем смысле употребляя слово «парень». Он слышал о прошлом начальника, знает его настоящее и относится к нему с большим уважением. — Хороший хозяин, отлично справляется со своим делом... — насильно добавляет он. Но это только побочная мысль, основная же о другом — о худом человеке с камышевой тростью...

— Ну, вот теперь я к вашим услугам, — говорит Грибанов, поднимая к нему энергичное бритое лицо. — Да, зачем же вы были мне нужны? — Он несколько секунд тербит голый подбородок, стянув над переносицей две вертикальных складки. — Никак не могу вспомнить, хоть лоб тресни... Ну, выкладывайте, в чем дело?

Помощник главинженера обстоятельно, без лишних слов говорит о ходе работ на некоторых участках. Говорит о недостатке материалов, о трениях с транспортным и земляным отделами и отмечает особо успешную работу некоторых бригад.

— Да, вспомнил! — перебивает его начальник. — К вам звонили из дому — с сыном что-то неладно. Он у вас болен, кажется?

— Да, сильно болен.

— Ну, вот-вот. Просили немедленно приехать... Извините, что я запамятовал. Вы поезжайте. Сейчас же, немедленно поезжайте!

— Пустяки. Это жена там нервничает. Наверно, ничего особенного...

— Нет-нет! Советую сейчас же ехать. Мало ли что может случиться? Попусту не будут так пугать... Обязательно!..

Шухаев думает: «Да, обязательно нужно. Должно быть, хуже... Бедный Костик, столько времени мучается...»

В квартире необычный шум, слышно еще с лестницы: воют, всхлипывают детские голоса. Анатолий Викторович тревожно прислушивается. «Почему оба одновременно? Может быть, наказала мать. Расшалились... Когда же отпрут дверь? Точно оглохли все...» Он, уже начиная волноваться, нажимает в третий раз кнопку.

— Маша, что это у вас? Звоню зря и никак не могу дозвониться.

У домработницы глаза красные. Инженер, порывисто сбросив шляпу, торопливо, на носках устремляется в комнаты. Он не слышит и не хочет слушать путаные, неясные слова Маши, в которых понятно только одно — случилось что-то особенное.

В первый момент все показалось обычным: откинулась в кресле, закрыв

глаза, с посиневшими, ввалившимися веками, жена. Против нее, на стуле, сидит с опущенной, утомленной головой теща и в кроватке, рядом, лежит сын, Костик. Двух остальных детей, одиноко прижавшихся в углу большого дивана, Анатолий Викторович в первый момент не заметил, хотя они не переставали плакать.

Теща при его появлении подняла голову и, не сказав ни слова, опять опустилась. Маша стояла в дверях и чего-то ждала. Ему даже показалось при первом беглом взгляде — Костику лучше: лежит спокойно, жар, повидимому, спал. Зачем же звонили, напрасно беспокоили?

Шухаев нагнулся над кроваткой и сразу отпрянул. Потом снова подал голову, глядя в знакомое маленькое личико, застывшее в меловой неподвижности. Позади взорвался внезапный детский крик одной пронзительной нотой. В сознании мелькнуло: «Второй, Миша». И сейчас же все стало понятно, все ужасающе просто: Костика нет и никогда больше не будет. Анатолий Викторович попробовал ужаснуться, вызвать в себе отцовскую скорбь, но из этого ничего не вышло. Он обвел присутствующих непонимающим взглядом, хотя все было ясно: в кроватке вместо живого существа, называвшегося Костиком, лежит труп. Как это глупо! Нелепо!.. А почему глупо? Почему нелепо? Естественный закон — всему живому свойственно умирать... Он рыдал на лице своем судорогу боли, и тут же отметил — она не из глубины, не органична. Боль шла от ума, от воли... Когда прикоснулся губами сначала к бескровной худенькой ручке, спокойно вытянутой на одеяле, потом к белому, холодному лобу, то мысль необычайно четко сделала язвительное заключение: «Вот, будешь жалеть его, тогда как тебе совсем его не жалко. Да и вообще жалости к покойнику не может быть. Живой жалеет не умершего, а самого себя, потому что лишился общения с близким ему существом. Люди неточно формулируют или лгут...»

— Часа полтора тому назад... Тихо, будто заснул... — услышал Шухаев обращенный к нему голос тещи.

Глаза Веры Александровны были широко открыты, смотрели на мужа остро и пытающе. Он чувствовал, что нужно что-то сказать, но соответствующих слов не находилось. Потом Вера Александровна отвернулась, плечи ее знакомо заходили, все сильнее и сильнее, и комнату огласили судорожные рыдания.

— Вера! Вера!.. — С ласковой, успокаивающей жалостью он протянул к ее плечу руку.

Но Вера Александровна быстрым движением сбросила ее, и Анатолий Викторович услышал отрывистые полубредовые слова, из которых его поразило только одно, выкрикнутое дважды: «Вол! Вол!..»

Кто и почему вол, он не понял, но счел нужным сделать обиженную гримасу и отойти прочь.

Жена продолжала истерически дергаться.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

Ночь. В квартире тишина, только из кабинета Шухаева доносится мягкий звук равномерных и бесконечных шагов, похожий на звук какого-то большого несложного механизма. Из кухни сонно протянулась узкая полоска света. В дверной щели задумчиво тикают ходики.

Резкий телефонный звонок взрывает тишину коридора, тревогой разносясь по комнатам. В дверях кабинета, на внезапно вспыхнувшем квадрате, появляется серым привидением фигура мужчины; из кухни, шлепая туфлями, торопится Маша.

— Телефон нужно было закрыть. После часа всегда нужно закрывать... подушку класть на него, — недовольно ворчит Шухаев, дожидаясь, когда домработница возьмет трубку.

— Нину Алексеевну вызывают, говорят, непременно нужно, — сообщает Маша и направляется к двери жилища, чтобы постучать. Но Бобкова уже в коридоре, кутается в накиннутый на плечи платок.

— Меня?..

— Да, вас, — немного жестко, с удовольствием отвечает Шухаев. Он поворачивается, чтобы уйти к себе в комнату, но раздумывает и, остановившись, прислушивается к разговору.

— ... Хорошо. Сейчас же выезжаю. Обязательно. Да-да... — Повесив трубку, Нина Алексеевна оборачивается к ждущему Шухаеву. — Звонили с площадки: привезли части «мартена», сейчас будут принимать. Я просила, чтобы мне обязательно позвонили.

— Что же, для приемки у вас дня не найдется? И почему вы тоже должны сейчас присутствовать? Вы день работали и ночь не будете спать?.. Без вас обойдутся...

— Нет, я обязательно еду. Мы столько времени их ждали... Теперь у нас начнется горячка. — Нина Алексеевна торопливо скрывается в своей комнате.

Спустя несколько минут инженер Бобкова, уже одетая, отпирает выходную дверь. Из кухни по коридору — та же световая, недвижимая полоска, и в кабинете — те же размеренные, автоматические шаги.

На улице безлюдно. Громыкает трамвай, раскачиваясь из стороны в сторону, — издали видно, что пустой.

«Поспею ли? Должно быть, последний, в парк. Неужели до автобуса придется идти пешком?»

Нина Алексеевна спешит к остановке. За первым вагоном показался другой, и как-раз нужный номер.

«... А «он» все ходит, — мелькнуло о Шухаеве. — Наверно, до утра не будет спать. А Костик никогда уже не проснется. Ни-ко-гда!.. Завтра его зароют в землю. Будто мимо окна в солнечный день пролетел мотылек... Пройдет несколько лет, и станет это казаться сном. Не жил он, а только приснился. Даже у матери время обесцветит яркость воспоминаний... Бедная Вера Александровна!..»

В автобусе сидело всего три человека, один — из механического цеха, техник. При виде его мысли Бобковой сразу переключились на стройку.

По сторонам знакомо мелькали дома поселка, одинокие деревья, мачты строя-

щейся трамвайной линии. По бокам шоссе пробегали фонари, казавшиеся на грязном небе белыми сгустками. Позади, в уплывающей перспективе они уплотнились, становились похожими на вытянутые нитки сверкающего, чудесного жемчуга.

Инженер Бобкова думала о том, в каком состоянии прибыли части, на всех ли имеется соответствующая маркировка, как будут разгружать и разбирать. Все эти вопросы в данный момент волновали и казались ей первостепенными, самыми жизненными лично для нее и для всего строительства.

Разгружало семнадцать человек, большинство молодежи, веселые, ловкие ребята и жизнерадостные, крикливые девушки. Половина из них проработала дневную смену и осталась на ночь — пришло то, чего они так долго ждали и о чем много говорили. Как доверить выгрузку драгоценных деталей посторонним рабочим? Мало ли что могут натворить? Лучше свои руки, свой глаз, а ночь без сна — пустяки. Выспятся в другой раз.

На платформах стоят большие и малые ящики прочной работы и тщательной заделки. Вид явно не русский. В каждом — таинственность и особенная солидность. Английские надписи гласят, что груз доставлен из-за океана и побывал попутно во многих иностранных странах. Теперь он ждет того, чтобы подошли к нему бережно и извлекли его умело, со вниманием.

Молодежь сейчас не похожа на себя: ни смеха, ни шуток, за выгрузку принимается с необычной серьезностью, к ящикам прикасается так, будто сделаны они из тончайшего стекла. Без толкотни, без шума, ловко орудуя руками, плечами, спинами. Лица напряженны, глаза от возбуждения блестя. То и дело слышны тревожные голоса:

— Тихе, тихе! Больше нельзя!

— Немного правей! Осторожно!..

Бригадир Митрейкина отдает распоряжения:

— Давайте сначала вот этот. Ну, еще двое на платформу. Чего вы рты разинули? Семенов! Рындин! Живо!

Митрейкина внешностью не особенно представительна: небольшого роста, с кривыми ногами и широкой спиной. Жесты у нее угловатые, голос мужской, басовитый, и в оборотах речи слышится грубоватая твердость.

— Легче опускайте! Что вы, булыжник сваливаете, что ли? — Она сама проворно подставляет под угол ящика крепкое, совсем мужское плечо. — Катюша! Помоги вытащить петлю!.. Вот! Хорошо!

Гремиг цепь крана. Взлетев по-птичьи над платформой, тяжелые ящики плавно опускаются на землю в отведенное для них место. Нина Алексеевна тщательно обследует у каждого из них углы, ребра, — не побились ли, — прочитывает надписи и аккуратно записывает в рабочую книжку.

Стройка живет в своем обычном повседневном шуме, — в любой час суток он один и тот же: лязг и скрежет металла, фырканье и стук механизмов, тяжелое громыханье камня и дерева. И время от времени в этот хор врывается буйным разливом россыпь пневматических молотков. В потоках перекрестного света маленьких электрических солнц и лун предметы кажутся менее реальными. Ажурные тени ферм, бетонолитных вышек, гусеничных кранов двигаются, как живые, как мыслящие фантастические существа.

Но это — всегда, это для каждого привычно, и ночь проходит, как день.

— Елена Андреевна! Ну, теперь мы приступаем, — говорит весело инженер Бобкова бригадире монтажнику Митрейкиной. — Завтра с половины дня начнем.

Митрейкина оборачивается, вытирает рукавом вспотевшее широкое лицо и сухо, по-деловому подтверждает:

— Да, завтра начнем. Давно надо. Леший его знает, где пропал этот груз! Горячка, сроки на носу, а желдомага и чихать не хочет. Двоих-троих приставить к стене, — небось, ликвидировали бы все пробки. Слишком няньчатся с этими вредителями! — Высказав свою мысль, она снова принимается за дело.

II

В сталелитейном цехе, еще бесстенном, с одной лишь крышей на железных плетеных арках, давно стоял могучий остов первой мартеновской печи. Зияла черной пустотой раскрытая круглая пасть, диаметром почти в человеческий рост, темнела самая клеть, склепанная из широких и толстых полос стали, окруженная деревянными брусками и досками, тянулись несколько нетолстых труб, — вот и все. Правда, сбоку, в верхней части клетки, на широкой стальной полосе рельефно выделялось пять металлических букв лагинского шрифта: ДЕМАГ. Стальной скелет уже не один месяц ждал зарубежных частей. Их все не было. Теперь эти части пришли. Монтаж начался.

Бригадир Митрейкина в синем засаленном комбине и в мужской кепке с растрепанным козырьком сидит у верхнего яруса клетки верхом на деревянном бруске и ловко орудует французским ключом. Рядом с нею двое ребят заняты газопроводом. С разных сторон люди прилепились к огромному стальному коробу — сверлят, пилят, свинчивают, стремятся из мертвых кусков металла создать единый организм, способный по-своему жить, трепетать, выполнять труднейшую работу, подчиняясь разумной воле человека.

Внизу инженер Бобкова с американским консультантом рассматривает чертежи деталей. Красивое лицо ее сейчас в розовых пятнах — от волнения перед ответственнейшей работой и оттого, что американский специалист, руководящий установкой, в вежливой форме, как только ему позволило знание чужого языка, высказало опасение — справятся ли, мол, русские рабочие и техники с незнакомым для них делом. А главное, намекнул на нее, — совсем еще юная, с малым стажем... Но он конечно приложит весь свой опыт. Русские слишком легкомысленны: сложнейшие дела поручают молодежи. Вот потому-то и получают в работе прорывы, часто рассматриваемые как вредительские акты со стороны старых специалистов. Маши-

на требует не только любви и внимания к себе, но и безупречного знания ее характера, ее специфических особенностей, пожалуй, каприза, — таковые у каждого механизма имеются, — все это познается только при длительном, многолетнем изучении...

Американец говорил наполовину по-русски, наполовину на своем родном языке, подчеркнуто серьезно, ничуть не в обидном тоне. Он обсуждал вопрос с принципиальной стороны, отдавая советской молодежи должное за ее способности, энтузиазм и общественно-политическую ориентировку.

— Американская молодежь этим почти не интересуется. В политике она очень отстала. Но вам также кое-чего нехватает. Побольше знания техники. Техники...

Нина Алексеевна поднимается по доске к верхнему ярусу и мельком взглядывает на удаляющуюся спину американца. Мысль ядовито цепляется: «А как ваши дочери и жены, мистер Рамзей? Каковы их взгляды на современную технику?..»

Хочется бросить ему вслед сотни слов, чтобы каждое укололо или обожгло. Что он на них ответит? Хорошо ему изрекать истасканные истины, а вот когда у нас... «Чем сейчас занята ваша супруга, мистер Рамзей? Собирается в театр, — ведь кажется в Нью-Йорке в это время начинается вечер. Она выбирает себе туалет, не знает, на каком остановиться... А мы, русские женщины...»

У инженера Бобковой настроение резко меняется, чувствуется прилив раздражения. Она пробует подавить его, но это удается не сразу. Двое ребят работают над газопроводом. Один из них, примерив коленчатый кусок трубки, отбросил его как неподходящий на деревянную площадку. Кусок с грохотом полетел в пролет установки. Нина Алексеевна сразу вспыхнула от гнева.

— Синявин! Как тебе не стыдно? Ты — комсомолец, сознательный парень, а так поступаешь!

— Как я поступаю? — повернулся тот, сделав лицо непонимающим.

— А так вот!.. Зачем бросаешь

нужные части? Разве нельзя с материалом бережнее обращаться?

— Я только откинул в сторону. Она сама вниз свалилась. Не стеклянная, не разобьется.

— Это — головотяпство! Невежество! Ты не понимаешь, что говоришь! — вскипела Нина Алексеевна. — Если все так будем строить социализм, то, воображаю, как мы его построим. Такое отношение — это самый худший гид вредительства. Ты должен это помнить! — Она круто повертывает от него и направляется по доске налево, придерживаясь о металл установки, чтобы не свалиться в пролет. Мысль опять возвращается к американцу.

«... А чем занимается любимая ваша дочь, мистер Рамзей? Как протекает ее юность? Моя протекала так: рабфак, истасканные ситцевые платяшки, плохие, недосыта обеды. Потом институт: те же платяшки, такие же обеды и жизнь в углах. Помимо техники, нам нужно было знать и другое, чего вашим детям совсем не требуется. Нам нужно знать, как европейский и заокеанский буржуа наступает на горло своему рабочему и как рабочий должен бороться с этим. И еще нам следует знать, как строить новое общество... Вот мы теперь строим его, а у наших юношей и девушек те же плоховатые обеды, — правда, получше немного, но все же плоховатые. Одежка тоже многим лучше прежней, — ничего не поделаешь: негде взять. И удовольствий у нас не так уж много — некогда ими заниматься. А технику... Конечно мы технику ставим сейчас в центр своего внимания. Мы угрызем ее. Мы овладеем ею, очень скоро овладеем, мистер Рамзей! Раньше, чем вы думаете!..»

Инженер Бобкова подходит к бригадиру Митрейкиной. Внешне нескладная, мужеподобная женщина, сидя верхом на бруске, быстро и уверенно свертывает боковые скрепления. На момент она подняла голову к подошедшему инженеру, сухо, серьезно улыбнулась, а руки продолжили автоматически работать ключом, и всякий раз при движении ключа к себе короткие ноги ее в синих

штанах, торчавшие в стороны раскорякой, поднимались тупыми носками кверху. Но Митрейкина не заботилась о красоте своей фигуры и об изяществе дрижений. В этот момент она даже и не была женщиной — просто рабочий, который выполняет свое дело разумно и добросовестно.

Нина Алексеевна некоторое время молча стоит около Митрейкиной, рассматривая ее грубокожие, с короткими пальцами, руки и некрасивые ноги в уродливых мужских ботинках, точно видит их в первый раз.

— Елена Андреевна! Вы бываете в театре? — обращается она к женщине-бригадиру.

Та, опустив на мгновение ключ, смотрит на инженера недоумевающим, почти испуганным взглядом.

— Как в театре? Когда?

— Ну, вот, иногда вечером, в свободное время. Не в кино, а в театре, настоящем, где нужно раздеваться...

Бригадир снова уже работает. Широкое лицо размягчается в улыбке, — улыбка, как всегда, немного настороженная, недоверчивая: а вдруг не надо этого делать...

— В позапрошлом месяце один раз была. Все некогда: собранья, общественная работа. А вы почему об этом спросили?

— Пустяки, Елена Андреевна. Просто так... — Бобкова, натянуто усмехаясь, машет рукой. — Минутная глупость... Американец меня рассердил... Ну, как, все в порядке у вас?

Она нагибается и ощупывает вновь возникшие скрепления, мысленно отвечая себе: «Конечно все в порядке. Мастер она отличный и внимательный. Побольше бы таких на стройку...»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

I

День, налитый зноем и духотой, остывал, от деревьев лежали длинные, дрожащие, слегка прохладные тени. Мягко ложилась поднятая пыль.

Все девять человек больше месяца не пользовались выходными днями, —

строительство требовало полного напряжения сил. Рождающийся в мучительных потугах гигант был жесток и не считался с физической структурой человека. Но эти девять, как и многие другие, сегодня получили двадцатичетырехчасовой отдых. Свой выходной они хотели провести на берегу Шарташского озера, среди природы.

Впереди ехала подвода с полотняной палаткой, с посудой, провизией и теплой одеждой. На возу сидела бригадир Митрейкина, вытянув к передку телеги короткие, кривые ноги. Мужиковатое лицо ее с загорелой до желтизны кожей и пучками белых морщинок под глазами выражало скуку и недовольство. Она не хотела ехать, но ее уговорили, а дорога оказалась тряской, было жарко и пыльно. Елена Андреевна сидела теперь раскисшей, ни с кем не разговаривала.

Молодежь шла рядом, говорливой веселой стайкой, — три девушки и пятеро мужчин. Несколько раз пробовали петь. Начинал сочным крепким баритоном Андрей Коренев; незаконченную ноту ловила Нина Алексеевна и студент Левшин, остальные хором присоединялись, но вскоре все сбивались и под смех и шутки прекращали пение.

— Эх, педуны! — подтрунивал над собой и над товарищами инженер Зворыкин. — У нас вот так же в селе певун имелся — псаломщик Сысойч. С попом в алтаре у них бывало — постоянно грызня. Псаломщик был туговат на ухо, а поп косноязычен и окончания проглатывал. Батюшка сердится, считит сморщенным кулачишком:

— Где у тебя «аллилуия»? Почему ты «хвалите» проморгал? С тобой не литургию служить, а на базаре скомошиничать.

— А вы, батюшка, только гх-а, гх-а, словно давиться. «Аминь» должен я, он мой, а вы его проглотили. Так нельзя, — не соглашается псаломщик.

— А ты только и умеешь «памилос» да «памилос»! Ничего ты больше не умеешь! — беленится и чуть не плачет поп.

— А вы по-петушиному, батюшка, поете. У вас язык из паки и варным

концом пришит. Вы «Иже херувимы», не соврамши, не споеете...

Мы, ребяташки, у клироса фыркаем от такой беседы. Потеха была!..

Палатку раскинули на берегу озера. Разожгли костер. Чай, припахивающий дымком, казался необыкновенно вкусным, и горячая картошка в «мундире» — лучше всяких деликатесов. Даже у Елены Андреевны настроение изменилось.

Озеро дремало. На много километров вдаль и вширь лежали недвижимые, густо тяжелые воды. У ближних кустарников они были темнооливковые, местами почти черные, а вдали, у горизонта, еще поблескивала мутнорозоватым кораллом полоска зари. Казалось, она и поблескивала только для того, чтобы показать: «Здесь потонуло солнце», и подтвердить: «Человеческий день закончен...» Сиреневые дрожащие жидкие облачка пыли посредине. В глубине воды мерцали огоньки звезд.

— На лодке бы теперь.—мечтательно высказала Зоя Славичева — Когда я у подружки гостила в Нижнем Тагиле, мы часто с девушками до полночи катались. Страшно люблю..

— Это мы сообразим! — откликнулся Корнев. — Тут где-то поблизости рыбаки живуг. Товарищи! Кто знает — в какую сторону ийти?

— Э-э, хвагился! Левшин уже давно лыжи наострил. Слышите, плывет!

С озера доносились неторопливые, размеренные всплески, точно кто-то невидимый в тишине летнего вечера беспредметно грустил, выражая свою грусть ритмическими звуками.

Некоторое время все молча смотрели. Каждому хотелось так же невидимо плыть и так же мечтать звучным шороком воды и весел.

Из-за кустов появилась лодка, в ней сидели старик-рыбак и студент Левшин. Зоя кинулась к ним, не жалея цветных туфель, но старик сердито окрикнул:

— Ни-ни! Ни в каком разе! Чтобы мне за вас ответ держать?.. Ты знаешь, тут какая лыбь-то?.. Надо все по порядку, с толком, а не как-нибудь. — Он шагнул на берег, закинул веревку за камень и оглядел компанию. — Ну,

вот теперь, кто хочет удовольствие иметь, — пожалуйста! Мне посудыны не жалко.

Когда молодежь со смехом и пугливыми женскими вскриками усаживалась, рыбак с добродушной иронией пощипывал широкую бороду. Ему было чудно: взрослые люди, а сесть понастоящему в лодку и оттолкнуться от берега не могут.. «А еще хотят жизнь переиначить, перестроить по-новому!..» Старик у стало вдруг обидно — за себя, за таких, как он, за все мужицкое словие, — только его он считал способным на что-либо дельное. Фабрично-заводские рабочие расценивались им в полцены: «На готовом деле, да с машинами, да под присмотром ученых и всяких мастеров дурак может работать. А вот когда самому приходится воротать мозгами, ни на кого не надеяться, в беде и в удаче всегда один, — тогда другое дело... Горожане! Новые господа!..» — закончил он полупрезрительно, глядя, как лодка медленно и неохотно удалялась от берега.

Тишина и сумрак окружали плывущих. Преступно скрипели уключины; взрывы смеха казались дерзким и опасным вызовом покою природы. Но молодежь не замечала этого. Корнев опять запел:

Вы, леса ль мои, лесочки, леса темные.
Вы, станы ль мои, станочки, станы
теплые.

Уж как вы ль, мои станочки,
поразломлены,

Все товарищи, все приятели
поразловлены,

По злодейкам, по тюрмам
порассажены,

Только я-то ли, добрый молодец, не
пойман был,

По прозванью меня звали Стенька
Разин сын..

Голос его вольно лился по водной глади, все насыщая собой, все будя и радуя. И каждый из плывущих сейчас думал только о прошлом. Настоящее со всем его радостным, тревожным и хлопотливым осталось где-то позади, точно обрезало его и распылило навсегда..

Когда лодка причалила к берегу, рыбак опять подошел. Теперь он был

расположен к молодежи и даже согласился пить с ними чай.

— Избаловались мы теперь совсем: как чуток поработал, так чаем брюхо промываешь. Если чаю нет, то хоть водичку горячую с сушеной морковкой или травкой какой, — говорил он, протягивая руку за кружкой.

— Чай — хорошая штука, дед. Очень полезен. После него мозги ясней работают, — сказал Коренев.

— Это верно, в голове как будто проясняет, — лукаво ухмыльнулся старик. — Вот и картошка штука полезная, а ведь из-за нее настоящие бунты были. Мой отец, покойник, хорошо их помнил. Мы, пермяки, из старообрядцев. Кто не хотел картошку сажать, того порол.

— А почему ее не сажали, ведь она очень питательная и вкусная? — удивилась Зоя.

— А потому не садили, что не от бога она, а от чорта. Так и называлась «чортово яблоко». Известно, народ тогда был глупый, не то, что теперь, и крепкий верой. Такая книга, говорят, была, — «Соборные голубицы», весом в пуд тридцать фунтов, запиралась на винты. В ней про все написано. Там сказано, что за картофий человек проклят и епитимия на тридцать шесть лет по полторы тыщи поклонов в день. За чай трижды проклят и епитимия тридцать лет по три тыщи поклонов в день. А за табак девять раз анафема и по тыще поклонов в день тоже тридцать лет... Мой отец не пил и не курил, а я вот чаем балуюсь. Грешен. На том свете за это наверно в самое пекло ужоу.

При свете костра ночь казалась гуще и таинственней. Озеро задвинулось черной, рыхлой стеной. Видна была только ближняя заводь, поблескивавшая от огня смолистой чернотой. В ней, возле берега, что-то робко булькало.

— Какая тишина! Даже немного страшновато, — сказала Елена Андреевна, придвигаясь поближе к огню. — Я ночь не люблю, особенно в лесу или на реке. Ночью кричат филины, и все мыши из нор вылезают, а в реке — водяные крысы... Жутко!.. — Сказала и сконфузилась, что выдала свою слабость. Снова замкнулась.

— А на стройке сейчас светло и шумно, — вспомнила Зоя. — Ребята не догадываются, что мы тут сидим. Позавидовали бы.

Но Зое никто не ответил, все думали о другом.

— У нас в механическом сегодня цеховое собрание, Никулин доклад делает, — дополнила она тем же вспоминаящим тоном.

И опять никто не высказался о стройке. Левшин, сидевший немного в стороне, поднялся и, обернувшись лицом к озеру, стал декламировать стихи Блока. Свет костра падал на него сбоку, освещая оранжевыми, ползающими пятнами стройную фигуру с поэтически взлохмаченной шевелюрой.

Студент читал о «Прекрасной даме» и думал в это время о другой женщине, которой мысленно и адресовал стихи. Она, эта женщина, сидела тут же, положив голову на колени подруге. Он сознательно и выбрал такое место, с которого наиболее выгодно освещался его красивый профиль.

Едва он окончил декламацию, как эта «дама» вскочила, небрежно откинула назад с'ехавшие на лоб стриженные волосы и приняла вызывающую позу.

— Теперь слушайте, я прочту! Левшин, слушай!

Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых оценила сука,
Рыжих семерых ценят.

До вечера она их ласкала,
Причесывая языком,
И струился снежок подталый
Под теплым ее животом...

Зоя читала с певучими выкриками, подражая чтению молодых современных поэтов, и делала широкие, резкие, как ей казалось, убедительные жесты.

А вечером когда куры
Обсиживают шесток,
Вышел хозяин хмурый,
Семерых всех поклат в мешок...

— Левшин! Ты плохо слушаешь. Это — для тебя!..

От палатки неожиданно раздался странный резкий вскрик, заставивший сразу всех обернуться. Зоя оборвала чтение. Нина Алексеевна кинулась туда.

— Елена Андреевна! Что с вами? Ну, не надо! Милая, не надо! Успокойтесь!

Митрейкина нервно дергалась и громко, по-ребячьи всхлипывала.

— Вы простите меня, что я... что глупо, по-идиотски себя веду. Не знаю, что со мной. Точно дура какая... — прижимая платок к глазам, возмущалась она своим поведением.

Нина Алексеевна взяла ее под руку, но Митрейкина уже овладела собой.

— Ну вот, все прошло. И не знаю, почему это? Вот, дуреха, раскисла! Нюни распустила! — искренно негодовала она на себя, все еще красная от стыда и волнения, совестясь глядеть на мужчин.

Они обе отошли в сторону.

Зоя придвинулась к студенту.

— Ну, Левшин! Как мои стихи, ведь лучше? Что на это скажешь?

— Положим, они не твои и, кроме того, вульгарны.

— Ничего ты не понимаешь! — возмутилась Зоя. — Ты не чувствуешь в них настоящего нутра. Ты хотел удивить нас аристократизмом, эстетством. А для нас это старо. Это, милый мой, эпигонство!

— Значит, тебе приятнее мужичий дух? Запах скотного двора и псины? — обиженно, с насмешкой спросил Левшин.

Зоя посмотрела на него в упор, точно прощупывая всю глубину. Взгляд был холодный и враждебный.

— Мужичий дух! Скотный двор! Псина!.. Благородная натура возмутилась — непристойные запахи! Не поноздрям! А эти мечтания о фикциях, слова, произносимые с придыханием и закатыванием очей, — для меня это буржуазный мусор! Я его из своего обихода выкидываю, товарищ аристократ! Он мне — поперек горла! — Она резко отвернулась и пошла прочь.

— Это называется — чистота убеждений. Столкновение классов. Ха-а! — принужденно засмеялся студент. — То-

варищ Славичева! Может быть, вам угодно будет диспут наш продлить? Аудитория ждет с нетерпением.

Зоя не отвечала. Она медленно шла по берегу в глубь ночи, тихо насвистывая первый вспомнившийся мотив. Себе она казалась в эту минуту не маленькой и слабой, а высокой и сильной, способной на смелые поступки и большие дела.

II

Корнев с Ниной Алексеевной удалились от костра, и ночь показалась не такой уж темной, как раньше. Четко выделялась песчаная коса отмели, на ней — три кустика ивняка и большая черная коряга, вытщенная из воды, вероятно рыбаком. А небо висело зеленовато-синим надежным шатром, кем-то заботливо раскинутым над спящей землей со всей ее видимой и невидимой тварью.

Андрей с Ниной шли медленно, в ряд, тихо похрустывая влажной галькой.

— Зачем Зоя обидела Левшина? Последнее время она ведет себя с ним возмутительно. Не понимаю — к чему эта выходка? — проговорила Нина, когда они приблизились к самому озеру.

— Ну, у них свои счеты, разберутся. Это между ними теперь часто происходит.

— Что значит «теперь»? И чем это вызвано?

— А как ты думаешь?

Нина Алексеевна повернула к нему голову.

— Как я думаю?.. — протянула она раздумчиво и еще раз повторила: — Как я думаю... А ведь, пожалуй, это верно, — согласилась она с его невысказанной мыслью. — Я раньше почему-то не замечала... Значит, это... эти отношения у них... — Она не договорила. — Любопытно!

— Да, любопытно. — Корнев поднял из-под ног камень и далеко бросил в озеро. Плеск донесся мягким и каким-то многозначительным звуком, понятным тому и другому. По воде поплыли все растущие, все возникающие круги.

«Рождаются в одной точке и все растут, бегут до берегов, до предела... так же, как и человеческие чувства» — мимоходом отметил он и добавил к ранее высказанному:

— Во всяком случае, парень он неплохой, да и она хорошая девчонка, но вот затеяли интеллигентскую игру, и сами не знают, к чему. А раз начали, то надо продолжать, сразу ее не обрежешь.

— А ты думаешь, эта игра ни к чему? И почему такая пренебрежительность — «интеллигентская»?

Мужчина почувствовал в тоне женщины сразу вспыхнувшую настороженность.

— Да, она ни к чему, — твердо ответил он. — И вот по какой причине. Их игра перестала быть соревнованием в блеске и тонкости мысли, в ее остроте. Соревнующиеся играют огнем, танцуя на канате. Это не только эффектно, но и красиво по-настоящему — возвышает того и другого. А у этой милой пары уже раздражение, унижающие насмешки, сварливость. Интеллигентская же потому, что в ней нездоровый дух, нервная взвинченность, рефлекс... Если любите друг друга, то и признайтесь в этом прямо и просто, будет лучше.

— Бедная Елена Андреевна! Как на нее подействовало, — уклонилась от темы Нина Алексеевна. — И главное, так неожиданно Нелзя было подумать.

— Что с ней? Драма какая-нибудь?

Нина Алексеевна пожалала плечами.

— Не знаю. Может быть.

— Удивительно! С виду — просмоленная колода, ни дожди, ни ветры не пройдут, а на деле оказывается — крепка только оболочка. — Коренев посмотрел сбоку на девушку, на ее задумчивый сейчас, строгий профиль, и скользнул взглядом вниз, до желтых, мелькающих из-под платья туфель. Дополнил, точно для самого себя: — А внутри гниль и труха. И так бывает часто.

Нина продолжала итти молча. Потом она подняла голову, чуть-чуть улыбнулась особенной какой-то своей затаен-

ной мысли, и, смотря в даль озера, тихо высказала:

— Елена Андреевна переживает драму. Ты угадал. У нее нет детей, а она во что бы то ни стало хочет иметь. Мужа из-за этого ненавидит, третирует... Я ей, знаешь, что предложила?

— Ну?

— Найти другого мужа.

— Что же, с этим разойтись? Они, кажется, лет пятнадцать живут.

— Почему разойтись? Можно иначе... — Нина повернула лицо к своему спутнику. Оно переливалось розовыми пятнами. — Разве она не может так поступить? По-моему, здесь нет безответственности. Это законное право женщины, будущей матери. И никто не должен ее осуждать....

У Коренева в первую минуту чуть не сорвалось с языка мужское вулгарное: «А кому она, такая цаца, нужна?» Но он сдержался. Его поразила взволнованность девушки, ее изменившийся голос. Откуда это? Когда пришло? Еще вчера она была совсем другой. Подобные вопросы приводили ее в смущение. А теперь такой тон, такая убежденность. Не высказывает ли она о своем личном чувстве?

Выложив свою мысль, Нина Алексеевна сразу остыла, смущенно опустила голову, и даже походка ее сделалась вдруг вялой, старушечьей, чего не бывало раньше. Витиеватую речь своего спутника она слушала невнимательно. А может быть, и совсем не слушала, думая о другом.

Он смолк, взял ее под руку, — до этого никогда не брал, — и так они молча шли обратно к палатке.

III

По небу жемчужным разливом запенился Млечный путь. Россыпь больших и малых звезд разбудила заснувшее озеро, и оно теперь жило ночной, таинственной жизнью. В зарослях камышей одинокими, тоскующими голосами истомно ныли лягушки. Где-то уха-ла выпь.

В палатке только недавно угомонились. На месте костра дымился пепел,

иногда вспыхивая от ветра оранжевым переливающимся жаром.

Инженер Зворыкин, подставив под себя сложенную вдвое кавказскую бурку, лежал в нескольких шагах от палатки под деревом и пристально смотрел в звездную глубину. Но думал он о другом. В тишине и величии ночи среди спящей природы думается по-особенному. Мысли выплывают из самых недр, спокойно, естественно, и разворачиваются во всей своей шире и значительности. глубже познается прошлое, бесстрастное воспринимается настоящее. Антип Игнатич этап за этапом рассматривал сейчас свою жизнь — будто перед ним проходил цветной фильм, созданный галантливым кинорежиссером. Как легко задним числом вносить поправки в то, что отошло, корректировать пережитое, которое лежит перед тобой раскрытой книгой.

Жизнь им начата не так уж плохо. Но надо кое-что выправить и еще подстегнуть, пусть разовьет хорошую, крепкую рысь, — дорога надежная, а силы в досталь... Если бы можно было развернуться по-настоящему! Если бы больше простора для дерзания, для творческого размаха!.. Может быть, это придет? Чувствуется — придет...

Антип Зворыкин, молодой инженер-бетонщик, смотрит в темнолиловую даль по берегу озера и видит: поднимаются над долиной дымящиеся трубы, железные перекрытия, бетонные и кирпичные здания многочисленных цехов, растут и оформляются на-виду, становятся неестественно огромными. Все шире и выше. Упираются в самые облака и несут их на себе, как единый плащ для миллионов людей... Внутри зданий суровые гиганты — люди варят сталь, прокатывают и куют стотонные болванки, отливают и выгачивают части механизмов. Вместо электрокранов они руками переносят чудовищные тяжести, двигают собственными плечами составы поездов. Готовые машины колоссальными разумными чудищами сплошным потоком текут с заводских дворов. А там, дальше, — другие потоки других машин, и все это растекается во все стороны — на север, на юг, на запад... раз-

ветвляясь на сотни и тысячи ручьев, оживляя, преобразуя страну... Он, инженер Зворыкин, стоит на высоком холме, наблюдает за всем этим и командует... А там, еще дальше, за озером, на грани воды и неба, начинают возникать зыбучие и таинственные здания новых городов. В них иная, не похожая на теперешнюю, жизнь, с иными радостями и печалью, с другой любовью...

Антип Игнатич медленно погружается в небытие.

Когда Зворыкин открывает глаза, как будто спустя всего лишь минуту, вокруг все изменилось: небо наливалось невидимым светом, пели птицы, проснувшееся озеро мурлыкало прибоем.

Спать уже не хотелось. Он поднялся, накинул на плечи пиджак и пошел бродить по берегу. На траве поблескивала слезинками роса, по песку бежали с радостным посвистываньем кулички, кой-где плескалась резвящаяся рыба.

«Может быть, выкупаться?» И, не ответив на вопрос, он машинально сбросил с себя пиджак и коричневые полуботинки. Бултыхался в воде долго, удовлетворенно думая: «Как великолепно устроена жизнь! Как все хорошо воспринимается, когда молод и здоров!..» Хотелось крикнуть к востоку: «Приветствую тебя, Великое Солнце!» Но постеснялся — выйдет глупо, да и разбудишь товарищей. Пускай понежатся, это не часто им удается».

Солнце всплыло над лесом. У палатки шумно и весело приготавливали чай и завтрак. Двое на опушке пробовали голоса.

— А мы тебя тут разыскались, думали, волк с'ел!

— Ворон на гнездо, мол, унес — покормить воронят инженерским мясом. Говорят, вку-усное!

— Нет. Не по зубам им наше мясо: жилисто да хрящевато...

Молодежь перекидывалась шутками, дурачилась, чувствуя в себе избыток сил. В лесу неожиданно зафыркала машина, потом раздался громкий металлический лай гудка, и на поляну выкатил голубой «форд». Он шел без дороги, напрямик. Сидели в нем двое.

— Да ведь это наши! Анатолий Викторович! Кто же с ним еще-то? Кажется, Дородный.

— Он!..

Шухаев круто поворачивал руль, не обращая внимания на приветственные, веселые крики. Дородный был в незнакомой полотняной шляпе со смятыми полями, мягко и как бы виновато улыбаясь.

Шухаев застопорил машину. Он казался все еще хмурым, каким привыкли за последние дни его видеть на стройке.

— Здорово, товарищи! Вы ловко тут устроились! Прямо чудесно! — Он уже дружески, свободно совал руку то одному, то другому. — Я вчера до двенадцати часов уговаривал Степана Гавриловича. «Куда, — говорит, — мне с молодежью. Мешать им только буду...» В самом деле, может быть, мы оба будем вам только мешать? У вас свои интересы, молодые, а мы что — старичье, кислятина!..

— Анатолий Викторович! Как вам не стыдно? — искренно возмутилась Нина Алексеевна. — Я же вчера сама вас по поручению товарищей уговаривала поехать, а вы теперь снова начинаете канитель разводить. А что приехал товарищ Дородный, я страшно рада. Думаю, и остальные тоже. Верно, товарищи? — повернулась она к молодежи.

— Правильно! Как же иначе может быть? Очень замечательно, что догадаться приехать! Честное слово!

Корнев подошел к Дородному, смотря на него открытым, дружеским взглядом.

— Я очень рад, Степан Гаврилович, что вас здесь вижу. Когда встречаешься при такой обстановке, знаете, скорее узнаешь друг друга.

— Да, это верно. Простая обстановка сближает. Я весьма доволен, что попал в вашу семью. Я очень люблю молодежь... Пожалуй, сначала искупаться бы... Анатолий Викторович, как вы на этот счет?

— Я что ж, я готов. А если хотите, можно и без этого... Нина Алексеевна! мы тут кое-что привезли. Распорядитесь, пожалуйста!

— Это вы совсем уж напрасно. У нас провизии чуть не на целую неделю. Антип Игнатьич весь свой месячный паек приволок, да и мы каждый от щедрот своих, — получилось основательно.

— Ничего. Излишка не будет, а если такой окажется, то доедем... Ескимосы! Кто же наконец за рыбой со мной поедет?

Но рыбак сам тащил полную корзину налимов и окуней.

— Вот, друзья-товарищи, попробуйте-ка шартапской-то, из моих заповедников! Утрешнего улова. Рыба в Шарташе образцовая.

— Это расчудесно! — обрадовался Корнев. — Сколько тут у тебя? — Он взял в руки корзинку, пробуя вес. — Почему ценишь свой продукт?

— А мы без весу и без цены, — ухмыльнулся рыбак. — Я ничему не веду счет. Годов себе, не знаю, сколько, а не токмо что... Может, шестьдесят пять, а то и все семьдесят... Это от меня вам гоэтинец. Ведь вы в гости, так сказать, ко мне прибыли. Верно я говорю, барышня? — повернулся он к Нине Алексеевне.

— Верно, дедушка! Садись, мы тебя своим, городским попотчуем.

— Что ж, я не капризный человек. Компанию с хорошими людьми всегда приятно разделить. Если что, могу ведь и в город к вам притти. Путь мне не заказан. А, кстати, у меня и дело есть, посоветуйте, как и что... Обижать тут меня стали. Сельсовет всё. Свои, а управы на них не найду. Обложеньем крепко мучают.

Старик хитровато оглядывал то одного, то другого, в особенности только-что приехавших, решая, который из них главней.

Спустя полчаса Дородный уже чувствовал себя, как среди давнишних приятелей: шутил, рассказывал и беззаботно, по-юношески смеялся, привлекая к себе общее внимание. Шухаев смотрел на него с некоторой завистью, — так легко может человек приспособиваться к неподходящей для него компании... «А почему неподходящей и приспособиваться?» — тут же по-обычному

он задал себе вопрос. — Может быть, он все еще молод душой, и эта молодая компания для него именно подходяща... Счастливые натуры! А вот он, Шухаев, не обладает этим драгоценным качеством. Годами много моложе, а душой дряхлый старец. Как это гнусно!..»

Анатолий Викторович пригласил Дородного на загородную прогулку с определенной целью — в интимной обстановке присмотреться к нему, прощупать: знает он или не знает?

В иные минуты у Шухаева возникало приятное для него сомнение: это не тот Дородный, которому знакомо его прошлое, а если и тот, то забыл о нем. Разве мало бывает случаев, когда у человека выпадают навсегда из памяти значительнейшие события его жизни? А факты, не имеющие большого значения, и лица, мало интересующие вообще, ненадолго запоминаются. Шухаев для него был не только посторонний, но и незнакомый человек, — почему он должен о нем помнить до сих пор?

Часы этих сомнений пробуждали в Анатолии Викторовиче жизнерадостность, рвение к работе и веру в свои силы. Чем больше он думал в этом направлении, тем больше укреплялся: опасности нет, можно быть спокойным. К Дородному в это время проявлялась особенная симпатия, почти нежность. Он отыскивал в нем самые лучшие человеческие черты.

И вдруг все летело кувырком. «Дородный — старая, хитрая лиса. Он коварен; он просто изучает его, хочет знать, каков Шухаев теперь. В один прекрасный день возьмет, да и провалит: сообщит своему приятелю Звереву, а тот позвонит по телефону, куда полагается...»

Эти мысли гасили все светлое в жизни, пропала вера в людей, в себя, становилась противной какая бы то ни было работа. И мозг начинал действовать только в одном направлении, действовать усиленно, ожесточенно, в тысячный раз продумывая одни и те же, ранее сделанные выводы.

Несмотря на страх перед новым инженером, Шухаева влекло к нему неудержимо, притягивала грозившая опас-

ность. Иногда казалась эта опасность смертельной: стоит только прикоснуться к ней — и все кончено, и тем сильнее, неотразимее тянуло прикоснуться.

— Степан Гаврилович, не хотите ли со мною прокатиться за город, провести час-два среди нашей молодежи? — предложил Шухаев Дородному сегодня утром, почему-то будучи уверенным, что он откажется. Но тот охотно согласился.

— Что ж, это хорошо. Я с удовольствием поеду, а то слишком засиделся в городе. Проветриться не мешает.

«Значит, так и есть... обрадовался возможности понаблюдать вблизи» — мысленно ответил себе Анатолий Викторович и с особенной остротой почувствовал желание походить над пропастью.

— На юге вы не живали, Степан Гаврилович? — спросил он, не поворачивая головы, когда они садились в машину.

— Как же, как же, на юге я несколько раз живал и сравнительно подолгу: в Киеве, в Таганроге, в Николаеве...

У Шухаева заняло сердце.

— И в Николаеве, говорите, живали? — выдавил он с усилием и болью.

— Да, и в Николаеве. Полтора года там провел. Приятный городок.

Шухаев чувствовал, как холодели руки, руль не слушался, и правый висок, казалось, сверлили, жгли серые, бесстрастные глаза ненавистного пассажира. На повороте Анатолий Викторович вскользь, украдкой взглянул в его сторону, лицо старого инженера было мечтательно-восторженным, почти наивным, на конце трости покоилась старчески костлявая, незлобивая рука.

Выдавливая из себя, точно нарыв, и погружаясь в смертельную пустоту, помглавинженера хрипло бросил в пространство:

— Какие годы вы жили в Николаеве?

Дородный не подал голоса и даже не изменил выражения, будто не слышал вопроса. Может быть, он действительно не слышал, так как ехали площадью и рядом громыхал трамвай, а возможно, просто не ответил потому, что в этот момент думал совсем об ином.

Шухаева снова подняло на поверхность, где были небо, солнце и радость жизни. Он облегченно вздохнул.

Смолистый запах леса, зеленые, радостные просторы хлебных полей, стремительный бег авто скоро вернули Анатолию Викторовичу самообладание, нервную систему его привели в равновесие. К молодежи, расположившейся у озера, он под'ехал вполне успокоенным, и даже стало казаться, что пассажир его не такой уже плохой человек и вовсе не опасен.

— Я говорил вам, Степан Гаврилович, что мы прекрасно проведем время, в этом вы теперь сами убедитесь, — натянуто улыбаясь, говорил он Дородному.

— Да, да. Я очень рад, что привезли сюда. Замечательная компания.

Нина Алексеевна была возбуждена и вела себя шумливее других. Причиной было то, что двое нравящихся ей мужчин — здесь, рядом с нею, и оба уделяют ей исключительное внимание. Один из них, правда, сейчас хмур, по-видимому, все еще расстроен семейным несчастьем, и она пыталась растормошить его:

— Товарищ Шухаев! Вы все еще не можете сбросить с себя свою трагическую углубленность. Она сейчас неуместна и вам не к лицу, поверьте мне. Старит вас. Ну, довольно! Улыбнитесь же! — приставала она к нему со смехом.

— Да, вы правы: приехал на свадьбу, пой не ганихиду, а здравицу, — соглашался Шухаев. — Ну, что ж, мы сейчас и затянем:

А-а кто у нас холост?
А кто-о не женат?

— Кто у нас женится, товарищи? Кого прикажете величать?

— Хотя свадьбы у нас, к сожалению, скоро и не предвидится, — засмеялся Коренев, поднимаясь и расправляя свои широкие плечи, — но если уж надо величать, так конечно Левшина и Зою.

— Почему Левшина? — недовольно отозвался студент. — По-моему, тебя надо и Нину Алексеевну. Самая настоящая пара.

— Что ж, я не прочь! С удовольствием принимаю! — засветился Коренев и повернулся к Бобковой. — Может быть, вон она запротестует. А я — с моим величайшим удовольствием.

— Ниночка, как вы на этот счет смотрите? — крикнул Зворыкин, повертываясь на бок, — лежал он на спине и смотрел на бегущие в недостижимой выси перистые облачка.

— Фактическая поправка: не Ниночка, а Нина Алексеевна или товарищ Бобкова, — серьезно вставил Шухаев и сейчас же опять затянул:

А кто у нас холост,
А кто не женат?
Андрей у нас холост...

Анатолий Викторович пробовал смеяться, говорить остроты, делал порывистые движения, в которых должны были выражаться удаль и бесшабашность, но чувствовал, что это выходит неестественно, похоже на кривлянье. Он злился, мысленно ругал себя и вскоре окончательно скис, начал придумывать предлог для от'езда. Было больно и обидно.

«Даже Нина ушла, предпочла Коренева. Неужели он настолько постарел? Но как же Дородный? Может быть, это тоже игра, только более умная и талантливая? А вот у него, Шухаева, она бездарна и неумна. И вообще у него нет таланта к жизни. Не сумел он поставить ее по-настоящему. Тупица! Бездарь!.. А Нина смотрит на Коренева уже влюбленными глазами...»

Шухаев почувствовал, как к горлу подкатил клубок желчи. Он повернулся к сидящему поблизости Дородному, чтобы послать по адресу ушедших злую остроту, но, взглянув на него, онемел: старый инженер пристально смотрел на него холодно-насмешливыми, всезнающими глазами.

— Вы мне, Анатолий Викторович, сейчас напомнили одного... — донеслось до Шухаева хрипато, с расстановкой, и на губах при этом под коротко подстриженными усами змеилась ядовитая усмешечка.

Шухаев, не дослушав, быстро поднялся и тяжело, будто с непосильным гру-

зом, качнувшись вправо и влево, шагнул от бездонной пропасти...

... Солнце накалило песок, воздух над ним горяч и стелется струящейся прозрачной поземкой. Трое лежат в ряд — Зоя, Левшин и Зворыкин. Мужчины полуголы, женщина в купальном костюме. Возле ног лучится, спорит с небом млеющей лазурью озеро. Эти трое только-что плавали и ныряли дельфинами, дурачеством и криками тревожили тишину, теперь они отдыхают, молча пьют разомлевшими телами истому дня. Позади, на бугре, возле палатки, — еще трое: Шухаев Елена Андреевна и пастушонок — светловолосый, курносенький, в маленьких лапоточках.

Над голубеющим озером, над горячими песками, над стадом и над людьми плавают сладко-наивные звуки самодельной жалейки. Бригадир Митрейкина сидит в сторонке, обмякшая, погруженная в горестные думы. Шухаев, прислонясь к сосне, смотрит на пастушонка пустыми алкогольными глазами.

— Ванька! Мишка!.. как тебя звать? Ты умеешь играть похоронный марш? Я спрашиваю тебя — умеешь похоронный марш Шопена?

Пастушонок не видит и не слышит. Шухаев обращается к сидящей женщине:

— Елена Андреевна! Марш он не умеет играть. А у меня сын позавчера умер, и, может быть, мне самому скоро башку разmozжат... Что вы состроили кислую физию, точно нищая на паперти? Это противно и скучно! Вы приехали сюда веселиться!.. А Нина где? Хэ! Шуры-муры!.. Ну, и не надо!.. «Нет, так не надо, другую найдем...» — закончил он нараспев.

Митрейкина поднимает скорбный взгляд, говорит чужим, надрывным голосом, хотя выпила всего один стакан кагора:

— Товарищ мужчина! Вы не можете понять женщину. Вы никогда не поймете ее!

— Ванька! Играй «Интернационал»! — Шухаев, приготавливаясь слу-

шать, по-военному выгибается, опускает руки.

Пастушонок, не обращая внимания, продолжает тянуть свое заунывное.

Левшин на пляже убеждает Зою:

— Учиться надо обязательно, иначе — цена тебе три копейки при всех твоих талантах. На курсы я подготовлю, а потом — не видагы, как и техникум... Главное — только начать... Антип Игнатич, я думаю, вы тоже посоветуете?

Зворыкин в полудремоте что-то мычит. Но Левшин и не нуждается в подтверждении, он приводит новые доводы: рука его, вытянутая по бедру, нащупала другую руку, девичью, и бережно тискает ее, ласкает, ощущая переливающееся живогное тепло...

Позади, на бугре, пастушонок задудил что-то вроде плясовой. Шухаев отделился от дерева. Ноги его еще тверды, голова держится на жилистой шее крепко, но в глазах алкогольная пустога. Он начинает нащупывать плясовой такт сначала одной ногой, точно подметкой заколачивает гвозди. Потом в ход пускается другая. Корпус его вздрагивает и раскачивается, пальцы опущенных рук крючатся в несоответствующем ритме, бесцельно ловя воздух. Губы застыли в суровой гримасе.

— Мишка! Ускорь ритм!

Пляшет он долго, трагически нелепо, не вслушиваясь в музыку, изредка бессмысленно подмигивая левым глазом сидящей в пьяном оцепенении Елене Андреевне.

На опушке леса показалась остальная часть компании. Нина Алексеевна, увидав эту картину, метнулась к палатке

— Нина! Гляди! Гляди, как вол пляшет!..

Шухаев хотел сделать ногой какой-то выверт, но не рассчитал и всей тяжестью рухнул на землю.

— Ха-а! Инженер Шухаев пляшет всеми четырьмя копытами. Пастух! Играй!

Он выкадил глаза и замолотил руками и задниками желтых франтовских ботинок по пыльной траве...

(Продолжение следует)

Записки современника

И. ЛЕЖНЕВ

(Продолжение ¹)

4 Первые сомнения

Дело было так. Для нас, молодежи, старшие товарищи составляли списки литературы, которую надо было усвоить, или, как теперь выражаются, «проработать». Списков было примерно три. Самый легкий, первый список был по преимуществу беллетристический. Начиналось, как водится, с «Антон Горемыки» Григоровича, затем — «Овод» Войнича, «Андрей Кожухов» и «Домик на Волге» Степняка-Кравчинского, «Углекопы» Золя, «93-й год» Гюго, «История одного крестьянина» Эркмана-Шатриана, «Через сто лет» Беллами и т. д.

Второй по трудности список охватывал вопросы политики, экономики, естествознания и истории. Сюда входили: «Коммунистический манифест», «Эрфуртская программа», «Экономическое учение К. Маркса» в изложении Каутского, его же «Этюды», некоторые работы Маркса и Энгельса — «18-е брюмера», «Наемный труд и капитал», «Заработная плата, цена и прибыль», «Происхождение семьи, частной собственности и государства», Бельтова — «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», Лабриола — «Исторический материализм», Меринга — «Легенда о Лессинге» и др.; по политэкономии — А. Богданов, Железнов, Исаев, Туган-Барановский; Липперта — «История культуры», Тимирязева — о дарвиниз-

ме; из нелегальной литературы: брошюры Ленина (особенно запомнилась «Шаг вперед, два шага назад»), Мартова, Мартынова (оба последних по созвучию фамилий казались тогда чем-то вроде сямских близнецов).

Наиболее трудным и потому особенно вождеденным был третий список — теоретический, который начинался с «Капитала». Тут значились далее: «Антидюринг», «Нищета философии», сборник «Очерки реалистического мировоззрения», «Эмпириомонизм» А. Богданова, работы Маха и Авенариуса и др. Первые два списка были кое-как одолены мною; в третьем увяз: читаешь и — ни с места. Все слова как будто понятны, а цельная мысль не встает. В «Очерках реалистического мировоззрения» была неодолимая статья Суворова. Мы шутили: «Суворова не победить», и казалось, что заветные ключи спрятаны именно за суворовскими твердынями.

Среди старших комитетчиков-профессионалов шли жаркие споры о «философских основах эмпириокритицизма», о богдановском «пошлом идеализме», о допущенной им «философской ревизии Маркса» (или ортодоксия, или тупик солипсизма, третье не дано), и еще, и еще раз о бытии и сознании, о взаимодействии физического и психического. Силится я вникнуть в сокровенный смысл этих споров, но доходили до меня лишь смутные обрывки. Их потом наедине пытался собрать воедино. Но тщетно! Нужна была предварительная

¹ См. «Новый мир», кн. 1 с. г.

систематическая подготовка, а ее-то и не было. Поэтому все усилия одолеть трудные теоретические вопросы вызывали только нетерпеливый зуд и раздражение.

«Теоретический фронт», «коммунистическое воспитание молодежи» — даже слова эти были нам в ту пору незнакомы. Что уж говорить о делах! Водились «кружки пропагандистов», где старшие и более развитые товарищи «своими словами» рассказывали об экономическом учении Маркса, и опять-таки со слов Каутского, по его изложению, — сухому, лишенному диалектического нерва. Много ли доходило до нас после такого двойного разжижения!

Усваивалась только самая общая схема: прибавочная стоимость, кризисы перепроизводства, концентрация капиталов, противоречия капиталистического общества, социализм, «исподволь» созревающий во чреве капитализма. В теснейшей связи с этими, во многом перекошенными, начатками знания привлекала интерес эволюционная теория Дарвина. Но и тут был лишь смутный абрис теории — самый поверхностный и наполовину невежественный.

Казалось: как человек произошел от обезьяны, так социализм произойдет от капитализма! Почему же в первом случае мы говорим об эволюции, а во втором — о революции, так и оставалось неясным. Без дальних околичностей дело представлялось так, что социализм, в сущности, произойдет тоже эволюционным путем, а революционно свергать надо только самодержавие. Только один раз надо вырвать зуб — насильственно удалить самодержавие, которое как-раз и мешает эволюции, а дальше вместе с развитием капитализма будет автоматически расти численный состав пролетариата, будет увеличиваться число социал-демократических депутатов в парламенте (конечно на основе всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права), и все будет протекать эволюционно — вплоть до вождя эволюционного социализма, до золотого века человечества, так увлекательно описанного Беллами в книге «Через сто лет».

Для нас, романтически настроенных юнцов из среды мелкобуржуазной интеллигенции, эти «сто лет» были не одной только метафорой, вроде чеховского «неба в алмазах», которое засияет для людей «через двести лет». Нет, нам чудилось, что отделяющее нас от социализма время подлинно измеряется столетиями. Не вызывало никакого сомнения, что концентрация капиталов, численный рост пролетариата, рост количества депутатских кресел социалистов в парламенте будут протекать не только строго параллельно, но и в точном, пропорциональном соответствии друг с другом. Механизм парламентских выборов представлялся своеобразным счетчиком народной воли. Когда подавляющее большинство народа будет стоять за социализм, то оно и издаст парламентским путем законы обобществления всего совокупного хозяйства, и прогресс человечества, протекавший до того по капиталистическим рельсам, будет переключен на социалистические рельсы и покатится вперед без сучка и задоринки до кисельных берегов, описанных Беллами.

Прямо о это никем в пропагандистских кружках не проповедывалось, но косвенно исповедывалось многими и многими. Необходимые для такого построения элементы черпались из весьма простецкой учебы по политэкономии, а остальное привносилось в порядке «самодеятельного» творчества, целиком вырвавшегося из мелкобуржуазного сознания и романтической (тоже мелкобуржуазной) интеллигентской традиции.

Сколько-нибудь занимались одной только политэкономией. О диамате и слуху не было. И это было, пожалуй, самым тяжким грехом тогдашней воспитательной работы в марксистском подполье.

Нельзя тут не вспомнить классически четкую формулировку значения теории, какую дал в своих «Основах ленинизма» тов. Сталин:

«Теория есть опыт рабочего движения всех стран, взятый в его общем виде. Конечно теория становится беспредметной, если она не связывается с революционной практикой, точно так же.

как и практика становится слепой, если она не освещает себе дорогу революционной теорией. Но теория может превратиться в величайшую силу рабочего движения, если она складывается в неразрывной связи с революционной практикой, ибо она, и только она, может дать движению уверенность, силу ориентировки и понимание внутренней связи окружающих событий, ибо она, и только она, может помочь практике понять не только то, как и куда двигаются классы в настоящем, но и то, как и куда должны двинуться они в ближайшем будущем».

Уверенность движения, сила ориентировки, понимание внутренней связи событий, тенденций движения классов в настоящем и будущем, — да ведь это и есть то самое, в чем мы, революционная молодежь 900-х годов, нуждались, как в хлебе насущном, и отсутствие чего было одной из причин — отнюдь не последней — всего нашего разброда.

Что такое сомнение, подточившее нашу веру и волю, как не отсутствие уверенности, понимания, ориентировки? В чем источник многих сомнений, как не в теоретическом невежестве?

В своей сгущенной формулировке тов. Сталин уделил место и другим порокам, подтачивавшим наше поколение и поколение наших руководителей: беспредметность теории, оторванность от революционной практики, и слепоту практики (экономизм), не освещенной революционной теорией. Эти два противоположных, но, по существу, взаимосвязанных порока раз'едали и разлагали многих подпольщиков того времени.

Я упоминал уже о философских спорах среди интеллигентов-комитетчиков. Спорами этими занимались с превеликим усердием, но они ни с какой стороны не связывались с революционной практикой. Стачное движение, политические выступления против самодержавия, пропаганда экономического учения Маркса и социалистических идей, — словом, будни подпольной работы текли своим чередом. Это было делом повседневным и общедоступным. Тут велись дискуссии только с другими партиями и с меньшевиками. А философские спо-

ры были делом избранных и посвященных, к тому же делом почти праздничным, как шахматная игра. Словесные турниры на сей предмет носили парадный характер, и сколько тут было провинциальной «изошренности ума», форсу, пускания пыли в глаза, кокетства!

Нет, к революционной практике эти турниры отношения не имели.

Нас, молодежь, никак не утруждали диаматом. Нашим марксистским воспитанием либо вовсе не занимались, либо занимались из рук вон плохо. Если не считать убогих пропагандистских кружков, в программу которых входила одна политэкономия, то мы в действительности были предоставлены самим себе, росли, как сорная трава, развивались без присмотра. Руководители наши довольствовались тем, что кой-кого снабжали списками для чтения. Потом эти списки, как гимназическая шпаргалка, списывались друг у друга. «Домашнее чтение» без надлежащей предварительной подготовки давало очень мало.

Еще были в ходу «кружки самообразования», но они давали, пожалуй, и того меньше. На деле это были кружки «мужско-женской дружбы» и невинного полудетского флирта. «Легкое чтение» проглатывалось охотно в одиночку, а трудное... оно оставалось трудным и в одиночку, и «на миру».

Помню одну встречу нового года. Вечером состоялось общегородское партийное собрание. Были перевыборы «централки», а затем новая «централка» вместе с комитетом отправилась на другую квартиру к товарищу, где была устроена новогодняя вечеринка. Преданность общему делу, трудности и опасности подпольной работы, полнейшая общность интересов, молодая экзальтированность создавали такую дружескую спайку, какой не встречал потом во всю свою жизнь. Сейчас легче и безответственней выговаривается слово «товарищ» и даже «ты», но нет того внутреннего тепла, той предельной искренности и атмосферы подлинного братства, о которых с большой художественной выразительностью писал Ленин: «Мы идем тесной кучкой по обрывисто-

му и трудному пути, крепко взявшись за руки...»

На той вечеринке мы сидели, буквально взявшись за руки и ласково обнимая друг друга. Отдыхали, болтали, ели все ту же будничную пролетарскую сеledку («не единым хлебом жив человек, но также и сеledкой») и праздничную чайную колбасу с огурцами, — то было нам вкуснее любых деликатесов. Приглушенными грудными голосами пели наши песни — заунывные и гневные, средних не водилось. А затем заспорили. Говорила женщина — крупный партийный работник, — только-что вернувшаяся из-за границы. О ней было известно, что близка она к эмигрантским кругам, к ЦК партии. А сочетание букв Ц. К. звучало благой вестью, заповедью с горы Синая, было покрыто сверхъестественным, почти магическим авторитетом. Я слушал неотрывно, упоенно, впитывая каждое слово. Вначале понимал, а дальше все то же: неодолимая теория, «непобедимый Суворов».

Тут же, в канун нового года, с 16-летней торжественностью наложил я на себя обет — в кратчайший срок прояснить для себя теоретические туманности. С этой решимостью шагал домой ранним утром после бессонной ночи по бессонным еще улицам. Бодрый шаг, морозный воздух, головокружительное возбуждение.



Тюрьмы, этапы, высылка, а еще до того длительная болезнь (в течение полугода) оставляли много досуга для чтения, значительно расширили круг знакомств и собеседников, обогатили впечатлениями. В результате некоторые прежние теоретические неясности, правда, рассеялись, но возникали все новые, все более трудные, а вопросы стали сменяться сомнениями.

Столкнулся я и с эсерами, и с анархистами всяких разновидностей, с эштузиастами, чудаками, маниаками. В той изуродованной царским режимом жизни — безысходно тупой, озорной и горько-пьяной — эти грибки бунтарства обильно росли по всем углам, где юти-

лись пролетарская голь и деклассированная богема. Ходили по земле горячие путаные головы и отравленные отчаянием сердца. Разражались они истерическим фейерверком слов, но и настоящим динамитом, бомбами и револьверными выстрелами по приставам и исправникам. Делались налеты на банки, на сберегательные кассы, почтовые отделения или просто на местных тузов-богачей. То были экспроприации, или «эксы», как сокращенно и ласково называли их. И порою было трудно различить «эксы» от заправской уголовщины и бандитизма.

Сборным пунктом в широком смысле были тюрьмы, особенно пересыльные, и этапы. «Третье отделение» вылавливало этих людей отовсюду и стягивало в многолюдные тюремные камеры. Здесь можно было услышать поразительные истории, часто приукрашенные (неправдоподобным казался порою такой отбор героев); здесь делились опытом борьбы и жизненным своим опытом, но чаще всего спорили. Каждая партия и каждый оттенок партии и каждая группка и даже отдельные анархистские «индивидуумы» знали наилучшие рецепты спасения пролетариата, крестьянства и всего человечества. Инакомыслящие обзывались всеми словами, какие только родил человеческий язык, в самых причудливых сочетаниях, вплоть до крылатого словечка «метафизическое дерьмо». Терминология материалистическая легко переходила в матерную, что, впрочем, нисколько не мешало сейчас же после отчаяннейшей грызни мирно играть тут же, посреди камеры, в «козла».

Спорил не хуже других и я — с петушиной запальчивостью тех лет. Переубедить противников было делом безнадежным, да и вряд ли кто всерьез на это рассчитывал. Хуже было другое: чем горячее я говорил, импровизируя в споре, тем менее убедительными казались мне мои слова, когда оставался наедине с самим собой и по-верблужьи пережевывал сказанное. По совести, никак не мог отрицать я правильность иных положений моих оппонентов, идейность и чистоту иных противников.

Памятная встреча была у меня в елисаветградской каторжной пересыльной тюрьме. Случилось так, что я оказался единственным политическим в камере уголовных каторжан. В те годы (после 905—6) уголовные ненавидели политических лютой ненавистью и мстили за казни и расправы, которые чинились «народом» над уголовными в 905 г. иной раз под руководством политических. В камере уголовные начали задирать меня, я отмалчивался или отделялся благодушными шуточками. Это только подлило масла в огонь, — уголовные начали ожесточаться. Стена враждебности нарастала. Наиболее озорные каторжане стали описывать вокруг меня круги, гремя кандалами. Холодея, я заметил, что круги сужаются, и подумал с тоской: сейчас изобьют до полусмерти, а ночью прикончат.

На мое счастье в камеру вошел политический каторжанин-анархист. Потому ли, что и он был в высоком сане кандалника, или потому, что нельзя было не любить этого человека, но его приход сразу разрядил атмосферу.

Мы дружески разговорились с ним; среди разговора он, наклонившись, успел мне шепнуть:

— И все-таки на ночь вам оставагыся здесь нельзя, пойду похлопочу.

Через полчаса он вернулся сияющий: — Переведут!

И, действительно, меня вскоре перевели в камеру к этому товарищу, где жил он широко — в одиночку. Это был маленький человек с щуплым, инфантильным тельцем, с непомерно большой головой, русой копной волос и лучистыми серо-голубыми глазами. И в глазах, и в выражении лица чувствовалась взвинченность экзальтированность одержимого. Лицо худое, тонкое, бледное. Просвечивают жилки на висках и пальцах. А слаб был мой покровитель до того, что от сильного порыва ветра его качало в тюремном дворе, как хворостину. И вот это слабое и больное существо было заковано в кандалы и отправлялось в далекую Сибирь на каторжные работы.

Говорил он быстро, неостановимо, лихорадочно-возбужденно. Называл се-

бя анархистом-индивидуалистом. Сыпал цитагами из Ницше, Шопенгауэра, Штирнера, Бакунина, Кропоткина. Горел своей правдой. Чистая душа и сумбурная голова. Просветленный пуганик. Был он влюблен и писал стихи. Всю ночь напролет читал мне тетрадь своих стихов, посвященных возлюбленной. А в промежутках — об искусстве и лигературе: Ибсен, Стриндберг, Флобер.

Их было много — тюремных товарищей, восторженных идеалистов, воспринявших противоречивые веяния эпохи и бессознательно отражавших их во вне... Отголоски революционных бурь 905 — 6 гг. смешивались с первыми предвестиями обществено-политической и культурной реакции.



Чем больше узнавал я, тем больше запутывался. Тут еще сказалось влияние Толстого и особенно Достоевского.

Достоевский удручал меня, наводил мрачную хандру. Я переносил его, как тяжелую болезнь. Мое запойное чтение Достоевского совпало с действительной болезнью, длившейся свыше полугодя. Первые книги были прочитаны перед самым заболеванием. Потом высокая температура и бред. В разгоряченной и больной фантазии повторно разыгрывались наиболее яркие и жестокие сцены из Достоевского и душили меня кошмаром. Как только спадал жар, рука вновь тянулась к книге. Я пил Достоевского, как яд, и выпил до дна между сознанием и бредом.

Врачи называли мою болезнь разного рода воспалениями, но на всю жизнь запечатлелось одно только опаление Достоевским.

Не влюбил я Достоевского. Не верил в его искренность, подстерегал каждую в нем фальшивую нотку. Косноязычность стили казалась деланной и манерной, преднамеренно рассчитанной на эффект. Чрезмерно подробное описание жестокости называл садистским. Копание Достоевского в душевной грязи вздымало во мне волну гадливости, и я с несдержанностью своих лет ругался

вслух: «Сам ты — человек с грязной душой». На полях страниц, где описан Смердяков, я с мальчишеским озорством «ядовито» писал: «Яблоко падает недалеко от яблони», разумея под этим автора и героя. Так «мстил» я. Даже в припадочность Достоевского не верил: все, мол, — одно актерство.

Непосредственная реакционность Достоевского, его филиппики против революции и социализма, против наводнений «греховной» западной культуры были мне враждебны. Чужда была и его истерическая религиозность и елейное восхваление народности. «Слеза ребенка» в трепет не приводила. Разговоры о том, что слеза сия не возместится и не окупится никаким социализмом, казались просто реакционным гаерством. По существу, считал Достоевского ренегатом, оправдывающим перед самим собою и перед людьми зло этого ренегатства софистикой взвинченной нравственности.

Уже одни мои выпады против Достоевского говорили об обостренной моей восприимчивости. Чем более отталкивающим рисовался мне образ писателя, тем сильнее он притягивал к себе. Ненавидел Достоевского, но не мог освободиться от его гипноза, отрицал, но каждый раз вновь тянулся к нему.

Что же влекло к Достоевскому? Раньше всего резкая очерченность его типажа, навязчивость, назойливость его образов, гиперболично дурное в человеке. Таков уж закон эстетической восприимчивости, что округленное, благородное, умасленное скользит мимо внимания, не задевая, а злое и агрессивное ударяет по нервам, рвет на куски равнодушные; что запоминается злодей и забываются ангелочки — круглощекие и круглозадые толстунчики. Зло вызывает болевое раздражение, более яркую реакцию, раздражает и... злит. Потому оно и памятей. Может быть, злой гений Достоевского знал этот секрет и подобающе действовал не совсем без заднего художнического расчета?

Но было и другое, более важное, что влекло в сторону Достоевского. Я приглядывался к жестокости героев До-

стоевского и к обступившей меня со всех сторон жестокости русской жизни, сравнивал портрет с подлинником и спрашивал себя:

— Не потому ли Достоевский — русский национальный гений, что сумел воспроизвести воздух трактиров и подвалов, разгадал своеобразную микстуру российских душ, где зверство уживается рядом с блаженной юродивостью, а подлинные вершины героизма — с маленькой гаденькой мерзопакостью.

Унаследованными от отца острыми глазами буравил людей, щупал весь окружающий меня быт мастерских, подполья, полицейщины, тюрем. Видел много противоречивого, хотел расщепить хорошее от плохого, звериное от человеческого, крупное от ничтожного, расположить их в две кучи, но материал упрямо не поддавался, козлица жили вперемежку с агнцами. И не только рядом жили, но совмещались и уживались в одной и той же «душе», в каждом отдельно взятом человеке.

И я оторопело спрашивал себя:

— Неужто опять микстура? Достоевская микстура?

Сразу провалилась большая группа товарищей, и прошлесегло в нашем подполье слово «provokator». Под подозрение была взята одна из «явочных» квартир. Говорили, что предал товарищей владелец квартиры. Другого provokatora, как казалось, удалось точно установить. Он был приговорен подпольем к смерти и действительно убит местными нашими террористами. Потом состоялись похороны, привлекая множество народу. В толпе я видел знакомых мне околопартийных интеллигентов, и у них были опрокинутые лица. Смотрели друг на друга с мучительным неммым вопросом: правда ли, что это был именно он, а не кто другой? Не убили ли зря хорошего товарища?

Заразительным психозом овладела людьми шпиономания. Кому можно сообщить «явку»? Кому можно передать пароль? Испытывающе смотрели друг другу в глаза, хотелось просверлить глаза до дна, испытать: свой или чужой? Товарищ или предатель?

Я был жаден к людям, допытчив, болезненно внимателен к «предательским», как мне казалось, мелочам. Но при всем мальчишеском самомнении был желгорот, не знал ни жизни, ни людей, различить чужака от своего не умел. Зато лезли в глаза назойливые мелочи, и опять было попеременно хорошее и дурное. То ослепит величие человека, яркий и самозабвенный героизм, так что поклоняться впору, то выползет на брюхе из той же дыры гад. Безудержное очарование сменялось неистовым разочарованием, и я орал на голос:

— Будьте вы прокляты, Достоевские микстуры!

Меня занимали нравственные качества людей, но я нисколько не интересовался собственными своими классовыми качествами. А они-то как-раз были таковы, что в рабочем движении я мог участвовать лишь на началах классового самоотречения и нравственного подвига. Вот откуда и весь этот столь повышенный интерес к нравственным оценкам, подмена критерия политического — эгическим.

Для подавляющего большинства тогдашней буржуазно-интеллигентской молодежи, примкнувшей к революционному движению в полосу подъема, социализм был только нравственным идеалом, грядущей эрой, которая должна осчастливить «сырых и убогих». Но с первых же шагов мы увидели, что путь революции есть путь кровавой борьбы. притом крови близкой и реальной, за которую мы как «вожаки» несем всю полноту нравственной ответственности.

Вопросы теории, политической стратегии при такой установке осложнились, а подчас заигмевались вопросами «нравственного долга». И как-раз тут-то влияние Достоевского, безвозвратно, казалось, выгнанное в дверь, возвращалось через окно.

— Как можно, — протестовал я, — останавливаться перед «слезой ребенка» в борьбе с проклятым строем, когда он порождает моря слез! Но я видел еще и другое — видел, какими жестокими драками разряжается вспышка в мастерской, с какой озорной молодцеватостью вправляются в голенища длинные са-

пожные ножи перед прогулкой по разбойной нашей слободе, как форсят наши ребята друг перед другом зубодробильными свинчатками. Лучший мой друг, учитель мой по ремеслу и ученик по партийной работе, сапожный подмастерье Соломончик, был буквально растерзан в стычке с «союзниками» («Союз русского народа»).

Потом самосуды над уголовными, полоса зверских еврейских погромов на юге России, казачьи налёты на наших бастующих заводских рабочих, потрясающие сцены, когда оцепленных со всех сторон рабочих загоняли нагайками в железнодорожный туннель, и здесь под дикий хохот и улюлюкание шла кровавая расправа. Живое тело буравили пиками, рубили шашками. Так во всех городах — вплоть до затопленного в крови московского декабрьского восстания. Над деревней полыхало зарево аграрных беспорядков — поджоги, карательные экспедиции, массовая порка. И еще: «эксы», дерзкие полубандитские налёты анархистов попеременно с уголовными; террористы-одиночки, бомбометатели.

Шквал революции был подавлен в крови, но было ясно, что это только первая проба сил, что следующий шквал будет шире и глубже, доберется до подлинных низов народной массы, развяжет необузданные страсти и кровавые инстинкты.

— Где та сила, — спрашивал я, — которая организует стихию, направит ее в нужное русло, которая возглавит движение, сообщит ему четкую и осознанную целеустремленность, поведет к р а т ч а й ш и м п у т е м, достигнет успеха н а и м е н ь ш е й к р о в ь ю?

Об этом единственно верном пути и идут все споры, а маршрутов почти столько же, сколько голов. Каждый «лучше знает», у каждого — своя правда. В вопросах теории и тактики полный разброд, а на практике — распыление сил, дезорганизованные удары по раступающемуся месту, и живая человеческая кровь хлещет зря во все стороны.

Так думал я в ту пору и делал отсюда вывод, что надо целиком отдаться вопросам теории, подвести под нее «не-

сокрушимый фундамент», достигнуть здесь той общеобязательности и бесспорности положений, какие дает математика.

5. Оседлав аксиому

Двенадцать революционных партий подвизались в ту пору в подполье бок о бок, и Плеханов образно сравнивал их с двенадцатью женихами, добивающимися руки... революции.

На собраниях выступали докладчики и содокладчики от разных партий, и это сосуществование многих мнений, то-есть со-мнение, как явствует уже из самого филологического корня, приводило к сомнениям, чем дальше, тем все более мучительным для юных и неиспытанных наших умов.

Разобраться в усложняющейся обстановке, в огромном потоке проблем без нужных знаний и опыта, без достаточного руководства партии нашим теоретическим развитием было нам непосильно. Мы развивались и росли на крутом повороте от одной эпохи к другой, под перекрестным влиянием противоречивых веяний, многообразных встреч, случайных книг. Слишком рано стали мы «решать вопросы», и многие из нас запутались. Среди этого разброда и укачивающей зыби хотелось найти твердый и надежный кусок земли, зацепиться за него якорем. Явилась потребность в положениях бесспорных, для всех обязательных, аксиоматических.

1 января 1907 года, имея отроду неполных 16 лет, после проведенной накануне новогодней встречи в кругу партийных товарищей, я писал с большой торжественностью в новенькой клеенчатой «общей тетради», прошедшей потом через многие жандармские руки и чудом сохранившейся по сей день:

«Сегодня появился Бернштейн, завтра явится Штейнберн, послезавтра еще какой-нибудь третий, — у каждого свои конкретные программы и тактика и рецепты для «спасения». Мы их ругаем оппортунистами, а они нам отвечают тем же. Что проку в этой ругне!.. Во-

прос может иметь только одно решение, а если у нас их сразу несколько, притом одно диаметрально противоположно другому, то нет сомнения, что все они или все, кроме одного, неправильны. Мы с нашими вечными спорами напоминаем людей, заблудившихся в лесу. Я думаю: раньше, чем пуститься определенно по какой-нибудь тропинке, надо изучить общее направление тропинок, надо взобраться на пригорок, а на пригорке — на самое высокое дерево, и толком осмотреть местность и выбрать верную и кратчайшую дорогу. Уж если остановиться на какой-нибудь мысли, то чтоб она была безусловно правильна, чтоб против нее никаких возражений и быть не могло. Ведь дело идет о человеческой крови, о жизни, о поколениях...»

Мотив этот настойчиво повторяется и приводит к таким строкам:

«Математика — вот идеал правильного мышления. В «определенной» задаче она дает нам одно решение, действительно верное. Нет в математике никаких оппортунистов, которые доказывали бы «всю несостоятельность». Почему математика обладает этими качествами? Потому что она построена на сильном фундаменте. Раньше чем задать себе известную теорему для конкретного ее решения, она дает нам абстрактные истины, аксиомы, на основании которых мы должны притти к известному решению. Так же должны действовать и мы: раньше чем заняться конкретным решением всевозможных вопросов программы и тактики, мы сейчас должны заняться абстрактным установлением непреложных аксиом, чтобы можно было действовать дальше в соответствии с ними, а не спорить до хрипоты, не дробить свои силы, не быть виновниками напрасных человеческих жертв из-за своих ошибок».

Позже, с годами, были под сомнение взяты сами основы мышления. Был задуман план перенесения математических принципов в обществоведение, — план фантастический, ничуть не лучше и не хуже других замыслов, которыми бредили в ту эпоху многие экзальтированные юноши.

Впрочем, как показал опыт дальнейших лет, настроения радикального переосмотра самих философских основ марксизма получили широкое распространение, и именно в связи с поворотом эпохи. Через четыре года, в декабре 1910 г., Ленин в статье «О некоторых особенностях исторического развития марксизма» дал блестящую характеристику источника этих настроений:

«Именно потому, что марксизм не мертвая догма, не какое-либо законченное, готовое, неизменное учение, а живое руководство к действию, именно поэтому он не мог не отразить на себе поразительно резкой смены условий общественной жизни. Отражением смелых явился глубокий распад, разброд, всякого рода шатания, одним словом, — серьезнейший в н у т р е н н и й кризис марксизма. Решительный отпор этому распаду, решительная упорная борьба за основы марксизма встали опять на очередь дня. Чрезвычайно широкие слои тех классов, которые не могут миновать марксизм при формулировке своих задач, усвоили себе марксизм в предыдущую эпоху крайне односторонне, уродливо, затвердив те или иные «лозунги», те или иные ответы на тактические вопросы, не поняв марксистских критериев этих ответов. «Переоценка всех ценностей» в различных областях общественной жизни повела к «ревизии» наиболее абстрактных и общих философских основ марксизма. Влияние буржуазной философии в ее разнообразных идеалистических оттенках сказалось в махистском поветрии среди марксистов».

Дальше Ленин писал об искажении теоретических основ марксизма «с самых противоположных сторон, путем распространения буржуазного влияния на разных «попутчиков» марксизма».

Слова Ленина как нельзя лучше и точнее описали происходивший в ту пору процесс. Ленин схватил, что называется, быка за рога. Да, действительно, нельзя было «миновать марксизм при формулировке своих задач». Действительно, было много всяких «попутчиков» марксизма; действительно, боль-

шинство не понимало марксистских критериев и находилось под влиянием различных оттенков буржуазной мысли, в большинстве случаев неосознанным и безотчетным.

В начале 1907 г. провинциальный мальчик не знал еще Маха; сама эпоха не поставила еще перед интеллигентней задачи «переоценки ценностей» во всей широте. Просто запутался юнец и, пошарив в поисках надежной точки опоры в своем малом запасе сведений, ухватился за аксиому и оседлал ее, — благо имел склонность к математике. Просто было все, заурядный случай, а на сверку ведь что получается? Получается утверждение «конечной истины в последней инстанции», вера в математическую неизменность нравственных истин, в априорность математики, вера в то, что математика «имеет значение независимо от специального опыта и реального содержания мира». Но это как раз символ веры... Дюринга! Именно Дюринг считал, что математические аксиомы «и чисто логически не допускают обоснования и не нуждаются в нем», и даже больше того: «Всякий вопрос должен быть решаем аксиоматически на простых основных формах, как если бы дело шло о простых... положениях математики».

Не знал я в начале 1907 г. ни Маха, ни Дюринга, ни «Антидюринга», но сам был бессознательно... Дюрингом Цигровского уезда, наподобие тургеневского «Гамлета Цигровского уезда».

Вряд ли мне нужно здесь доказывать неприменимость принципов математики в органическом мире с его многообразием и богатством качественных определений и, тем более, в мире социальном и в сфере идеологической. С большой убедительностью и блеском это проделано Энгельсом в таких основных его работах, как «Антидюринг», «Людвиг Фейербах», «Диалектика природы», а еще до него, правда, в идеалистическом освещении, — Гегелем в «Науке логики», в разделах о количестве, качестве и идее.

Ни повторять, ни популяризировать эти азбучные в диалектике положения не имеет здесь смысла. Я хотел бы только подчеркнуть консервативность и отсталось буржуазного мышления и напомнить о часто забываемом источнике этой отсталости.

Оказывается, вовсе не надо быть ни Махом, ни Дюрингом, чтобы зацепиться за один из оттенков философского идеализма. Для этого за глаза достаточно кругозора провинциального мальчика с 4-классным «образованием». Элементы философского идеализма разлиты, можно сказать, в самом воздухе буржуазного общества, и их можно собирать сколько угодно совсем не искусственной рукой.

Две черты более всего характерны для буржуазного мышления: 1) приверженность к формальной логике и 2) метафизическое понимание причинности. Эти самые общие и в действительности решающие для мировоззрения черты можно обнаружить без всякого труда и с одинаковым успехом в «Трактате о началах человеческого знания» Беркли, в «Критике чистого разума» Канта и в литературном сочинении... гимназиста-пятиклассника. При всей огромности качественных различий неизменно остается одно и то же преклонение перед законом тождества, одно и то же истинное детское понимание причинности.

Закон тождества ($A=A$) и построенная на нем формальная логика являются орудием первоначальной ориентировки человека во внешнем мире, когда он научается распознавать предметы в их застылом, статическом образе, выделять в них черты сходства и различия, сравнивать их и сопоставлять. Этот уровень познания соответствует ранним ступеням интеллектуального развития человечества и ранним годам в умственном развитии отдельного человека. И человечеству в детском его состоянии, и ребенку неизбежно начинать именно с этого. Так складывается первая ориентировка во внешнем мире. На ранних ступенях она имеет огромное прогрессивное значение и приводит непосредственно к таким плодотворным резуль-

татам, что возникает иллюзия, будто при помощи закона тождества мы получаем в мысли действительно адекватный образ мира и даже, более того, будто «правильное», то-есть сообразное с законами формальной логики, мышление единственно только и приводит к истине — абсолютной и непреложной.

Но, строго говоря, и объективно A никогда не равно A . Нет в мире двух абсолютно тождественных предметов. Если же мы однако говорим об этом тождестве, то это значит, что мы либо пренебрегаем множеством различий, для нас в данном случае не интересных, практически несущественных, либо мысленно изолируем отдельные стороны предмета (его строение, протяжение, вес, окраску и прочее), приближая сходственность которых для нас важна в целях ориентировки, узнавания, классификации и т. д. Короче говоря, устанавливая тождество, мы всегда допускаем ошибку, неточность, сравниваем «с приближением» до какой-то дробной доли, а остатком пренебрегаем. Но по мере того, как мы переходим от физических твердых тел к более высоко организованной материи, от элементарной математической характеристики к дифференциальной, от количественных показателей к качественным, от статических состояний к движению, от состояний к процессам, ошибка «на допуск» оказывается все более недопустимой. И тогда мы говорим: A не равно A . Дело не в сходстве и различии между двумя внешнеположными предметами, а в различиях внутри каждого отдельно взятого предмета. Статических состояний в природе вообще нет. Каждый предмет движется, раздвоен, внутри себя противоположен самому себе. Каждый предмет находится в действительности в соотношении и связи не только с близлежащим к нему предметом, с которым нам угодно или удобно его сравнивать, а в миллиардах соотношений, сцеплений, связей со всем миром. Так мы приходим к диалектике, к диалектическому единству повторяемости и неповторяемости.

Нет тут ни умысла и никакой нарочитой и предвзятой «тенденции». Это —

объективная тенденция современного научного познания природы и общества. — познания, давно уже выросшего из пеленок тожества и формальной логики. Природа диалектична, высшая математика по своей сути — диалектическая наука, хотя буржуазные научные бонзы от естествознания и математики не всегда это понимают, редко когда сознают и почти никогда не признают. Единственная теория обществоведения, стоящая на правильных научных ногах, — марксистско-ленинское учение, — является осознавшей себя последовательной диалектической теорией.



Тот факт, что буржуазная философская мысль с таким упорством продолжает еще придерживаться древних канонов формальной логики, — в то время как наука накопила уже огромное богатство опыта, давно переросшего старые рамки и на каждом шагу опровергающего анахронизмы формальной логики, — с особенной яркостью и наглядностью подтверждает старческую немощь и бесплодие буржуазной мысли.

Формальную логику можно назвать логикой статических состояний, мертвой схемой окаменелого мира. Ее мысленные образы можно сравнить с египетской живописью, дававшей двухмерные плоскостные изображения, без глубины и перспективы. Недаром наиболее успешное применение закон тожества нашел в геометрии.

Теснейшую взаимосвязанность формальной логики и геометрии показал в своих работах французский философ Бергсон. Он подробно описал, как «скрытая геометрия, присущая нашему представлению пространства», «путем деградации сама собой переходит в логику».

«Вопросы положения и величины, — читаем в «Творческой эволюции», — суть первые, которые ставятся нашей деятельностью... Дикарь умеет лучше цивилизованного человека определить состояние, ориентироваться в направлении, начертить на память часто сложную схему пройденного им пути и возвра-

титься таким образом к точке отправления по прямой линии» (стр. 189—190). «Из расширения натуральной геометрии, подсказанной общими и непосредственно замечаемыми свойствами твердых тел, вышла натуральная логика. Из этой натуральной логики вышла, в свою очередь, научная геометрия, бесконечно расширяющая познание внешних качеств твердых тел... Логика и геометрия взаимно порождаются одна другой...» (стр. 144—145).

Дальше Бергсон переходит к изложению своей модной теории о кинематографическом механизме мышления: «Занятый прежде всего нуждами действия, интеллект, так же, как и чувства, ограничивается тем, что время от времени схватывает со становления материи мгновенные и, следовательно, неподвижные снимки... Из становления мы замечаем только состояния... Таково наиболее яркое заблуждение... Оно состоит в уверенности, что возможно мыслить неустойчивое при посредстве устойчивого, подвижное при посредстве неподвижного». Вывод, как известно, делается тот, что для правильного мышления мира в движении заинтересованный нуждами практики интеллект должен быть довооружен «незаинтересованной» интуицией. Пусть интеллект обращен к геометрически-пространственному миру, — поэтически одухотворенная философская интуиция тем временем будет «схватывать» длительность.

Я остановился попутно на Бергсоне, чтобы показать, в какую сторону направляется буржуазная мысль, когда она как будто переходит уже к критике устарелых канонов и пытается приблизить свою философию к пониманию движения. Философский «модернист» Бергсон на своеобразный лад (и притом, разумеется, эклектически) повторяет старика Канта: он критикует, ограничивает, принижает силу суждения только затем, чтобы тем более возвысить сверхчувственную интуицию. Сечение мира на две половины — на низменную половину, познаваемую интеллектом, и возвышенную, непознаваемую — проходит по линии раздела количества и качества. Между количеством и качеством, как

и между материей и движением, — пропасть. Понимание мира, по Бергсону, возможно либо только количественное и механистическое, либо только качественное и мистическое. Существовать они могут рядом лишь на началах разжевания сфер практики и теории.

До диалектического понимания Бергсон не возвышается. Но и там, где буржуазная мысль делает героинский прыжок в сторону диалектики (Гегель), она остается верна философскому идеализму, и тогда ее диалектика не последовательна, а система идей реакционна. После всех торжественных деклараций о неотрывности «духа» от природы и движения от материи метафизика, выгнанная в окно, возвращается в дверь, и система осенена тенью «всержителя». Мистификации гегелевской философии достаточно разоблачены Марксом.

Отсталость буржуазной философской мысли, ограниченность ее логики, приверженность к метафизике и идеализму — не случайное явление. Мир идей буржуазии не может быть иным, чем мир ее общественных отношений. В сознании человека буржуазного общества каждый порознь взятый предмет рассматривается со стороны его сходственности со смежными предметами в пределах той же сферы опыта, того же «порядка», и со стороны его чуждости предметам другой сферы. Так получается деление внешних друг другу предметов на тождественные между собой и различные. А различие предмета внутри самого себя, его раздвоение, противоборствующие в нем самом тенденции остаются вне поля зрения.

И это понятно. Внутренняя противоречивость предмета может быть обнаружена только там, где исследуется вся целокупность связей, или, по меньшей мере, достаточно далеко развернутая цепь взаимозависимостей, и только тогда, когда предмет исследуется в движении и изменении. В этих условиях наблюдения нам раскрывается выход предмета за свои пределы, его экспансия, его устремленность к своей противоположности, что и означает, с

одной стороны, объективную соотносительность предмета со своим антиподом, а с другой — заключенную в самом предмете неотъемлемую от него тенденцию к своей противоположности. Но стоит сузить горизонт, выключить в его пределах движение и рассматривать вещи в их статическом состоянии, в их изолированности и оторванности от живого и движущегося целого, как в результате этого дробления целого и его омертвления неизбежно вернешься к тому же отсталому закону тождества и к тем же примитивным образам причинности: вот здесь, мол, причина, а рядышком — следствие.

Часто приходится слышать от старых буржуазных интеллигентов, натянувших на себя дурацкую прозодежду «критически мыслящих личностей», о том, что где марксизм ходит «в шорах» и оттого свету божьего не видит. Вот уж действительно: «чем кумушек считать трудиться...». Нет более ограниченного горизонта и более близоруких глаз, чем горизонт и глаза буржуазной идеалистической философии, которая мыслит в последнем счеде по образу и подобию буржуазного мира, разорванного на мелкие клочки, запертого на замочек в своих клетушках собственности, замещающего монизм на земле единобожием на небе.

Можно сказать, что метафизика, как метод отрыва, торжествует в одинаковой степени в буржуазной экономике и в буржуазной философии, но конечно сперва в экономике, а потом и потому — в философии. А одряхлению буржуазного мира, его неспособности развивать по-настоящему производительные силы, поощрить науку, технику и изобретательство, его беспомощности в разрешении социальных и национальных вопросов в полной мере соответствует одряхление и импотенция буржуазной философии, которая уже давно не в состоянии ни создать цельного мировоззрения, ни обслужить революционирующиеся естественные науки методом.

В 1931 г. исполнилось сто лет со дня смерти Гегеля. За целое столетие буржуазная философия не создала ничего крупного и по-настоящему ценного. Ге-

гель был лебединой песней философского идеализма, итогом его развития. Метафизике нанесен сокрушительный и в действительности смертельный удар. Последние сто лет она уже не живет, только влачит жалкое существование, длительно и нудно агонирует, испуская душливый чад, как догоревшая лампа.

Могла ли буржуазная философия, от старости впавшая в детство, помочь 16-летнему мальчику преодолеть его детскую болезнь—«аксиоматизм»? Нужно только так поставить вопрос, чтобы ответ был ясен сам собою.



Вернемся однако к 1 января 1907 г., к пожелтевшим сейчас от времени страницам моего дневника, тогда еще хрустяще новым и нарядным.

Поклажа сомнений и неразрешенных вопросов была как бы взвалена на телегу и в нее запряжен «аксиоматический» ослик. Сколько ни понукал своего осла, как ни истязал безжалостно, проку от того не было.

Какой же скарб был взвален на телегу? Присмотримся к нему.

Общий надлом в самих основах марксистского миропонимания (оставшегося, в сущности, непонятым) исходил из нескольких частных трещин и трещинок, из ряда конкретных вопросов, типичных для того времени, для моего классового происхождения, для моего тогдашнего уровня развития. Особенно додумал «экономический фактор».

Рассуждал я тогда примерно так: движущей пружиной истории мы считаем экономический фактор. Рабочее движение мы выводим из классового, то-есть опять-таки экономического интереса. Вот бастовали мои башмачники, боролись за свои интересы, за повышение расценки и добились успеха: заработная плата повышена на гривенник с пары. Здесь временное лишение себя заработка и связанный с забастовкой риск непосредственно оправдываются возможным выигрышем, и все остается в плане материальных интересов. Многих действительно интересует «прибавка» сама по себе. Но тех, кто всерьез вошел в ре-

волюционное движение и целиком отдается ему, тех уже гривенник, как таковой, перестает интересовать. Трагически погибший в борьбе с «союзниками» Соломончик тоже участвовал в забастовке, но отдал свою жизнь не из-за 10-копеечного интереса. Да разве один только Соломончик! Посмотреть на всю нашу молодую рать энтузиастов в тюрьмах и на этапах, в кандалах и на воле, — разве мы не горим высшим интересом, идеальной устремленностью? Разве ж не ясно, что для всех нас непосредственный материальный интерес сегодняшнего дня — только повод, только агитационный прием, чтобы раскатать инертную и малосознательную рабочую массу, а действительная причина нашей самозабвенной борьбы лежит выше, исходит из идеальных, не материальных побуждений?

Получался разрыв между гривенником и каторгой, кричащее несоответствие между мелким «интересом» и подлинно великой жертвой, обусловленной как будто единственно этим «интересом», и не мог я тогда примирить противоречие, оставаясь в пределах понятий «экономического фактора», «материалистического понимания», как наивно представлял его себе в ту пору. Не знал, как же вывести полностью все явления нашей героической революционной борьбы из одного только «сухого» экономического корня.

В пределах маленького, обыденного частного случая я видел соответствие и известную гармонию между индивидуальным рядом и общественным и легко объяснял переход от одного ряда к другому, но стоило поднять тот же факт на большую высоту, как оба плана становились несоизмеримыми.

Что отдельный человек может поступиться своими удобствами в интересах общества, которое на началах взаимности берет на себя заботу и об этом отдельном человеке, было и понятно, и естественно. Но что человек из-за одних только материальных побуждений добровольно и сознательно отдает свою физическую жизнь, я расценивал как героическое исключение, а не как общее правило. Целесообразность и смерть ка-

зались несоизмеримыми,—цена слишком высокой, слишком нерасчетливой, чтобы могли здесь люди руководствоваться одним лишь расчетом.

Человек, — думал я (несомненно под влиянием своих оппонентов народнического и анархистского толка), — многообразный комплекс, который только одной своей частью входит в систему общества. Как же может он — в порядке нормы — жертвовать собой целиком ради этой своей части? Как часть моего «я» может быть больше целого «я»?

Так же обстояло у меня дело и с другими противоположностями: физического и психического, бытия и сознания, база и надстройки. Известные параллелизм и взаимозависимость обоих рядов я видел, но выводить целиком все явления «высшего» ряда из «низшего» я не умел.

Бытие, казалось мне, не может определять сознание на все сто процентов. Бытие дает тему сознанию; бытие дает материал, которым оперирует сознание, сообщает ему тон. Для больших умов, для ярких характеров (Пестель, Рылеев, Перовская и другие), переросших условность своего бытия во времени и классе, и далее — для отдельных сфер сознания, для объективной науки и художественной мысли непосредственное бытие не может быть единственным и решающим на все сто процентов фактором.

Наблюдения окружающей жизни, история русской общественной мысли, история литературы и искусства давали множество фактов и явлений, которые в пылу полемики с эсерами и анархистами я насильственно впихивал в защищаемую схему, но, оставаясь наедине с самим собой, морщился от неувязок. Между индивидуальным и социальным рядами мне нехватало тогда посредствующего звена, а брать его напрокат из чужой области иррационального считал теоретически недобросовестным, но все же бессознательно прибегал конечно к этой самой недобросовестности. Получалась у меня вера наполовину — вот до этого, мол, предела. Моментами задумывался я над тем, что такое полуверие равносильно неверию.

Во всем этом ходе рассуждений, отнюдь не случайном и далеко не индивидуальном, отразилось многое. Не отразилось в нем только «малости» — диалектики. Это отсутствие диалектики чувствовалось в каждой постановке вопроса, в каждом повороте мысли. Беда не только в том, что теория факторов затесалась тут ни к селу, ни к городу и была навязана мне, повидимому, эсерами, что соотношение между общественным бытием и сознанием понималось упрощенно, вульгарно, что идеальные побуждения считались якобы «несогласуемыми» с марксизмом, что взаимоотношения между индивидуальным и общественным сознанием были поставлены на голову и т. д., и т. п. Дело не в тех или иных частных заблуждениях марксистски неподготовленного юнца, а в том, что сумма этих заблуждений и вульгарных извращений своим массообразным натиском производила мешанину в мыслях, «кашу», притом не в одной только моей голове, а в сознании обширного слоя подпольщиков, и привела в конечном результате, при «попутных ветрах» надвигающейся реакции, к тому внутреннему кризису марксизма, о котором писал в 1910 г. Ленин.

Конечно, «попутные ветры», влияние эпохи, классовые тяготения буржуазно-интеллигентской молодежи, воздействия обступавшей нас буржуазной культуры имели решающее значение для всего дальнейшего идейного развития. Но отсутствие диалектики в идейном обиходе революционной молодежи само по себе было весьма серьезным и достаточно самостоятельным «обстоятельством».

Если обратиться мысленно к одолевшей нас на исходе первых революционных лет (1905 — 6) «каше» и разобратся в ней, то обнаружится, что все рассуждения основывались на произвольно унаследованных и стихийно принятых от буржуазной философии законах формальной логики и метафизическом понимании причинности. Пресловутый «экономический фактор» рассматривался как «достаточное основание», которое непосредственно и автоматически, притом в каждом порознь взятом

случае, «определяет» сознание, притом даже не общественное, а индивидуальное. Более далеко идущие связи между материальными отношениями и общественным сознанием, более сложные пути взаимозависимости, разветвленные и противоречивые, и не чудились. Соотношение между индивидуальным и общественным сознанием мыслилось по образу части и целого в ярко выраженном метафизическом понимании. Категории свободы и необходимости понимались идеалистически: главенствовала свобода, а необходимость поставляла лишь материал свободной воле да «поводы» для деятельности. То же относится и к таким важнейшим категориям, как необходимость и случайность, форма и содержание и т. д.

С одной стороны, были перегибы в отношении материализма (механистического конечно), с другой — рабье преклонение перед идеализмом. Первое влекло за собой второе, — да когда ж это бывает иначе!

Понималось так: вот тебе причина, единая и категорическая, на все случаи жизни пригодная, а рядышком — следствие. И так как факты жизни в эту упрощенную схему не укладывались, то получался срыв. Явная невозможность справиться с задачей при помощи «материалистического» инструментария принуждала, хоть и бессознательно, работать ворованным идеалистическим инструментарием.

Можно ли, в самом деле, без диалектического понимания общего, частного, единичного или части и целого, или таких важнейших категорий, как свобода и необходимость, необходимость и случайность, форма и содержание, действительно понять весь комплекс вопросов общественного бытия и общественного сознания? Можно ли, действительно, в воспитательной работе с партийным молодняком обойти эти вопросы, понадеясь, что, мол, «вырастешь, Саша, узнаешь»? Можно ли наконец, из-за одних только дидактических трудностей обучения диалектике малоподготовленных слушателей, соскальживать на более простую и легкую дорожку механистического истолкования? Нет, нет и нет.



Нашей, моей и моих сверстников, бедою в старой школе и в революционном подполье было то, что все навыки мышления были нам привиты и воспитаны в духе формальной логики, меж тем как «в природе все совершается в конечном счете диалектически, а не метафизически» (Энгельс). Это коренное несоответствие навыков «взятия жизни» с самой жизнью приводило к интеллектуальному уродству, которое усугублялось классовыми воздействиями буржуазии, а впоследствии и собственным мелкобуржуазным классовым состоянием, искажило и извратило наше мировоззрение, толкнуло на многие политические ошибки.

Именно искривленность моего прошлого пути в результате непонимания и пренебрежения к диалектике побуждает меня особенно заострить внимание на вопросах диамата.

Диалектику надо сделать до конца продуманным и во всей конкретности понятым методом, научиться самим и научить других действительно применять на деле этот метод во всех областях знания, жизни, революционной борьбы.

Задача эта, если заняться ею всерьез, то-есть если придать ей подлинно массовый размах и в то же время не опуститься до вульгаризации, упрощенства и т. д., исключительно трудна.

Первая трудность, с которой придется здесь неизбежно встретиться, состоит в необходимости выдержать правильное соотношение между формальной логикой и диалектикой.

В истории развития мысли человечество шло от наивной диалектики древнегреческой философии через метафизику к развитой материалистической диалектике. В основном те же фазы пробегает умственное развитие отдельного человека. «Мы видим сперва общую картину, — писал Энгельс, — мы больше обращаем внимания на ход движения... чем на то, что именно движется». (Собр. соч., т. XIV, стр. 20). И то же у Ленина, в философских тетрадях, в «Плане диалектики (логики) Гегеля»: «Сперва мелькают впечатления, затем

выделяется нечто...» и т. д. (XII «Ленинский сборник», стр. 291).

Фиксирование внимания на этом «нечто», на «том, что движется», является неизбежным этапом в развитии мышления человечества в целом, а также отдельного человека. Это изолирование предмета в потоке движения, отрыв его от системы связей и представляет собой метафизический способ рассмотрения. Если человек ограничивается метафизикой и на ней застывает, он этим самым лишает себя возможности возвыситься до зрелого и развитого диалектического мировоззрения. Но чтоб достигнуть высот развитого диалектического мировоззрения, а не впасть в XX веке в наивную диалектику древних греков, необходимо овладеть метафизикой и в опосредствованном виде включить ее в свой умственный обиход.

На эту сторону дела и указывал Ленин, когда писал:

«Логика формальная, которой ограничиваются в школах (и должны ограничиваться — с поправками — для низших классов школы), берет формальные определения, руководствуясь тем, что обычно или что чаще всего бросается в глаза, и ограничивается этим... Логика диалектическая требует того, чтобы мы шли дальше...» (Курсив мой. — И. Л.).

Этому указанию Ленина вполне соответствует гегелевское определение рассудка как первой формы логического.

«Мы должны также признать, — писал Гегель, — право и заслугу чисто рассудочного мышления, состоящие вообще в том, что как в теоретической, так и в практической области нельзя достигнуть твердости и определенности без помощи рассудка... Для действования требуется главным образом характер, а человек с характером — это рассудительный человек, который, как таковой, имеет перед собой определенную цель и твердо ее преследует... Дальше следует сказать, что рассудок есть вообще существенный момент образования. Образованный человек не удовлетворяется туманным и неопределенным, а схватывает предметы в их четкой определенности; необразо-

ванный же, напротив, неуверенно шагает туда и обратно, и часто приходится употреблять немало труда, чтоб договориться с таким человеком, о чем же идет речь, и заставить его неизменно держаться именно этого определенного пункта». («Энциклопедия», т. I, § 80)

Совершенно ясно, что при воспитании мышления мало подготовленных людей (а равно и школьников низших классов), не овладевших еще четкими и определенными понятиями и неспособных «держаться определенного пункта», необходимо на первых порах помочь им усвоить формальную логику, лишь постепенно вводя диалектику — по мере перехода от твердых тел к процессам и по мере того, как уровень развития учащихся позволяет им, под руководством воспитателя, преодолеть абстрактное «или—или».

Вторая и более серьезная трудность — это трудность дидактическая. Как найти нужные слова, доступные и простые, где найти нужные конкретные примеры, достаточно разносторонние и обильные, чтобы действительно довести сложную все-таки материю диалектики «до станка»?

Ленин во всех своих сочинениях и выступлениях неустанно подчеркивал важность воспитательной работы именно в духе диалектики, а в философских своих тетрадях дал конкретные образцы того, как можно и должно на любом простейшем примере разъяснить теорию познания марксизма — диалектику.

Свою мысль Ленин пояснял так (см. XII «Ленинский сборник», стр. 323 — 325):

«Начать с самого простого, обычного, массовидного, с предложения *любого*: листья дерева зелены; Иван есть человек; Жучка есть собака и т. п. Уже здесь (как гениально заметил Гегель) есть диалектика: отдельное есть общее... Уже здесь есть элементы, зачатки понятия необходимости, объективной связи природы. Случайное и необходимое, явление и сущность имеются уже здесь... В любом предложении можно (и должно), как в ячейке («клеточке»), вскрыть зачатки всех элементов диалектики, показав, таким

образом, что всему познанию человека вообще свойственна диалектика. А естествознание показывает нам (и опять-таки это надо показать на любом простейшем примере) объективную природу в тех же ее качествах, превращение отдельного в общее, случайного в необходимое, переходы, переливы, взаимную связь противоположностей».

Двадцать лет прошло с тех пор, как Ленин писал эти строки, но и по сей день его указания и советы не проведены по-настоящему в жизнь, не применены как следует на деле. Мы и по сей день не имеем даже действительно общедоступного учебника или пособия по диалектике. Та учебная литература по диалектике, которой мы располагаем, либо недостаточно приспособлена к уровню развития широких масс, либо в интересах популяризации смазывает важнейшие категории диалектики и сама лишена диалектического нерва, либо наконец ограничивается хрестоматийным материалом из сочинений основоположников марксизма-ленинизма. Можно еще найти удовлетворительный и доступный учебник по политграмоте, но не по диалектике. И того хуже обстоит дело по части диалектики с другими учебниками по школьным предметам и с самим преподаванием этих предметов. Повсеместно в наших учебных заведениях проходят диамат, как обособленную дисциплину, но нет того, чтобы диалектика всерьез пронизывала всю преподавательскую работу и проходила красной нитью через все дисциплины.

Одно дело, не зная толком ни медицины, ни диалектики, скороспело изобретать диалектическую медицину или медицинскую диалектику и нагромоздить горы невежественных глупостей по сему предмету (на это справедливо указывал тов. Стецкий в своей статье об упрощенстве), и совсем другое — преподавать в школах естественные науки, физику, химию, математику и т. д. так, чтобы не упускать ни одного удобного случая для иллюстрации и акцентирования того положения, что «в природе все совершается в конечном счете диалектически». Инициатива в этом деле преподавателя.

хорошо подготовленного и сведущего как в диалектике, так и в своем предмете, заслуживала бы только всяческого поощрения. На первых порах впрочем есть в данной области непочатый край работы по освоению уже наличного материала. Было бы вполне достаточно на первых порах, если бы был широко и правильно использован на нужном месте и в нужный момент богатейший иллюстративный материал по диалектике природы, рассеянный на тысячах страниц Энгельса и Гегеля, Ленина и Плеханова, в богатейшей переписке Маркса и Энгельса. Особенно ценны в этом отношении фрагменты Энгельса «Диалектика природы» и философские тетради Ленина.

Разве невозможно например при преподавании уже элементарной геометрии (в частности когда обучение доходит до вписанного в круг многоугольника и метода пределов) акцентировать переход прямой линии в кривую и тут же на месте ознакомить с некоторыми основными принципами диалектики, показать грань между формальной и диалектической логикой? Разве нельзя при преподавании элементарной алгебры (в частности, когда дело доходит до умножения отрицательных величин) разъяснить, что такое отрицание отрицания? В курсе элементарной физики учащийся знакомится с твердыми, жидкими и газообразными телами, с изменениями в агрегатном состоянии тел и взаимными переходами из одного состояния в другое, с механическим действием и противодействием, с теплотой, электричеством, гальванизмом, магнетизмом и т. д., — это ли не отличный повод для того, чтобы тут же на месте и попутно (не откладывая дела до особого занятия по диамату) сам преподаватель физики прочел развернутую лекцию по диалектике, подкрепляя свои слова показом и опытом! Что уж говорить о химии, где каждый опыт есть подлинное воплощение диалектики! Для иллюстрации перехода количества в качество особенного внимания заслуживают гомологические ряды углеродистых соединений, на что неоднократно указывал Энгельс. В элементарном курсе естествознания

школьник знакомится с процессом прораствания зерна, с превращением бабочки, с принципом развития, — как тут миновать диалектики. Даже в геологии можно найти немало образцов применения законов диалектики. Гегель указывал, что и скала имеет меру, Энгельса подчеркивал в геологии процессы изменчивости: ряд последовательных разрушений старых и отложений новых горных формаций; Ленин в своем конспекте «Наука логики» писал: «Эволюция и камня» — то-есть даже камень, и тот имеет свою эволюцию. Что касается преподавания грамматики и родного языка, то Гегель называл язык «телом мышления», а Ленин особо отмечал связь грамматики с логикой и требовал разъяснения законов диалектики на разборе простейших грамматических предположений: «Иван есть человек» и т. д.

Не упоминаю здесь обществоведения и истории, потому что с преподаванием этих наук, непосредственно примыкающих к истмату и диамату, дело обстоит относительно благополучно.

Пронизать все школьное преподавание сверху донизу диалектикой, провести широкую кампанию ликбеза в отношении диалектики—задача трудная, но не неразрешимая. Она была непосильна в условиях подполья, но не сейчас, в СССР. Где же еще разрешать такую задачу, как не в стране социализма, строящегося по принципу диамата! И когда еще в другое время разрешать такую задачу, как не в годы культурной революции. Я вовсе не хочу сказать, что в отношении пропаганды диамата и соответственной перестройки школьного обучения у нас ничего не сделано или не делается. Но кто же станет отрицать, что все это делается пока недостаточно, что годы культурной революции требуют новых, дополнительных усилий для подема пропаганды на высшую ступень, что пришла пора для широкой кампании ликбеза в отношении диалектики?

Все дело упирается в отсутствие соответственно подготовленных преподавательских кадров и в отсутствие вполне удовлетворительных, по-новому построенных методических и учебных пособий. То и другое может и должно быть со-

здано. Ясно однако, что ни вооруженные серьезным знанием диалектики кадры, ни качественно повышенные пособия не явятся экспромтом, по щучьему велению. Соответственная переподготовка старых кадров и подготовка новых требует времени. Составление новых учебников и пособий по основным научным дисциплинам, где изложение предмета будет перемежаться с органически переплетаться с курсами живой диалектики, требует многократных, повторных опытов и длительной работы широкого коллектива участников разной специальности: философов, естественников, математиков, физиков, химиков, педагогов и еще раз педагогов. Бесспорно сложная и трудная, но крайне нужная работа эта¹⁾ под руководством партии может быть выполнена. «Нет тех крепостей, которых не могли бы взять большевики» (Сталин).

Революционная диалектика — наилучшее профилактическое средство против оппортунизма, уклонов, идейных травм на крутом повороте эпох. Этим средством я не был защищен ни в начале 1907 г., ни двадцать лет спустя. Первое, за что я ухватился взамен отсутствующей диалектики в 1907 г., была аксиома. Я задумал перенесение математических принципов во все области знания и ранее всего — в обществоведение. Под этим углом зрения должны были подвергнуться генеральному пересмотру и опробованию орудия познания—понятия.

Не подозревал я тогда, что такое опробование уже было задумано и по-своему проведено не кем иным, как Кантом, и что этот опыт нашел уже убийственную по сарказму оценку со стороны Гегеля:

«Одна из главных точек зрения критической философии, — писал Гегель в примечании к § 10 первого тома «Энциклопедии», — состоит в том, что

¹⁾ Я не останавливаюсь здесь на формах внешкольной работы по ликвидации теоретической безграмотности, так как это сильно отвлекло бы от темы книги.

прежде чем приступить к познанию бога, сущности вещей и т. д., должно подвергнуть исследованию самое способность познания, чтобы убедиться, может ли она нам дать познание этих предметов, следует-де познакомиться с инструментом раньше, чем предпринимать работу, которая должна быть выполнена посредством него; если этот инструмент неудовлетворителен, то будет напрасен потраченный труд». Эта мысль казалась такой убедительной, что она вызвала величайшее восхищение, и все с нею соглашались, так что познание, отвлекшись от своего интереса к предметам и перестав заниматься ими, обратилось к самому себе, к формальной стороне. Если однако не обманывать себя словами, то легко увидеть, что, в то время как другие инструменты могут быть исследованы и оценены иным способом, чем посредством выполнения той работы, для которой они предназначены, исследование познания возможно только в процессе познания, и рассмотреть так называемый инструмент знания значит не что иное, как познавать его. Но желать познавать до того, как познаем, так же несуразно, как мудрое намерение того схоластика, который хотел научиться плавать прежде, чем броситься в воду.

Вот именно этого я и хотел, взнуздав своего «аксиоматического» ослика. «Раньше чем пуститься определенно по какой-нибудь тропинке, — фигурально писал я в своем дневнике, — надо изучить общее направление тропинок... Раньше чем задать себе известную теорему для конкретного ее решения, она (математика) дает нам абстрактные истины, аксиомы... Так же должны действовать и мы».

Я задумал решать вопросы теории вне практики и в отрыве от нее и был так упоен своим замыслом, что самодовольно прибавлял: «Вот дело, в действительной продуктивности которого не может быть сомнений».

Но не подлежит сомнению совсем иное Бегство в кусты теории от практики означало в действительности бесознательное еще тогда приготовление

к отходу от революционной борьбы. Это заблаговременно подготовлялась «философия оправдания зла», самоублажающая проповедь квиэтизма — в целях-де высших интересов теории. Подобно тому схоластику, я задумал научиться плавать, прежде чем бросаться в воду. Так предвестия реакции нашептывали невнятную еще для сознания мысль выйти сухим из воды. Говорилось и писалось при этом, разумеется, вовсе о другом.

Я усердно скакал на своем «аксиоматическом» ослике навстречу... реакции.

6. Превращения тюремной салфетки

Впервые увидел я реакцию в тюрьме, в революционном кругу, в образе... белой салфетки. Нас было в камере человек тридцать. Это был своего рода Ноев ковчег: тут были и большевики, и меньшевики, и эсеры, и анархисты всевозможных толков, и бундовцы, и поапей-дион. Вдоль стен — «усовершенствованные» нары, койки военного-походного типа, опускавшиеся на ночь, а в течение дня поднятые кверху и прикрепленные к стене. Камера была большая, мебели почти никакой, и поэтому с утра, как только подымались койки дыбом, можно было хорошо наблюдать товарищей — всех вместе и каждого порознь: тут уж упрятаться некуда. А когда слышишь и видишь людей в такой обстановке день за днем, их манеру говорить и слушать, их привычки, вкусы, их времяпрепровождение, то узнаешь, может быть, интимней, чем следовало. Кормили нас ниже умеренного, зато свидания бывали сравнительно часты, и вот жили от кормежки к кормежке и от свидания к свиданию. Свидания озаряли день, а приносившиеся с воли узелки со всеческой едой были подкреплением к скудному столу и приятным баловством. Приносили далеко не всем, но это не составляло разницы, так как «счастливчик» обычно делился со своими соседями, «чем воля послала».

В первые же дни мне бросилась в глаза в нашей камере небольшая группка своеобразной тюремной аристократии. Эти были приодеты понарядней. Косо-

воротка на них была как будто та же, что и на всех, стандартная в нашем кругу, но она была из лучшего материала, расшитая, свежее разглаженная. Постельное белье у них менялось часто, было оно белоснежное, на подушке — фамильные меточки, потом «думки», пушистые пледы и прочее. Еду приносили им с воли в хрустящих накрахмаленных салфетках, были тут всякие деликатесы — икра, сардины, ветчина, курятина, печенья, сласти. К завтракам и ужинам «аристократы» готовились с большой торжественностью: расстилали салфетку, расставляли дары, рассаживались в художественном беспорядке — что тебе пикник! Делалось это громко, весело, сангвинично, на виду у всей полуголой камеры. Наблюдал товарищей. Они, потупившись, смотрели в разные стороны, делали безразличный вид. Кто-то запел: «Голодай, чтоб они пиروвали», но тут же у глазка камеры объявился тюремный надзиратель, залазгали ключи, и товарища оборвали.

«Аристократы» интересовали меня все больше и больше. Я выяснил, что даяния с воли шлют им не только родные, но и наши городские либералы, сочувствующие революционному движению. Назывались имена крупного хирурга К., нескольких просвещенных купцов, директора банкирского дома Д., настроенного, как мне сказали, «вполне социал-демократически» и даже арестованного было на несколько дней.

Из числа «аристократов» запомнились мне двое. Один из них, Л., был членом нашей организации. «Встав потру и поплескав на личность небрежно рукой», он принимался с превеликим усердием за обработку своей шевелюры. Работы была поистине кропотливая — расчесать и «координировать» густой и свалявшийся рыжеватый ком, волосок к волоску, да еще таким плевным инструментом, как редкий гребень, платяная щетка и... поплеванные пальцы. Над работой своей Л. усердно сидел перед зеркалом долгими часами. Не обижайся на меня, товарищ Л.; если ты существуешь еще где-нибудь на земле, откликнись! Я делаю тебе комплимент, рассказываю о твоей рыжеватой шеве-

люре, — теперь ты, поди, уж лыс и сед...

Другой из этой группы уже умер, и его можно назвать полным именем — С. С. Раецкий, впоследствии крупный работник печати, редактор московского «Утра России» (орган Рябушинского). Как видно уж из самих инициалов, С. Раецкий был эсером, главным образом в молодости, хотя после революции, будучи директором Петроградского телеграфного агентства при Керенском, а затем одним из редакторов «Возрождения» и Сына отечества» в Москве, попрежнему считал себя эсером. С. С. был колоритной фигурой. Выше среднего роста, широкой кости, с черной курчавой шевелюрой, с крупными чертами толстого, рыхлого, бабьего лица, с большими чуть-чуть косящими глазами, с красным цветком в петлице, он был по своему «представителем». Ораторские выступления Раецкого в молодости были театральны: он любил широкий жест и яркий образ. В те годы С. С. часто выступал с речами в легальных местах — на общих собраниях публичной библиотеки, в разных культурных обществах и прочее. Речи его казались либералам революционными, революционерам — либеральными. И по содержанию, и по форме, барственно сдержанной и округлой, речи эти были мягче, чем митинговые, и резче, чем банкетные. Был в них свой словарь, по провинциальным понятиям того времени — изысканный, были излюбленные обороты и словечки (особенно запомнилось новое для меня тогда слово «кадры»), цветистость языка шла прямехонько из толстых журналов и больших петербургских либеральных газет. От речей таких млели околопартийные барышни (назывались они тогда в партийном обиходе «девицами»); одобрительно покачивали головами барыньки, жены врачей, адвокатов, инженеров, образованных торговцев. Это был переход от митинга к банкету, и даже подбородки у молодых барынек были переходные: они еще не заплыли в жире, а лишь начинали обволакиваться жировой прослойкой.

Вскоре пошли выборы в первую государственную думу, созыв думы, речи

либеральных «народных трибунов», ведренные дни для партии «народной свободы» (сиречь кадетов). Над Россией всплыл образ председателя первой думы, Муромцева. С открытым лицом, прямым и искренним взглядом, холеной профессорской бородой, он казался «Аристидом наших дней». Ах, вы не знаете, как нервничали в нашем биржевом комитете, когда разогнали думу и народные избранники опубликовали «героическое» выборгское воззвание.

Шли банкеты — в биржевом комитете, в городском клубе, в разных культурных обществах. Обильные возлияния вин и почти столь же обильные словесные излияния. Были свои златоусты, бородатые и богатые, но были тут и молодые, бритые, выходящие в свет.

Шли банкеты и наряду с этим — идейно-политическое сращение смежных поколений в рядах буржуазии и буржуазной интеллигенции. Наиболее молодые из старшего поколения и старшие из молодого поколения оказались заодно. Первые «повелели» (считалось, что у нас уже представительный строй, не хуже, чем в Европе, профессора и промышленники ходили в кадетках, либерализм и словесное фрондирование стали модой, признаком хорошего тона), а вторые стали все больше отходить от подпольной партийной работы, все сильнее втягиваться в русло «легальных возможностей» и оппортунистического примиренчества, то-есть изо дня в день правели. Так облегчалось возвращение вчерашних революционных протестантов в отчий дом буржуазии.

Накрахмаленная салфетка моих тюремных «аристократов» превратилась в дюжину скатертей, тюремный табурет — в столы, расставленные покоем, тюремный «пикник» — в банкет. Здесь встретились тюремные «аристократы» и их покровители с воли, уже на общей «платформе» и за общим столом.

В сих идейных сдвигах не следует преуменьшать роль женщины, — того требует справедливость и добросовестное отношение к фактам. До поры до времени околопартийные «девицы» (главным образом гимназистки старших классов) не были помехой в подпольной

работе юношей. Увлекались революцией без различия пола. «Девицы» были только несколько пассивнее нашего в работе: рвать с отчим домом им было труднее, бросать учебу — опаснее, орабочиваться — и того труднее и опасней. Но и они вносили свою лепту, чем могли: носили под гимназическими фартуками прокламации, «Искру», нелегальные брошюры, хранили в потайниках типографский шрифт, вальки, гектографы, бегали на собрания и массовки, участвовали в кружках.

Были у нас в подполье заводские рабочие, рабочие типографий, мастеровских — все мужчины; работницы составляли крайне редкое исключение. Женский персонал в нашем кругу состоял почти исключительно из учащих. В кружках, на массовках, на лодках, на бульварах и скверах романы возникали стихийно, самопроизвольно. Разговоры протекали примерно в таком конспекте: о занятиях в кружке (Богданов, Каутский, Плеханов, Маркс), о роли пролетариата, о социализме, о смысле жизни, о любви. Парни умствовали, ораторствовали, хвастали, показывали свое молодечество, пели, «красиво» говорили о любви. Сколько было в той среде провинциальных краснобаев, разглагольствовавших о «красном цветке любви»! Пресловутый «красный цветок» рос рядом с красным знаменем.

Немало было романов легких, флиртовых, закипавших пеной и тут же выдыхавшихся, но часто «цветок» пускал глубокие корни, и тут возникал миллион терзаний. Девицы были в полной зависимости от буржуазных своих папаш и мамаш, а те и слышать не хотели о «шелопаях». Сами же «шелопай», весьма хитрые на словах, были довольно-таки беспомощны. «Звать на жизнь» своих возлюбленных им было некуда. Недоучки, от одного берега отставшие и к другому не приставшие, они имели выбор: либо поставить крест на романтических своих увлечениях и стать профессионалами-революционерами, либо закончить учебу, пристроиться в жизни. Большинство сделало выбор в пользу последнего — со всей постепенностью переходов, со всеми «необходимыми»,

то-есть излишними, оговорками. По существу, «свободный выбор» этот был предопределен классовым происхождением действующих лиц, экономикой и эпохой — спадом революционной волны. Красное знамя было побеждено «красным цветком», а самый цветок этот линял, чем дальше, тем больше, переходя в розоватые и голубые цвета мещанской оседлости и благополучия.

За учёбу парни взялись ревностно. Пошло поветрие экстерничества. Работали спешно, чтоб наверстать упущенное. Математика, словесность, латынь проглатывались порциями несоразмерными. Оказалось, что перерыв в учёбе пошел даже впрок. На подпольной работе юноши развились, выросли, «предметы» осваивались легче и осмысленней. Моим учителем, помню, был тов. С. Брон, впоследствии торгпред в Лондоне. В один приём он излагал мне целый раздел математики, физики; потом дома я несколько раз перечитывал по учебнику «Теплоту» или «Свет» или прогрессии с относящимися сюда формулами, решал кряду все без пропусков задачи по Шапошникову и Вальцеву. Так в течение двух недель были пройдены алгебра за последние четыре класса гимназии; такими же темпами — физика, стереометрия, тригонометрия. Особенно легко писались «сочинения»: Каутский и Плеханов оказали свое действие. Революционное прошлое в виде следа оставило розоватую окраску гимназических «сочинений». Примерно так же обстояли дела и у других товарищей: в самой учёбе была уже зрелость, и аттестат наверстывался в кратчайшие сроки.

А потом — кто поехал в столицы для университетской учёбы, кто сменил шаткий промысел репетиторства на более стабильную службу. В частности я получил службу на Федоровских сахарных заводах по протекции моей сестры, обратившейся к сыну того самого Ф., у которого служил в свое время мой отец. Молодой Ф. был в это время уже магистром юридических наук, директо-

ром Московского международного коммерческого банка, сахарозаводчиком и, как водится, либеральным общественным деятелем; моей сестре он сказал: «Хорошо, если у него не ультра-р-революционный вид». И менялся внешний вид, у меня, как и у всех других. С годами менялись последовательно косоворотка — на тужурку, тужурка — на костюм «с цивилизацией»: крахмальный воротник, галстук. Тошно было видеть все эти быстрые превращения с молодыми людьми, вчерашними подпольщиками. Крахмальный хомут «цивилизации» сдавливал шею, как петля ренегатства, но это превращение было еще не самым худшим.

Объявился у всех неожиданный карьеризм. Вперегонку и с ловкостью акробатов взбирались вверх по общественной лестнице. В этом деле, как и в учёбе, подпольный опыт оказал неоценимые услуги. Шлифовка ума на Марксе и в непрерывных дискуссиях, навыки подпольной организаторской работы внутренне обогатили людей. Когда-то была у нас в ходу шутливая загадка: «Какие деньги не дают богатства и какой капитал не приносит процентов?» Отгадка была: «Деньги» Золя и «Капитал» Маркса, но проверка на практике показала, что отгадка та — ложная. Именно марксов «Капитал» принес проценты. Проценты от бывшего марксизма успешно вкладывались в дело личной буржуазной карьеры. Тут продолжалась метаморфоза, и являлись на свет новые наращенные проценты, обогащавшие уже не внутренне, а внешне.

В прозе это выглядело все до последней степени убого. Бывший социал-демократ Икс влюбился в жену богатого хлебного экспортера такого-то, и, как говорили тогда, «отбил» у него жену; с детьми и деньгами она переселилась к бывшему социал-демократу. На те деньги он стал издавать газету, в которой работал вдвоем с женой до изнеможения по правилу — и швец, и жнец, и в дуду игрец. Когда подходили платежи, в ломбард сносились ценности жены. Бился человек, вертелся, пока не увертел большого дела, газеты и типографии; потом уж не работал — на него

работали другие, а он коммерцовал, комбинировал, спекулировал, — расширил типографию, к ней присоединил другие предприятия, потом дома, потом огромные склады бумаги на весь край. Стал богачом, влиял на общественность, поставил в зависимость от себя столпов города, достиг «зенита славы и добра». Кто скажет, какую часть его реального богатства надо отнести за счет умственного развития и обогащения марксизмом, столь ловко утилизированного в соответствии с духом времени.

Другой случай Рабочий, наборщик, член нашей «централки», женился на работнице. Вскоре он был назначен старшим наборщиком и уже больше администрировал, чем работал, а жена — швея — бросила работу в чужой мастерской, сама стала выполнять заказы; заказов объявилось так много, что пришлось открыть мастерскую и привлечь работниц, с месяца на месяц все больше и больше. А тут муж, старший наборщик, вступил в компанию с двумя печатниками, купил складчину и в кредит печатную машину, «американку», шрифты, создали свое небольшое дело, бегали по заказам, округлялись, полнели; тела обрастали жиром, дома — мягкой мебелью, комфортом, уютом и всякими такими штучками.

Что уж говорить о маменькиных сынках, которых долгими годами обучали в университетах, посылая им на жизнь, утех и баловство сотни рублей, а потом «пристраивали», выводили в люди. Может ли бывший красный эсер, — собственно, почему «бывший»? скажем точнее: сущий эсер и бывший подпольщик, — может ли он жениться по расчету и — о, ужас! — взять приданое. Конечно нет! Но ведь он же ее любил, и она его тоже любила, и они оба друг друга любили. И потом почему это называть обязательно приданым? Просто папа Нюрочкин должен же позаботиться о своих детях. Ее муж, начинающий юрист, еще не имеет практики, он только-что кончил университет. Но смешно! «Практика» будет — и в самом скором времени. Ведь у него — ораторский талант. Как выступал он несколько лет назад на массовках перед рабочими:

«Железная рука пролетариата, крестьянства и трудовой интеллигенции ударит по воротам самодержавия, и вековые ворота рухнут под напором триединой силы!» А выступления на студенческих сходках! Только третьего дня молодой юрист выступил на банкете в городском клубе. Какое всеобщее одобрение, какой успех! Муж Нюрочки — прирожденный оратор, и «практика» конечно будет. Потом после речи все жали руку, подошел Нюрочкин дядя, он служил главным юрисконсультком на судостроительных заводах (такой почтенный господин с седеющей бородой, вполне прогрессивных взглядов), так он подошел, отвел в сторону и сказал: «Молодой человек, вам обеспечен успех. Вы человек с общественной жилкой, вам нужна совсем особенная работа. Я переговорю с председателем биржевого комитета и надеюсь, что для вас найдется дело, вполне соответствующее вашим склонностям». И после этого говорить о женитьбе по расчету, о грязном приданном! Нет, до чего только доходит эта жалкая демагогия, помноженная на провинциальную сплетню.

Какие тут сомнения!

Не было расчета, и не было приданого. «Не было леса, и не было медведей». Были только Нюрочка, ее папа, ее дядя, банкет и неудержимый ораторский талант молодого помощника присяжного поверенного. «В борьбе обретишь ты право свое!»

И еще журналист из бывших тюремных «аристократов» (о нем уж была у нас речь). Феерически быстро получил он аттестат зрелости и студенческий околышек Московского университета. Затем журналистская работа. «Красный цветок любви» уступил место рецензиям об андреевских «Черных масках», революционные «кадры» сменились либеральным «резвым голосом деловых людей и всей русской общественности». Еще бы не «деловые» — если промышленники, крупные заводчики; еще бы не «русская общественность» — если само московское купечество. Лестница карьеры была пройдена вверх рысью, скачками, через три ступеньки на четвертую. И вот открыты возможности столоначаль-

ника «шестой державы». еще площадкой выше — министра, то-есть главного редактора центральной газеты, директора центрального телеграфного агентства.

Чем был крупный журналист петербургской и московской печати? Мне придется еще порассказать о «пропперовых детях», о «биржевых» душах. Предоставьте мне краткосрочный кредит, поверьте пока на слово: это были лакеи буржуазии в полном и точном смысле слова. Лакеи — как «человеки» в палкинском ресторане, во фраках и с белой салфеткой подмышкой. Вот оно — последнее превращение тюремной салфетки, самое ренегатское и позорное!

7. Я — я?

Молодые проделывали свой цикл превращений с быстротой поразительной. Вместе с эпохой менялись условия жизни и быта молодежи и, ранее всего, материальные отношения, менялись круг друзей и книг, навыки, интересы, внешний вид — все менялось. От прежнего оставалось разве лишь одно воспоминание. Оставалось ли и оно подлинно?

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего
Мы, дети страшных лет России,
Забыть не в силах ничего..

В этих строках Блока — только часть правды. Правда в том, что нашему современнику есть о чем вспомнить, но правда также и то, что никто не умел столь стихийно и бесповоротно забывать, как именно «дети страшных лет России». Если б не забывать, если б всегда горящим зевом была раскрыта память и всегда лилась струя прошлого, все, что в ней смешано и запечатлено — и горение, и страсти, и кровь, и гной, и смрад, — то физически не могло бы быть настоящего: мы сгорели бы на том огне, захлебнулись теми кровью и гноем, задохнулись тем смрадом. Жить можно только благодаря спасительному забыванию.

Тут работает сортировочная машина sui generis. Из прошлого она отбирает и пропускает в настоящее только то, что сейчас нужно и полезно для действия.

Там, где идут быстрые превращения человека, и сегодняшнее действие противоречит вчерашнему, память о прошлом становится бесполезной и даже вредной. Уже не полной струей льется прошлое, а едва просачивается скуными каплями.

Так буржуазная интеллигентская молодежь, недавняя участница революционного подполья, в годы реакции не сохранила от прошлого ничего, даже памяти, той действенной памяти, которая не исчерпывается головным воспоминанием образов, а запечатлена и в горении глаз, и в теле, — в облике и в навыках.

Покажу это на своем примере: знать такое можно лучше и полнее всего из внутреннего своего опыта.

Когда в 1908 г. мне опостылела ссылка и я нелегально вернулся в родной город, опять потянуло к башмачникам. Я не собирался работать попрежнему в мастерской — к тому времени уже с головой ушел в учёбу. Не собирался вести и политической работы. Спрашивал себя: «Почему?» И отвечал с внутренним раздражением: «Да хотя бы уж просто потому, что я здесь нелегален; только начну работу — засыплюсь сам и провалю товарищей». Было ли это в действительности так «просто»? Если б я продолжал допрашивать себя... Но этого-то как-раз я и не хотел. Уж первое «почему» было не по душе мне, и я поспешно успокаивал себя ответом, по внешности правдивым и благовидным перед своей совестью, — ссылкой на объективные причины. Но если б тем не менее продолжал допрашивать себя, то практически это все-таки не изменило бы дела. На вопрос: «Почему же ты вернулся именно туда, где политически работать невозможно?», я ответил бы с обидой: «Я не потому выбрал это место, чтоб облегчить себе отход от партийной работы, чтоб увильнуть от нее, а просто потому (опять «просто»!), что здесь живет моя любимая девушка, здесь мне легче всего жить и учиться, найти заработок «уроками», меня все знают, и я всех знаю: «На родине и стены помогают». На вопрос, почему учёба и личная жизнь ставятся впереди партийной работы, я ответил бы: «Нельзя руководить движением и обучать массы

(а именно такова роль профессионала-революционера), оставаясь самому неучем; нельзя отстаивать свое партийное знамя от идейных нападений смежных революционных партий и групп без твердой уверенности в полной правоте именно своей группы. Между тем во мне сейчас далеко нет этой уверенности, а прояснить свои сомнения можно только учёбой. Я еще молод, года мои — школьные, да и время сейчас глухое. Когда же еще учиться, если не смолоду и не в периоды общественного упадка! А личная, интимная моя жизнь остается при мне — до этого никому нет дела». И сколько бы ни было новых вопросов, на них находились бы новые ответы — обиженные, резонные, гневные, все объяснялось бы «просто», и всегда я выходил бы прав перед самим собою.

Я видел внешние изменения («изменившиеся обстоятельства»), но не замечал происходивших во мне самом изодня в день внутренних изменений, как не видим мы «белого» цвета воздуха, через который смотрим и которым дышим.

Мне казалось, что в 1904, 1906 и 1908 г. я оставался все одним и тем же, равным самому себе. «Я»=«я», как в логике $A=A$. К жизни применялся логический закон тождества, разве только с поправкой на рост: настояще «я» равно прошлому «я» плюс развитие за истекшие годы. Видел плюсы, не замечал минусов и принципиально качественных изменений и более всего не отдавал себе отчета в источниках этих изменений. Что радикально изменилась общественно-политическая обстановка и революционный период сменился реакционным, я оспаривать конечно не мог. Но это воспринималось как одно только изменение в политической обстановке, как факт, исключительно вне меня лежащий и по отношению к самой моей личности нейтральный. Эпоха — сама по себе, а я — сам по себе. Казалось: самое худшее, что эпоха в состоянии проделать со мной, — это воздействовать на мою внешнюю историю в худую сторону, навязать новые тяжелые «обстоятельства». Но разве она в состоянии изменить что-либо в моей независимой лич-

ности, свободной в своем выборе? Это звучало «ужасно» гордо. Как мог я поверить тогда, что эпоха проникает сквозь «непроницаемую» оболочку моего «замкнутого» внутреннего мирка? Что проникает она, собственно, безо всякого труда, с полнейшим пренебрежением к моей индивидуальной отменченности перед самим собою, «лезет», как к себе домой, — какая наглость! Ни за что не поверил бы я тогда, что эпоха реакций и упадочничества заражает меня своими токсинами, изгибает по своей кривизне, напечатлеивает свой «образ и подобие».

И если бы нашлась «добрая душа», которая крикнула бы мне:

«Слепой! Ведь это чистейший идеализм — думать, будто сознание независимо от бытия. Посмотри, что это проклятое время делает с людьми вокруг тебя. Или ты имеешь основание верить в свою исключительность?» —

то крик сей, может быть, облегчил бы «добрую душу», но дела не поправил бы нисколько.

Никаких изменений в себе я не обнаруживал, кроме роста. От гниlostных воздействий того времени считал себя свободным, к модным тогда умонастроениям (эстетизм, эротизм, индивидуализм) относился резко отрицательно, мнил о себе, что подготавливаю к великому пересмотру социальных учений и идеологий сообразно принципам математики (см. главу «Оседлав аксиому»), твердо помнил, что решение о таком пересмотре созрело во мне еще в 1906 г., то-есть в период подъема, — причем же тут «пагуба эпохи»?

«Моя мысль, — ответил бы я, — независима от воздействий эпохи и развивается по своим внутренним имманентным законам, а что годы моего роста совпадают с годами реакции, это — простите! — факт календарный, а не идейный. Разве лучшие представители интеллигенции, начиная с декабристов, вот уж почти целое столетие, не занимались единственно тем, что преодолевали условность своего времени и своего класса, отрицали свою эпоху и свергали свой класс? А Плеханов, а Ленин, а все вожди революционного движения? Почему же равняться мне по

худшим, а не по лучшему? Три-четыре года назад я сам ушел от своего класса в революционное подполье, освободился от влияния «эпохи», — или семья, отец в моей жизни не были целой эпохой? Независимость мысли отдельных передовых людей от условности времени и класса является лишь исключением, подтверждающим общее правило, но это исключение распространяется на многих и многих представителей передовой интеллигенции, а отнюдь не только личная моя привилегия. У меня нет решительно никаких оснований считать, что раньше я умел преодолевать условность времени и класса, а вот именно сейчас разучился, что вот до такого-то момента я мог равняться с лучшими, а вот с такого-то стал худшим. Когда же началась этот момент, где проходит таинственная черта — в тюрьме, ссылке или еще где? А я ведь только-только вернулся из ссылки, еще «свеженький», да и вернулся-то нелегально. Или же я был хорош, пока проводил забастовки и неучем обучал других, а теперь вот, когда сам стал учиться, с тем, чтобы через некоторое время обучать других лучше и осмысленнее, сразу же и оплошал, заравился скверной? Изменения, которые под влиянием проклятой эпохи происходят с большинством людей вокруг меня, я вижу конечно (не слеп!) и объясняю правильно, материалистически.

Были у меня две мерки: одна — для «избранных», для передовой интеллигенции, к которой хотел причислять и себя, и вторая — для всех остальных «нечестивых» (вроде «настоящих» и «похожих» в детстве). В первом случае был идеалистом, во втором называл себя материалистом, только называл.

Но даже там, где я хотел быть материалистом, материализм мой был механистическим.

Так из плохо вяжущихся друг с другом, внутренне противоречивых кусков я скроил себе броню, которая давала мне иллюзию идейной независимости от эпохи и одновременно от классов. Под броней идейной независимости легче было приписывать всякое внутреннее свое изменение росту, из прошлого пропускать в настоящее только то, что было вы-

годно для этого настоящего, а остальное либо забывать совсем, либо деградировать в разряд преодоленного уже «милого, наивного детства».

Было например выгодно помнить, что замысел идейного пересмотра всех и вся восходит еще к 1906 г., к году революционного подъема и активного моего участия в подпольной работе, предшествовавшей арестам и ссылке. Невыгодно было вспоминать, и забыть, что в той же самой тетради, в которой я декларировал пересмотр самих основ мышления, несколькими страницами дальше торжественно возвещалось: «Я сам рабочий и таким останусь...» Первое активное помнил, второе вылетело из памяти. Стоило полстать тетрадку, и тогда я наткнулся бы на свою «пролетарскую клятву», однако это несколько не изменило бы дела. К клятве сей я отнесся бы как к «милому, наивному детству» со снисходительной улыбкой и пожиманием плеч, а к замыслу философского пересмотра основ мышления — как к решению важному и вполне, вполне зрелому... И думал бы при этом в 1908 г.: «Ясно, что в 1906 г. я был молод и не умел связать концы с концами. Разве физически возможно проделать большую научно-философскую работу плюс длительный период предварительной учёбы, если корпеть над колодками, ковырять шилом, отдавать все свое время, как это было раньше, мастерской, трактирам, массовкам?»

Менялось сознание и подбирало из прошлого нужные ему образы, отбрасывая все остальное. На смену прежним оценкам, вкусам, навыкам приходили новые.

По возвращении из ссылки в 1908 г. я вновь пошел к своим башмачникам. По-иному ходили ноги, чем в 1906 г.: не за живым делом, а из любопытства к прошлому. Так в часы лирического раздумья бродил я по улицам родного города, навещал военную слободу, дом, где прошло мое раннее детство, морской госпиталь, глиняные «балки» на окраинах города за кладбищем, где недавно еще бурлили наши массовки и выступал за-

летний гость москвич с упрямой русой головой и певучим русским говором, какого не слышали мы на юге; реку, на которой мы «заседали» на лодках; рощи, где ошпаривали нас кипятком казачьи нагайки. Все эти места обходил я вновь, вспоминал, грустил, улыбался камнями и скамьям. И потянуло к башмачникам. Как-то они живут сейчас, милые ребята?

И вот «гостиная» в квартире провинциального ремесленника. На стене два больших портрета в облупившихся позолоченных рамках: хозяин и хозяйка в молодости: он — в сюртуке, она — в подвенечном платье. На противоположной стене — цеховое свидетельство, выданное ремесленной управой. Третья стена почти сплошь усижена фотографическими карточками, открытками, вырезанными из журналов картинками: красавицы, чемпионы, певцы; сбоку — бумажные веера. На полу — грубая веревочная дорожка, овальный стол с грязноватым альбомом и стоячей керосиновой лампой под абажуром. Стол покрыт вытертой плюшевой скатертью. На окнах — подобие гардин, на подоконниках — фикусы. В «гостиной» пусто и затхло.

В смежной комнате — мастерская; здесь на низких сапожных табуретках сидят и работают за общим верстаком подмастерья, с полдюжины человек. Впереди — хозяин, длинный, как глина, Абрам «Минога». Тут же чистит картошку его беременная на сносях жена; на грязном полу, среди обрезков кожи и картона, ползают двое рахитичных детей со вздутыми животиками. Еще пришли соседи. Женщины сплетничают, мужчины отпускают двусмысленные шутки. Хохот, стук молотков по вонючей размокшей коже, кто-то поет, дети пищат.

Меня сразу обдало запахами и шумами, и я инстинктивно отшатнулся: «Какая грязь, какое убожество!»

Смотрел на все чужими глазами, будто вижу впервые. Да и верно! Раньше я видел не это. Раньше глаза были устремлены к цели, скрытой за обложкой быта. Мимо него пробегали глаза, не замечая. А теперь ушла цель,

пропала перспектива, и я впервые увидел неказистую раму быта.

Приняли меня с фамильярной подбострастностью. Здраваясь, широко отбрасывали руки и хлопали по ладони. (Мелькнуло в голове: «будто полушубок торгуют на толкучке».) В разговоре — приниженность («как с баринком разговаривают со мной, только шапки не ломают»). Клеилась беседа плохо. Политикой не интересовались и не хотели интересоваться. У «Миноги» в мое отсутствие родилась еще одна девочка, шестая по счету, а теперь ждут седьмую. Купили фикусы, — заметил ли я в «гостиной»? Берчик (он был в свое время одним из наиболее революционных подмастерьев, дрался с «союзниками», «как лев», мстил за Соломончика) теперь женился, взял красавицу жену с хорошим приданым, дочь старика-заготовщика Пинхуса, открыл свою мастерскую, имеет несколько подмастерьев и делает неплохие дела. Другой пошел в солдаты, третий уехал на родину. «А так ничего себе, живем помаленечку. А вы как? У вас вероятно большие успехи, а?»

Осмотрелся я кругом. Те же знакомые колодки, выкройки подошв, задымленный инструмент для отделки, ведро с размокающей кожей, засохший вонючий клей и ленивые брюхатые мухи на нем. Жена «Миноги», с черными усиками, круглая, налитая, выпирающая из темносерого платья, показалась такой же мухой над ведром с картофелем, а длинные, землистые, прыщавые лица подмастерьев — проколотыми вдоль и поперек колодками. «Живем понемножечку...» — и это моя «рать»! Стало мне скучно, едва сдерживал зеवоту. Хотелось сразу уйти, но уйти так скоро «не полагалось», и я томился и сидел.

Со скуки присел к верстаку, стал ковырять шилом, но работа не ладилась, руки отвыкли, пальцы забыли.

Потом подали ужин с водкой «по случаю гостя». На столе — дымящаяся гора картошки, ржаной хлеб, сельди, огурцы. Водку пили стаканами. Примерился я к стакану: нет, не подыму, а вот раньше, 15-летним мальчиком, пил за компанию, и ничего... Теперь раз-

Учился, забыл, да и компания не получается.

Перешел я на рюмку и, трезвый, наблюдал хмелеющих подмастерьев. Что же дальше?

А дальше все охмелели, переругались, и завязалась пьяная драка. Потом подошли ребята из соседних мастерских и гурьбой собрались «к девочкам». Другие, кто был потрезвей, пошли в трактир. К ним присоединился и я.

В трактире — месиво потных лиц, чад и испарина, всплеск и визг заводной музыкальной «машины», густая матерная брань — предбанник ада. Жидкий чай пили в прикуску из блюдечка, с булькающим прихлебыванием. В этот час разговаривать здесь было совсем невозможно. В трактире стоял такой грохот, что приходилось кричать над самым ухом соседа и от него тем же путем получать сдачу. От затрепанных ушам разболелась голова, и я нетерпеливо ждал, пока товарищи дохлебают свою «пару», чтоб выбраться поскорей на свежий воздух. Трактир перестал мне бычь клубом революционных встреч; потух мой собственный жар, погасли мои подмастерья, и остались чад, пьяная икота, бессмысленно оглушительный грохот, грязная харчевня на перекрестке провинциального базара. Иное видели глаза, иное слышали уши, иным наполнилась мысль.

Закончился день у Берчика. Тут новая квартирка и новая мастерская, на стенах те же обязательные портреты молодоженов, только в свеженьких рамках, — дом Абрама «Миного» в молодости. Берчик был парнем атлетического телосложения, жена его, Злата, — мощная баба с дюжими красными ручищами и необъятными окороками, — была впору своему мужу. Увидел их рядом: «Вот так пара битюгов». Едва мы успели с ней познакомиться, как она поднялась, заслонила мужа и заявила, обращаясь ко мне:

— Теперь ша! Берчик политикой больше не занимается! Довольно уже одного Соломончика, я совсем не хочу быть вдовой!

Все весело засмеялись, и разговор сразу получил «тон».

— Что, по вкусу пришелся муж? Жалко расстаться с таким вот кусочком, ха-ха-ха!

Потом обратили внимание на то, что кровати «молодых» расставлены у противоположных стен, на почтительном расстоянии друг от друга.

— Что это такое, Берчик? а как же ночью?..

Но ответила бойкая Злата:

— Ничего, это не Черное море. Когда нужно, можно перескочить!

Берчик сконфузился, но все же любовался женой. Любовались и подмастерья, бывшие товарищи Берчика:

— Вот это я понимаю, казак-баба!

Абрам «Миного» захватил рукой свою бороду, стал расквашиваться, как над талмудом, и нараспев, по-синагогальному спросил:

— А теперь разрешите мне, рабодсай, такой вопрос: кто же из вас та блоха, которая перескакивает от стены к стене и от кровати к кровати?

Опять хохот. Все довольны, и более всех Берчик.

Встреча с башмачниками оставила по себе горькую муть. Значит, напрасна была прежняя работа? Всё занесено песком, перекрыто, забыто? Соломончик убит, Берчик вот куда выскочил! Держитесь за юбку своей Златы, обзавелся домом, мастерской, стал хозяйчиком, теперь повторит судьбу Абрама «Миного». Так жили сотни лет и еще столько проживут! Будут выдавливать свои прыщи, ходить «к девочкам», хлестать водку, драться на кулачных боях, — и это молодость! А потом — усатые и брюхатые жены, рахитичные дети, картошка и сельди, промозглая вонь нищеты 905—6 гг. были короткой вспышкой в вековой непробудной тьме.

Еще раз вспомнил Берчика. На прощанье, когда мы с ним на минуту остались одни на лесенке, он обнял мои плечи крепкой волосатой рукой и буркнул на ухо:

— Ах, студентик, теперь уж гроб, — такое пошло!.. сам ведь знаешь.

Неловко битюгу, просить извинения хотел напоследок и попрощаться. Действительно, последняя горсть земли на гроб... Что сказать уж о других! У них

и тепла нет к прошлому, и неловкости никакой. Назююкались, передрались, пошли к девкам.

Никто не спрашивал меня, когда приступлю к работе в мастерской, даже мысли такой ни у кого не было. Было молчаливо решено, что этого не нужно больше и не будет. Приняли меня, как бэрина. Вот рабы души или... мерзавцы? Как все изменились! Базарные торговцы снизили расценки на работу с пары обуви, вернулись к исходной расценке, какая была до забастовки, но теперь ребята уж не ропщут, принимают как должное. Так что и в этом отношении прежняя работа и борьба, и жертвы оказались впустую. Напрасно я и раньше шел к ним: это не настоящие пролетарии. Временные подмастерья, которые метят в хозяйчики. А теперь так уж давно ничего тут не сделаешь. Пошло глухое время, изменились люди, осталась скука — какая скука! Облепленный мухами котелок с клейстером, трактирный чад, окорока Златы...

Так думал я с грустью и досадой, обвиняя во всем проклятое время, обкарнавшее людей.

Изменения вокруг себя я замечал, — только в самом себе не видел перемены к худшему. У меня явились новые интересы, но я считал их лучшими и высшими по сравнению с прежними интересами. С каким удовольствием я долгими зимними вечерами, при свете керосиновой лампы составлял «заочные» «лекции» по тригонометрии для своей невесты. Уплотнил весь курс до четырех уроков, писал их от руки, с китайским терпением расчерчивал фигуры. Потом курс литературы, истории, физики — Пыпин, Белинский, Овсянко-Куликовский, Ключевский, Шмулевич, Краевич, Тиндаль, — все это было захватывающе интересно, полно содержания и смысла. Не то, что задники кленть или шпильковать подошвы для базарного торговца!

Любви своей, первой любви отдавался самозабвенно, с идейной чистотой, на какую только способен 17-летний мальчик. То была «святая святых», которой никто не смел касаться; и самому себе не позволял я критиковать. Когда набегала мысль, что свою любовь я ставлю

впереди политической работы и впереди партии, я сердился на эту «ересь» и прогонял ее. И чем более сердился, тем более был неправ. Если бы не забывал того, что мне невыгодно для новых моих чувств, то мог бы проследить, как возникла любовь еще в самый разгар подпольной работы, как день за днем и шаг за шагом завладевала мной, заполняла всего и вытесняла «чужеродные» интересы. Во время обыска, когда ночью постучались жандармы, я не о том подумал, куда бы поскорей сплел легальную литературу, а о том, куда куда спрятать подальше от грязных рук жандармов свято неприкосновенную фотографическую карточку любимой девушки и ее письма. Когда захлопнулись за мной ворота тюрьмы и меня повели в темноте ночи узкими сырими коридорами, моим первым чувством было: «Только вошел в мою жизнь волшебный свет... Это прекрасное называют любовью, но я еще не успел испытать его. Оторвали меня, скоты! Не нагадился, не запомнил лица моей девочки. Увижу ли?» А потом в тюрьме — вечная лихорадка ожиданий: придет, не придет? Письма к ней, письма от нее. Раскалены глаза, горит лицо, даже уши всегда красны. Одна мысль, одно чувство, а камера, товарищи, партийные дискуссии проходят, как во сне.

После тюрьмы было полицейское предписание оставить город в 24 часа. Я остался неделю, не мог насытиться, оторваться. Через неделю уехал в другой город за несколько сот верст, — опять мастерская, товарищи, колодки, завязались связи, и пора было входить в партийную работу. Но не мог выдерживать разлуки больше трех дней, и без билета, зайцем вернулся в родной город, на нелегальное положение, без прописки.

После рабочего дня в мастерской рука ожесточенно тер пемзой, с тела и с души смывал накипь ремесла, надевал чистый воротничок, мчался на свидание — всё остальное по боку! Потом первая любовная ссора, детская игра самолюбий, добровольная моя явка в полицию «в отместку», несмотря на все уговоры товарищей, очередной арест,

раскаяние в своем поступке на вторую же ночь, лирические разговоры с утренней звездой из окна кордегардии, пересыльная тюрьма, этапы, благодатная Тараща, примирение с подругой в письмах («Увидя почерк мой, вы верно удивитесь!..»), ее приезд в мои новые места «на дачу», лето вместе в лесу и садах, партийная работа только «между прочим», возвращение на родину, начало учебы, новая ссылка, любовные письма и посылки в оба конца, заочные «лекции», еще лето вместе на правах «дачи», — так и пролетели эти два года. Любовь изнежила, привила новые вкусы, вовлекла в состязание учёбы. Тут подошла реакция, наложила свою печать. А я в 1908 г. и в последующие годы все еще продолжал считать себя тем же, что и в 1906 г., только плюс добавочное развитие за истекшее время.

Так произошел мой отход от революции и от рабочего движения.

Одновременно менялись и материальные отношения. От сапожного дела перешел я к преподавательской работе, затем кратковременная служба на сахарном заводе, ранняя моя женитьба (19-летним юношей), наконец газетная работа в родном моем городе вплоть до поездки за границу, в университет.

8. Повесть об уклоне

«Великий возврат» буржуазной интеллигенции из революционного подполья в лоно своего класса был завершен. Беглая характеристика внешних фактов этого возврата уже дана. С точки зрения «проверки практикой» этого, собственно, достаточно. Но «для разрешения распрей современности» особенно интересен и поучителен именно идеологический путь «возврата». И тут надо прямо сказать, что исходным пунктом всей дальнейшей эволюции, узелком сети, где «коготок увяз», был уклон, — уклон в том специальном смысле, в каком мы его сейчас понимаем, то-есть как отклонение от последовательной пролетарской классовой линии и как проекция (осознанная или неосознанная) на пролетарскую идеологию чужеродных классовых интересов. Этим

я не хочу сказать, что весь идеологический путь «возврата» от его начала и до конца был одним только уклоном. Отнюдь! Никак нельзя называть например уклоном прямое классовое предательство германского (да и любого) социал-фашизма. Буржуазная идеология есть буржуазная, а пролетарская — пролетарская. Это само собой разумеется. Но одно дело конечный результат весьма длительного и сложного процесса, а другое — первоначальная его тенденция. Вот эта-то первоначальная тенденция, смутно бродившая в нас, прозябавшая на полупути между жизнью и смертью, и была уклоном. В обстановке реакции, при всесторонней поддержке и поощрении со стороны эпохи, он налился соками и развился, по мере своего роста втягивая в себя уже сторонние элементы по признаку все более удаляющегося сродства идей, дорос — этап за этапом — до полного отрицания пролетарской идеологии, до полного утверждения буржуазной идеологии. Так окукливается личинка. Так совершает она весь пестрый цикл превращений, черпая для этого силы столько же «из себя», сколько из соков питательной среды в гнезде превращений. Возможность превращается в реальность. Прозябавшая между жизнью и смертью личинка становится бабочкой. Повесть об уклоне есть повесть о последовательном чередовании идейных превращений, о «становлении» уклонившегося революционера контрреволюционером.

В этом — наглядная поучительность повести. Она показывает, чем чреват уклон, куда он естественно растет, когда не встречает помех своему росту: она подчеркивает, как важно научиться распознавать уклон еще в зародышевом состоянии, как жизненно необходимо искоренять его и как исключительно велика в этом деле роль разъяснительной работы.

В чем же заключался уклон известной части партийной интеллигенции того времени, уклон в своей начальной тенденции, возникший еще в подполье, в тюрьмах и в ссылках? Чтoб ответить на этот вопрос с полной ясностью, надо

самого начала рассеять одно возможное недоразумение. Был ли отход от пролегарского подполья исторически предопределен и обязателен для всей партийной интеллигенции в целом, без изъятия? Надо ответить: конечно нет. Лучшие представители мелкобуржуазной интеллигенции, ушедшей в революцию, — в свою классовую «метрополию» не возвращались; связи с буржуазией были порваны окончательно; люди сроднились с рабочим классом, отдали ему все свои годы, связали свою судьбу с ним на жизнь и на смерть, подлинно стали передовыми пролетариями, вошли в состав старой гвардии большевиков.

«Очень многие «социал-демократы дней свободы», — писал Ленин, — впервые ставшие социал-демократами в дни ярких лозунгов, в дни побед пролетариата, круживших головы даже чисто буржуазной интеллигенции, стали серьезно учиться, учиться марксизму, учиться выдержанной пролетарской работе, — они всегда останутся социал-демократами и марксистами» (том XI, стр. 329).

К числу этих серьезно учившихся и марксизму, и выдержанной пролетарской работе нельзя отнести однако ту зараженную уклоном революционную молодежь, к которой принадлежал и я. В отношении нас куда уместнее было бы вспомнить другие слова Ленина, слова, замечательные по своей выразительности:

«Буржуазный характер революции, естественно, приводит к тому, что на рабочие кварталы «налетают» от времени до времени тучи радикальной и шумно-революционной буржуазной молодежи, которая не знает под собой никакой классовой опоры и инстинктивно идет к пролетариату, как единственно серьезной борющейся за свободу силе, когда в воздухе носится новый подъем, новый натиск революции. Эсеровские ораторы на рабочих митингах — это своего рода буревестники, показывающие, что у пролетариата поднимается настроение» (том X, стр. 334)

Мы не были эсерами, но ленинская характеристика во многом применима и к нам.

Дело идет об учащейся молодежи буржуазного и мелкобуржуазного происхождения, притом молодежи, учащейся в провинции, стало быть, не о студенческой, а, по преимуществу, гимназической, живущей в непосредственной близости от отчих домов, на родной почве. Дело идет о членах партии призыва 1904—1908 гг. в возрасте 15—20 лет, то-есть о юношах, молодых и годами, и партийным опытом, желторотых в теории в такой же мере, как и в практике, о сырых «комсомольцах», паки и паки нуждавшихся в партучебе, в руководстве, в марксистском воспитании и такого воспитания не получавших. Так было не только в нашем городе и в нашем кругу; так было по всей обширной российской провинции, где подавляющее большинство непролетарских элементов партии состояло из зеленой учащейся молодежи буржуазного и мелкобуржуазного происхождения.

Сказать об этой молодежи, что она была «носителем глубокого научного знания», было бы не только надутой высокопарной глупостью, но и просто насмешкой. Нельзя сказать об этой молодежи и того, чтоб она отеклась от господствующего класса, так как возвысилась до теоретического понимания хода исторического развития. Импульсы, приведшие ее в пролетарское подполье, были иные: сильный подъем революционного движения в 1905—1906 гг., наглядный распад царского режима, протест против варварской косности и тупости жизни отцов и дедов, заразительность героического примера старшего поколения революционеров, научная стройность и революционная свежесть марксистской концепции (схваченной впрочем только налету и по верхам, а отнюдь не усвоенной), симпатия к рабочему классу, увлекательность перспективы социализма — бесклассового, гармоничного общества. Вот что тянуло магнитом в подполье меня и моих сверстников равного со мной классового происхождения. Марксизм был первым, что на душу легло на заре пробуждения сознательности. Впервые пробудили к сознанию революционные громы 1905 г., и, как французы говорят, первые впечатления наи-

более искренние. Захват чувства был огромный, внутри звучала туго натянутая струна, пела, ликовала. Порыв был силен — отдаться революционной борьбе целиком, без остатка, до полного самозабвения.

При всей чистоте и яркости побуждений настоящей почвы под ногами не было. Не было теоретической силы сопротивления, не было той стойкости взглядов, которая могла бы возникнуть из усвоения буржуазной культуры и последующего идейного преодоления ее или из основательного усвоения марксизма. Не было и практического опыта, из которого была бы выведена и на которую бы опиралась теория. Не успела привиться и закрепиться с годами подлинная спайка с рабочим классом.

Все это делало нас необороноспособными, не защищенными от классовых внушений буржуазии, с которой мы, хочешь или не хочешь, были связаны и происхождением, и воспитанием в ранние свои годы. Наше бунтарство и петушинный гнев против породившей нас плоти мало чего могли изменить в этом основном факте. А когда революционная волна пошла на спад, и начался наш отрыв от рабочего движения, обнаружилась все более и более расширяющаяся брешь в нашей идеологии, и именно в том ее месте, которое было более всего уязвимо. Это и был уклон, не замеченный вовремя нашими непосредственными руководителями. Так бывает с детьми: грипп в виде осложнения дает воспаление уха, которое переходит в воспаление мозга. Врачи лечат ухо, а болезни мозга не замечают, порой даже у собственных своих детей.

Мы все сходились на том, что пролетариат, освобождая себя, освобождает все человечество. Но эту единую для нашего социал-демократического круга формулу воспринимали по-разному. Не было конкретного представления о том, как путем классовой борьбы может быть достигнут социализм. Классовая борьба в тех формах, в которых мы наблюдали ее и в которых участвовали, была по

преимуществу экономической, — была борьбой за повышение расценки на пятиалтынный, — и мы не представляли себе, в каком смысле это есть борьба за социализм. От отцов и дедов мы знали, что «копейка рубль бережет», но эта мораль была нам противна. И все же копейка с рублем соизмерима, но как из пятиалтынных может составиться социализм?

В моменты подъема экономическая борьба перерастала в политическую, и мы немало способствовали этому перерастанию. В перечне требований рабочих наряду с копейками и впереди этих копеек ставилось: «Долой самодержавие!» Стачки, демонстрации, стычки с полицией — вот что важно. Тут было все понятно и не вызывало сомнений: свалить царя, покончить с опекой сатрапов, с диким произволом, с оголтелым солдафонством, с каторгой и тюрьмами, с погромами, с налоговым грабежом крестьян, с казнокрадством и взяточничеством, с народным затемнением, вырваться на свободу, сравняться с цивилизованными европейскими народами. Были ясны цель и средства. Враг — на виду; это — градоначальник, жандармерия, полиция, тюремщики, казаки, черная сотня.

Самодержавие было понятием конкретным, капитализм — отвлеченным. Как выставить в списке требований рабочих пункт: «Долой капитализм»? Где враг? Враги конечно — отдельные капиталисты, хозяева, но от них мы требуем только пятиалтынного. Что значит свалить капитализм как систему? Вот мы, марксисты, спорим с эсерами, опровергаем их елейно-мистическую блажь о крестьянской общине как о социалистической ячейке. Неизбежно начинается волюнка: «Со временем развития капиталистического строя в России...» Мы, стало быть, считаем, что «прыгать» в социализм, как прыгают с моста в речку, невозможно, что надо еще неизбежно пройти длительный путь капиталистического развития, что необходима сперва концентрация капиталов и т. д., и т. п. Когда капитализм воплотится в такую же кучку паразитов, как самодержавие, его можно будет свергнуть революционно-насильственным путем, но

только тогда и не раньше того. Тогда требование «долой капитализм» будет политическим требованием, но только на высшей ступени; экономические и политические требования того времени сольются в действительное единство; они попросту совпадут. Так рисовалось нам будущее осуществление социализма.

А в настоящем рабочее движение, как оно есть, и социализм, как он будет, жили в нашем сознании оторванно одно от другого, на двух несообщающихся между собою «половинах». И именно оттого, что социализм чудился нам в безмерном отдалении и светил оттуда далекими огнями, мы давали волю своей юношеской фантазии и приписывали ему то, что было нам более всего по душе. Социализм был для нас золотым веком человечества, царством сбывшихся сновидений и грез. И тут-то оказалось (для нас совершенно неприметно), что «марксистами» мы были на диспутах, в сфере подконтрольных оценок, а бесконтрольно, подсознательно — оставались плотью от плоти и костью от кости породившего нас класса.

Вся проблематика, которую мы непроизвольно и, можно сказать, стихийно заимствовали от буржуазной культуры, впитывали в себя вместе с книгами и воздухом, попросту переносилась за заветную черту, в план социализма, и там мысленно разрешалась в своем абсолютном, вневременном значении, как проблематика общечеловеческая, внеклассовая. Когда нам не терпится, бывало, разрешить для себя какой-нибудь вопрос (конечно «больной»!), выдвинутый буржуазным обществом и обсуждаемый буржуазной литературой как общечеловеческий внеклассовый вопрос, мы прибегали к бессознательному мальчишескому плутовству: переносили его из плана конкретной буржуазной действительности в план «умопостигаемый», социалистический, как если бы на пути вовсе и не было капитализма.

Мы не знали марксова разоблачения буржуазной идеологии; мы не отдавали себе отчета в том, что господствующие классы представляют свой классовый интерес как интерес всеобщий и внеклассовый и редко когда в

ином виде. Мы не задумывались над происхождением обыденных в буржуазном обществе понятий и оперировали ими вполне по-обезьяньи. На веру принимали мы понятие «совокупного интереса», — марксово определение иллюзорной совокупности до нас не доходило. Казалось, что мы всецело застрахуем себя от ошибки, если «внеклассовые» вопросы будем разрешать в атмосфере бесклассового общества.

Нужно помнить, что науку мы все-таки получали из рук гуманигарной буржуазной интеллигенции. А марксизм доходил до нас преимущественно легальный, по книгам и статьям Богданова, отчасти Плеханова, Луначарского, Юшкевича и других. Будущее рисовалось нам в произвольных и фантастических образах социализма, как мы его тогда хотели понимать. Удивительно ли, что мы со своими «внеклассовыми» идеями совершали контрбандный переход в «иные миры», в разреженный воздух бесклассового общества!

Более всего нас занимали «вечные» и «общечеловеческие» проблемы, например такой типично гимназический вопрос: в чем смысл жизни? Особенно докапывались до этого самого «смысла» наши девичьи. И старались мальчишки, спорили до хрипоты. Что капиталистическое общество бессмысленно, было всем нам ясно без дальних слов. Смысл может начаться только с социализма, — так вот как же оно будет? Для примера приведу запись в дневнике любимой девушки — сверстницы. Ей было тогда 16 лет, и она недавно окончила гимназию:

«17 октября 1906 г.

Вчера в городе было нечто вроде демонстрации. Все жижки она во мне всколыхнула. О, этот крик! Это пение! Оно опьяняет, заставляет верить, пробуждает жажду жизни, сознание, что придет пора, когда будет только три грагизма. С трагизмом смерти еще кое-как можно справиться. Жизнь, как все прекрасное, хороша, когда ее немного. Много счастья притупляет, много несчастья расслабляет; и того, и другого неинтересно много. С тра-

гизмом любви, кажется, потруднее, но все-таки, кажется; в несчастной любви чуть ли не более счастья, чем в счастливой. Что называется несчастная любовь, право, не знаю. Трагизм бесконечности знания — такой трагизм, какого давай бог всегда. Если б не было его, что бы делало человечество, обеспеченное куском хлеба? К чему стремилось бы? Какие идеалы были бы у него? Нет, да здравствует этот трагизм, да пробуждает он к жизни все человечество!»

Тут уже не спутаешь! Это писала окончившая гимназистка 1906 г., никак не комсомолка 1934 г. Такими вот были мы все в ту пору — молодыми энтузиастами, «печальниками за человечество». От рабочей демонстрации мысль мгновенно, без переходов отлетала к социализму; демонстрация — только повод лишний раз вспомнить о социализме, а социализм — теннисная площадка, где перебрасываются мячиками комнатных трагизмов. Все дело было именно в этих мячиках. И до чего упителен был нам трагический теннис!

Когда буржуазные оппоненты в спорах с нами, пытаясь «принизить» наш идеал, говорили, что социализм — это идеал «сытого брюха», что он нивелирует людей, стрижет их под одну гребенку, — мы запальчиво отвечали: «Наше устремления не менее возвышенны, чем ваши, но только вы — утописты; вам кажется, будто можно достигнуть для человечества высоких целей еще в рамках капиталистического общества, а мы знаем, что все это достижимо лишь при социализме». Прожженные буржуа, которых мы по наивности величали в споре «утопистами», если они были только поумней, улыбались, вероятно, в бороду: мол, прыгайте, прыгайте, ребяташки, проглатывайте жучком наши идеи хотя бы под соусом социализма, а там сами увидите, до чего допрыгаетесь: как миленькие, вернетесь к нам же...



Так оно конечно и случилось.

Огрыв идеи социализма от практики рабочего движения должен был привести

и действительно привел к тому, что для одной части нашей молодежи весь интерес сосредоточился только на социализме, а рабочее движение, из которого социализм непосредственно «не вытекал», отодвигалось в своем значении сперва на второй план, затем на третий, четвертый, пока не растаяло туманностью на краю горизонта. А для другой части нашей молодежи все дело было как-раз в рабочем движении и только в нем, а социализм становился умопостижимым пределом, магематической точкой на бесконечно далекой грани веков. В первом случае была холостая, абстрактная целеустремленность к «иным мирам»; во втором — узкий практицизм будней рабочего движения, без направленности к высокой цели, без дальнбойной революционной силы. То были перелет и недолет, или, в нынешних терминах, оторванные от жизни и революционной практики «левачество» и ползучее правое делячество.

Это были те два «порока» мелкобуржуазных шатаний, которые Ленин впоследствии определял так: «Мелкобуржуазный реформизм, то-есть прикрытое добренькими демократическими и социал-демократическими фразами и бессильными пожеланиями лакейство перед буржуазией, и мелкобуржуазный революционаризм, грозный, надутый, чванный на словах, пустышка раздробленности, распыленности, безголовости на деле» (т. XVIII, ч. I, стр. 352—353).

Тогда, как и теперь, как и всегда, «левые» в последнем счете совпадали с правыми; оба сползали в мелкобуржуазное болото: одни — через романтизм к буржуазному идеализму, другие — через экономизм к буржуазному либерализму. Оба направления, начавшись с уклона, быстрыми темпами переросли уклон и вышли за пределы пролетарской партийности.

«Леваки», которым экономизм был враждебен по иным идеологическим и психологическим мотивам, «примыкали» к большевикам, но это нисколько не мешало тому, чтоб и они получили изрядную головомойку от Ленина. Хорошо памятные выступления Ленина про-

тив Богданова, Луначарского и других. Как-раз по книгам и журнальным статьям этих авторов в легальной печати мы, молодые, рассеянные по всей стране, и учились. Дух противоречия в нашей среде был однако так силен, что, несомненно находясь под влиянием этих «вождей», мы соглашались с ними лишь частично. Каждый занимался своим доморощенным теоретическим изобретательством и умствовал на собственный лад. По всей провинции среди примыкающей к подполью учащейся молодежи кишмя кишело мелким и мельчайшим «луначарием», полуосознанным и неосознанным «эмпириомонием».



Отрыв идеи социализма от практики рабочего движения должен был привести и действительно привел к тому, что пустым и дутым пузырем стала выпирать наружу интеллигентская «личность».

Вне практики классовой борьбы социализм мог быть только тенью не рожденного еще общественного строя, — в наших умах. Конкретность борьбы была заменена игрой в гени. Мы стали одиночками, «созерцателями», «мыслителями», и на этом пути нас подстерегали соблазны обвешанной легендами интеллигентской традиции. Соблазнительна была роль «продолжателей лучших заветов прошлого», того прошлого, когда «народ безмолвствовал» и «за него» выступали передовые умы и героические личности.

Предаваясь своим романтическим иллюзиям, порхая мыслью от прошлого к будущему, от шестидесятников к социализму, мы не задумывались над тем, что извращаем прошлое, не понимаем будущего и сверх того слепы в отношении настоящего. Между нами и людьми шестидесятых годов было только внешнее сходство: одиночки, мечтатели о социализме. Но те были одиночками, потому, что народ не пришел еще в революционное движение, а мы были одиночками потому, что оторвались и отошли от наличного рабочего движения. Даже самую идею социализма Черны-

шевский и Герцен понимали много реальней, чем мы, стоявшие уже обеими ногами в новом веке на... теннисной площадке «трагизмов».

Правда, ладанную гарь вокруг интеллигентских «заветов» распускали сторонники субъективно-социологической школы, эсеры, а мы, «твердокаменные марксисты», на диспутах как будто били эсеров в кровь, но уж больно хотелось верить в «нас возвышающий обман», и «твердокаменность» была словесная. Большой популярностью в нашем кругу пользовалась «История Русской общественной мысли» Иванова-Разумника «Итак, на вопрос, что такое интеллигенция, — писал Иванов-Разумник, — мы можем дать теперь следующий ответ: интеллигенция есть этически антимеританская, социологически внесловная, внеклассовая приемственная группа, характеризующаяся творчеством новых форм и идеалов и активным проведением их в жизнь в направлении к физическому и умственному, общественному и личному освобождению личности».

Десятки раз повторял я про себя эту тяжеловесную формулу, знал на-зубок не хуже обязательных математических формул и спрашивал себя: верно ли это? не схвачено ли здесь нечто правильное и действительно характерное для всех нас, для наших побуждений? Еще и еще раз ломал себе голову над противоречием между миром индивидуальным и социальным. Что движет нами, — спрашивал я себя, — когда мы идем в революцию и принимаем прощательно все жестокие кары? неужто корысть?

В том же мучительном тупике сомнений были многие мои сверстники, вчерашние работники социал-демократического подполья, сегодня — растерявшиеся одиночки. Мы не хотели верить Ивановым-Разумникам, разумным в эсеровскую меру, то-есть весьма небольшую. Нам претило лампадное масло народничества. Мы хотели услышать слова наших вождей, и мы читали тех легальных марксистских авторов, которые доходили до нас и были нам авторитетом — Луначарского, Богданова, Юшке-

вича. Мы брали «Образование» и там читали (см. № 4 за 1908 г., статья А. Луначарского, «Книга о новом театре», стр. 27):

«Личность страдает своей оторванностью. Ей хочется соединиться с целым, из которого она вышла: с социальным коллективом, и через него (иногда впрочем и помимо него) — с природой. Но разумная личность есть весьма ценный шаг вперед по сравнению с первоначальным коммунизмом, с протосоциальной плазмой орды. Медленно шел процесс дифференциации этой плазмы и привел к индивидуалистическому обществу. До предела в этом направлении общество в целом не дошло, ибо оно перестало бы тогда быть обществом. Этот путь указывают лишь дикие мечтания крайних индивидуалистов. Личность выросла и обогатилась за этот антиэтический период, но она потеряла громадные ценности, она, эта развитая клетка социального организма, страдает именно негармоничностью своего сожительства с сокетками. Развитие элементов нарушило гармонию целого. Но эти развитые элементы несут в себе возможность синтетического периода, восстановления единства при сохранении богатства и свободы индивидуальности.

Поэтому для личности, страдающей своей уединенностью, есть два склона — вниз, угашая острое самосознание, притупляя его, понижая себя до животного путем опьянения, то-есть возбуждения инстинктивной жизни и помутнения жизни разумной, и вверх через экстаз наиболее обостренной мысли, наиболее тонких чувств, провидящего, предвкушающего сознательную, если хотите, сверхчеловеческую любовь, долженствующую спаять вновь распавшуюся коллективную психею. Есть, таким образом, два оргазма: один под видом мнимого возвышения возвращает назад, к диким экстазам сатира, центавра, полузверя, целиком зверя, другой действительно является энтузиастическим просветлением и знаменуется актами творчества. И в нем тоже сознание как будто теряется, но теряется лишь сознание своего «я», но результатом творческих экстазов — мы видим,

как утонченно работала в это время молодая стихия, — сверхсознания».

Прошу у читателя извинения за столь длинную цитату, но необходимо было привести весь «пасус», иначе мысль была бы еще более туманна.

Нам, как хлеб насущный, необходим был диалектический материализм. Нам не доставало понимания того, как личное перерастает в общественное, как рождается в историческом процессе героика классовой борьбы. А вместо хлеба нам давали «оргазм вверх». Нам предлагалось «если хотите» (почему бы нам не хотеть!) в сверхчеловеческой любви паять психею. Осуждались только «мечтания крайних индивидуалистов»; отсюда мы могли сделать вывод, что индивидуализм средний, умеренный и благонамеренный нам вполне впору. Нас учили, что «развитые элементы («социального организма») несут в себе возможность синтетического периода, восстановления единства при сохранении богатства и свободы индивидуальности». Мы терли свои молодые, неиспытанные лбы над разгадкой этой шарады и думали: если «синтетического периода», то-есть социализма, еще нет, то нам, по видимому, остается развивать богатства и свободу своей индивидуальности и с энтузиазмом и просветлением в творческих экстазах идти к сверхсознанию. Как-раз это же самое мы и делали—еще до прописки лекарства — и... не помогает!

Удивительно ли, что зараженный такого рода мыслями и переплетая их со своей более ранней «дюринговской» идеей конечной математической истины, я 18-летним мальчиком с превеликой серьезностью писал в своей тетради:

«Прогресс мысли, полное самоусовершенствование — вот наша задача. Надо воспитать и развить себя, чтобы быть достойным великого имени «человек». Когда люди в своем развитии дойдут до стадии здорового и правильного мышления, когда они увидят чистую и прямую дорогу к своей дальнейшей цели, — гармонии индивидуумов в обществе, устроившее себе красивую, хорошую и цельную жизнь, — они перестроят ны-

жешнюю свою жизнь на новых началах».

Как видите, здесь «сначала успокоение, потом реформы»; сначала учеба и самоусовершенствование, причем не лично мои, а всего человечества, отыскание математически непогрешимого талисмана для решения всех проблем революции, а потом уж сама революция. Такая мысль была мне не по душе, и я писал дальше:

«Есть много индивидуалистов всякого покроя и оттенков: индивидуалисты-анархисты, «сверхчеловеки», «герои» и прочее. К сожалению, я пока мало знаком с философией индивидуализма, а посему не стану их критиковать. В данный момент мне важно лишь подчеркнуть, что они все «замкнутые» индивидуалисты. Идут против общества или не считаются с «большинством». В этом пункте я с ними расхожусь. Я уважаю общество, объединенное идеей духовного развития и материального благосостояния масс как условия духовного развития. Я сам рабочий (!) и таким останусь (!!!) Мне ближе и дороже всего судьба моих собратьев, тех же солдат армии труда, Сюда, сюда побольше свету, побольше жизни. Когда видишь, что у человека много даровитых задатков, много способностей и таланта, что, будь у него лучшие условия жизни, он дал бы очень многое, то протестуешь всем существом, всеми фибрами наболевшей за них (!) души. Я приветствую всех тех, кто вместе со мною рвет цветы рабства! Мука в том, что нет ясного пути...»

Где же было искать ответов на мучившие нас вопросы, как не в легальной марксистской литературе, наиболее легко доступной нам в эту пору? В поисках отгадок мы читали по строкам и между строк и находили мысли, удивившие нас совсем в другую сторону, еще дальше от революционной практики, еще ближе к модному индивидуалистическому кликушеству.

Из той же (цитированной выше) статьи Луначарского мы узнали, например, что:

«Между театром и религией связь есть. Надо только подходить к этой

связи серьезно, а не сыпать выпреними словесами, мешая их со вздором».

Заканчивалась статья так:

«Как своеобразно путаются и сочетаются в головах наших сконфузившихся «победителей» недавние идеи чистого искусства и новые веяния — выдумывания религиозных суррогатов, которые модернист старается противопоставить грядущей истинной религии, подлинному глубокому под'ему, близящемуся вместе с торжеством пролетарской идеологии! Какая мешанина в их бедных головах.

«Грядущая истинная религия... вместе с торжеством пролетарской идеологии — еще бы не мешанина, только в чьих «бедных головах» — «победителей» в кавычках, победителей без кавычек или в наших собственных?»

В том же номере «Образования», по соседству со статьей Луначарского, мы находим статью Абрамовича на актуальнейшую тему «Эстетизм и эротика», систематический трактат на сию возвышенную тему с охватом в международном масштабе, начиная от библейской «Песни песней» до наших времен: Джон Китс, Россети, Новалис, О. Уайльд, Лохвицкая, Шелли, Бальмонт, Бунин, Бор. Зайцев, Ропс, Малларме, Петроний, Уитман, Бодлер, Гюисманс, Петер Альтенберг, Гофмансталь, Д'Аннунцио, Гете, Беклин, Щербина, Кнут Гамсун, Рих. Вагнер, Ван Лерберг, Гейне, Пушкин, Парни, Батюшков, Овидий, Пушкин-Шевский, Розанов, — фу, устал перечислять! — кого здесь только нет у просвещенного нашего меньшевистского эротопеца.

Из трактата мы узнаем много чрезвычайно ценных и поучительных вещей, как-то: «Эрос — тема колоссальная. Ее исчерпывали величайшие поэты мира. И до конца его гениями величайшей творческой напряженности и красоты исчерпана не будет... Ярко отраженная в искусстве, она должна играть мощную роль и в самой жизни. Безгранично творчество самой природы, чистой стихии жизни, заставляющей раз данную полноту существования переживать в бесконечном своеобразии индивидуальных особенностей человеческого «я»...»

П. Альтенберг, Гофмансталь, Д'Аннунцио не только прославляют Эрос. Нет, они строят на нем изящный, мраморный, полный воздуха, храм для жизни... Эрос, как живая правда жизненной полноты, как основа новых «нагорных проповедей», дается в творчестве западных неоромантиков... Поэт-сексуалист, для которого «только лишь в видимом есть невидимое», Китс женщину любил во всем очаровании ее стихийных сил, в ее животной грации, в ее природной цельности, сочетающей утонченность со стихийностью: хищная гибкость леопарда, мощная грация змеи, — Китс спел влюбленный гимн этой женщине-змее в поэме «Ламия». И хотя сам, трепещущий от воспоминаний о возлюбленной при взгляде на алый шелк, которого она касалась, хотя сам он невыносимо страдает от дисгармонии своих влечений и фактов действительности, но с очарова-

нием истинного сына Аполлона описал красоту женственности, заключенную в гибкое и яркое тело змеи...»

Пожалуй, хватит цитировать пошлейшую безвкусицу «нагорных проповедей». Тут интересен только образце «марксистского отклика» на эпоху, в унисон с арцыбашевским «Саниным», с «Ледой» Анатолия Каменского и... с идеей «богатства и свободы индивидуальности», которую да хранит боженька вплоть до «синтетического периода».

Тем временем — чем дальше, тем все решительней — вступал в силу новый период, ширилась черная реакция, явились в изобилии новые «водители», замелькали огоньки новых, уже явно буржуазных авторитетов, и навстречу этим огонькам устремилось немало юношей, вчерашних подпольщиков. Но тут уж кончается повесть об уклоне, и начинается новая страница.

(Продолжение следует)

Люди и факты

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ПИК СТАЛИНА

М. Ромм

I

По-осеннему четко и прозрачно уходит к горизонту порыжелая, выжженная солнцем степь. В бледно-голубом небе стелются легкие облака. Паровоз оставляет за собою белые, пушистые клубы пара. Они медленно расплываются в воздухе, и тень их бежит по степи.

В купе рядом со мною лежит человек. Ступни его ног забинтованы марлевыми повязками.

Поезд мчит нас на север, к Москве.

Пять месяцев тому назад мы ехали с этим человеком по тому же пути, к югу.

Пять месяцев тому назад... Вижу, вспоминая, большой кабинет, уставленный книжными шкафами, заваленный образцами минералов. На стене висит фотография: недвижная река между двумя грядами обрывистых снежных пиков, лед, снег и камень. Суровый пейзаж, в своей обнаженной рельефности напоминающий макет.

Из-за письменного стола встает высокий, широкоплечий, слегка сутулый человек. Мы знакомимся. Первая встреча, обычно определяющая отношения, складывается просто и легко.

На письменном столе лежит карта Таджикистана. Я слушаю. Николай Петрович Горбунов рассказывает, раскрывает передо мною перспективы нашей экспедиции

Таджикистан, далекий уголок Советского Союза, зажатый треугольником границ — рубежами Китая, Индии и Афганистана, — последний вошел в семью советских республик. В стране, освобожденной от двойного гнета — царизма и местных феодалов, — разоренной войсками эмира бухарского, бандами Энвера и шайками басмачей, только в 1926 г. собрался первый учредительный съезд советов.

Новый порядок жизни пробивал себе дорогу в тьме почти поголовной неграмотности, в сложном переплете родового уклада и магометанской религии.

Край, целые области которого лежали на карте белыми пятнами, приобщался к строительству социализма.

Пятилетний план поставил перед Таджикистаном проблему индустриализации. Промышленность требовала сырьевой базы.

Богатейшие недра страны с остатками старинных огромных разработок были не разведаны, не изучены. Легенды таджиков говорили о геологии края больше, чем сводки ученых.

Нельзя было разведывать недра Таджикистана обычным порядком, — поспешеством Союзгеоразведки. СССР догонял передовые страны Европы и Америки, Таджикистан догонял СССР. Темпы, принятые для всего Союза, надо было возвести здесь в квадрат.

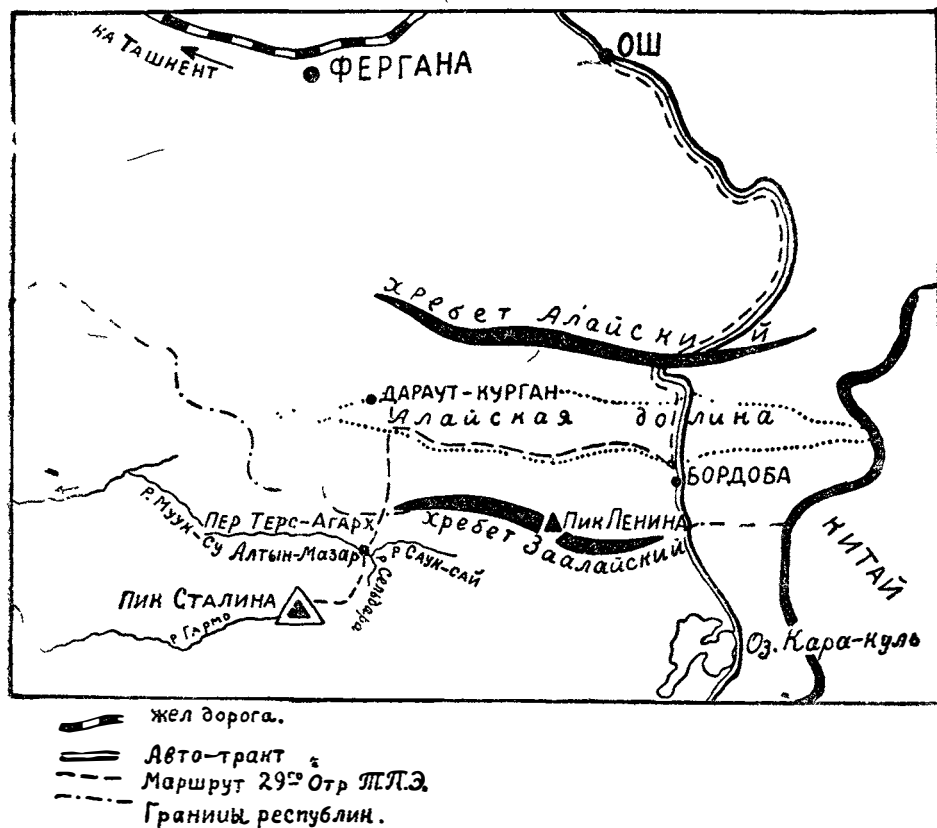
Разведка недр должна была вестись масштабом широких теоретических про-

гнозов, руководиться интуицией мировых ученых. Помощь лучших научных сил Союза требовалась Таджикистану.

Эта помощь была дана в форме большой комплексной научной экспедиции, из года в год направлявшей десятки своих отрядов и сотни научных работ-

свинец, олово, медь, моноциты, цирконы, флюорит, берилл, вольфрам, радий.

Открытия экспедиции становились объектами разведки промышленности. Началось строительство больших горно-рудных комбинатов, перекраивалась ново экономика страны.



ников в ущелья и речные долины Таджикистана. В рядах экспедиции, названной Таджикско-Памирской — сокращенно ТПЭ. — стояли имена академика Ферсмана, профессоров Наливкина, Наследова, Преображенского, лучших геологов Георазведки. Под их руководством шла в пустыни Памира, на ледники Дарваза, в зной и джунгли Южного Таджикистана кипучая и бодрая молодежь — студенты московских и ленинградских вузов, — прорабы, коллекторы и т. д.

Недра страны раскрывали свои тайны. Карта Таджикистана покрывалась кружками и значками, отмечавшими золото,

Белые пятна стирались с карты. Работы советско-германской экспедиции 1928 года, повторные походы групп Горбунова и Крыленко сужали границы неисследованных областей. Величайший в мире ледник и высочайшая в СССР горная вершина были нанесены на карту. Они получили названия ледника Федченко и пика Сталина. В местах, где не ступала нога человека, велись систематические научные исследования. Вслед за географами шли метеорологи и гляциологи.

В районе ледника Федченко и хребта Академии наук, где расположен пик

Сталина, находятся истоки большинства рек Таджикистана, — стремительных, мутных горных потоков, приносящих больше вреда и разрушения, чем пользы.

Надо было изучить режим ледника и ветров, чтобы укротить капризный нрав рек, заставив их послушно вращать турбины гэсов и орошать плодовые сады и хлопковые поля таджикских колхозов по точному расписанию агрономической науки.

Для этого на леднике Федченко на высоте 4.300 м. у перевала Кашал-Аяк, перевала, когорый впервые был обнаружен в 1928 г., строится высочайшая в мире постоянная метеорологическо-глюциологическая обсерватория, и для этого 29-й отряд ТПЭ, организованный совместно с ОПТЭ, должен совершить восхождение на пик Сталина и там на высоте 7.495 м. установить метеорологический самописец, отмечающий силу и направление ветра и передающий результаты своих записей автоматическими радиосигналами на станцию Федченко.

... Я слушаю Николая Петровича Горбунова, бессменного начальника ТПЭ, и под его рассказ карта Таджикистана оживает: стремительные горные потоки, низвергающиеся с крутых склонов гор, таящие в себе десятки Днепростроев электроэнергии, растекаются по буйному плодородию лесовых долин, напиткивают своей влагой хлопковые поля и фруктовые сады и исчезают в песках пустыни. Грядями неприступных пиков высятся цепи Памирских гор, и там, в хребте Академии наук, отделяющем Памир от Дарваза, мне чудится огромный массив пика Сталина, высочайшей вершины СССР, которую нам предстоит покорить.

Я продолжаю разматывать клубок воспоминаний: вижу перрон вокзала и группу провожающих, остающихся позади, дымящиеся трубы подмосковных заводов, рязанские перелески, без межей запаханые поля, широкую полосу Волги, чернозем и тракторы заводских просторов и, наконец, Азию: кирпично-красную ленту заката, тонкий серп молодого месяца на светлой бирюзе вечернего неба, бескрайную степь, юрты,

библейский силуэт верблюда. Я вижу пески пустыни, застывшее море песчаных барханов и белые, плывущие в раскаленном зное, станционные здания.

Я вижу Ташкент, внезапно возникающий в песчаном бесплодии пустыни цветущим, сочно-зеленым оазисом. Я вижу прямые, обсаженные огромными тополями улицы Нового города и бурый глиняный лабиринт Старого, женщин в паранджах и молодых, черноволосых девушек с открытыми лицами, с живым и спокойным взглядом, с значками «ГТО» на груди, минареты и мозаику мечетей, тонкие чеканные профили стариков в чалмах, просящих милостыню у их стен, и рядом — надпись на резных дверях: «Педфак им. т. Дзержинского», вижу стремительную и неудержимую смену старого глиняного феодализма цементом и сталью нового строя.

Передо мною возникает буйное плодородие Ферганской долины, маленькие, тонущие в зелени, станции, расцвеченные гармонической пестротой халатов и тюбетеек, и на горизонте — воздушно-легкие зигзаги снежной гряды Алайского хребта.

В Андижане мы покидаем вагон. Автомобиль доставляет нас в Ош. Дорога идет безлесными холмами, чертящими свои закругленные контуры на легком небе юга. Скупой и манящий пейзаж среднеазиатских предгорий. Потом оазис Оша ложится зеленым пятном на рыжую степь, мы проезжаем пыльными улицами Старого города — глухие глиняные стены с маленькими резными дверями — и попадаем в Новый город — Киргизторг, госбанк, почта и телеграф.

В Оше находится база всех памирских отрядов ТПЭ.

На дворе базы навалены мешки с ячменем, ящики со снаряжением, одеждой, продуктами, вьючные сумы. В палатках живут, в ожидании выхода в поле, научные работники. Под навесом, среди палаток, идут производственные совещания.

С раннего утра на базе пронзительно режут ишаки и верблюды, ржут лошади, басисто гудят полуторатонки. Отряд за отрядом уходит на Памир.

Внизу — на берегу Ак-Буры — раскинул свой лагерь геолог Марковский.

Спасаясь от жары под большим тентом, он лежит на брезенте между пиалами с чаем и чашками с урюком в классической позе военачальника в походе — на боку, подперев голову рукой.

Вдоль берега реки неумоимо галопирует взад и вперед геолог Клуников. Знаток и любитель лошадей, он выбирает лучших из них для своего отряда.

Три палатки на базе занимают участники 29-го отряда экспедиции, получившего задание совершить восхождение на пик Сталина. В списках личного состава экспедиции, в графе «профессия», против их фамилий значится «альпинист». Трудная и опасная профессия, когда речь идет о том, чтобы взять одну из высочайших вершин земного шара. Сейчас их в Оше трое: начальник оперативной группы отряда инженер Гетье, большой, широколицый и широкогрудый человек, спокойный, немного сонный, доктор отряда Маслов и председатель московской горной секции ОПТЭ Николаев. Они резко выделяются от остальных своей «прозодеждой»: короткие штаны вместо верховых рейтуз и тяжелые, окованные триконами¹⁾ башмаки вместо сапог.

На краю города воздушно-легким серым контуром высятся скалы Сулейман-баши. Альпинисты ежедневно тренируются на них в скалолазании.

Я иду с ними. Узкими улицами Старого города мы выходим к подножью горы. По травянистому склону поднимаемся к скалам. Мы выбираем самые трудные места, где скалы кажутся неприступными. Непонятно, как можно взобраться по их гладким отвесам. Гетье ощупывает скалу руками. Вот найден маленький незаметный для глаза уступ — есть за что ухватиться рукой. Еще одна неровность — сюда можно поставить ногу, — вернее пальцы ноги. Мягким движением подтягивается Гетье на полметра вверх. Две ноги и одна рука прочно прилепились к скале. Вторая рука шарит выше по камню, ища, за что ухватиться. И так, шаг за шагом, человек, как кошка, поднимается вверх по скале, висит над об-

рывом, преодолевает кулуары¹⁾ и траверсы²⁾. Прекрасная школа для мускулов и нервов. Все мышцы тела работают равномерно, внимание напряжено. После часового лазанья мы отдыхаем в темной, прохладной пещере.

Ошские жители уже привыкли к упражнениям альпинистов на скалах Сулейман-баши. Но первые опыты скалолазания произвели настоящий фурор. Киргизы и узбеки взволнованно выскакивали из своих домов и настойчиво убеждали альпинистов воспользоваться легкими и вполне безопасными тропинками, проложенными на вершину горы. Затем, удивленные упрямством незнакомец, они садились на землю, поджав под себя ноги, и долго и терпеливо наблюдали за головоломными трюками, ожидая, что кто-нибудь из альпинистов в конце-концов свалится вниз.

На вершине горы — маленькая старинная мечеть. Когда-то киргизские женщины приходили сюда лечиться от бесплодия. Камень, к которому прикладывались чающие исцеления, гладко отполирован.

Мечеть в запустении. В чудодейственность камня больше никто не верит. От бесплодия лечатся у врачей. У входа в мечеть на матрасике лежит старик-узбек в тубетейке и пьет чай из старинной кашгарской пиалы.

Мы возвращаемся на базу. Гетье, Николаев и Маслов принимаются за разборку и укладку вещей. Десятки вьючных ящиков с продовольствием и снаряжением должны быть заброшены к подножью пика Сталина. Консервы, кошки³⁾, ледорубы, палатки, спальные мешки, ледниковые очки, ватные костюмы, аптечки...

II

Два года тому назад в Ош приехал Наум Яковлевич Федермессер. В потер-

¹⁾ Кулуар — узкий вертикальный или наклонный коридор, образуемый скалами или обледеневшим снегом.

²⁾ Траверс — пересечение крутого склона в горизонтальном или наклонном направлении.

³⁾ Подошвы с металлическими шипами, надеваемые на башмаки для хождения по крутым фирновым и ледяным склонам.

¹⁾ Металлические шипы, предупреждающие скольжение в скалах и на льду.

том портфеле он привез постановление СНК СССР о сооружении автомобильной дороги Ош — Хорог.

720 километров труднейшего горного пути по извилистым ущельям, каменной пустыне и перевалам, достигающим 4.800 м. высоты, надо было проложить в два года.

Задание казалось невыполнимым в такой нереально короткий срок. Однако работа закипела. На окраине города над воротами маленького домика появилась вывеска «Памирстрой». Из ворот выезжали автомобили с изыскательскими партиями, прокладывавшими трассу.

«На хвосте» изыскательских партий шли строители. Проект создавался тут же в поле. По проекту 4.500 рабочих — русских, киргизов, узбеков, таджиков — строили дорогу.

В Москве проект мытарствовал по инстанциям, кочевал из одной канцелярии в другую, на строительстве — рабочие в лопатой и винтовкой в руках брали один десяток километров за другим, штурмовали перевалы.

Проект обрастал резолюциями, поправками, дополнениями, строительство — автомобильным парком, ремонтными мастерскими, столовой, клубом, хлебопекарней, школами для рабочих-националов.

Дорога была окончена почти одновременно с утверждением проекта и в этом году сдается в эксплуатацию.

Широкая лента шоссе легла старой караванной тропой, по которой тысячелетиями ходили караваны.

Путь из Оша в Хорог сократился с сорока дней до четырех. Пролетарская рать Федермессера и конвейер Горьковского автомобильного завода, выбросившего на новую дорогу сотни автомобилей, сорвали паранджу легенд с Памира, включили величайшее горное плато — «крышу мира» — в план социалистического строительства.

И для Оша Памир — уже не таинственная страна легенд. Для Оша Памир — соседняя Горно-Бадахшанская область — то же, что Калуга или Рязань для Москвы.

Ежедневно уходили на Памир и приходили с Памира автомобили, а шоферы

привозили письма, написанные два дня тому назад в Мургабе и четыре дня тому назад — в Хороге.

Памирстрой в Оше был конечно не только управлением строительства. Он был здесь первым большим предприятием, показавшим организацию и темпы крупного производства. Он втягивал в ударнейшую работу тысячи местных жителей, привлекал сотни квалифицированных рабочих со стороны. Памирстрой с хорошей многотиражкой, клубом, школой стал также рабочим культурным центром Оша. В котле строительства он переваривал киргизов, узбеков, таджиков, казаков, русских, превращая их в пролетариев одной великой социалистической родины.

Белые домики дормастеров на шоссе и рабочие лагеря были проводниками новой культуры в далекие узбекские и киргизские кишлаки, в летовья кочевников.

И наконец — Памир. Революция проникла сюда в 1921 году. Она нашла натуральное хозяйство, примитивное земледелие на карликовых полях, разбросанных по горным кручам, где земля измеряется не на гектары и даже не на квадратные метры, а на тубетейки, примитивное скотоводство, промывание золота на бараньих шкурах, торговлю опиумом, продажу женщин в Афганистан, сифилис, трахому, почти поголовную безграмотность. Революция вступала в бой с косным, веками устоявшимся, шариатом, освященным патриархально-родовым бытом. Но коммуникационная линия революции была в этой битве растянута и ненадежна. Революция шла на Памир старой караванной тропой, сорокадневными переходами из Оша в Хорог. Теперь она идет туда широкой лентой автотракта.

Строительство дороги принесло в глухие памирские кишлаки новые формы труда и культуры. Крестьяне, тубетейками носившие землю, пастухи, пасшие в горах овец, учатся на дормастера или шофера.

Новая дорога вырывает Памир из-под зарубежного влияния.

Не надо забывать: Хорог лежит на берегу Пянджа, и по другому берегу

расхаживают солдаты афганской пограничной стражи. Не надо забывать: из Мургаба идет прямая дорога в Кашгар, в Китай, и Кашгар гораздо ближе к Мургабу, чем Ош.

Из-за рубежа приходили в таджикские кишлаки имамы и муллы, и в заброшенных, отрезанных от мира овражных селениях звучала проповедь аллаха. Имамы и муллы приносили с собою из-за рубежа фирманы и благословения живого бога измаилитов Ага-хана, играющего в гольф и теннис на модных пляжах Англии, и уносили золото, намытое нищими таджиками, — дань невежества и безропотной покорности. По злобной клевете имамов и цветистым рассказам караванщиков судили в кишлаках о недостижимо далеком Советском Союзе.

Автомобильная трасса сорвала для таджиков Памира паранджу легенд с Советского Союза так же, как для нас — с Памира.

Растет поток советских товаров и советской литературы, проникающей в глухие кишлаки, от шоферов и рабочих узнает таджик памирских селений правду о Советском Союзе. Тот, кто читает газеты, не шлет больше золота Ага-хану, и не Ага-хану, а Ленину поставлен памятник в Хороге...

Конечно, не нужно преувеличивать. На один автомобиль приходится пока еще сотни верблюдов, и в узких ущельях Алая и Заалая, по которым вьется шоссе, раскатывается иногда гулким эхом выстрел басмаческой винтовки... Но все это — последние отзвуки уже оконченной борьбы.

7 июля Гетье, Маслов и Николаев уезжают из Оша в Бордобу. Там они найдут караван нашего отряда. Приехавший из Алтын-Мазара, где уже с месяц находится наша подготовительная группа.

Через два дня тем же путем отправляемся и мы с Николаем Петровичем. Автомобиль идет мимо хлопковых колозов, мимо узбекских и киргизских кишлаков. В бурую плину старых кибиток кое-где вкраплены белые здания школ и совхозов. Дорога уходит в предгорья. Серпантинными поднимается она

на первый перевал — Чигирчик. С перевальной точки южный склон падает вниз на много сотен метров, и по склону вьются зигзаги шоссе.

Все выше и выше предгорья. Большие гранитные массивы обступают дорогу, огромные скалы нависают над нею, грозя обвалом. Затем горы расступаются, открывается широкая котловина, прорезанная бурной рекой, и в середине котловины — белые постройки Гульчи. От Гульчи дорога идет вдоль китайской границы в 30—40 километрах от нее. Каждое ущелье ведет за рубеж, каждое ущелье — путь для кулацких банд и зарубежных басмачей. Мы заряжаем винтовки...

Обгоняем длинные караваны верблюдов. Особенно красивы кашгарские караваны: огромные, откормленные животные, разукрашенные коврами, наголовниками и султанами, идут мерным шагом, позвякивая бубенцами. Рослые кашгарцы шагают рядом. Впереди на ишаке едет караван-баши. На стоянках длинными рядами сложены вьюки, разгруженных верблюдов выводят в поводу кругами, чтобы перед отдыхом дать им остыть.

Суфи-Куран, Ак-Босага, перевал Толдык. Автомобиль медленно ползет вверх по зигзагам дороги, поднимается на перевальную точку. Наверху — столб с надписью:

«Пере. Толдык
Надур моря
3625,98 м.
стр. 1931—32 г.»

«Пере» должно означать «перевал», «надур» — над уровнем моря, «стр.» — строился.

Мы научились в два года прокладывать труднейшие горные дороги, преодолевать высочайшие перевалы, но «детали» у нас хромают. На Толдыке могла бы быть более вразумительная и грамотная надпись.

По обе стороны шоссе — неисчислимое количество сурков. Жирные яркорыжие зверьки, завидя автомобиль, по-

спешно бегут к своим норам. У входа в нору — короткая борьба любопытства и страха. Страх побеждает, и зверек исчезает, как бы проваливаясь сквозь землю.

После Толдыка дорога входит в узкое ущелье. Несколько километров мы едем между отвесными склонами дор, и затем внезапно перед нами раскрывается тридцатикилометровая ширь Алайской долины, обрамленной снеговыми гигантами Заалайского хребта.

Снега вершин укутаны туманом. Лишь иногда луч солнца, пробив в нем брешь, вырвет из серой мглы кусок сверкающего ледника или бурую полосу скалы.

Пересекаем долину. Река Кзыл-Су — «красная вода» — течет по ней извилистыми руслами. Вода в реке действительно кирпично-красного цвета. Шоссе входит в предгорья Заалая, в ущелье, соединяющее Алай с долиной Маркан-Су. У подножья холма — небольшая казарма: погранзастава Бордоба. Возле нее — несколько палаток одного из отрядов нашей экспедиции и юрты, в которых живут рабочие Памирстроя.

Нас встречает помначальника заставы, молодой краском Синюков, Ивченко — начальник заставы — уехал по делам службы в Ош. У Синюкова на груди — значок «ГТО». Этот значок я вижу также у многих бойцов. Здесь, на высоте 3.600 м., где мы начинаем ощущать признаки горной болезни, пограничники сдают нормы по комплексу «ГТО».

В уютной комнате комсостава — чисто накрытый стол. Катюша, жена Синюкова, угощает колбасой из архаров — горных козлов. Колбаса, приготовленная в собственной колбасной мастерской, — гордость погранзаставы.

Из Бордобы мы должны идти походом по Алайской долине в Алтын-Мазар. Но из Ленинграда не прибыл еще альпинист Шянов с метеорологическим самописцем, который будет установлен на пике Сталина.

В нашем распоряжении несколько дней. Мы прощаемся с гостеприимными бордобинцами и едем дальше, вглубь Памира, на Кара-Куль и Мургаб.

За заставой дорога пересекает бурную речку и входит в горы. Начинается крутой подъем по узким ущельям. Стрелка анероида¹⁾ медленно скользит по шкале: 3.500 м. — 3.700 м. — 3.900 м. Автомобиль хрипит и задыхается. Сеня Тюряев, наш шофер, вылезает у каждого ручья из машины, набирает воду и доливает радиатор. Мы пользуемся этими остановками, тоже вылезаем и делаем снимки. Наши движения становятся все медленнее и медленнее. Высота дает себя знать. Воздуха не хватает. Малейшее усилие вызывает одышку. И когда стрелка анероида переваливает 4.000 м., мы начинаем двигаться, как в замедленной съемке в кино.

Крутыми серпантинами дорога ползет на перевал Кзыл-Арт. По краям дороги — скелеты верблюдов, павших в борьбе с высотой и непосильным грузом. Тарахтит мотор, воют шестерни. 4.100 м. — 4.200 м. — 4.300 м. Мы — на перевале. Он отмечен могильным холмом. На холме — черепа архаров с большими загнутыми рогами, к ним привязаны ленточки, тряпки и хвосты яков. По обе стороны дороги — крутые отвесы голых скал. Перевал Кзыл-Арт — граница Киргизии и Таджикистана.

С трудом переводя дыхание, мы выходим из машины. В висках стучит, череп сжат железными гисками.

В расщелинах камней растут жесткие цветы — яркожелтые, голубые, синие, с пряным, тяжелым ароматом.

С Кзыл-Арта дорога идет по склону горы. Долина Маркан-Су — «Долина смерти» — раскрывается перед нами страшной каменной пустыней, словно высохшее русло необъятно широкой реки. Голые, залитые давно исчезнувшими глетчерами, красно-бурые склоны гор окаймляют ее. Щебен долины отливают бурными и зеленоватыми тонами. Расцветкой она напоминает распластанную кожу гигантского удава. Вдали видны полуразвалившиеся стены — останки погранзаставы. Погранзаставу Маркан-Су пришлось снять — слишком

¹⁾ Прибор, указывающий высоту над уровнем моря.

трудно было доставлять фураж. Долина ведет в Китай. По ней иногда прорываются на нашу территорию басмачи. Наши три машины, спускаясь в Маркан-Су, соблюдают дистанцию. Мы держим винтовки наготове.

Пронзительный западный ветер, поднимаемая пыль, метет по долине. Если он усилился и перейдет в ураган, мелкий щебень закружится в вихревой пляске. Каменные смерчи пойдут по долине узкими конусами, грозя гибелью караванам и автомобилям.

По перевалу Кзыл-Арт идет автомобильный путь. Легенды о баях сменились правдивой повестью о подвигах строителей Памирского тракта.

По долине Маркан-Су едем быстро — километров 80 в час. Всем хочется скорее миновать это проклятое место. Вдали столбом крутится смерч.

Николай Петрович предлагает переименовать Маркан-Су в «Фокстрот смерчей».

«Долина смерти» остается позади. Мы поднимаемся на маленький перевал. Перед нами в огромной пустынной котловине — темносиняя ширь Кара-Куля. Скалистый полуостров вдается в озеро, разрезая его на две части. Снежный хребет Заалай замыкает со всех сторон котловину. Грандиозный массив Курумды поднимает свою двуглавую вершину на высоту 6.500 м.

В километре от озера — белый квадрат погранзаставы. Мешки ячменя сложены бруствером перед входом и на углах стен. По стене ходит часовой. Перед погранзаставой — стоянка автомобилей. Несколько машин Памирстроя и Совсиньторга отдыхают после трудного пути.

На снежных вершинах загораются алые отсветы заходящего солнца.

Я с трудом выхожу из машины. Меня мучает приступ горной болезни. Жесткая головная боль, озноб, страшная слабость. Пульс — 140. Я лежу на земле, укрытый кошмой, пока ставят палатки. Потом, не раздеваясь, забираюсь в спальный мешок. В полузабытьи слышу, как разводят костры, готовят пищу. Затем под звездным пологом ночи лагерь стихает.

К утру я забываюсь тяжелым сном. Меня будит голос Николая Петровича. В соседней палатке идет производственное совещание. Горбунов, Марковский и начальники отдельных партий обсуждают детали предстоящей работы.

С трудом вылезая из мешка, с трудом выползаю из палатки. Несмотря на болезнь, я заморожен изумительным зрелищем. В утреннем солнце золотятся вершины гор, обступивших со всех сторон котловину, и прозрачно синее озеро Кара-Куль таинственный Кара-Куль — обетованная земля Свена Гедина...

Меня сажают в машину. Шофер включает скорость. Он тоже болен. Его треплет малярия, у него болит голова от высоты. Мы быстро минуем Маркан-Су, взбираемся на Кзыл-Арт и начинаем спуск по серпантинам. Шофер гонит машину. Она прыгает на ухабах, рессоры прогибаются, кузов тяжело оседает. При такой езде автомобиля хватит не надолго.

Бордоба... Я слезаю с машины и с трудом иду к казарме. Вхожу в комнату Ивченко, начальника заставы. Его нет дома, жена его недовольно смотрит на незнакомого путника. Но мне безразлично — желанный ли я гость или нет. Я в изнеможении валюсь на постель и засыпаю мертвым сном...

III

Я живу в Бордобе, ожидая возвращения Горбунова из Мургаба. Моя палатка стоит возле лагеря одного из отрядов нашей экспедиции.

Александр Васильевич Григорьев, проба отряда, студент ленинградского вуза, каждое утро уезжает с одним из рабочих в очередной геологический маршрут. Он делает с'емку южных склонов Заалайского хребта к востоку от Бордобы. Остальные двое рабочих остаются в лагере. Они занимаются лечением лошадей, сбивших себе спины при переходе из Оша, чинят и смазывают сбрую, чистят оружие. Повар, узбек Елдаш, сидит на корточках у костра, — варит на казане плов или кавардак — местное мясное блюдо. Этими двумя яствами да

еще рисовым супом исчерпывается его несложное поварское искусство.

По шоссе мимо нашего лагеря, мимо заставы и юрт Памирстроя проходят караваны верблюдов. Мерно раскачиваясь, идут величественные и странно нелепые «корабли пустыни», не спеша, но быстро шагая рядом с ними караванщики в распахнутых халатах, в раскрытых на бронзовой пруди рубашках. Так шагают они днями, месяцами, годами, эти крепкие люди, загорелые, опаленные жгучим солнцем гор, неистовыми памирскими ветрами, колючим морозом перевалов. Так шагают они из Оша в Кабул, из Кабула в Кашгар, из Кашгара — в Мургаб. Так шагают они, с раннего утра отправляясь в путь, негромко напевая монотонные песни, навеянные спокойным и мерным ритмом долгих переходов, развьючивая каждый вечер на стоянках сотни верблюдов и ночуя на кошмах у костров. Так шагают они всю свою жизнь. Ходьба — это их дело, их работа. К ней они привыкают так же, как рабочий к станку, ученый — к книге. Ходьба становится их потребностью. Я знал караванщиков, глубоких стариков, которым легче было шагать целый день по крутым и каменистым памирским тропам, чем спокойно сидеть на коврах в чайхане. Эти художественные, стройные старики с чеканными бронзовыми лицами, отмерившие на своем веку десятки тысяч километров, должны ходить, чтобы чувствовать, что они еще живут.

Автомобили Памирстроя и Совсинторга обгоняют караваны. Они везут на Памир продукты, мануфактуру, обувь, газеты, стройматериалы, горючее. Обратные они идут порожняком или с пассажирами. Против казармы автомобили останавливаются, дежурные проверяют путевки и документы.

Из ночного возвращаются на заставу с табуном лошадей бойцы.

На заставе идет стройка — возводят новый корпус для комсостава. Рабочие, в измазанной глиной одежде, подносят кирпичи и цемент, каменщики выводят стены.

Своей жизнью живет маленький поселок Памирстроя. С утра пастух угоняет в горы небольшое стадо яков, животных,

похожих на американских бизон^{ов}, с закрученными завитушкой рогами и свисающей до земли шерстью. Яки доставляют памирстроевским рабочим молоко и мясо. Партии рабочих расходятся на ремонтные работы. Стряпухи готовят пищу. В большой юрте — склад бензина. Сюда подезжают машины пополнять запас горючего. У входа в юрту — стенгазета.

По шоссе, возле заставы, прогуливается человек в городском костюме с аккуратно повязанным галстуком. Его одежда выглядит довольно экзотично среди военных гимнастеров пограничников, спецовок памирстроевских рабочих и ярких халатов кашгарских караванщиков. За человеком плетется небольшая лохматая собачонка с длинным туловищем и короткими ногами — помесь пуделя с таксой. Собачонка умильно смотрит слезящимися глазами в затылок своему хозяину. Время от времени человек оборачивается и подзывает к себе своего четвероногого друга: «Нитуш, Нитуш!»

Что делает здесь этот человек со своей собакой?

Он подходит к моей палатке. Вместе с ним подходит собака, вежливо садится на задние лапки. Мы вступаем в беседу. Таинственный незнакомец оказывается... колбасным мастером, выпитым Ивченко из Гульчи для своей мастерской.

Я частенько заглядываю на заставу и беседую с бойцами. Командир Черный, пышущий здоровьем, крепкий, загорелый, белозубый донбассовский забойщик, рассказывает мне о своей жизни, о работе в шахтах и в «горячем» цехе металлургического завода у раскаленных печей.

— Тяжелая работа, — говорю я.

— Тяжелая, — соглашается черный. — Да на легкой я, почитай-что, отродясь не бывал.

И он улыбается — ослепительно и добродушно.

Черный жалуется на плохую доставку газет. Задерживает гульчинская комеданта. Газеты валяются в Гульче неделями, хотя каждый день через Гульчу на Бордобу идут машины. Зимой бойцы в сорокаградусные морозы ходи-

ли на лыжах через Алайскую долину за газетами.

Я даю радиogramму в «Известия», сообщаю о плохой работе гульчинской коммандатуры. Радиogramма передается через Гульчу. Через час оттуда поступает телефонный запрос:

— Какая там ст... нажаловалась корреспонденту, что мы плохо доставляем газеты? Только что послали с мапной Совсиньторга. Принимайте.

Гульча забеспокоилась...

К вечеру возвращается из маршрута Григорьев, усталый и запыленный. Он располагается в палатке, раскладывает на полу географическую карту, — раскрашивает новый участок разноцветными карандашами. Краски обозначают разные земные породы.

Потом мы обедаем в «салоне» — большой белой палатке. Григорьев — скромный, замкнутый, с большими серо-зелеными девичьими глазами, притушенными тенью длинных ресниц — уже не первый раз в Средней Азии. Два года тому назад, работая в партии геолога Боярунуса в Туркмении, в Мангишлаке, он попал в жестокую переделку. Партия, состоявшая из семи мужчин и четырех женщин, была окружена в пустыне басмачами. Партия, укрепясь на небольшом холме, отстреливалась целый день. Боярунус был снайпером, он сумел удерживать басмачей на далеком расстоянии. К вечеру патроны были на исходе. Ночью партия незаметно прорвала кольцо осаждавших и ушла в пустыню. Басмачи их не преследовали. Геологи пробыли в пустыне без пищи и воды пять суток. Шли ночами, невыносимый дневной зной пережидали, вырывая в песке яму и добывая таким образом немного тени. До жилых мест добрались полумертвыми, в ужасном состоянии, обожженные, с распухшими языками.

— Думал, что никогда больше не поеду в Среднюю Азию, — говорит Григорьев. — Обошлось...

Через три дня приезжает из Оша Ивченко. Ивченко — украинец, у него крепкий, круглый череп, умные, лукавые глаза. В его изогнутых чудным узором губах гаятся веселая усмешка.

Он работает на Памире с 1926 г. и прекрасно знает местные условия. Он частенько заходит ко мне в палатку побеседовать. Я люблю послушать Ивченко. О чем бы он ни говорил, — о своем детстве, о том, как он работал батраком у немки-колонистки, об охоте на кииков и архаров, о борьбе с басмаческими шайками, — рассказ его всегда сочен, красочен и щедро приправлен забористым украинским юмором.

Ивченко непрочь и «залить». И когда он рассказывает, как архары в горах прыгают на скалы с высоты десятка метров не на ноги, а на рога, он внимательно и лукаво смотрит уголком глаза на собеседника, — проверил или нет.

Ивченко — хороший хозяин. Он умело использует местные ресурсы. Прекрасно, по-промысловому, поставлена у него охота на архаров, кииков, суржов. Его колбасная мастерская пользуется всемирной славой. Он делал удачные опыты разведения яков кочевым способом. Добыв из Индии племенные экзemplяры, он пускал их зимовать в «щели» (ущелья) Алайской долины. Яки добывали себе из-под снега корм и прекрасно оборонялись от хищников — барсов и медведей. К весне они нагуливали жир и мясо.

С Памира возвращается Николай Петрович. Благодушно улыбаясь, он вылезает из машины. Из-за паузы у него торчат головы трех жалобно пищущих гусенят, пойманных на озере Ранг-Куле. Николай Петрович с увлечением рассказывает о том, как он ловил их, гоняясь за ними на складной резиновой лодке. Это — редкие у нас индийские гуси. Они предназначены для Московского зоопарка.

Вместе с Николаем Петровичем приезжает Марковский — начальник всех отрядов ТПЭ памирского направления. Веселые голубые глазки блестят на его сожженном, облупившемся лице, маленький — пуговкой — нос пылает еще ярче, чем нос Николая Петровича.

Марковский уже не первый год в Средней Азии. Не одну тысячу километров сделал он верхом по горным перевалам и долинам Таджикистана, не один

десяток ледников исходил в тяжелых башмаках альпиниста.

Его заслуженные походные рейтузы лоснятся от седла, гимнастерка выгорела от солнца. В лагере и на лошади он чувствует себя, как дома. Он в тонкости знает весь походный распорядок, умело и со вкусом вникает во все мелочи ухода и седловки лошадей.

Отряд Григорьева подчинен Марковскому, и в Бордобе он чувствует себя на положении гостеприимного хозяина. Он неизменно любезен и внимателен, хотя в душе мало нас уважает. Человечество делится для Марковского на две, несколько неравные части: на геологов и негеологов. Смысл существования негеологов для него не совсем ясен.

Марковский и Николай Петрович ведут нескончаемые разговоры на геологические темы. Разговоры эти для непосвященных в великую науку о строении земной коры совершенно непонятны: палеозой, мезозой, интрузии, магма, пегматические жилы.

Иногда я все же считаю нужным принять участие в беседе. Я смешиваю в невероятные комбинации все геологические термины.

— Посмотрите, Александр Павлович, — говорю я, показывая на широкую панораму Алая, — посмотрите на эти великолепные метаморфизированные интрузии. Ведь это же типичные мергеля. Не иначе, как верхняя юра.

Марковский хохочет весело и залиvisto и потом с энтузиазмом принимает меня просвещать.

Николай Петрович и Марковский — ярые фотографы. Они привезли с Памира много снимков.

На заставе нам отводят для проявления маленькую темную камеру. Мы затворяемся в ней со всем сложным фотографическим инструментарием — проявителем, закрепителем, кассетами, ванночками.

Чувствительные пластинки «Агфа» надо проявлять в полной темноте, и мне поручают крепко держать ручку двери, чтобы даже самый слабый луч света не проник через щель.

19 июля приезжает, наконец, Шиянов с радиостанцией. Широкоплечий, с поч-

ти классической фигурой атлета, с быстрыми легкими движениями, он в несколько минут устанавливает свой «шустер» (маленькая палатка для высокогорных походов), раскладывает вещи, раздевается, умывается и сразу же как-то очень складно и хорошо входит в жизнь нашего лагеря.

На следующий день Николай Петрович и Шиянов на небольшом холме над нашими палатками производят испытание радиостанции.

Радиостанция имеет крупные недостатки. Термограф (указатель температуры) не действует, прибор не приспособлен для перевозки караваном, не разбирается удобно на несколько частей. Его очень трудно будет нести на большой высоте.

Николай Петрович в широчайшем альпийском костюме сидит на земле, сложив ноги по-турецки, и разбирает детали радиостанции. Шиянов забивает в землю штыри для палаток.

На холм поднимается молодой человек в пальто и кеги.

— Позвольте представиться, — говорит он. — Моя фамилия — Каплан. Я — кинооператор ленинградской фабрики Россфильм и иду с вами на пик Сталина.

— А как у вас со снаряжением? — спрашивает Николай Петрович.

— Все в порядке. В Оше получил полушубок и башмаки.

— А палатка, спальный мешок, леод руб, кошки, теплое белье, наконец хотя бы свитер?

— Свитер? Хм... Свитер... Это егоровская фуфайка? Есть, как же, есть.

Наши вежливые улыбки переходят в хохот.

Оказывается, у кинооператора всего 300 метров пленки. Вместо того, чтобы создать грандиозный документальный фильм о восхождении на пик Сталина, Ленинградская фабрика решила снимать в Хоробе сюжетный памирский фильм, и для него Каплан должен был заснять на пике Сталина два эпизода.

Однако лучше 300 метров, чем ничего. Мы коллективно снабжаем Каплана всем необходимым для похода. Он поедет с нами.

Вечером на заставе собрание, посвященное годовщине смерти Ф. Э. Держинского Доклады делают Горбунов и командир Черный. Потом говорит Ивченко Он подводит итоги работы заставы, оценивает отдельных командиров и бойцов, объявляет фамилии особо выдлившихся ударной работой.

На другой день у нас гости — проездом на Памир ночуют в Бордобе строитель Памирского тракта Федермессер, зампред Средазэкоко Борис Григорьевич Геродецкий с женой и Дробнис. Приходит с заставы и Ивченко.

При свете фонаря мы лежим на кошаках в «салоне». Прекрасный знаток Памира, Николай Петрович оказывается в роли Шехеразеды Но рассказывает он не сказки, а былое, увлекательно разьергывает яркую и многогранную картину жизни далекого, заброшенного края. Он сыплет сведениями и фактами из антропологии, геологии, зоологии Памира Жена Б. Г. Геродецкого, выполняющая роль его секретаря, записывает. Мы говорим о работах опытных экспедиций Наркомзема в Алайской долине — скотоводческой и зерновой, о попытках разведения пшеницы на высоте 3 000 м., там, где спокон века киргизы знали только скотоводство.

Ивченко критикует доктринерское пренебрежение ученых к кочевому скотоводству. Считая его низшей формой, они хотят строить в Алае теплые стойла, заводить животноводческие фермы. Ивченко считает это ненужным расточительством. Он снова рассказывает о своих опытах разведения яков.

Из Алтын-Мазара приходит, наконец, наш караван — три верблюда и лошадь В отряде Марковского мы берем еще двух вьючных лошадей.

Бордобинское сиденье окончено Мы трогаемся в путь на Алтын-Мазар.

Цивилизация — дома, столы, шоссе, автомобили — остается позади. Впереди — приволье похода. —

IV

Затерянный в зеленом море чукуров — холмов, образованных древними моренами. — движется по Алайской долине

наш караван. Мерно раскачиваясь, несут свой груз верблюды. За ними, пожевывая удила, идут вьючные лошади. Караванщик-киргиз тянет заунывную песню.

Справа, отделенная от нас тридцатикилометровой долиной, встает красная каменистая гряда Алайского хребга Слева, один за другим, раскрываются снежные гиганты Заалая Купаясь в лучах солнца, ослепительно блестят фирновые поля пика Ленина.

Время от времени наш путь пересекают реки, стекающие с ледников Заалая Тропа зигзагами спускается по береговому обрыву между огромными столбами выветрившихся песчаников. Красные от размывных пород потоки стремительно несутся по каменистым руслам.

Караван переходит вброд разлившуюся на несколько рукавов реку и снова углубляется в чукуры.

Николай Петрович Горбунов, геолог Марковский и я — едем по другой тропе, ближе к Заалайскому хребту. С утра мы покинули наш караван, чтобы осмотреть морену ледника Ленина. Теперь мы догоняем его. Лошади Горбунова и Марковского идут размашистой, ровной рысью. Я пытаюсь поспеть за ними на моем «Федьке» — это старый, почтенный и угрюмый конь.

У «Федьки» неплохая «тропота» — нечто в роде быстрого походного шага Но этим и исчерпывается репертуар его аллюров. Рысь его невыносима: она грозит седоку немедленным смещением почки. При переходе в галоп и в карьер поступательное движение как-то странно замедляется — «Федька» скачет больше вверх, чем вперед.

Воздух напоен запахом полыни. Седой ковыль стелется под ногами лошадей. Солнце садится в облака, пронизывая их снопами лучей. Бледное золото заката заливают скалистую гряду Алая. Она теряет свою гяжесть, свой рельеф, свою материальность. Она вычерчивается в небе воздушным, реющим контуром. Вершины Заалая скрыты в тучах Сквозь их пелену иногда прорывается часть отвесной стены или фирновое поле Снег отражает закат, и горы кажутся изваянными из бледнорозового камня.

Проезжаем мимо небольшого озерка, поросшего камышом. Закатное небо отражается в нем, как в зеркале, камыш кладет на розовую поверхность воды темные полосы тени.

Горбунов и Марковский оживленно беседуют. Марковский показывает рукой вдаль, на облитые закатом Алайские горы.

— Смотрите, — говорит он. — Вот эти бугры на нижней трети склонов. Выветривания. Типичные выветривания. Их иногда принимают за древнюю морену.

Подъезжаем к реке. Уже стемнело. В оглушительном реве потока тонут наши голоса. Где-то здесь должен стоять лагерь наш караван.

Всматриваясь в темноту, едем вниз по руслу. На том берегу показывается сигнальный огонек. Кто-то размахивает фонарем. Осторожно переправляемся через реку.

Шесть палаток расставлены в два ряда. Сложенный штабелем груз покрыт брезентом. В караване варится ужин. Темными силуэтами лежат неподалеку верблюды. Время от времени они тяжело и как бы обиженно вздыхают. Доносится мерный хруст — лошади жуют траву. И над всем этим — черный бархат неба, расшитый серебром созвездий...

На второй день похода я решаю отдохнуть от «Федькиных» аллюров, — иду пешком с Шияновым и Капланом. Мы шагаем за караваном с раннего утра до темноты. Беседуем. Шиянов говорит о трех вещах. Очень много — о своей работе: он — техник по испытанию самолетов. Конструкции и детали самолетов, методы их испытания, техника управления, особенности летчиков, случаи из летной практики... Несколько меньше говорит Шиянов о спорте, — о боксе, акробатике, лыжах, альпинизме...

Каплан уже начал терять облик горожанина. Он загорел, оброс рыжей бородой. Он ведет ожесточенную и беспрерывную борьбу с караванщиками-киргизами. Утром ему надо следить за тем, чтобы его кинокамеру завьючили сверху других вещей и при этом не опрокинули и не повредили вьючными веревками

Вечером — чтобы ее осторожно сняли с верблюда, не ударив о землю. Днем — чтобы караванщики, время от времени «пересаживавшиеся» на верблюдов, не взгромоздились на нее.

Камера была импортная. Сначала Каплан пытался объяснить это киргизам. Потом, поняв безнадёжность своих попыток, он всякий раз, как караванщики брались за нее, просто кричал во все горло:

— Франция! Германия! Франция! Германия!

Эти непонятные слова возымели свое действие. Караванщики стали обращаться с камерой более осторожно, чем с другим багажом, а Каплана звали «Франс-Герман».

На третьи сутки мы разбили лагерь у Гумбез-Мазара, недалеко от киргизского кишлака. Здесь Марковский расстался с ними. Он возвращается в Бордобу.

С утра мимо нас стали ездить киргизы. Оказывается, в Дараут-Кургане — съезд председателей сельсоветов и колхозов.

Караванщики отказываются вести наш караван дальше. Мы удивлены. Начинаются переговоры. Караванщики с жаром что-то рассказывают. Часто повторяется слово «арпа» — ячмень. К сожалению, мы почти не понимаем по-киргизски. Из кишлака приходят еще два киргиза. Они присоединяются к беседе с таким азартом, словно и они тоже заинтересованы в деле.

Не менее часа проходит в этом оригинальном споре, в котором стороны не понимают друг друга. Наконец один из караванщиков совершенно неожиданно вынимает из кармана письмо Гетье к Горбунову, которое сразу все разъясняет. Оказывается, группа Гетье не имела ячменя для расплаты за верблюдов. Наши караванщики были наняты для того, чтобы перевезти этот ячмень из Бордобы в Гумбез-Мазар. Узбек Елдаш, рабочий нашего отряда, приведший в Бордобу наш караван и по болезни там оставшийся, ни слова нам об этом не сказал. Мы были в полной уверенности, что караван прислан нам для перехода в Алтын-Мазар.

Характерно, что записка Гетье была извлечена из кармана только после часового бесплодного словопрения. Впоследствии это повторялось не раз: очевидно, сказывалась непривычка кочевых киргизов к писанному и печатному слову.

Положение создается довольно затруднительное. Если не удастся уговорить киргизов итти дальше, мы застрянем со всем нашим грузом в Гумбез-Мазаре на неопределенное время.

Николай Петрович, поджав под себя ноги, в широком туристском костюме и тибетейке, сидит на земле. Он, не торопясь, ведет разговор, разъясняет, убеждает, уговаривает. Один из приехавших из кишлака киргизов оказывается председателем колхоза, в котором состоят наши караванщики.

Дело постепенно улаживается. Договариваемся о цене и сроках расплаты. Нам приводят других верблюдов и других караванщиков, и мы благополучно двигаемся дальше.

Через день сворачиваем к югу в ущелье Терс-Агар, медленно поднимаемся вверх по течению Алтын-Дары. Впереди показывается снежная цепь Мазарских Альп.

Николай Петрович и Шиянов верхами уезжают вперед, Каплан и я идем пешком с караваном.

Через несколько часов видим забавную картину: Николай Петрович и Шиянов, раздевшись догола, в одних шляпах сидят у ручья и ковшами промывают шлих, ища золото. Лошади пасутся не вдалеке. Мы с Капланом забираем их и уезжаем вперед. На перевале будем ждать Горбунова и Шиянова.

Приближаемся к перевалу Терс-Агар. У небольшой уютной ложбинки на свежей зеленой траве решаем отдохнуть. Слезаем с лошадей. Ноги и спину ломит от долгого пути.

Вдруг Каплан хватается меня за руку и кричит:

— Смотрите, — киик¹⁾). Один, два, три, шесть!

Я вглядываюсь в скалы на противоположном берегу реки. С большим трудом различаю несколько силуэтов, почти не-

видимых на фоне скал, благодаря изумительной защитной окраске.

Усталости как не бывало. Я хватаю винтовку и быстро перехожу реку вброд. Поднимаюсь на склон и хочу стрелять, но киики исчезли... Я долго всматриваюсь в скалы и наконец вижу их на том же месте, где и раньше. Небольшая перемена в освещении сделала их невидимыми, хотя я значительно к ним приблизился. Ложусь, кладу винтовку на большой камень и тщательно выцеливаю одного киика, который едва заметным силуэтом стоит на скале. Выстрел. Смертельно раненное животное прыгает вверх и падает. И в тот же момент целое стадо кииков, испуганное выстрелом, бросается врассыпную вверх по осыпи, поднимая облако пыли. Кииков было гораздо больше, чем мы сумели разглядеть.

Я поднимаюсь по склону. Над убитым мною кииком плавными кругами реет орел. Красивое животное с тонкими, стройными ногами и изящной небольшой головой лежит недвижно. Безжизненные глаза кажутся стеклянными. Пуля попала под переднюю лопатку и вышла через шею. Я тащу киика вниз. Николай Петрович, подошедший с Шияновым к месту нашей стоянки, вскакивает на лошадь, переезжает реку и быстро поднимается мне навстречу. На берегу он искусно потрошит киика, затем мы приторачиваем его к седлу и продолжаем наш путь.

Приближаемся к перевальной точке. Еще несколько сот метров, и мы останавливаемся, пораженные открывшимся зрелищем.

Перевал обрывается вниз километровым отвесом. Под нами простирается плоская каменная долина Мук-Су, исчерченная сложным узором русел. Яркозеленым пятном вкраплен в нее оазис Алтын-Мазара. Над противоположным берегом долины прямо вверх взмывает почти на четыре километра мощный массив Мазарских Альп. Сначала — крутые скалистые обрывы, потом — нагромождение висячих ледников и ледопадов, затем — фирновые поля, изрытые сбросами, снежные отвесы с нависшими карнизами и следами лавин, и наконец — на светлой бирюзе вечер-

¹⁾ Киик — порода горного козла

него неба — четкие контуры вершин: Мусжилга, Сандал и Шильбе.

Широкая долина Мук-Су, отделяющая Заалай от Мазарских Альп, позволяет охватить их взором сразу — от подножья и до вершин. В этом сочетании высочайших горных хребтов с широкими плоскими долинами — особая, Памиру свойственная, грандиозность панорамы.

Снега Мазарских Альп тепло розовеют в лучах заката. Солнце садится все ниже. Холодная голубизна ночи ложится на вершины.

Начинаем спуск по бесконечным зигзагам. На высоте 3.300 м, прижавшись к камням, трогательно приютилась маленькая березка. Далеко внизу, в сгущающихся сумерках, идет наш караван. На середине спуска Николай Петрович и Шиянов остаются ждать отставшего Каплана. Я быстро иду вперед, догоняю караван, выбираю место для лагеря возле большой глиняной кибитки, где помещается база 37-го отряда нашей экспедиции, строящего метеорологическую станцию на леднике Федченко.

Установив палатки, я посылаю на перевал одного из трех сопровождавших нас спутников.

Через несколько времени приходят отставшие. Оказывается, Каплан, утомленный долгим переходом, решил спуститься с перевала верхом. По неопытности он не проверил подпруги, и в один прекрасный момент с'ехал вместе с седлом через голову лошади. С большим трудом ему удалось снова надеть седло. Но конь его, молодой и норвистый Пионер, отказался продолжать спуск. Каплан тащил его изо всех сил за повод. — Пионер, упираясь, продолжал щипать скудную траву. Каплан зашел Пионеру в тыл, и стал нахлестывать его. Конь начал отчаянно брыкаться. Два часа в полной темноте бился бедный кинооператор с упрямым конем, пока не явилось спасение в образе посланного мною красноармейца. Опытный в конских делах, воин быстро укротил строптивца, и все трое благополучно добрались до лагеря. Располагаемся на ночлег.

Рано утром нас будит бодрый голос Николая Петровича:

— Вставайте, мировая жратва готова!

Неисчерпаемая энергия у этого человека! Он уже давно встал, приготовил радиостанцию для пробного испытанья и успел, кроме того, нажарить большого казана кавардака. Николай Петрович любит иногда готовить, изобретая при этом самые необыкновенные и сложные комбинации блюд и приправ. Некоторые «варианты» вошли в летопись нашей экспедиции под его именем. Существовало например блюдо «беф а ля Горбунов». Когда оно не удавалось, его называли «блеф а ля Горбунов».

Алтын-Мазар радуется глаз сочной яркозеленой растительностью. Среди деревьев разбросаны юрты киргизов и их зимние глиняные дома, называемые кибитками.

На большом лугу, в деревянном квадрате изгороди — приборы метеорологической станции Средазгимейна. Наблюдатель Пронин со своим помощником помещается в маленькой комнатке в той же кибитке, где расположена база 37-го отряда ТПЭ.

Пронин живет в Алтын-Мазаре с ноября 1932 г. Он — страстный охотник, за зиму убил 22 киика. Очень доволен своим алтын-мазарским существованием, хочет оставаться еще на один год. Единственное, что его тяготит, — это полная оторванность от внешнего мира. За все время он не получил ни одного письма.

Днем Николай Петрович и Шиянов собирают станцию, которую мы хотим установить на вершине пика Сталина. Обнаруживается, что при переходе по Алайской долине утеряны винты, необходимые для закрепления пропеллера. Это большая неудача. Потеря винтов может задержать восхождение.

Николай Петрович посылает верхового в Лянч, где есть механическая мастерская, чтобы заказать там винты.

В Алтын-Мазаре мы прожили два дня, поджидая Розова — заведующего транспортом 37-го отряда.

Он должен был помочь нам своим опытом, своими людьми и лошадьми в труднейшей и опаснейшей переправе

через реки Саук-Сай и Сельдару, которые нам предстояло перейти, чтобы добраться до первого лагеря нашего отряда на языке ¹⁾ ледника Федченко.

V

Лошадь осторожно входит в реку. Буро-красная вода стремительным потоком несется по перекатам. Когда смотришь на нее, кажется, что лошадь пятится задом, и берега быстро движутся вверх по течению. Кружится голова, и странное искушение — сползти с седла и отдаться на волю течения — охватывает тебя. Надо смотреть поверх воды на противоположный берег, на серо-зеленую гальку широкой долины, на отвесы обрамляющих ее скал с причудливым узором изогнутых пластов породы, тогда все становится на место: берега перестают двигаться, лошадь медленно идет наискось по течению через русло, и только стремительный поток буро-красной воды, бурля и волоча по дну большие камни, мчится мимо.

Я повторяю заповеди Розова: не вставлять ноги глубоко в стремяна, не ослаблять повод; если лошадь потеряет упор и поплывет — направлять ее наискось к берегу, если она начнет погружаться с головой — прыгать в воду вверх по течению и плыть, держась за стремя или за хвост. Ни в коем случае не расставаться с лошадью, иначе — гибель. Этим летом в Саук-Сае и Сельдаре потонуло 14 человек.

Лошадь переходит русло, приближается к берегу, выходит из воды на гальку, встряхивается. Караван идет дальше. Рев воды позади нас стихает, но вскоре такой же рев начинает доноситься спереди. Мы подходим ко второму руслу.

Впереди на крепкой кашгарской лошади едет наш проводник, казак Колыбай, уже два года водящий по переправам караваны 37-го отряда. Он ведет за собою двух вьючных лошадей. За ним, на рослом верблюде, груженном нашими вещами, переправляется киргиз

Ураим. В поводу у него второй верблюд. За верблюдами идем мы — Розов, Николай Петрович, Шиянов, Каплан и я.

По едва приметным признакам Колыбай находит брод. Он старается вести караван так, чтобы ниже нас по течению была отмель или поворот реки: если вода собьет лошадь, по течению выбросит на берег.

Одно за другим мы переходим шесть русел Саук-Сае. Мы едем по широкой, плоской долине, отделяющей Саук-Сай от следующей реки — Сельдары.

Впереди, в километре от нас, из ущелья выпирает хаотическое нагромождение огромных серых бугров — язык ледника Федченко.

Сельдара еще скрыта галькой долины, но рев воды приближается. Еще несколько минут — и перед нами раскрывается мутный, коричневый погон. Солнце высоко стоит в небе. Под его палящими лучами усилилось таяние ледников. Река вспухла.

С величайшим трудом переходим шесть русел. В одном месте моя лошадь тяжело спотыкается, касаясь мордой воды. Резким движением руки я подтягиваю узду, предупреждая катастрофу.

Подходим к последнему, седьмому, руслу. Колыбай не может найти брод. Розов ходит по берегу, бросая в воду камни, чтобы определить глубину. Потом он садится на лошадь и входит в реку. Вода достигает колен, живота, седла лошади. Вода начинает переклевываться через круп. Лошадь теряет упор, начинает плыть. Течение подхватывает ее, стремительно несет к перекатам. Розов правит наискось — к противоположному берегу. Лошадь погружается, Розов сползает с седла в воду. Несколько минут отчаянной борьбы за жизнь, за которой мы наблюдаем, затаив дыхание, — и человек на берегу. В полсотне метров ниже выходит на берег и лошадь.

Ясно, что наш караван не сможет перейти последнее русло. Надо вернуться, ночевать на берегу и завтра, рано утром, повторить попытку переправы.

Но вода быстро прибавляется, и Колыбай отказывается вести нас назад. Он предлагает ночевать здесь же. на

¹⁾ Языком называется нижняя часть ледника, обычно покрытая мореной.

отмели, между руслами. Мы не соглашаемся. Сейчас только полдень. Еще семь или восемь часов будет прибывать вода. И если она зальет отмель, нам не будет спасения. Мы указываем Колыбаю на влажный песок отмели, на лужи, оставшиеся в углублениях, и настаиваем на возвращении.

С большим трудом и опасностью переправляемся назад. Под отвесными скалами Талей Шпитце (название дано немецкими участниками советско-германской экспедиции 1928 года) раскидываем лагерь.

Колыбай и Ураим собирают скудное топливо, Николай Петрович и Шиянов идут к стекающему со скал ручью промывать шлих. Каплан фотографирует лагерь.

Из убитого мною на Терс-Агаре кирика мы жарим на шомполах великолепный шашлык.

Рев реки усиливается. Вода прибывает, и к вечеру мы видим изумительное зрелище: река прорывает новые русла. Она яростно набрасывается на отмели. У их краев вода вздымается темными мутными валами, размывая гальку и песок. Хорошо бы мы были, если бы послушались Колыбая!

Мы лежим в спальных мешках. В двухстах метрах от нас, на противоположном берегу Сельдары, встают отвесные утесы Шильбе. Ветер гонит вверх по реке тучи белой пыли.

Каплан лежит рядом со мною. Во время переправы он держал себя очень спокойно и не трусил, хотя единственный из всей нашей группы не умеет плавать. Сейчас он полон пережитых впечатлений.

— Когда я уезжал, — произносит он задумчиво, — жена мне говорила: «Будешь на Памире, не лазай по горам». А вот рек-то она не предусмотрела!

Я пишу дневник. Колыбай и Ураим садятся против меня на корточки и смотрят. Их лица принимают все более удивленное выражение. Они никак не могут понять, как может человек так долго писать.

Наконец Колыбай не выдерживает молчания.

— Твоя кибитка где стоит? — спрашивает он.

— В Москве.

В Москву из Ташкента далеко ехать? Целый день?

— Четыре дня по машине.

Колыбай и Ураим изумлены. И, непонятным мне ассоциациям, Колыбай вынимает из кармана удостоверение, из которого видно, что он — старший вьючник 37-го отряда и имеет право носить винтовку.

— Ставь еще печать, — говорит он, — пусть знают, что я большого начальника через реку перевел.

Большим начальником на Памире называют Горбунова.

Лучи заходящего солнца скользят по верхушкам скал, по причудливым узорам кварцевых жил, по снежным карнизам прекрасной Шильбе. Лагерь засыпает...

Вечереет.

Утром рева реки почти не было слышно. У краев отмелей обнажилась влажная темная галька. Вода значительно спала.

Навьючив вещи на верблюдов, мы тронулись в путь. У берега Колыбай долго искал брода. Русла были все же глубоки и стремительны.

Наконец мы приступили к переправе и, к удивлению, довольно легко перешли все семь русел. Только однажды один из верблюдов начал терять упор и жалобно закричал. Общими усилиями мы вытащили его на берег.

Итак, переправа окончена, — едем рысью вдоль скал к лагерю.

Переезжаем еще одну реку — Малый Танымас. На ее берегу под скалами раскинуто несколько палаток. Возле них аккуратными рядами стоят десятки вьючных ящиков. Это — базовый лагерь нашего отряда.

Небольшой ручеек падает с отвеса, образуя водоем с чистой, прозрачной водой. И, выделяясь свежей зеленью листвы на сером фоне скал, растет над лагерем развесистая кудрявая березка.

Маленький человек с веселым взглядом синих глаз и затаившейся в задорных уголках рта лукавой усмешкой встречает нас у палаток. Это — началь-

ник административно-хозяйственной части нашего отряда, Михаил Васильевич Дудин. У большого казана хлопочет Алеша, молодой парень, сухопарый и нескладный, похожий на страуса. И Дудин, и Алеша — в трусиках. Их тела покрыты крепким горным загаром.

Рассаживаемся на камнях вокруг improvisированного из вьючных ящиков стола. С приятным ощущением миновавшей опасности принимаемся за обед.

Рядом с нашим лагерем стоит юрта 37-го отряда. Колыбай, сидя на камне, переобувается. Сейчас он поведет назад через реки караван 37-го отряда, вернувшийся порожняком со строительства. Станция строится в 40 км. отсюда на леднике Федченко, на высоте 4.300 м., у перевала Кашал-Аяк.

На другой день мы отдохали, чинили вещи, устраивались поудобнее в палатках. На базовом лагере нам предстояло прожить несколько дней в ожидании, пока прибудут из Лянча заказанные для радиостанции винты.

Прямо против лагеря, по ту сторону языка Федченко, синее ущелье Билянд-Киик. По-киргизски это значит «кинки на высоте». Туда мы идем на охоту.

Переpravляемся через Танымас, выходим на морену, пересекаем трехкилометровый ледник, спотыкаемся, скользим по нагромождению валунов, перепрыгиваем через ручейки, выходим к правому краю ледника, к месту, откуда вытекает Сельдара.

Река не вытекает, а выжимается напором мощного ледяного пласта. Темно-бурый поток вырывается снизу из глетчерного грота, толстым коротким стволом взмывает вверх и затем ниспадает каскадами во все стороны, словно переливаясь через края огромной невидимой чаши. Гигантский водяной гриб клубится в лохмотьях рыжей пены.

Река идет дальше одним глубоким руслом. Вода несется в неудержимо стремительном течении. Громадные валуны с грохотом движутся по дну. Перед перекатами — водяные провалы на несколько метров, в которых бурлят водовороты страшной силы. Над рекой стоит глухой гул.

На расстоянии километра выхода из ледника Сельдара ударяется в скалистую стену Талей-Шпитце, круто поворачивает налево и растекается по долине сетью широких и сравнительно мелких русел.

Вырубая во льду ступени, осторожно проходим над гротом, откуда выходит река. Мурашки бегают по спине при одной мысли о том, что можно сорваться вниз, в бушующую пучину.

Перейдя ледник, мы делимся на две группы. Николай Петрович, Дудин и Каплан идут дальше по ущелью, мы с Шияновым начинаем подъем на гору. Мы лезем сначала по большому валунам, потом по крутым и твердым глинистым осыпям. Тяжелый рюкзак со спальным мешком и винтовка оттягивают плечи. Подъем очень труден. Сказывается недостаток тренировки. На осыпях много свежего кичьего помета. Появляется надежда на хорошую охоту.

Через два часа достигаем отлогих, поросших зеленой травой склонов, поднимаемся на небольшой перевал, ориентируемся, выбираем места и расходимся.

Я располагаюсь на небольшой, ровной площадке возле низкорослых побегов арчи, сооружаю невысокий барьер из каменных плит, защищающий меня от ветра, расстилаю спальник и приступаю к ночлегу.

Меркнут краски гор. Сизая вечерняя дымка ложится на них. В величавой тишине приходит ночь. Лунный свет пропитан хвойным запахом арчи.

На рассвете мы несколько часов напрасно ждали кииков. Нас постигла неудача. Кииков не было. К полудню мы вернулись в лагерь.

Вечером Дудин, выехавший из Москвы с первой партией нашего отряда, рассказывал нам о работе нашей подготовительной группы: о формировании каравана в Оше, о походе по Алайской долине в снег и вьюгу, о переправе через реки в такую высокую воду, что Колыбай отказался вести караван, об огромном сизифовом труде — прокладке вьючной тропы на протяжении 40 км. по моренам и крутым склонам от языка ледника Федченко до подножья пика Сталина, где на высоте 4.600 м был

установлен лагерь, названный «ледниковым». На полпути между базовым лагерем и ледниковым, у впадения в ледник Бивачный ледника Сталина, на высоте 3.900 м. был еще один лагерь — «подгорный».

Неблагополучно, по словам Дудина, обстояло дело с носильщиками. Начальник нашей подготовительной группы, Харлампиев старший (в отряде было двое Харлампиевых — отец и сын), должен был привести с Памира, из высокогорного района Кудары, восемь испытанных носильщиков-таджиков, привыкших к переноске грузов на больших высотах.

15 июня Харлампиев отправился из базового лагеря по ущелью Билян-Киик в Кудару и пришел туда 20 июня. В Кударе Харлампиев пробыл только один день. Вместо того, чтобы лично отобрать и нанять носильщиков и привести их с собою в базовый лагерь, он удовлетворился обещанием кударинского райкома пригласить носильщиков к 1 июля. Харлампиев вернулся к языку Федченко, не оставив даже носильщикам на дорогу продуктов. Само собою понятно, что из Кудары никто не пришел.

Впоследствии Дудину удалось с большим опозданием доставить в Алтын-Мазаре шесть носильщиков — четырех киргизов и двух таджиков. Однако они были слишком молоды и недостаточно выносливы. И все же подготовка к восхождению шла очевидно успешно.

Путь на вершину был намечен еще во время прошлогодней экспедиции. Тогда Горбунов, Гетье и старший Харлампиев поднялись по большому леднику, вытекавшему из мульды¹⁾ пика Сталина к основанию его восточного ребра. Скалистое ребро, круто поднимавшееся от высоты 5.600 м. до 6.400 м., было трудно и очень опасно. Шесть жандармов²⁾ преграждали проход по нему. Но другого пути на вершину не было.

Ребро выводило на фирн. Огромные фирновые поля мягкими уступами подни-

мались к вершине. Здесь вряд ли можно было ожидать больших трудностей.

Горбунов и Гетье поднялись в прошлом году до высоты 5.900 м., преодолев два жандарма. Мороз и осенний буран заставили их прекратить восхождение.

Остальные жандармы снизу казались трудными, но преодолимыми.

Подготовительная группа должна была найти самый легкий путь по жандармам, сбросить на этом пути все плохо лежащие камни, вбить на трудных местах в скалы крюки и натянуть веревки. У основания скалистого ребра, на высоте 5.600 м., над последним жандармом на высоте 6.400 м. и на фирне на высоте около 7.000 м. надо было установить лагери и занести в них продукты.

По сведениям Дудина, наши альпинисты, жившие в лагере на высоте 4.600 м., уже приступили к обработке под'ема на пик и установили первый высокогорный лагерь на высоте 5.600 м.

4 августа, во время обеда, на морене показывается наш караван, пришедший из верхних лагерей. Усталые лошади, скользя и спотыкаясь, с трудом бредут по серым ледяным буграм. Усталые люди погоняют их криками и камнями.

Караван переправляется через Танымас, подходит к лагерю. Караванщики развьючивают лошадей,жимают нам руки.

— Ну, как там — все якши? ¹⁾ — спрашивает Дудин.

— Якши, якши, — говорит караванщик Позыр-хан, рослый, красивый узбек.

— Записка бар? ²⁾

— Бар.

Позыр-хан вынимает из-за пазухи клочок бумаги. Я узнаю прямой, корявый почерк Гетье.

Дудин пробегает глазами неровные строчки и молча перелает записку Николаю Петровичу.

Мы читаем:

«1/VIII — 33 г.

Дорогой Михаил Васильевич!

У нас большое несчастье: при подготовке для прохода носильщиков послед-

¹⁾ Чашеобразная ложбинка в массиве горы.

²⁾ Скала или скалистый массив.

¹⁾ Якши — по-киргизски хорошо.

²⁾ Бар — по-киргизски есть.

него жандарма на ребре 30/VII сбит камнями Николаев. У меня с А. Г.¹⁾ на глазах он пролетел около 500 м. по отвесному ледяному склону, погом на 50-метровый снеговой сброс и оттуда — на скалы. Попытки на другой день найти труп на леднике Сталина окончились неудачей, — повидимому, он попал в снеговую грешину, либо застрял на скалах, добраться же до них нет возможности. Сейчас спустились в ледниковый лагерь, чтобы несколько успокоиться. Завтра для отвлечения мыслей хочу сделать восхождение на пик Орджоникидзе, а затем — снова в лагерь 5.600 м. Туда мы уже забросили почти все необходимое для восхождения. Меня очень волнует отсутствие Николая Петровича и Шиянова. Сейчас присутствие Н. П. совершенно необходимо, так как внесет спокойствие. А. Г. настроен совершенно демобилизационно. Постараюсь отправить его к вам. О смерти Николаева прошу никому не говорить. А. Гетье.

Р. С. Пришлите ящик с метой²⁾.

Я иду к своей палатке.

Николаев встает передо мною таким, какам я знал его в Оше. Веселый, остроумный, немного мечтательный юноша, отличный товарищ, страстный альпинист. Я вспоминаю, как он обучал меня скалолазанию на Сулейман-баши, как мы сражались с ним в шахматы в тенистом парке, купались в стремительной и мутной Ак-Буре. Так неожиданно и просто все это окончилось: «сбит камнем с ребра...»

Но жизнь идет своим чередом, и я закрепляю на спальном мешке готовые оторваться пуговицы и продеваю кожаные шнуры в окованные триконями³⁾ горные башмаки.

Николай Петрович зовет меня в свою палатку — обсудить положение.

Мы решаем, что завтра Шиянов, Каплан и я должны отправиться в ледниковый лагерь, чтобы внести в отряд успокоение и принять участие в подготовке восхождения. Николай Петрович остается в ледниковом ожидать винты

¹⁾ А. Г. — Харлампиев-старший.

²⁾ Сухой спирт, употребляющийся в качестве топлива

³⁾ Металлические шипы.

для радиостанции. В связи с этим восхождение, назначенное на 10 августа, откладывается до 20-го.

Следующий день прошел в сборах и писании писем. Надо было дать хотя бы короткий отдых лошадям.

Вечером в мою палатку залезает Николай Петрович. Мы молчим и думаем об одном и том же: о Николаеве, о восхождении, о предстоящем завтра пути по ледникам.

Потом Николай Петрович вынимает из кармана тюбик бромурала. Он протягивает его мне.

— На случай, если вы плохо будете спать на высоте, — говорит он...

VI

Утром на другой день мы отправляемся в путь. Николай Петрович и Дудин провозжат нас по берегу Таны-маса до переправы. Мы переходим бурлящий поток по перекинутому через него бревну и поднимаемся на морену. Базовый лагерь остается позади.

Хаотическое, бессмысленное нагромождение серых ледяных бугров, покрытых галькой и камнями. Местами крутые срезы обнаженного льда уходят вниз на 50 — 60 км. Внизу — маленькие грязные озера. Гнетущий своим однообразием и безобразием ландшафт. Приходят в голову картины из Дантова ада.

Едва заметная тропа, отмеченная небольшими турами¹⁾, вьется между буграми. Вверх, вниз, вверх, вниз — иногда по самому краю крутых срезов.

Тяжело навьюченные лошади с трудом идут по тропе. Галька и камень часто скользят по льду. Тогда у лошадей разезжаются ноги, и они падают. Следы крови остаются на камнях.

Мы идем за караваном, внимательно выбирая место для каждого шага, упорно преодолевая сопротивление морены. Впереди маячит высокая гора с характерной плоской, как бы срезанной, вершиной. Мы знаем, что она стоит у впа-

¹⁾ С голбики или пирамиды из камней.

дения в ледник Федченко ледника Бивачного. У ее подножья мы будем ночевать и завтра свернем на Бивачный. До горы, как будто, рукой подать. Но мы идем час, другой, третий — расстояние не сокращается. Да и высокие хребты, окаймляющие ледник, словно движутся вместе с караваном: за полдня пути пейзаж почти не меняется. По обе стороны от нас все те же скалы, обрывы, снежные сбросы.

Начинаем чувствовать усталость, скорее психическую, чем физическую. Внимание слабеет, трикони все чаще задевают за камни, нога подвертывается.

Наконец мы поровнялись с горой у устья Бивачного. Мы выходим к борту ледника и на маленькой скалистой площадке останавливаемся на ночлег.

Пока караванчики развьючивают лошадей, я прохожу с Шияновым немного дальше вперед, до поворота на Бивачный. Перед нами — тот же унылый моренный пейзаж, хаос серых ледяных бугров, ледяные срезы, грязные озерки. Скалы на левом берегу ледника сильно выветрены. Они образуют тысячи «монашек» — больших, остроконечных столбов, стоящих правильными рядами.

В своей верхней части ледник Бивачный окаймлен слева грядой высочайших вершин. Мы раскладываем на плоском камне карту, ориентируем ее и начинаем определять: широкий, ближе других к нам стоящий массив светлорозового камня, увенчанный фирновой макушкой, — пик Реввоенсовета, 6.330 м., за ним — грозная, черная, отвесная стена. — пик Ворошилова, 6.660 м.; вдали — ровный, скалистый конус со снежной вершиной, похожей на сахарную голову, — пик Орджоникидзе, 6.330 м.

За пиком Орджоникидзе мы различаем еще одну вершину. Она почти закрыта своим соседом и кажется гораздо ниже его. Видна только часть широкого снежного шатра.

Сверяемся с картой — дважды, трижды, боясь ошибиться. Сомнений нет, — это пик Сталина, высочайшая вершина СССР, одна из высочайших вершин мира, 7.495 м.

Мы долго смотрим на пик Сталина в бинокль. Теперь, когда мы видим его величественную свиту, — нагромождение вокруг него снеговых гигантов, — нам становится понятно, как могла высочайшая вершина нашего Союза так долго оставаться неизвестной, неразысканной. Впервые он обнаружил в 1928 году немецкий ученый Финстервальдер, один из участников советско-германской памирской экспедиции. Он принял ее за пик Гармо Дарвазский, считавшийся до тех пор самой высокой вершиной в системе Академии наук.

И только в прошлом году, когда отряд Н. В. Крыленко совершил восхождение на южное плечо Дарвазского Гармо с запада, а Н. П. Горбунов пытался подняться на южное плечо мнимого Гармо с востока, — ошибка Финстервальдера была исправлена. Новая вершина нашла свое место на карте и получила имя — имя вождя.

Мы возвращаемся назад, стоянке нашего каравана, разравниваем ногами камни на площадке и расстилаем рядом наши спальные мешки: Шиянов, Каплан и я. Ложимся и засыпаем под тихую беседу караванщиков.

На другое утро мы трогаемся дальше. Тропа идет по правому краю Бивачного, по откосам окаймляющих его гор.

Идем весь день, — заболеваем «моренной» болезнью. Нас буквально тошнит от одного вида этого серого хаоса.

Наконец тропа спускается в ложбинку. Справа — высокий вал боковой морены, скрывающий от наших глаз ледник. Слева — травянистый склон горы. Ложбинка расширяется, из-за поворота скалы раскрывается небольшое приветливое озеро и на берегу его — несколько палаток.

Это наш второй лагерь, подгорный, расположенный на высоте 3.900 м.

Шиянов, ушедший вперед, разговаривает с каким-то человеком в шекельтонах¹⁾. Отогнутые голенища шекельтонов, рейтузы с раструбами и фетровая шляпа придают этому человеку странное

¹⁾ Теплая обувь, применяемая на самых больших высотах.

сходство с испанским грандом с картин Веласкеза.

— Волков, Иван Георгиевич, — представляется он мне.

Вспоминаю, что к нашему отряду прикомандирован топограф Волков. С ним работают три товарища из Бордобы — Рытков, Белов и Шибшов.

За ужином завязывается беседа. Иван Георгиевич предается воспоминаниям о Москве, — этот домосед и семьянин выбит из колеи непривычной обстановкой.

И все же он работает, и работает хорошо: я с интересом рассматриваю филигранный узор горизонталей на сделанной им карте ледника Бивачного. Его съемка уже выявила ряд ошибок, допущенных в 1928 г. Финстервальдером.

Весь следующий день мы проводим в подгорном лагере: надо дать отдых лошадям. Три из них расковались и не могли итти дальше.

Волков с утра уходит на работу, остальные грузят на себя треногу, линейку, приборы, и вся группа скрывается за валом морены.

Мы остаемся одни, — принимаем солнечные ванны на поросшем травой склоне горы, купаемся в озере, разбираем вещи.

Лошади, наслаждаясь отдыхом, катаются по земле, поднимая облака пыли «Федька» солидно стоит в стороне, пощипывая, скудную траву.

Повар Усумбай печет на кизяке лепешки. Лицом этот очень худой человек поразительно похож на оперного Мефистофеля. Но на его «дьявольском» лице играет добродушная улыбка.

На другое утро мы трогаемся в путь, — пересекаем поперек ледник Бивачный и выходим к устью ледника Сталина.

Наконец-то кончается морена. Ледник Сталина вливается в ледник Бивачный грядой сераков¹⁾. Эти острые, белоснежные ледяные пирамиды напоминают ряды зубов в ощеренной пасти гигантской щуки. Между сераками — лабиринт бездонных трещин. Тропа идет правым берегом ледника. Прямо против

нас — розовая стена пика Реввоенсовета. Мы минуем ее, проникаем все дальше, в грозный мир горных великанов. Слева в ледник Сталина вливается ледник Ворошилова. Слияние двух ледников, двух круто ниспадающих гряд сераков — грандиозно.

Ледопады живут. Бурные ручьи пробивают себе путь между сераками, низвергаются водопадами. Глыбы льда и большие камни с грохотом летят вниз, к подножью ледопадов, к их краям.

Тропа зигзагами поднимается на осыпь по борту глетчера. Камни и галька ползут вниз под кыптами лошадей. Измученные лошади берут подъем рывками: несколько быстрых, судорожных шагов и — остановка.

Одна лошадь срывается. Она скользит по осыпи, пытаюсь удержаться, скользит все быстрее, переворачивается на спину. Вьюки летят под гору, и за ними, кувыркаясь через голову, падает лошадь.

Высота склона — около 100 м. Лошадь тяжело шлепается у подножья ледопада. Мы уверены, что она разбилась на-смерть.

Караванщики спускаются к ней. К нашему удивлению, лошадь поднимает голову, ошалело осматривается. Потом она встает на ноги. Караванщики выводят ее на тропу и снова спускаются вниз за вьюком.

Лошадь стоит спокойно, потом... начинает щипать траву.

Идем дальше. Тропа то поднимается вверх, то спускается вниз. На спусках отчаянно ругаемся: нам жалко «терять высоту». Мы знаем, что наш ледниковый лагерь расположен на высоте 4.600 м., и хотим скорее достигнуть его уровня.

Наконец караванщики указывают куда-то вперед, к противоположному краю ледника. Там, под осыпью, покрывающей склон Орджоникидзе, мы видим следы горного обвала — нагромождение свалившихся сверху скал.

— Большой камень, большой камень, — говорит один из караванщиков, показывая рукой, — там лагерь. Скоро придем.

¹⁾ Большие пирамиды из льда, образующиеся на растрескавшейся поверхности глетчера.

Прямо перед нами — выше и мощнее всех окружающих его вершин — встает гигантским массивом фирна и льда пик Сталина. Его снежный шатер четко вырисовывается на синеве неба. Холодно сверкают фирновые поля, залитые лучами солнца.

Чернеет отвесная полоса страшного ребра, и из мульды¹⁾ вытекает огромный ледник. Снежная стена, расчерченная следами лавин, отходит от пика Сталина влево, соединяя его массив с пиком Молотова. Между двумя вершинами — большой цирк²⁾, заполненный этим ледником. Другая, светлосерая скалистая стена, с узором снеговых прогилок, идет от пика Сталина вправо, к пикку Орджоникидзе.

Мир впереди нас непреодолимо замкнут. Из карт мы знаем, что за этим рубежом вершин и скалистых стен — цветущая долина Дарваза, стремительные потоки Мук-Су, Хингоу и Ванча, роши грецких орехов и фисташков. Но рубеж недоступен и непреодолим.

Непреодолим не только для человека, но и для ветров. На нем, на этом рубеже, западные ветры теряют свою влагу. Она осаждается на склонах и вершинах хребта Академии наук, образуя огромные фирновые поля и величайшие в мире ледники. В них берут свое начало почти все реки Таджикистана. А к востоку от хребта Академии наук — область мирового минимума осадков, царство вечного солнца и восточных сухих ветров.

И чтобы познать свойства этого грандиозного рубежа, чтобы изучить течение ветров на его высотах, мы должны подняться на вершину пика Сталина и установить там автоматическую метеорологическую радиостанцию...

Мы углубляемся в сераки, в море ледяных пирамид. Рубим ступени, втаскиваем лошадей на крутые отвесы, осторожно придерживая их за хвост, спускаем вниз. Лошади скользят, снова поднимаются. Падает наконец и осторожный «Федька». Он лежит на снегу, мрачно смотря на нас.

¹⁾ Большая ложбина в массиве горы.

²⁾ Замкнутое крутыми склонами круглое пространство.

«Федьку» развьючивают. Но он продолжает лежать, выглядывая секунды отдыха. И только, когда Позыр-хан совершенно недвусмысленно берется за комчу, «Федька», не торопясь, встает.

Дорога размечена маленькими турами, в каждый тур заложен листок красной маркировочной бумаги со стрелкой, указывающей направление. Мы идем по серакам час, другой. Обвал у склона Орджоникидзе, где расположен наш лагерь, все так же близок или так же далек, как и два часа тому назад, когда караванщики указали его нам.

Наконец сераки окончены. Еще последний подъем, еще десяток метров по боковой морене, и мы — в ледниковом лагере. Несколько палаток разбросано между скалами. У большого камня — примусы и походные кухоньки. Высота — 4.600 м., почти высота Монблана.

Нас встречают приветственными криками.

Гетье, Гушин, Аболаков, Цак и Маслов обступают нас, жмут руки.

У Гетье, Гушина и Аболакова пальцы забинтованы марлей.

В одной из палаток сидит бледный, бородатый человек, укутанный в свитер и полушубок. Мы знакомимся. Это — Гок Харламбиев, простудившийся при поисках тела Николаева и заболевший воспалением легких, болезнью, почти всегда смертельной на такой высоте. Несколько дней товарищи опасались за жизнь Гока. Но спортивный закал и внимательный уход доктора Маслова сделали свое дело: кризис миновал благополучно.

Из соседней палатки выходит пожилой человек, в котором я узнаю старшего Харламбиева. Голова его обвязана полотенцем, ноги забинтованы.

Нас засыпают вопросами. Мы передаем новости из Москвы, Оша, Алтын-Мазара и базового лагеря. Самым актуальным вопросом оказывается положение дел в базовом лагере.

Где Горбунов? Где станция? Когда начинаем восхождение? Отсрочка восхождения до 20/VIII огорчает всех: мы

упускаем лучшее время, погода может испортиться.

Письма... Привезли ли мы письма? Я вынимаю из полевой сумки пачку писем, в том числе одно, адресованное: «Альпинисту Гушину».

Общий хохог...

Пока мы беседуем, носильщики разбивают нам палатки. Я разыскиваю среди вьюков свою сумку и рюкзак, расстилаю спальный мешок. Жилище готово.

Цак любезно приносит чайник с рисовой кашей.

Солнце садится за южное ребро пика Сталина. Жара сразу сменяется прони-

зывающим холодом. Надеваем полушубки.

Голубые тени вечера ложатся на фирны окружающих вершин. Темнеет. Стикает беседа.

Внезапно раздается громовый гул и грохот. Я удивленно оглядываюсь.

— Лавина, — спокойно говорит Гетье и показывает на облако снежной пыли, возникающее на крутом уступе стены, соединяющей массив пика Сталина со склонами пика Молотова. Тысячи тонн снега стремительно низвергаются по круче вниз на глетчер, белое облако, колеблемое ветром, долго еще стоит в воздухе.

{Окончание следует}

За рубежом

ИЗ ВПЕЧАТЛЕНИИ О ГЕРМАНИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

Проф. М. Неменов

Догитлеровскую Германию я знал очень хорошо, — не хуже, чем свою страну. В последний раз до фашистского переворота я был в Германии в 1930 году. Тем легче мне было, даже при сравнительно кратковременном пребывании в Германии, в этом году уловить черты того разложения и безнадёжного кризиса, которые характеризуют гитлеровскую Германию.

Есть совершенно объективный признак, по которому, как по биению пульса у человека, можно определить темпы жизни стран и городов, — это интенсивность железнодорожного и уличного движения. Кто когда-либо проезжал через Германию, — особенно по ее крупным железнодорожным магистралям, — всегда поражался интенсивностью железнодорожного движения, массой пассажиров, оживлением, царившим в железнодорожных буфетах, у станционных киосков и т. д. Всякий знает, как трудно было получить спальное место, особенно в поездах, пересекающих границы Германии.

Каково же было мое удивление, когда в огромном спальном вагоне, кроме меня, от границы до Берлина ехал всего лишь еще один пассажир. Проводник сказал мне, что это в настоящее время обычная вещь: пассажиров нет. На обратном пути из Испании я ехал через Мюнхен экспрессом Париж—Вена. В поезде пассажиров было так мало, что от германской границы вагон-ресторан был отцеплен. В вагоне со мною вместе

было два-три пассажира, а во всем поезде я в Штутгарте насчитал едва полтора десятка человек. Огромный штутгартский вокзал совершенно пуст, несмотря на ранний вечерний час прихода поезда. Все киоски закрыты. Чтобы что-нибудь с'есть, я вынужден пройти через длинные туннели в главный станционный ресторан. Но и здесь, в обширном помещении, я вижу только четырех человек посетителей, среди которых два штурмовика. Достаточно человеку, знавшему прежде Германию, получить впечатление от железнодорожного движения, которое я привел выше, чтобы ясно понять, что Германию постигла катастрофа. Такое же впечатление производит и уличное движение. Кто видел поток автомобилей на главной артерии Берлина, Унтер-ден-линден, и пересекающих этот проспект крупнейших улиц, где сосредоточена вся деловая и торговая жизнь столицы, тот сразу заметит, что происходит что-го необычайное. Поток автомобилей в этих местах был всегда настолько густ и непрерывен, что здесь установлены автоматические светофоры, пропускающие автомобили то в одном, то в другом направлении. Такие светофоры имеет смысл устанавливать только там, где поток экипажей является непрерывным. А теперь, в самое горячее время дня, я мог наблюдать, как светофоры на Унтер-ден-линден работали впустую или как с красной стороны их стояло несколько автомобилей в то время, когда с зеленой стороны

не проезжал никто. Гостиницы пусты; пустуют рестораны и кафе, например в кафе «Централь», одном из крупнейших кафе Берлина, где я теперь завтракал ежедневно, я встречал лишь одного-двух посетителей. Иностранцев нигде не видно, в то время как раньше их можно было встречать на оживленных улицах Берлина и Мюнхена буквально на каждом шагу. Лучшие магазины Берлина и Мюнхена совершенно пустуют. Я нарочно заходил во многие из них, — покупателей почти совершенно нет. Особенно это касается магазинов, где продаются более или менее дорогие вещи, — платья, мебель и т. д. Я заходил в самый крупный универсальный магазин Вертхайма. Несмотря на пред рождественское время и рождественские выставки в окнах, народу и здесь очень мало. И все это — люди, пришедшие поглазеть или купить что-нибудь на сумму, не превышающую марку; в отделах, где продаются более дорогие вещи, совершенно пусто. Повидимому, не привлекает покупателей и фашистский знак свастики, вывешенный в окнах в обозначение того, что владелец его — истинно немецкий немец. Даже кинематографы пустуют. В крупнейшем кино Мюнхена сидит несколько десятков человек. На экране «звуковой» Гитлер меланхолически опустив очи долу, со сладко-сентиментальной интонацией он восклицает: «Мои дорогие рабочие!» Далее речь идет о «борьбе с капиталом» и с евреями, обращение к нации жертвовать хотя бы по одному пфеннигу, чтобы побороть безработицу: жертвовать старое платье и уголь, чтобы бороться с грозным призраком холода. А далее на фильме — железнодорожные вагоны, у которых стоят штурмовики. Подходит мягкосердечная немка и приносит пакет старого платья; штурмовик элегантно, по-фашистски поднимает руку в знак приветия, еще кто-то приносит немного угля, снова приветствие, и поезд отправляется спасать от голода и холода миллионы трудящихся, разрешать по гитлеровскому рецепту экономический кризис. За последнее время было изобретено еще одно новое средство борьбы с экономической катастрофой: вбивание

гвоздей в фашистскую свастику. Большие красные щиты со знаком свастики расставлены на всех перекрестках. Около них — штурмовики, предлагающие за 5 пфеннигов вбить гвоздь в знак свастики. С ханжеским лицемерием в этом благотворительном деле принимают участие высшие сановники страны, начиная от самого президента. В газетах указано, когда, на каком перекрестке будет вбивать свой гвоздь тот или другой министр, тот или другой видный сановник.

Всему миру известно о тех зверствах, которыми заклемила себя навеки фашистская Германия, — о зверствах, совершенных над рабочими и евреями. Всем известны те оргии дикарей, которые выражались в оплевывании науки, культуры, в сжигании произведений науки и искусства на городских площадях, в разрушении памятника Гейне, в разгромлении и разрушении жилища величайшего из современных мировых ученых — Эйнштейна. Это было из газет известно мне, но все же жутко было слушать от очевидцев подобные рассказы. Вот например рассказывает мне лейпцигский научный работник о том, как славное фашистское студенчество Лейпцигского университета забавлялось над солидным профессором физики — евреем Дембером. Ворвавшись гурьбой, они выгнали его из аудитории, но, не довольствуясь этим, написали ему письмо, в котором высказывали сожаление, что они недостаточно тепло простились со своим старым преподавателем, прося его прочесть им еще одну прощальную лекцию. Профессор имел неосторожность поверить этой гнусной шутке и на следующий день явиться в университет. Толпа студентов поджидала его, — она выволокла его из аудитории во двор, привязала к дереву и подвергла неслыханным издевательствам, избивая и оплевывая. Лейпцигские же студенты требуют, чтобы в анатомический институт доставлялся определенный процент еврейских трупов. Крупный ученый-прозектор в Мюнхене снимается с должности за свое еврейское происхождение. Когда же это грозит осложнениями со стороны Рокфелле-

ровского фонда, прозектора оставляют на службе, но с тем, чтобы... он вскрывал только трупы евреев, которые, кстати сказать, в этом городе почти не встречаются из-за малочисленности еврейского населения. Мне рассказывала одна женщина-врач о своей подруге, молодой девушке, которая любила еврея. Это происходило в Лейпциге. Молодых людей связали вместе веревками, на грудь им повесили плакат с описанием тяжкого их преступления и водили по улице с оркестром музыки. О подобных вещах я читал в газетах, но как-то не хотелось верить, а рассказы очевидцев так убедительны и вызывают такой ужас и омерзение, что все читанное в газетах кажется мелочью.

Работа в научных учреждениях, которые я посещал, замерла. Многие лучшие работники изгнаны и заменены бездарными, но, правда, обладателями несомненных арийских бабушек. В угоду антисемитизму немцам запрещены научным учреждениям опыты над животными. Чтобы получить на это разрешение, в настоящее время требуется подавать всякий раз специальное ходатайство с указанием цели данного научного исследования, его важности и т. д. По словам ученых, с которыми мне приходилось беседовать, это создает громадный тормоз для научной работы.

Очень многие у нас в Союзе, особенно в среде научных работников, не понимают, каким образом «культурная» Германия могла «дойти до жизни такой». Некоторые просто не верят газетным сообщениям. Для тех же, кто знает Германию глубоко, происходящее там сейчас не является таким уже неожиданным. Это явилось одним из возможных исходов той обостренной классово-борьбы, которая разгорелась в Германии после империалистической войны. Победа фашизма в Германии явилась временной победой монополистического капитала. Победа фашизма в Германии и те вероятно дикие формы, какие он, фашизм, принял, облегчалась благодаря ряду обстоятельств. К этим обстоятельствам нужно отнести многочисленность и особенность так называемого среднего сословия (Mittelstand) в Германии, уяз-

вление национального самолюбия у значительной части буржуазного населения Германии Версальским договором, предательство социал-демократических вождей, по психологии и интересам своим тесно связанных с так называемым средним сословием (Mittelstand). Орудием в руках монополистического капитала Германии для совершения переворота и явилось это среднее сословие. Корни этого сословия лежат еще в цеховой Германии. Это классическое немецкое мещанство, с такой ядовитой ненавистью воспетое Гейне, сохранило и до наших дней все свои характерные черты. Состоя, главным образом, из ремесленников и мелких торговцев в городах и крестьян-кулаков в деревне, немецкое мещанство упорно, можно даже сказать, «героически» в течение многих десятилетий сопротивлялось промышленному и торговому капиталу, конкурируя с ним за счет бесконечного удлинения своего рабочего времени, за счет уменьшения до крайности своих потребностей, за счет классической немецкой бережливости. Особенно тяжело приходилось немецкому мещанству в периоды кризисов, когда оно должно было конкурировать с «внутренним демпингом» крупного капитала. Немецкий мещанин всегда ненавидел евреев. Антисемитизм в Германии развился вместе с ростом капитализма именно среди немецкого мещанства. Немецкий ремесленник, немецкий мелкий торговец отождествлял капиталиста с евреем, несмотря на то, что еврейское население Германии составляет всего лишь один процент Узкобелый мещанин представлял себе, что если бы не было универсальных магазинов евреев Вертейма и Титца, которые, кстати сказать, принадлежат крупным акционерным обществам, то его лавочка торговала бы гораздо лучше. Если бы не было крупной сапожной фабрики какого-нибудь еврея, то его сапожная мастерская работала бы с большими барышами. Свободные профессии за последние десятилетия также оказались в руках мещанства. Врачи, юристы и т. д. — все это в Германии кость от кости и плоть от плоти классического немецкого Михеля

Здесь антисемитизм и зоологическая конкуренция сказывались еще сильнее благодаря тому, что количество евреев — врачей, юристов и представителей других свободных профессий — было очень значительно. Студенты - корпоранты — националисты всевозможных оттенков — всегда ненавидели евреев, видя в них своих будущих способных конкурентов. Антисемитизм культивировался среди немецкого мещанства в течение многих десятилетий помещиками и представителями крупного капитала. Граф Пиклер со своей знаменитой «Крейццейтунг» и пастор Штеккер со своей проповедью ненависти к евреям имеют очень солидный стаж: они работали задолго до того, как на арене появился Гитлер.

Гитлер бросил лозунги: «Уничтожение евреев» и «Борьба с капиталистами». Кроме того, Гитлером было обещано освобождение Германии от пут Версальского договора, возрождение великой военной Германии, экспансия на Восток, возвращение колоний и т. д. Все эти обещания подкупили среднее сословие и кулака-крестьянина. Первый лозунг, данный Гитлером, был выполнен блестяще. Однако он коснулся главным образом только беднейших слоев еврейского населения и еврейской интеллигенции. Что же касается до крупных капиталистов, то до них дело не дошло: нельзя же в самом деле выполнять программу сразу на 100 процентов. Кровавые инстинкты немецкого мещанина были удовлетворены свободной расправой с евреями и коммунистами. Вначале, чтобы воодушевить мелкого лавочника, было запрещено покупать в крупных универсальных магазинах, но лишь только дотронулись до интересов крупного капитала, как стало очевидно, что лозунг борьбы с ним был дан только для вида. Крупный капитал, породивший фашизм, не может позволять таких шуток с собою. Очень скоро все эти запреты были сняты, и единственными жертвами крупного капитала являются пятипфенниговые монеты, уплачиваемые за право вбивания гвоздей в свастику,

да поношенное платье, жертвуемое в пользу голодного и разутого населения. Вся помощь немецкому земледелию пошла главным образом в пользу крупных помещиков и отчасти кулаков, а беднейшие крестьяне не получили ничего. Рабочий класс, поскольку он был организован в социал-демократическую партию, был деморализован и предан своими социал-фашистскими вождями. Революционные же рабочие, руководимые коммунистической партией Германии, на сей раз не были достаточно готовы, чтобы принять открытый бой. И это произошло только благодаря предательству социал-демократических вождей. Монополистический капитал временно победил в Германии. Он надеется путем военных авантур поднять военную промышленность и выйти таким образом из угрожающей ему катастрофы. Немецкому мещанству, деклассированным элементам, которых имеется очень много среди безработных, он бросил форму штурмовика и дал на с'едение еврея и коммуниста. Немецкой сентиментальной мещанке он бросил подачку, — запретил опыты над животными. Этот последний мелкий штрих чрезвычайно характерен. Он показывает, насколько невелик тот ассортимент подачек, который имеется у фашизма для удовлетворения инстинктов идущего за ним мещанства. «Бей евреев и коммунистов и спасай кроликов и мышей от рук ученых», — вот, в сущности, самое ценное, что брошено Гитлером немецкому мещанину.

Историческое развитие не знает чудес. Капитализм обречен. Колесо истории не может быть повернуто вспять, как не может немецкое мещанство вернуться к средневековым цехам. Не все миллионы коммунистических рабочих Германии сидят за колючей проволокой концентрационных лагерей, не всем революционным рабочим Гитлеру удалось отрубить голову средневековым топором. Недалек тот день, когда колесница истории раздавит тех, кто пытается остановить ее целеустремленный бег.

Литература и искусство

Тарас ШЕВЧЕНКО

(К 120-летию со дня рождения)

А. Старчаков

I

Белинский, всем существом своим ненавидевший тиранию, встретил известие о ссылке Шевченко с совершенным равнодушием. Белинский говорил, что он не примирится с действительностью до тех пор, пока не получит от истории удовлетворения за каждую каплю несправедливо пролитой крови. Но по поводу ссылки Шевченко в 1847 году он писал Анненкову: «Мне не жаль его. Будь я судьей, я сделал бы не меньше... Я питаю личную вражду к такого рода либералам».

Биограф Шевченко, А. Конисский, связывает это высказывание с тем болезненным состоянием, в котором незадолго до своей смерти находился автор письма. Но дело конечно не в болезненном состоянии. Воспитанный на образцах великорусской дворянской усадебной литературы, западник до мозга костей, Белинский прошел мимо украинского поэта, не оценив его по достоинству.

Шевченко называл свою поэзию невольничьей. «Я — мужицкий поэт» — говорил он о себе. Белинский иронизировал по адресу Шевченко: «Хороша литература, которая только и дышит, что простоватостью крестьянского языка и дубоватостью крестьянского ума». В своей рецензии Белинский писал: «Опыт Шевченко, привилегированного украинского поэта, убеждает нас еще более,

что подобного рода произведения издаются только для услаждения и назидания самих авторов». Рецензия содержала в себе совет «этим гг. кобзарям» бросить титул поэта и «запросто служить пером низшему классу своих соотечичей».

Однако высказывания Белинского со всей очевидностью говорят о том, что критик рассматривал Шевченко в плане всей современной ему украинской литературы. Он не выделял его из общелитературного украинского русла и ставил знак равенства между Шевченко и теми усадебными дворянскими прозаиками и поэтами, которые с провинциальным самоупоеанием мирно славили в стихах и прозе родной край:

О как хороша
Моя Золотоноша!

Познакомившись с Шевченко по «Чигиринскому кобзарю» 1843 года, прошедшему через суровую цензуру, Белинский, не задумываясь, отнес поэта к разряду провинциальных уездных «повитовых», литераторов.

В том же письме Белинского к Анненкову заодно достается и Кулишу: «Один из хохлацких либералов, некто Кулиш, — читаем мы в письме, — ох, уж эти мне хохлы... либеральничают во имя галушек и вареников со свиным салом».

Произошло то, что во времена Французской революции называли амальгамой, когда по одному приговору посыла-

ли на гильотину «бешеных» и роялистов. Шевченко походил на украинского либерала Кулиша не больше, чем «бешеные» великой революции походили на рыцарей королевских лилий.

Белинский, автор письма к Гоголю, потряс до основания старую Россию своим неотразимым обличением. Но он не узнал в великом невольнике поэта, брата по крови и духу. Можно ли ставить Белинскому в вину, что он не сумел разобраться в своеобразии отдельных представителей современной ему украинской литературы? Наверяд ли.

Шевченко как поэт революционный был оценен позже, вторым поколением разночинной критики — Добролюбовым и Чернышевским. Некрасов посвятил Шевченко трогательное стихотворение. Народники увидели в Шевченко, в его личной судьбе и в его творчестве, насыщенном мотивами революционного протеста, родственного им по духу поэта. Для них Шевченко был не только национальным поэтом Украины, но и ярким представителем той публицистической поэзии, которая так пышно расцвела в шестидесятые годы. Чернышевский предлагал Герцену переменить тон и в своем «Колоколе» звать не к молебнам, но бить в набат: «к топору зовите Русь». Творчество Шевченко и прозвучало для народников, как долгожданный набат. Шевченко писал:

Добра не жди,
Не жди сподіваної волі —
Вона заснула: царь Микола
Ї приспав, а щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Те добре вигострить секиру,
Та й заходиться вже будить.

II

Классовую природу творчества украинского поэта с гениальной прозорливостью понял Добролюбов. Он говорил о нем: «Тарас Шевченко — поэт совершенно народный, такой, какого мы не можем указать у себя. Даже Кольцов не идет с ним в сравнение, потому что складом своих песен и даже своими стремлениями он иногда отделяется от народа».

В этой характеристике Шевченко, в этом противопоставлении его крестьянскому поэту Кольцову с совершенной ясностью поставлен вопрос о том, чьи заветные думы отразились в песнях «Кобзаря».

Когда мы называем Тараса Шевченко поэтом крепостного крестьянства, это не совсем точно. Закон 1848 года представлял крепостным право приобретать земли и недвижимости с «оставлением во всей силе и неприкосновенности всех существующих между людьми и их владельцами соотношений».

Тургеневский Хорь приторговывал дегтишком и медком. Тайное корчемство и винокурение, ростовщичество, эксплуатация рабочей силы были источниками обогащения кулачества еще в то далекое время, когда кулак оставался и сам собственностью своего владельца. Известны имена крепостных, расплававших большими капиталами, инвентарем и недвижимостью, угнетавших своих братьев с еще большей жестокостью, чем помещики.

Кольцов был поэтом имущей части крепостного крестьянства, той его части, которая после реформы выделилась в класс эксплуататоров-кулаков. Селяне Кольцова, привлекательные и благополучные, не похожи на крепостных рабов. Их обычное времяпрепровождение — дружеские пирушки. У Кольцова гости везжают на конях в приветливо раскрытые тесовые ворота. Но если мы возьмем перепись 1865 года, то установим, что на родине Тараса Шевченко, в его родной Кирилловке, 68,5 всех крестьян были так называемые «пиши» — пешие, безлошадные. Они трудились в печи строю или с чужим тяглом. У Кольцова даже зима идет в теплой шубе. Его мужичок пашет и сеет с благостной молитвой. Он просто не понял бы шевченковского крестьянина, который вынашивает мысль о борьбе, о мести. Национальная по своей форме поэзия Шевченко по содержанию своему в основных произведениях является поэзией крестьянского восстания, — мотив, который пронизывает все творчество поэта.

Повалили гайдамаки
Аж стогне дибрава...

Горить Корсунь, горить Канів,
Чигирин, Черкаси...

Социальная сущность поэзии раннего Шевченко не была ясна и его землякам. Разве не приветствовал поэта патриарх украинской литературы Квитка? Разве Шевченко, обращаясь к Квитке, не называл его «багько орле сизый» и не просил петь «про старину, про те диво, що було минуло».

III

Крепостник и монархист Квитка, харьковский «повитовый маршалок», уездный предводитель дворянства, в своем письме к Шевченко так говорил о впечатлении, которое на него произвел «Кобзарь».

— Начали читать. Жена плачет. Я прижал вашу книгу к сердцу. Хорошо, очень хорошо. Больше не умею сказать.

Но Квитка и Шевченко были социально полярными писателями. Даже Грушевский, один из лидеров украинского фашизма, вынужден в своей работе признать, что «Квитка не понимал остроты крестьянского вопроса».

Заслуга Квитки была в том, что он, обратившись к родному украинскому языку, широко использовал в своем творчестве народные песни, легенды, поговорки. Квитка был в плену у русских сентименталистов. В форме идиллии, мирной пасторали, водевиля, написанных народным украинским языком, Квитка идеализировал быт украинского крепостного общества, утверждал мнимое единство и неразрывность интересов всех его классов и сословий. Вслед за Погодиным в своих «Письмах к любезным землякам» он призывал к верности самодержавию «Для всех в нашем царстве один самодержец, один начальник, государь наш император Николай Павлович», — писал Квитка. Приблизительно такую же по содержанию речь произносит его Скорник, один из героев водевиля «Сватанье на Гончаривци», принадлежащего перу Квитки. Он весь

был в родном провинциальном быту. Он горячо любил свой «ріднесенькій Харьквив», на котором «улицы долги и прямы и даже у самую великую грязь нестрашно, не завязнешь, хочь яки поганеньки волики будут». Достаточно сравнить изображение рекрутчины у Шевченко и у Квитки для того, чтобы стало ясно, — перед вами представители двух социально различных миров. Квитка часто изображал рекрутчину, как пастораль, обязательно с участием доброго пана. Для Шевченко рекрутчина была прежде всего народным бедствием, которое всей жесткостью своей ложилось на бедноту. По зимней улице в буран идет к храму вдова «руки простягаги до тих самих до богатых, що сіна в солдати позсторік заголили...».

Шевченко знал, что солдаты — самое бедное, самое жалкое сословие в православном отечестве. У него отнято все, чем только жизнь красна, — семейство, родина, свобода.

Уже в далеком Оренбурге на третьем году своей ссылки Шевченко пишет стихотворение, в котором отдает должное дворянам, «паничам», сочинителям элегий и пасторалей из народного быта. Этим стихотворением он развенчивает целую эпоху украинской литературы. Где нашли усадебные сочинители, «паничи», тот рай, о котором они говорят в своих виршах?

Якби ви знали, паничи,
Де люди плачуть, живучи,
То ви б елегій не творили...

Он горьким смехом смеется над райским житием, изображенным в элегиях усадебных поэтов. Нет того зла, которое не жило бы в мирной на вид идиллической хате.

За що, не знаю, називають
Хатину в гаї тихим раєм.
Я в хаті мучився колись.
Мої там сльози пролились,
Найперші сльози Я не знаю,
Чи єсть у бога люте зло.
Що б у тій хаті не жило.

Но противопоставление себя дворянским поэтам, «паничам», сочинителям элегий, пришло не сразу. Для этого понадобилось время и прежде всего более

близкое знакомство с украинским дворянством и либеральной интеллигенцией.

IV

22 апреля 1838 года Энгельгардт подписал вольную Тарасу Шевченко. Попытка художников Брюллова (будущего учителя Шевченко по классу живописи в Академии художеств) и Венецианова уговорить крепостника отпустить безвозмездно на свободу талантливого юношу окончилась неудачей. Недаром Брюллов называл Энгельгардта «свиньей в торжковых туфлях». Энгельгардт продержал Венецианова в передней добрый час и при первой попытке заговорить о филантропии сердито оборвал художника:

— Кая тут филантропия. Деньги, и больше ничего. Моя цена — две тысячи пятьсот рублей.

Портрет Жуковского, написанный Брюлловым, был разыгран в лотерею, и собранные деньги стали платой за свободу Шевченко шел двадцать пятый год. После нищеты, безотрадной юности, после семилетнего полуголодного прозябания в Петербурге на чердаке у грубого и нетрезвого маляра Ширяева, Шевченко становится студентом Академии художеств, учеником «Карла Великого», как называли Брюллова художники. К этому же времени относятся первые поэтические опыты Шевченко.

Произведения поэта, относящиеся к годам 1838 — 43, выделяясь своим глубоким волнением, художественной яркостью, по своей идейной направленности и тематике идут в русле современной ему украинской литературы. Поворот от мечтаний к действительности, от любования историческим прошлым, казавшимся обаятельным, к печальному и жестокому настоящему свершался в поэте исподволь.

Шевченко создает целый цикл лирических стихотворений, глубоко народных, прекрасных и безыскусственных. Девушка спрашивает о судьбе своего милого у ветра. Казак бродит по берегу синего моря в поисках судьбы: «шука козак свою долю, а доли не мае». Поэт

пишет свои «Думы», полные глубокой, но еще беспредметной печали:

Плач же, сердце Плачте, очі,
Поки не заснули

Впоследствии эти мотивы туманной печали уступят место глубоко пессимистическим настроениям, безысходности, обреченности. Мир покажется поэту пустыней, в которой нет места какой-либо надежде:

І день іде, і ніч іде,
І, голову схиливши в руки,
Дивуєшся: чому не йде
Апостол правди і науки?

Не с кем поделиться мыслями, некому промолвить слова. Но то были уже последние песни.

Ранняя лирика, романсы, баллады, думы чередуются с большими полотнами поэм. В своей поэме «Катерина», посвященной Жуковскому, поэт затрагивает тему свободной любви, отвергнутой обществом и проклятой церковью. Уже в постановке этой темы мы узнаем будущего Шевченко, демократа и народолюбца. Все симпатии его принадлежат Катерине, которая, не слушая своих ближних, любит, как хочет и как знает ее сердце. Но бьет час, трубят поход, «москали» уходят в Туреччину, Катерина, отвергнутая всеми, брошенная своим возлюбленным, кончает самоубийством, кинув сына в лесу на произвол судьбы.

К этой теме Шевченко вернется еще не раз. Он низведет традиционный религиозный образ богородицы до образа соблазненной деревенской девушки.

В творчестве Шевченко первого периода мы находим традиционное прославление вольного казачества, гетманов, широких степей, кровавых битв «за волю и веру». Прошлое Украины кажется ему прекрасным. Понимание противоречий, которые жили и в том далеком прошлом, придет позже. Он позже поймет предательскую роль гетманов, заключавших союз с Москвой и Польшей в интересах дворянства и за счет широких народных масс. Но на первых порах мотивы националистической романтики, печаль о давно ушедшей старине владеют поэтом:

Но уже несколько лет спустя в творчестве Шевченко намечается поворот от идеализации прошлого к современности, к познанию действительности. Поэт находит своего врага, на которого направляет всю ярость своего таланта, с которым он не перестает бороться до последнего своего часа.

V

Белинский говорил, что на явление Петра Россия ответила Пушкиным. Видоизменив эти слова, можно сказать: «На явление Николая I крепостная Россия ответила Шевченко».

Погодин, крепостной человек Строганова, став профессором и публицистом, доказывал, что у нас не было рабства, но отеческое управление, за что не раз получал щедрые подачки. Щейкин, знаменитый артист и друг Шевченко, в прошлом тоже крепостной, был убаюкан славой. Но Шевченко был неподкупен. Он не изменил своей ненависти до конца. Он пронес ее, как драгоценный сосуд, сквозь целую жизнь от лакейской своего господина Энгельгардта до мастерской Брюллова, от ссылки до своего предсмертного часа.

Когда перечитываешь произведения Шевченко, начинает казаться, что он никогда не забывал о Николае I. Образ царя тяготел над его сознанием. Он караулит каждое его движение, каждый его шаг. Какими бы именами ни называл Шевченко Николая I, эпитет остается одним и тем же «неудобозабываемый». Этим тяжеловесным эпитетом поэт словно хочет сказать о своем бессилии расстаться с преследующим его видением.

Шевченко годами вынашивал мысль о борьбе с самодержавием. Он писал о царубийстве, как о чем-то весьма будничном и неизбежном. О царубийстве не раз писали и до него. Поэт-дворянин, приняв позу античного героя, размахивая кинжалом, нараспев, по правилам классической школы, читал: «Лемносский бог тебя сковал для рук бессмертной Немезиды». А Шевченко писал так: «Люди тито, без всякого лихого лиха царя до ката поведуть».

Еще не так давно поэта домчал на телеге к месту ссылки фельд'егерь Вильдер, покрыв в несколько дней больше двух тысяч верст. Еще не отзвучали в памяти слова приговора, объявленного ему всеильным Леонтием Дубельтом. Но, рискуя своим будущим, Шевченко тайно от всех заносит на клочке бумаги:

Хула всьому. Ні, ні. Нічого
Нема святого на землі..
Мені здається, що й самого,
Тебе вже люди прокляли.

В столице еще не решен вопрос о его дальнейшей судьбе. В Нижнем Шевченко пишет своего «Юродивого», где жестоко достается земному, а заодно и небесному царю. Снова гремит его опалающая речь:

А ти, всевидящее око,
Чи ти дивилося звисока,
Як сотнями в кайданах гнали,
В Сибір невольників святих,
Як мордували, розпинали,
І шішали. А ти не знало.
І ти дивилося на них,
І не осліпло. Око, око,
Не дуже бачиш ти глибоко.

Поэт после десятилетней ссылки вернулся в Петербург. Его обнимают друзья. Его чествуют на товарищеских обедах. Он занят литературными и семейственными хлопотами. Но вера его неизменна:

Умруть
Ще незачаті царята...
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буди син і буде мати,
І будуть люди на землі.

Поэт заходит в мастерскую своего знакомого скульптора Мекешина, занятого лепкой фигуры Екатерины II для памятника «Тысячелетие России». Шевченко угрюм и сосредоточен. Он вспоминает, что Екатерина распространила на казацкую старшину права российского дворянства, что она окончательно закабалала украинских крестьян и роздала своим любовникам в дар миллионы рабов. И на бумагу ложатся неистовые проклятия. Ненависть к угнетателям была его стихией. Ею жил и дышал поэт. Подобно Лютеру, он мог бы ска-

зять о себе: «Здесь я стою, я не могу иначе».

Шевченко был привлечен к суду по делу украинских славянофилов. Но меньше всего можно говорить о формировании взглядов Шевченко в кружке Костомарова. Он конечно много почерпнул из бесед с высококультурными кирилло-мефодиевцами, но Шевченко пришел к Костомарову уже как бунтарь. Костомаров и его друзья не раз обуздывали бурлачество поэта. Среди умеренных либералов и усадебных мечтателей он, пожалуй, был единственным подлинным революционером.

Во время следствия на вопрос: «Какими случаями доведены вы были до такой наглости, что писали самые дерзкие стихи против государя императора?» — Шевченко отвечал: «Будучи еще в Петербурге, я слышал везде дерзость и порицание на государя и правительство. Возвратясь в Малороссию, я слышал еще более и хуже между молодыми и степенными людьми».

Но, несомненно, революционные настроения исподволь стали формироваться еще до приезда в Петербург. Семнадцатилетнего Шевченко Энгельгардт посылает на выучку к художнику Лампи, в Варшаву. То был грозный 1830 год. Совершенно неожиданно, после затишья рабской крепостной деревни, прямо из лакейской своего господина, молодой Шевченко попадает в самый центр польской революции. Он слышит мятежные речи восставшего народа. Он видит казнь блестящих генералов, оставшихся верными Константину, — их вешали на фонарях. С холма он наблюдает за сражением польских повстанцев с войсками русского правительства.

Быть может, здесь впервые из этих разговоров и толков возникла та бешеная ненависть к самодержавию, которая не покидала его на протяжении всей его жизни.

В 1831 году Шевченко попадает к живописцу-маляру Ширияеву в Петербург. В рубище маляра он слоняется по улицам, выполняет по заданию своего хозяина малярные работы. Он живет жизнью крепостного пролетария. В Петербурге еще свежи воспоминания о де-

кабристах. В памяти времена, когда петербургские ремесленники, стоя на лесах строящегося Исаакиевского собора, встречали конницу Николая поленьями и камнями.

Случайная встреча с художником украинцем Сошенко, по достоинству оценившим художественный талант молодого Тараса, после знакомства с Брюловым, решает его судьбу. Наступают годы ученичества. Шевченко живет где-то на Девятой линии, у булочника Доненберга, в квартире под небесами. В квартире бедно, пусто, нет мебели. У полукруглого окна стол, в углу кровать, мольберт, сломанный стул. Пыль. На полу исписанные бумаги, вдоль стен холсты, алебастровые клетки, маска Лаокоона. В квартире вместе с Шевченко жил художник Штернберг. «Жили они убого», — рассказывает один из современников. Вместе со Штернбергом больше месяца в квартирке Шевченко прожил известный впоследствии маринист Айвазовский.

Мы видим Шевченко среди мелкопоместной дворянской интеллигенции, в кругу художников, офицеров, студентов, среди столичной богемы. Это была та среда, где в сороковых годах широко распространялись идеи утопических социалистов. В конце сороковых годов развернул свою революционную работу Петрашевский. В 1845 году, в самом начале того года, когда идейный перелом обозначился со всей очевидностью, Шевченко встречает петрашевца Момбели.

VI

Незадолго до встречи с Момбели, после одного из майских парадов, после роскошного спектакля, в котором принимали участие царь, двор, армия, поэт пишет свою сатиру «Сон», полную гнева и печали. Впоследствии сатира «Сон» попадет во время обыска в руки жандармов и станет неотразимой уликой в глазах его судей. Шевченко заплатит за сатиру десятью годами ссылки.

Если в произведениях раннего периода мотивы национальные были преобладающими, то в своей сатирической поэме Шевченко явственно выступает уже не

только от имени родной страны, но и родного ему класса. Трудящимся неоткуда ждать спасения: «Не пощадит ни земной, ни небесный царь».

Я полечу
Високо-високо за сині хмари.
Немає там власти, немає там кари,
Там сміху людського і плачу не чуть.

В поэме «Сон» мы находим иную Украину, не похожую на ту раздольную, блаженную страну, которая приснилась поэту в роскошной мастерской Брюллова. Судьба угнетенных и эксплуатируемых наполняет его лиру звуками гнева и страсти. Вот тот рай, где

Латану свитину з калки знімають,
З шкурою знімають, бо нічим обути
Княжат недорослих. А он розпинаєть
Вдову за подушне.

Мотивы религиозного упования чередуются с мотивами богоборческими, кощунственными. Шевченко попрежнему обращается к небу. Но это обращение в его поэме звучит не как молитва, но скорей как угроза.

Шевченко стоит белой ночью перед Медным всадником, перед замечательным памятником Фальконета. Поэт размышляет о печальной судьбе украинских казаков, согнанных на строительство Петербурга. Он полон гнева, осыпает Петра проклятиями. Он не может забыть, что горбд построен на костях невольников, что две тысячи его земляков украинцев насильственно были согнаны сюда из родных степей и сел. В ночном молчании он слышит голоса погибших казаков:

Царю проклятий, лукавий,
Аспиде неситий:
Що ти зробив з козаками,
Болота засипав.

Шевченко воплотил в своей сатирической поэме великую правду. Он рассказал о военно-феодальной эксплуатации крестьянства в обстановке крепостническо-помещичьего государства. Но вместе с тем в этой поэме запечатлена слабость, ограниченность мировоззрений крестьянского революционера, его ненависть к городу, к городской культуре. Шевченко в то время не знал и не мог

знать, что рост города, рост капитализма приведет к распаду феодального общества, к падению крепостничества, к замене его другой, менее откровенной формой эксплуатации крестьянства. Как ранний народник, он противопоставлял городу мечты о крестьянском рае, о труде свободных селян на праведной божьей земле, отнятой у помещиков-эксплуататоров.

Если его сатирическая поэма «Сон» была по тирании, то в своем «Еретике» Шевченко выступает против ее прислужницы — официальной церкви. Не будучи последовательным атеистом, переходя от наивной веры в божество к его отрицанию, Шевченко оставался неизменным в одном: он бешено ненавидел официальную церковь, православных попов и католических аббатов, он не уставал обличать их в прозе и стихах. Строки, обращенные к римскому папе, отмечены большой силой. Неужели кара не обрушится на голову откормленного монаха, торгующего с высоты апостольского престола райским спасением?

Ні. Настане час великий
Небесної кари.
Розпадуться три корони
На гордій тїярі.

Но вершиной политического самосознания несомненно является поэма Шевченко «Кавказ». В этой поэме Шевченко выступает уже не только от имени угнетенной украинской национальности. Он говорит о других малых народах, угнетенных империей. В поэме Шевченко нет ничего, что напоминало бы традиционные кавказские мотивы дворянской литературы. Кавказ для дворянина, отправлявшегося туда в порядке разжалования и ссылки, был прежде всего местом, где стиснутая условностями личность могла развернуться во всю ширь.

Шевченко читал Марлинского и частично в своем творчестве подражал этому не лучшему образцу романтического индивидуализма. Но в своей поэме он не только преодолевает традиционную линию в изображении Кавказа, но дает совершенно новое идейное и художественное качество. Поэма «Кавказ» посвящена его другу де-Бальмену, уби-

тому в бою с чеченцами. Шевченко не зовет к мести, не осыпает проклятиями убийц своего друга. Кто повинен в гибели де-Бальмена? Самовластие, которое жадно тянется к кавказским аулам. Поэт обращается к горцам с призывом бороться до конца, потому что «за вас правда, за вас слава и воля святая». Он по опыту родной Украины знает, какая судьба ждет покоренный Кавказ. Он предупреждает горцев, что вслед за вооруженным насилием придет насилие церкви, придет и ненавистное крепостное право. В своей поэме Шевченко поднимается до мысли о единстве поработенных народов. У них общий враг — империя, эта тюрьма, в которой

От молдаванина до фина
На всіх языках все мовчить,
Бо благоденствує.

Поэму «Кавказ» знал Чернышевский. Он цитирует ее в одной из своих статей. Новые ноты звучат и в оценке исторического прошлого Украины. В «Послании к землякам», к либеральному дворянству, к украинской интеллигенции, которую он наблюдал во время своих двух поездок на Украину, мы находим уже иные критические ноты. Он обращается к землякам с просьбой познакомиться с историей Украины, добросовестно от слова до слова перечитать ее, и тогда для них станет ясней историческая роль славных предков, которыми так кичится украинская интеллигенция. Разве не они входили в сделку с московскими царями и воеводами, продавали в рабство меньшого брата. Незачем называть именами римских героев гетманов. Нет, они не Бруты, они — рабы и грязь Москвы, они — варшавский мусор, эти ясновельможные гетманы. Так чего же вы чванитесь, вы, сыны сердечной Украины? Поездки на родину, встречи с украинской интеллигенцией, польскими революционерами, — все это вздувало творческий пламень. Именно на Украине были написаны произведения, наиболее насыщенные по своему идейно-политическому содержанию. Вместе с тем на Украине поэт с особенной силой ощущал свое одиночество, призрачность тех связей, которые суще-

ствуют у него с окружающей либеральной интеллигенцией. Во время раз'ездов по Украине, кроме своих поэм, Шевченко создает ряд лирических стихотворений, проникнутых чувством глубокой скорби одиночества.

І все заснуло.. І не знаю,
Чи я живу, чи доживаю,
Чи так по світу волочусь,
Бо вже не плачу й не сміюсь..

Поэт понимал, что голос его не доходит до широких народных масс, что его слушают те, с кем у поэта нет и не может быть общего языка.

VII

День 5 апреля 1847 года Шевченко провел в пути. Он торопился из Седнева в Киев, где его ожидали друзья. То был период в жизни поэта, отмеченный интенсивным ростом. Шевченко и сам знал о том глубоком внутреннем переломе, который произошел в нем за три последние года. Налаживались и личные дела. Поэт рассчитывал занять место преподавателя рисования в Киевском университете, мечтал о поездке за границу, в Италию. Академия художеств отметила двумя серебряными медалями его работы.

Под Киевом, в Броварах, поэт переоделся — он сменил дорожную свитку и вышитую украинскую рубаху на фрак и белый галстук, — поэт должен был присутствовать на свадьбе Н. И. Костомарова, будущего известного историка и писателя, близкого друга Шевченко и товарища по Кирилло-Мефодиевскому обществу.

Шумный паром пересек реку, Шевченко сошел на берег и тут же был арестован и отвезен к киевскому губернатору. Из разговора с губернатором Шевченко понял, что свадебное торжество расстроено бесповоротно, что его товарищи по обществу уже в тюрьме.

— Что это вы, Тарас Григорьевич, во фраке и белом галстуке? — иронически спросил поэта губернатор.

— Я спешил на свадьбу к Костомарову. Я приглашен к нему шафером, — ответил поэт.

— Ну, куда жениха. туда повезут и шафера.

За год до ареста, весной 1846 года, во время второй поездки на Украину у Шевченко установилась связь с Кирилло-Мефодиевским обществом. Если Н. И. Костомаров был вождем украинского славянофильства, организатором и вдохновителем общества, то Шевченко был его пламенным и неутомимым пропагандистом. Сохранив на всю свою жизнь глубокое уважение к кирилло-мефодиевцам, поэт все же не мог не подметить слабые стороны украинских славянофилов. Это были широко образованные люди, ездившие за границу, изучавшие немецкую философию. Они твердо верили в свое общественное призвание, на всех перекрестках они произносили прекрасноречивые речи о народной неволе и темноте, о том, что господь бог создал украинского интеллигента не для того, чтобы он покорился неправде. Ни в какой мере не уменьшая значения заграничного образования, поэт все же знал, что украинские либералы привезли из-за границы «слов велику силу тай більш ничего». Слова не мешают господам попрежнему эксплуатировать «наименьшего брата гречкося». Положение Шевченко в кружке Костомарова было двойственным. Он грозил либералам восстанием. «Близится час кровавого суда, когда кровь струями потечет в синее море, и неоткуда будет ждать тогда помощи, брат отречется от брата, дитя от матери, и дым тучею завесит перед вами солнце». Обращаясь к украинскому дворянству, он грозит: «І навіки прокленетесь своїми синами».

Но в то же время рядом с призывами к восстанию, к мятежу в творчестве стражилась и наивная вера, что противоречие может быть изжито просветительской деятельностью господствующих классов. Немного больше внимания и любви к «гречкосям» — и люди-братья протянут друг другу руки. В том же стихотворении, в котором поэт грозит угнетателям кровавой мезтью, он заклинает земляков — либеральных помещиков, интеллигентов — опомниться и протянуть руку униженным и оскорбленным:

Обніміте ж, брати мої,
Найменьшого брата —
Нехай мати усміхнеться,
Заплакана мати,
Благословить дітей своїх
Твердыми руками
И діточек поцілує
Вольними устами.

Шевченко был крестьянским революционером, и в сознании его отразились все слабости и противоречия, свойственные крестьянской революции. Сын порабощенного «кріпакства», он рассчитывал получить избавление при содействии наиболее просвещенной прослойки угнетавшего класса, той его части, которая объективно отражала буржуазный путь развития. Здесь коренилась трагедия поэта: бедняка, раба, поднявшего знамя восстания в феодальном обществе. Раба ковали в железо, а плоды восстания пожинала молодая буржуазия, у которой были свои старинные счеы с феодализмом.

VIII

Через двенадцать дней после ареста квартальный надзиратель Гришков домчал поэта на перекладных в Петербург и сдал его в Третье отделение, куда уже были доставлены другие члены Кирилло-Мефодиевского общества. К концу мая следствие было закончено. Шеф корпуса жандармов граф Орлов, лично руководивший следствием, отнесся довольно милостиво к членам общества. Мечты украинских славянофилов о всеславянском объединении, об уничтожении племенной и религиозной розни между славянскими племенами не содержали в себе ничего угрожающего видам правительства. Будущее рисовалось в образе федерации славянских государств, возглавляемых сеймом, где депутаты от всех республик решали бы дела, относящиеся ко всему славянскому союзу. Учредители Кирилло-Мефодиевского общества считали необходимым отмену крепостного права и распространение грамоты среди крестьян.

Но дело в том, что планы эти носили весьма отвлеченный, не связанный с конкретной действительностью характер. Это сознавал и сам учредитель об-

щества Н. Костомаров. «Мы не могли, — говорит он, — уяснить в подробности образ, в каком должна была явиться наша воображаемая федерация государств. Создать этот образ мы предоставляли будущей истории».

К тому же арестованные сумели убедить судей, что переустройство должно было совершаться не революционным методом, но исключительно путем мирной пропаганды и чуть ли не три ближайшем содействии русского царя. В докладе шефа жандармов по делу общества мы читаем: «Цель общества заключалась в соединении славянских племен под скипетром русского императора. Средствами для достижения целей предполагалось воодушевление славянских племен к уважению, собственной народности и водворению между славянами согласия». В том же докладе мы находим следующую характеристику украинских славянофилов: «В мыслях их никогда не было ни народных потрясений, ни возмущений, ни преобразования законных властей в России, а тем более каких-либо вооруженных движений». Но, дабы отвратить других славянофилов от подобного направления, решено было наложить на членов общества некоторые взыскания. Гулак и Костомаров заплатили за свои панславистские мейты четырьмя годами крепости и страхом на всю жизнь перед жандармами.

О последнем есть несколько любопытных страниц в записках А. Панаевой.

Жандармы по достоинству оценили незлобие украинских славянофилов. Вместе с тем они отлично поняли, кто является подлинным носителем революционного огня. Следствие не стало на официальный путь, — связь Шевченко с кирилло-мефодиевцами была отвергнута. Шевченко судили прежде всего за его творчество. Заключение отметило, что замыслы славянофилов были не столь важны, как представлялось при первом взгляде, что Шевченко начал писать свои «возмутительные» сочинения еще с 1837 года, когда славянские идеи не занимали киевских ученых, что он действовал отдельно, «увлекая собственной испорченностью», и по возму-

тельному духу и дерзости, выходящей из всяких пределов, должен быть признан важным преступником. Приговор по делу Шевченко был одним из тех литературно-политических убийств, которыми так изобиловало царствование «неудобоназываемого тормоза».

IX

Во время следствия в одиночном заключении в своем каземате Шевченко создает целый венок лирических стихотворений. Поэт словно стал привыкать к своей камере:

І до дверей, на ключ замкнутих,
І до решотки на віуні
Привик я.

Стихотворения, написанные за решеткой, полные лирического под'ема, в сущности, воспроизводят весь творческий путь, пройденный поэтом. Охватывая небольшой период в полтора месяца, стихотворения воспроизводят все те основные мотивы, которые были отражены в его поэзии в течение короткой свободы.

Мы находим чисто народные мелодии: «Ой одна я, одна, як білиночка в поле». Поэт пишет балладу: «Ой три шляхи широкіе». Из своей тюрьмы он вспоминает о тихом весеннем вечере на родине в своем широко известном стихотворении «Садок вишневый коло хати». Образ обманутой девушки, который он когда-то с такой силой запечатлел в своей «Катерине», он повторяет в своем стихотворении «Не спалося, а ніч як море». Это стихотворение было подсказано разговором двух часовых у его дверей. Дворянин соблазнил возлюбленную одного из солдат, стоявших на часах, и бросил ее. Девушка утопила своего ребенка. Солдат рассказывает о том, как он напрасно пытался отомстить соблазнителю.

В своем стихотворении «За байраком байрак» поэт снова обращается к тем далеким временам, когда гетманы торговали простолюдинами. И в последнем прощальном слове из тюрьмы он закликает своих товарищей по сообществу не падать духом и нести в степи и

дебри слова правды. Он издалека спрашивает своих соратников:

Чи ми ще зійдемося знову,
Чи вже навіки розійшлись.
І слово правди і любови
В степи і дебрі рознесли.

В заключение поэт думает не о своей личной судьбе. Его не волнует вопрос, какой приговор вынесут ему судьи и останется ли память о его жизни и творчестве. Его и за решеткой больше всего волнует судьба родины, страдания угнетенных. Он пишет свое замечательное стихотворение:

Мені однаково, чи буду
Я жить в Україні, чи ні,

которое является политической исповедью заключенного поэта.

В последний день мая 1847 года приговор был утвержден, и 9 июня в 11 часов ночи Шевченко был доставлен в Оренбург, а оттуда отправлен в Орск, за триста верст, для определения в пятый батальон. С высокого плоскогорья поэту открылась унылая картина. В пустынной, выжженной солнцем степи одиноко белели стены Орской крепости. Она показалась Шевченко раскрытой могилой. «Поют ли здесь птицы?» — думал поэт, вглядываясь в безлюдную, лишенную растительности степь. Под горою против казематов для каторжников были расположены бревенчатые казармы — будущее обиталище поэта. Ротный командир с первого абзуга обещал Шевченко выпороть его розгами «в случае, если он будет вести себя дурно». Молча, вытянувшись во фронт, певец Украины выслушал угрозы ротного громовержца. Но Шевченко ничего иного не ожидал. «И нужно же было коварной судьбе моей так ядовито и злобно посмеяться надо мной, толкнув меня в самый вонючий осадок христороливого воинства» — говорил он по своему адресу. Он знал, что в такие каторжные норы, как Орск, шли служить отбросы, пятнавшие собой даже невзыскательную среду армейского офицерства. Из Орска его перебросят в Раим, а оттуда в Новопетровск. Шевченко идет пешком семьсот верст солончаками до Раима.

«Бездушные, грубые лицедеи», с которыми пришлось поэту в течение десяти лет разыгрывать эту мрачную монотонную драму, оставили в его душе неизгладимый след. Уже на свободе, вдали от ненавистной казармы, поэт записал в свой дневник: «Во сне видел Орскую крепость и корпусного ефрейтора Обручева. Я так испугался этого гнусного ефрейтора, что от страха проснулся и долго не мог притти в себя от этого возмутительного сновидения». Дневник Шевченко сберег целую портретную галерею армейских забулдыг, пьяниц и мздоимцев, измывавшихся над поэтом.

«В продолжение десяти лет я, кроме степи, казармы, ничего не видел и, кроме солдатской рабской речи, ничего не слышал», — пишет в дневнике поэт. Потянулись однообразные казарменные будни. В шесть часов утра солдат будил барабан. Поэт фабрил усы, облачался в свою амуницию и являлся перед хмельно-багровое лицо отца-командира. На плацу начиналось учение, изнуряющая бессмысленная шагистика. Добродетель николаевского солдата измерялась тем, в какой мере он владел искусством тянуть носок и плавно на него опускаться. В свой дневник поэт заносит: «Даже благонамеренные люди, как например наш лекарь Никольский, любит посмотреть, как вытягивает носок посиневший от напряжения человек. После пятичасовой пытки в строю поэт отправлялся на словесность. Так называлась зубрежка со слов ефрейтора имен, отчеств, фамилий от ротного командира до военного министра. В заключение ефрейтор произносил длинейшее и глупейшее наставление о том, как должен вести себя brave солдат и за что он обязан любить бога, царя и начальника. Со временем выработалась способность прятать мысли и чувства. В конце концов поэт освоился с этим отвратительным спектаклем. Похоронив свои мысли глубоко в душе, поэт не позволил действительности «коснуться своими железными когтями убеждений, младенчески светлых верований».

В 9 часов вечера солдат запирали в казармы. Усталые до отупения, они

размещались на нарах. Начинались рассказы о том, кого били, кого обещали бить. О письме и рисовании не могло быть и речи. Во всяком случае в первые годы ссылки. В дневнике Шевченко мы находим такие негодующие строки:

«Если бы я был изверг, кровопийца, то и тогда для меня удачнее казни нельзя было бы придумать. Мне запрещено рисовать. Отнять благороднейшую часть моего бедного существования! Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодного, нечеловеческого приговора. А бездушные исполнители приговора исполнили его с возмутительной точностью».

Примостившись на табурете, при свете сального огарка поэт неумелой рукой чинил свою ветхую амуницию. В одиннадцать часов в казарме наступала ночь.

Иногда в пустыне им овладевала безмерная тоска. «Грустно, невыразимо грустно. В продолжение ночи я не мог заснуть. Меня грызла и гоняла, как на корде вокруг огорода, самая свирепая тоска». Он готов грызть цепи, но был скован не теми кузнецами.

Якби кайдани перегризти,
То гриз потроху б. Так не ті,
Не ті їх ковалі кували,
Не так залізо гартували,
Щоб перегризти. Горі нам,
Невольникам і сиротам,
В степу безкраім за Уралом.

И все же, несмотря на запрещение писать, поэт, рискуя навлечь на себя еще более жестокую кару, не забрасывает свое творчество. Годы тянутся медленно; так осенью в степи бредут чумаки. Поэт прячет за голенище солдатского сапога собственноручно сшитую записную книжку. Нет, лучше быть распятым, чем изменить своему призыванию:

Та вже ж нехай хоч розіпнуть,
А я без вірші не улежу.

В глубокой тайне от окружающих он пишет свои стихи, полные скорби, тоски по родине, ненависти к угнетателям. Произведения, написанные в ссылке, можно по праву назвать песнями отчаяния. Но

время идет, творческая мысль, не получая отклика, гложет. Проходит три года, и поэт умолкает. Молчание длится целых семь лет. Наступает пустынное, немое житие.

В глушь изредка доходит разрозненная книга «Библиотеки для чтения», отдельный номер «Петербургских ведомостей». Уже накануне самого освобождения, в 1857 году, в руки Шевченко попадает книга Либельта об искусстве, замечания по поводу которой говорят о том, что и пустыня не сломила пылкости и жажды знаний.

Бесталанную книгу Либельта поэт встречает с восторгом. Он буквально благословляет унтер-офицера Кулиха, польского ссыльного, с помощью которого он достал эту книгу. Между прочим, замечания по поводу Либельта позволяют нам судить об эстетических воззрениях поэта. Либельт был идеалистом. Это отталкивает Шевченко от его сочинения. Но осторожное высказывание Либельта о том, что «дух не может существовать независимо от материи», в какой-то степени примиряет поэта с теоретиком искусства.

Шевченко был освобожден в 1857 году. Началось мучительное ожидание. До получения официального уведомления Шевченко попрежнему был обязан служить строевым солдатом. Через Нижний-Новгород он возвращается в Петербург, горячо встреченный друзьями. Крупнейшие произведения последнего периода его жизни — поэма «Неофиты», посвященная памяти декабристов, поэма «Мария», завершающая целую вереницу женских образов в творчестве Шевченко, ряд лирических стихотворений. По своей тематике и по своим художественным достоинствам творчество последнего периода не поддается уже над прошлым. 24 февраля 1861 года в шесть с половиной часов утра жизнь Шевченко, надломленная ссылкой и одиночеством, оборвалась.

Но поэт и за гробом был страшен его угнетателям. Еще не успели предать его тело погребению на Украине, как во все концы полетели телеграммы, предлагавшие властям пресечь какие

бы то ни было проявления особого уважения к бывшему рядовому, покойному Шевченко. Чем шире росла его популярность в народных массах, тем яростнее неистовствовала царская администрация. Всякая попытка со стороны украинского народа отметить годовщину рождения или смерти великого поэта встречала волну административного произвола. Недаром Владимир Ильич в свое время писал, что мероприятия царской администрации революционизировали в большей мере украинское крестьянство, чем агитация самых красноречивых ораторов.

Х

История знает немало примеров ожесточенной классовой борьбы вокруг творческого наследия того или иного мыслителя, художника, музыканта. Одним из ярких примеров такой борьбы являются те споры, которые велись и ведутся вокруг творчества Тараса Шевченко, поднявшегося из самой преисподней рабовладельческого общества.

В Харькове, в музее Института по изучению Шевченко, вы можете увидеть портрет, писанный художником Карлом Брюлловым. Это тот самый портрет В. Жуковского, который был разыгран в лотерее, устроенной для выкупа Тараса. Но потомки рабовладельцев не стеснялись объявлять Тараса Шевченко «своим». Пламень классовой ненависти, которым веет от «Кобзаря», они пытались подменить елеем гражданского мира.

Уже Пантелеймон Кулиш, кирилло-мефодиевец, современник поэта, помещик и крепостник, приукрашивал буйную музу Тараса. Цензура усердно настраивала его лиру на божественный лад. Какой-то пан Лобадовский подделал известную поэму Шевченко «Мария», обработал безбожный текст в клерикально-церковном духе. Примерно то же случилось с другой поэмой Шевченко — «Неофиты».

Овладеть текстом Тарасовых песен, снабдить текст своим комментарием и таким образом найти путь к миллионам читателей — крестьян — эта задача не раз ставилась идеологами эксплуататор-

ских классов. Еще совсем недавно наследство Шевченко фактически находилось в руках враждебного нам литературоведения. Украинские националисты пытались использовать литературное наследство великого поэта для своих политических целей, насквозь враждебных диктатуре пролетариата.

В своей статье «Об одном недоразумении» Н. Скрыпник писал: «Шевченко с его социалистической идеологией может стать нашим знаменем. На нем мы заостряем свою социалистическую политику, борясь с идеологией, враждебной пролетариату». Высказывание это не является случайной обмолвкой литератора. Статья Н. Скрыпника воспроизводит отрывок из одной из его политических речей.

Мы знаем, как высоко ценил Ленин великих основоположников революционного народничества. Но было бы глубочайшим заблуждением объявлять сегодня народников нашим знаменем. Высказывание Н. Скрыпника, ложное до конца, находится в тесной связи со всей системой его политических ошибок и в частности с его неленинской, мелкобуржуазной оценкой украинских мелкобуржуазных партий. В этом лозунге, брошенном Н. Скрыпником, есть привкус реакционного романтизма, который так характерен для украинских националистов. Фашистская агентура охотно солидаризировалась с его лозунгом. Он стал той дымовой завесой, за которой свободно мог маневрировать классовый враг.

Украинские националисты в своей оценке творческого наследия поэта подходят с тезисом о классовом единстве украинской нации. Всемерно разжигая вражду между трудящимися различных национальностей, украинские националисты в то же время объявляют социальную борьбу на Украине никогда не существовавшей. Украина им кажется тем идиллическим садом, о котором Шевченко писал в далекой ссылке, садом, в котором живет неомраченный покой.

Украинские националисты утверждают особую теорию безбуржуазного развития Украины.

Создать подобную теорию было не трудно. Несомненно труднее было довести ее до сознания народных масс, попытаться отравить ядом национализма сознание трудящихся. Одной из разнообразных форм этой работы и стала фальсификация литературного наследия Тараса Шевченко, певца угнетенного крепостного крестьянства. Украинские националисты берут у Шевченко только его ненависть к великодержавному шовинизму и зачеркивают глубоко революционную, социальную сущность его творчества. Поэта изображают великим гуманистом, апостолом красоты и правды, проповедником гражданского мира.

В творчестве поэта, противоречивом, отражавшем сознание крестьянского революционера, подчеркиваются наиболее слабые, реакционные элементы его мышления. Как-раз на этой стороне делали упор и в комментариях, и в пояснительных статьях, и в теоретических работах классовые враги.

Попутно не забывали фальсифицировать и самый язык. Когда-то Некрасов писал о всенародности творчества Шевченко, о его доступности для понимания не только украинского, но и русского читателя. Украинские националисты всячески обрабатывали ясную, мирскую речь Тараса Шевченко, тщательно изгоняя все элементы, способствовавшие сближению украинского и русского читателя, заменяя их польским и галицийским словарем. Эта работа была звеном единого политического плана, выношенного украинскими националистами. Интервенция, слияние советской Украины с Галицией и утверждение на всей территории соборной Украины — до Карпат и за Карпатами — господства фашистской диктатуры, — вот о чем мечтали мирные комментаторы шевченковского наследия.

XII

Если фальсификаторская работа на территории Союза могла вестись только исподволь, то за кордоном контрреволюционная эмиграция широко использовала это оружие. Один из идеоло-

гов петлюровщины в брошюре «Шевченко и самостийная Украина» писал: «Национально-политические взгляды поэта можно изложить в небольшой схеме. Что нужно Украине? Свой дом. Кто виноват, что его нет? Изменники и перерожденцы. Кто враг Украины? Московщина». Свой дом — это в некотором роде поэтический образ. Фашист Грушевский вкладывал в этот образ вполне конкретное содержание. В свое время он скорбно жаловался, что для него приход большевиков на Украину был связан с «зруйнованием моей хаты, моего кабинета, з ними всего моего майна (добра)». Речь идет о зруйновании, разрушении не традиционной украинской хаты, дремлющей в тени черешневого сада. Хата Грушевского — это известный в свое время в Киеве восьмиэтажный доходный дом, который сгорел в дни первого прихода красных.

С точки зрения фашистской теории единства нации нет отличия между скромной хатой украинского бедняка и восьмиэтажным домом собственника. Грушевский вполне последовательно отождествляет разрушение своего дома с гибелью всей Украины. Он говорит: «в сим огнищи Украина поховала свое старе». Оставалось только использовать авторитет Шевченко, крепостного певца, для того, чтобы придать фашистской идее нужное оперение. «Великий Кобзарь — наше знамя, наш лозунг». Это говорит Грушевский, в свое время аплодировавший приходу на Украину германских и австрийских оккупантов, писавший о том, что он верит в государственный разум германского и австрийского правительств.

Следуя опыту предателя, оккупанты и сами не забывали писать в своих листовках, что Шевченко был врагом разорения панских усадеб и самовольного захвата помещичьих земель. Какой-то прусский лейтенант 474-го стрелкового полка счел даже нужным явиться с официальным визитом на могилу Шевченко.

Тарас взывал сквозь черную ночь крепостничества: «Други мои, искрение мои, пишите, подайте голос за эту бедную, грязную, опасуженную чернь,

за этого поруганного бессловесного смерда». Слушая крепостного скрипача, Шевченко записал в свой дневник: «Из твоей бедной скрипки вылетают стоны поруганной крепостной души и сливаются в один мрачный, глухой стон миллионов крепостных душ». Все его творчество подобно этому глубокому стону:

А слъоз, а крови напоить
Всіх імператорів би стало.

Возвращаясь на пароходе из ссылки, Шевченко у себя в каюте нашел обрывок «Русского инвалида». Прочитав о восстании тайпингов в Китае, он аккуратно переписал речь вождя повстанцев. Слова: «Мандарины—это жирный убойный скот»—он сопроводил примечанием: «Скоро ли во всеуслышание можно будет сказать то же самое про русских бояр?» Узнав, что в селе Заминках у помещика Дадьянова крестьяне, выгнанные на барщину, зажгли при благоприятном ветре озимые хлеба, поэт записывает в свой дневник: «Отрадное происшествие». Он сожалеет о том, что не поспели яровые: «А то за один раз покончили бы».

Но комментаторы из петлюровских хорунжих глубокомысленно пояснили, что в этом случае Шевченко имел в виду москалей, русских бояр и помещиков. Родных же рабовладельцев автор «Гайдамаков» и «Тарасовой ночи» любил поистине сыновней любовью. В закордонных фашистских газетах, издаваемых на деньги галицийских и украинских помещиков и кулаков, сравнительно не так давно вы могли прочесть: «Шевченко — знамя нашего похода, нашей борьбы за свободную батьковщину». Галицийская кляцкая газета «Народ» утверждала: «Шевченко заповедал нам борьбу за нашу национальность», «Украинский национальный поэт, неумирающий Тарас станет нашим знаменем в борьбе с диктатурой и пятилеткой».

Украинские фашисты гримируют Шевченко под заклятого врага рабочекрестьянской Украины. Они пишут: «Шевченко был врагом всякой диктатуры, ибо не вмещалось узкое понятие

диктатура в его вольной, как степной простор, украинской душе».

Впрочем, редактор луцкой газеты «Украинская нива» допускает исключение: оказывается, как утверждает редактор, фашистская диктатура целиком лежит в системе взглядов великого поэта.

Пятнадцать лет назад Грушевский, председатель центральной рады, послал на могилу поэта прусского лейтенанта 474 стрелкового полка с официальным визитом. Редактор луцкой фашистской газеты, следуя заветам Грушевского, пробует породнить великого поэта с закордонными фашистами. Он пытается превратить поэта крепостной нищеты в глашатая грядущей интервенции.

Всячески оттеняя национальный момент в творчестве поэта, украинские националисты замалчивают трагедию поэта, заключавшуюся в том, что у крестьянской бедноты не было и не могло быть никаких перспектив в обстановке старого общества. В поисках политического идеала поэт невольно обращался к далекому прошлому, к эпохе народных движений. Обращался к далекому прошлому и Гоголь, но соратник казенного гетмана Острицы Тарас Бульба в свой смертный час говорит так, словно всю свою жизнь он сотрудничал у Дубельта в Третьем отделении. «Подымается на русской земле свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему», — говорит Тарас Бульба. Дело в том, что в центре гоголевской повести поставлены не обездоленные крестьянские массы, но казацкая верхушка. Она примет из рук самодержавия права и вольности дворянские и смирится с утратой национальной независимости. Там, где Гоголь произносил патристические речи, Шевченко проклинал. Шевченко славил гетманов до тех пор, пока они возглавляли народное движение. Но когда наступил час предательства, поэт не боялся клеймить своих героев.

Украинские националисты пишут о безбуржуазном развитии Украины, но Шевченко, размышляя об успехах капиталистической техники, писал в своем дневнике, обращаясь к Уатту и Фуль-

тону: «Ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя в скором времени пожрет кнуты престола и короны, а дипломатами и помещиками только закусит, побалуется, как школьным леденцом. То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное гениальное дитя. Мое пророчество несомненно».

Шевченко, великий национальный поэт Украины, может быть понят только в свете общедемократического движения сороковых и пятидесятих годов. Он был ранним народником и потому так восторженно был встречен и принят народниками шестидесятих годов. Творчество поэта у нас должно стать орудием интернационального воспитания, должно послужить всемерному укреплению братского единства трудящихся всех наций. Для этого необходимо критически оценить творчество Шевченко, учитывая все противоречия, свойственные сознанию крестьянского революци-

онного поэта, — задача, которая сейчас встает во весь рост перед нашим литературоведением.

Этих противоречий было немало. Национальный гнет вызвал в творчестве Шевченко ответную волну национальной ненависти. Религиозные мотивы в его поэзии уживались рядом с мотивами атеистическими. Классовый враг еще не раз попытается использовать в своих интересах имя и творчество поэта.

Глубокая идейная насыщенность, продолжительный революционный пламень, богатство ритмов, богатство формальных приемов представляют в поэзии Шевченко огромный интерес и для нашей современности. О том, что Шевченко живет не только как корифей украинской литературы, но и как учитель современных, говорит не только украинская и белорусская литература, но и творчество такого своеобразного поэта, каким является Э. Багрицкий.

Книжное обозрение

1. С. ТРЕТЬЯКОВ — „Тысяча и один трудодень“, А. ЯКОВЛЕВ — „Огни в поле“ Ивана Складярова. 2. Ф. РАСКОЛЬНИКОВ — „Рассказы мичмана Ильина“ М. Поляковой. 3. ЛЕОНИД УЛИН — „Нэн“ Макса Зингера.

С. Третьяков — «Тысяча и один трудодень», очерки. Изд-во «Советская литература».

А. Яковлев — «Огни в поле», повесть. Издательство то же.

Две книги о политотделах, о начполитах..

Как выглядят они в данных книгах, как справляются их авторы с ответственнейшей задачей — художественно показать процессы социалистического строительства в деревне?

Вот начальник политотдела Ермолаев, из очерка С Третьякова «Опора»:

«Высокий, средних лет, русоволосый человек, бритый, одетый во все кожаное, до брук включительно».

Но это — внешняя сторона. Что же касается ежедневных дел начальника политотдела, его системы работы (а без системы политотдел не работает), ничего этого в очерке не показано. И даже когда автор пытается отражать каждый шаг практической деятельности начальника политотдела, он и здесь отлагается от сущности. По тексту автора, начальник политотдела «уничтожающе глядит», «отчитывает предьялхоза», «приказывает» и т. п.

«Ермолаев с ожесточением набросился на председателя и начал отчитывать его

— Мы должны проводить дисциплину, товарищ Чижиков, но разумно, не палочную, целесообразность которой должна быть понятна каждому колхознику, — говорил Ермолаев, уничтожающе глядя на сжившегося председателя. — Да и не за дисциплину тебя здесь ругали, а за твоё бездушие: без году неделю в председателях ходишь, а успел заняться, чужим стать. На что это похоже?»

Но где же тут ожесточенность начальника политотдела, и в чем он проявил ее? Автор явно путается в своих «установках», он никак не сводит концы с концами.

Еще отрывок:

«— Почему до сих пор не поставили вентиляторов и пылесосов,—сдвинув брови, спрашивает, выходя за ворота, начальник директора».

Совсем непонятно: разве начальник политотдела интересуется не теми же вопросами, какими интересуется и директор? Разве только директор отвечает за них? Ведь начальник политотдела одновременно является и заместителем директора, и поэтому его высокомерность, его нетоварищеский тон выдуманы автором. Автор не добился четкого единства описательной части с тем малериалом, который он отражает.

Вовсе не верно, а местами и карикатурно, показан начальник политотдела в книге С Третьякова «Тысяча и один трудодень». По мнению автора, начальник политотдела — «человекоискатель»: «и подобно тому, как в песке золотоискатель ищет драгоценные крупинки, так во взбаломученной колхозной массе человекоискатель — начполит.»

Дальше:

«Военным, крупным шагом начполит выходит на зов машины».

Совсем гусар под барабанный бой И—совсем «шекспировский Отелло»: «начполит широк в плечах, прекрасна медь его загара» Начальник у него высокомерен, сварлив и строг. Но, как он ни сварлив, а «девушкам нравится... Он по-крестьянски хлебает борщ, несет ложку через стол, держа под ней отломок хлеба, чтобы не капнуть».

Сомнительно, чтобы начальник политотдела одевался в такую, выражаясь «фигурально», народническую сермягу.

Язык книги — вычурный, перьяшливый Много напыщенных и безграмотных фраз «он ловил движение нашего взора и забегал с

объяснениями до расспроса» «Когда стали заводить почтальона, не нашли лучше, чем немца» «Хаты, связанные родством и религией, подтирала за беглецом». «События в этой книжке проблескивали сквозь липкий, все спутавший невод цифр». «По озору степи закупаются сумерки» и т. д.

Повесть А. Яковлева «Огни в поле», наоборот, заслуживает серьезного внимания. Здесь образ начальника политотдела показан без риторики и без легкомысленной трескотни, как в книге С. Третьякова.

«Огни в поле» горят и до политотделов, но горят тускло, горят лампами «летучая мышь». Автор, иногда чрезмерно сгущая краски, показывает свиновывод до организации политотдела, показывает все его недостатки и болезни. В свиноводческом хозяйстве много беспорядков, большой отход свиного поголовья. Директор не любит самокритики, он — бюрократ, он ведет себя, как старосветский помещик, не считаясь ни с кем. Директора обходят «вокруг пальца» подозрительные и темные личности вроде главуха. Словом, совхоз идет к полному развалу.

В совхозе появляется новый человек, зоотехник Ильин, и ему, как новому человеку, притом «горячему молодому человеку», развал совхоза сразу бросается в глаза. Но Ильин не берет за дело а вступает в борьбу с лицами, ведущими совхоз к развалу. Между Ильиным и директором завязывается склока, хозяйство же попрежнему предоставлено пагубному самотеку. Но вот пришла весна, в свиновыводке появляются «четыре силы», то есть политотдел в полном составе.

Первым шагом работы политотдела явилось устранение склоки, затем постепенно начальник политотдела — не приказами, а личным примером, убеждающими, серьезными товарищескими советами, верно взятым тоном в работе приобретает себе все больший авторитет. Он участвует во всех процессах производства — не в качестве простого наблюдателя, а активного участника социалистического строительства. Он не поучает директора, а помогает ему, он тактично наталкивает его на исправление недостатков в его работе. Директор Бушуев и зоотехник Ильин с головой погружаются в работу и, захваченные этой работой, отрываются от склоки, делаются активными строителями, подлинными борцами и товарищами в деле. Все это достигается начальником политотдела через самопожертвование и преданность.

Книга написана неплохим языком, хотя и попадаются отдельные погрешности «обговорили цели», «охмурел», «завальчиво окрысился», «трудно гмыкзая», «налегая грулями на стол», «грудились свинари и уборщикл» и т. д.

Автор, к сожалению, оставил в тени других работников политотдела. Если под влиянием начполита перевоспитываются Ильин и Бушуев, то воспитательной работы среди масс не видно, — эта сторона автором не освещена.

Книга тем не менее читается с большим интересом образ начальника политотдела за-

рисован довольно живо, четко и правдоподобно.

Начальник политотдела Марьевской МТС

Иван Скляров.

Ф. Раскольников. — Рассказы мичмана Ильина, стр. 172. Изд-во Советская литература, Москва, 1934 г.

Мичман Ильин — настоящее имя и звание в молодости Федора Раскольникова, впоследствии зам. наркома по морским делам, красного полпреда, публициста и политического деятеля. Рассказы мичмана Ильина о ярких минутах его жизни, о героических страницах его личной биографии — повесть о замечательных и к тому же мало известных эпизодах русской революции.

В 1918 году мичман Ильин отлашает на учредительном собрании резолюцию большевистской фракции, в том же году, по поручению Ленина, он топит Черноморский флот, чтобы он не достался немцам, во время гражданской войны на Волге мичман Ильин прорывается через линию белого фронта и уводит баржу с арестованными, обреченными на расстрел людьми из лагеря белых в красный Саратув, несколько месяцев спустя мичман Ильин, участвуя в сражении с англичанами, попадает в Лондон в качестве военнопленного; он же руководит экспедицией по возвращению уведенных белыми советских судов и взятием Энзели, в котором организуется крайковременная советская республика.

В книжке семь вещей. Из них только одна — «Братание» — носит подзаголовок рассказа и следы чисто литературного построения. Остальные шесть целиком мемуарны, и тем не менее острой сюжетности некоторых из них («Гибель Черноморского флота», «Люди в рогожах») — сюжетности, выхваченной из гущи героической действительности гражданской войны, позавидует любой мастер сюжетной выдумки.

Литературная заслуга Федора Раскольникова в том, что он сумел для своих мемуаров выбрать удачную и необычную форму мемуарной новеллы, законченного рассказа о действительном происшествии, которая гораздо сильнее воздействует на читателя, нежели прием сплошного повествования о важном и неважном, каким обычно пользуются мемуаристы.

В то же время автор не пошел по губительному для молодых художников пути смешения мемуаров с не всегда удачным вымыслом, и это сохранило за его рассказами интерес исторического происшествия и обаяние непосредственных воспоминаний.

Как это обычно бывает сильнее всего писатель в наиболее родственной для него стихии — в рассказах о морском флоте, которых в книжке четыре («Гибель Черноморского флота», «Люди в рогожах», «Взятие Энзели», «В плену у англичан»).

Лучше всего с сюжетом, с композицией, с языком автор справился в первых двух небольших по размеру рассказах.

Достоинство рассказа «Гибель Черноморского флота» в том, что он написан моряком и политиком, моряком, прекрасно знающим техническую сторону морского дела, и политиком, сумевшим дать тонкий и верный анализ причин самоуничтожения части советского флота.

Характерно, что и язык обеих повелл выразителен, художественно точен и крепок.

Сравнения и эпитеты здесь не надуманы — они органически вырастают из ткани повествования; в развертывании действия нет ничего лишнего. Оно напряженно и драматично.

Всех этих достоинств мы уже не встретим в интересном по теме, но значительно большем по размеру очерке «В плену у англичан». Композиция рассказа рыхла, в нем много повседневщины, мелких и незначительных подробностей.

В меньшей степени эти же недостатки можно отметить и в рассказе «Взятие Эпзели».

Рассказ «Д. П. З», в котором автор вспоминает о своем первом аресте, не выделяется среди множества подобных рассказов революционеров об их первом тюремном крещении.

Оформление книжки изящно и стильно. Технически же она сделана очень небрежно. Масса опечаток, в оглавлении пропущено название очерка «В плену у англичан».

Явно нехватает и маленького словарика морских терминов. Обо всем этом техническому редактору следовало бы позаботиться.

М. Полякова.

Леонид Улин. — «Нэн». Московское т-во писателей. 1933 г. стр. 206. Тир. 10 200 экз.

Леонид Улин, автор книги «Север зовет», — один из первых советских писателей, проникший в самые отдаленные уголки Советского Союза. Чтобы познать Восточносибирскую тундру, Улин извезил ее на собаках и оленях, он кочевал вместе с чукчами-оленьеводами. Он хорошо познал быт этого замечательного народа Севера. Улин написал свою «Нэн», свое «вступление к роману» красочным языком, вдумчиво и серьезно. Он недаром потратил много трудных дней в морозной и пуржливой тундре. Он дает читателю новую, свежую, хорошую книгу.

Чукчи делятся на береговых, живущих на берегу Полярного моря и занимающихся звериным промыслом, и оленных — тундровых.

Береговые — «кавралины», тундровые — «чаучу». Береговые чукчи живут оседло. Чаучу — кочевники Кочевники меняют места своих стойбищ, переходя в поисках лучших кормов для своих многочисленных стад, с места на место, с ягельника на ягельник. Об

этих людях, о кавралинах и чаучу, и пишет автор «Нэн».

Улин в своей книге «Нэн» дает нам Чукотку, какой она была на грани перехода к советскому строю. Вот почему он назвал свое произведение лишь вступлением к роману. В последующей книге автор несомненно раскроет перед нами новую Чукотку, советскую, куда проник латинизированный алфавит, культбазы, постоянные школы и передвижные школы-яранги, Чукотску, откуда заманчивая тяга к учебе на далеком «материке», как называют чукчи нашу землю. Во главе целого ряда чукотских риков теперь стоят молодые чукчи, партийцы или комсомольцы. Они переделывают лицо своей страны, история которой теряется в седой древней старине. Во многих чукотских сказках и до сей поры фигурирует мамонт. Одно это говорит о древней культуре и истории этого самого северного народа на нашей планете.

С именем русских казаков у чукчей было связано всегда представление о грабежах и насилиях «Мильхе-танги-тан» — так называли чукчи русских. Они называли их «ружейными людьми». Советских людей, приходящих на Север о караванами грузовых судов из за моря, многие чукчи, береговые или тундровые стада которых малочисленны, считают своими друзьями. В ярангах чукчей не редко встретить портреты вождей пролетарской революции, имена и лица которых хорошо известны и береговым, и кочевым чукчам. Переход от ненависти к симпатии, от неприязни к дружбе и совместной, работе по строительству новой жизни на Чукотской земле — это наиболее трудная и чрезвычайно интересная тема, которой очевидно займется писатель в своей последующей книге.

Наша критика в коротких рецензиях лишь отметила самый факт появления новой книги о Севере. Она не дала никаких указаний автору «Нэн» к будущей его работе, о которой говорит в своем предисловии проф. О. Ю. Шмидт.

А это необходимо сделать, чтобы автор не упустил, в погоне за красотой языка (несколько выпященного), самого основного — не редкий быт и всего уклада древней жизни на Чукотской земле. Древняя байдара управляется руль-мотором, за которым сидит молодой чукча-комсомолец. Вместо древней пасти — усовершенствованные капканы для ловли лососей, росомах и полярных волков. Промысловые моторные шхуны в Чукотском море о капитанами-чукчами — руководителями промысла. Недавно еще безмолвный берег Чукотской земли олеюсан сетью радиостанций, где зимуют самолеты. Вот та новая Чукотка, которая ждет своего полярного баяна.

Чукчи Улина — живые, настоящие люди. Но красочный язык произведения иногда перегружен той формой, которая напоминает перевод о чукотского на русский, вопреки правилам русского синтаксиса.

Улин не вводит в обиход своего изложения чукотские слова и поступает хорошо. Но пе-

редавать русским языком на протяжении всей книги чукотские обороты речи слишком уютительно

Но эти недочеты, на которые автор должен обратить внимание во второй части своего романа, не снижают общего хорошего впечатления, остающегося от книги «Нэн».

В этой книге, говорящей о Чукотке периода 1925—26 гг., мы видим кулаков и шаманов и наряду с ними тех беднейших чукчей, которые займут очевидно в новом романе Улина основные роли

Сама чукчанка Нэн, смелая женщина, лов-

кая охотница и независимый человек, которая делает свою судьбу, кулак, мстительный и хитрый Аттек и ряд других чукотских персонажей выведены несравненно лучше и правдоподобней, чем те немногие европейцы, которые проходят в первой части романа

Это случилось очевидно потому, что автор в погоне за раскрытием чукотских характеров пропустил тех немногих русских, с которыми ему приходилось встречаться на Чукотке во время своих странствий.

Макс Зинер.

Редакция {

- А. И. Безыменский.
- Ф. В. Гладков.
- В. В. Григоренко.
- И. М. Гронский.
- Л. М. Леонов.
- А. Г. Малышкин.
- В. П. Ставский.

Отв. редактор **И. М. Гронский.**

Издатель: «Известия ЦИИ ССРС и ВЦИК».